ISSN 0012-6756

Дружба народов

11/2018

Дружба народов

11'2018

Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал

Основан в марте 1939 года

Адрес редакции:
117218, Москва,
ул. Кржижановского, дом 13, стр. 2,
журнал «Дружба народов».
Телефон (многоканальный):
8-499-519-02-12.

E-mail: dn52@mail.ru,
http://magazines.russ.ru/druzhba/
LiVEJORNAL: http://drujba-narodov.livejournal.com/

Юридическая поддержка:
Congress Consulting.
Свидетельство о регистрации
№ 73 от 14.09.1990 г.
в Министерстве печати
и массовой информации РСФСР.
Свидетельство о регистрации
товарного знака № 288681.
Зарегистрировано в
Государственном реестре
товарных знаков и знаков
обслуживания РФ
12 мая 2005 г.

Отпечатано в ОАО «Можайский полиграфический комбинат»,
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93;
www.oaompk.рф тел.: (495)745-84-28;
(49638)20-685

Редакция не имеет возможности рецензировать и возвращать рукописи.

Во всех случаях полиграфического брака в экземплярах журнала обращаться в типографию, указанную в выходных сведениях.

При перепечатке наших материалов ссылка на журнал «Дружба народов» обязательна.

Сдано в набор 20.09.2018.
Подписано в печать 25.10.2018.
Формат бумаги 70 x 108 $^{1}/_{16}$
Печать офсетная.
Усл.-печ. л. 22,4. Усл. кр.-отт. 23,1.
Уч.-изд. л. 21. Тираж 1200 экз.
Заказ 9869. Цена свободная.

Редакционная коллегия

Главный редактор Сергей НАДЕЕВ

Лев АННИНСКИЙ

Ирина ДОРОНИНА

Первый заместитель главного редактора Наталья ИГРУНОВА

Галина КЛИМОВА

Владимир МЕДВЕДЕВ

Заместитель главного редактора Александр СНЕГИРЁВ

Редакционный совет

Рамазан АБДУЛАТИПОВ
Сухбат АФЛАТУНИ
Муса АХМАДОВ
Ольга БАЛЛА
Дмитрий БИРМАН
Денис ГУЦКО
Иван ДЗЮБА
Валентин КУРБАТОВ
Ольга ЛЕБЁДУШКИНА
Фарид НАГИМ
Захар ПРИЛЕПИН
Кнут СКУЕНИЕКС
Сергей ФИЛАТОВ
Ренат ХАРИС
Вячеслав ШАПОВАЛОВ
ЭЛЬЧИН

16+

СОДЕРЖАНИЕ

«ТОЛЬКО ДЕТСКИЕ КНИГИ ЧИТАТЬ...» *В заочном «круглом столе» принимают участие: Сана ВАЛИУЛИНА, Сергей ДМИТРЕНКО, Всеволод ЕМЕЛИН, Шамиль ИДИАТУЛЛИН, Илья КОЧЕРГИН, Анастасия ОРЛОВА, Валерия ПУСТОВАЯ, Алексей САЛЬНИКОВ, Тамерлан ТАДТАЕВ, Айгерим ТАЖИ, Саша ФИЛИПЕНКО* **3**

Проза и поэзия

Алексей ИВАНОВ. Пищеблок. *Фрагмент романа* **27**
Станислав ЛИВИНСКИЙ. Как беспечная пташка. *Стихи* **65**
Александр ГАРРОС. Воля. *Кинороман. Предисловие и публикация Анны Старобинец* **69**
Анастасия КИНАШ. Рыбачь, пока живой. *Стихи* **147**
Юрий СЕРЕБРЯНСКИЙ. Алтыншаш. *Повесть* **149**
Константин КОМАРОВ. И — заново азы. *Стихи* **169**
Игорь КОРНИЕНКО. Алаведерчи. *Петрушкина азбука* **172**
Евгения Джен БАРАНОВА. Цветные семена. *Стихи* **199**
Анна КОЗЛОВА. Улитка. *Рассказ* **202**
Вадим МЕСЯЦ. Рассказы **210**
Катерина РЕМИНА. Ведя иную сказку странствий. *Стихи* **215**
Фарангис АВАЗМАТОВА. Крыша. *Рассказ* **217**
Сергей ЗЕЛЬДИН. Бегущие по волнам. *Рассказы* **223**

Личный опыт

Евгений БУНИМОВИЧ. Потому что перпендикуляр. *Записки на полях школьных тетрадей* **228**

Проза.doc

Валерия ПУСТОВАЯ. Ода радости. *Записки печальной дочери* **235**

Библионавтика

Ольга БАЛЛА. Антрополог спускается в ад (*А.Клепикова. «Наверно я дурак: Антропологический роман»*) **268**

К нашей вклейке
Работы современных художников-иллюстраторов

Summary **272**

© «Дружба народов», 2018

«Только детские книги читать...»

В заочном «круглом столе» принимают участие:
Сана ВАЛИУЛИНА, Сергей ДМИТРЕНКО, Всеволод ЕМЕЛИН, Шамиль ИДИАТУЛЛИН, Илья КОЧЕРГИН, Анастасия ОРЛОВА, Валерия ПУСТОВАЯ, Алексей САЛЬНИКОВ, Тамерлан ТАДТАЕВ, Айгерим ТАЖИ, Саша ФИЛИПЕНКО

В 2015 году «ДН» впервые предложила писателям из России и «ближнего» и «дальнего» зарубежья вспомнить КНИГУ своего детства и рассказать о любимых книгах детей и внуков.

За три года — 64 истории.

В этом номере — новые авторы и новые книги.

Сана Валиулина, *прозаик (г.Амстердам)*

«У меня были книги-наваждения»

В детстве я очень не любила, когда меня спрашивали, какая у меня самая любимая книга. Это был такой абсолютный вопрос, от которого я всегда терялась. Ведь раз его задавали, значит у тебя просто обязана была быть такая книга о главном-главном. А у меня ее не было, и я страдала от того, что не могла, как другие дети, сразу бодро и положительно ответить на этот вопрос. Получалось, что я какая-то не такая и даже, может, достойна презрения. Ведь как это так, если у человека одна мама и один папа, одна любимая подруга, одна любимая родина, и мы живем в стране, где нами руководит одна партия, то значит совершенно логично иметь одну любимую книгу о самом главном. А раз у тебя ее нет, как же тогда с самым главным в жизни, без чего не станешь полноценной личностью и настоящим человеком.

Но кто же в детстве, да и потом, впрочем, хочет быть хуже других? Поэтому я все же иногда совешенно конформистски называла какую-нибудь книгу, а потом меня грызла совесть. Почему? Да потому что книги, которые я взахлеб и вперемешку читала, выуживая их из большой папиной библиотеки, были мои друзья, и называя одну из них своей самой любимой, я при этом предавала другие. Вот такие у меня были экзистенциальные мучения в детстве.

Так что можно сказать, что самых любимых книг у меня было множество. Но были и книги-наваждения, которыми я могла довольно долго бредить.

См.: «ДН» № 11 за 2015—2017 годы.

Начну с самого раннего детства, с *Конька-Горбунка.* Чем уж он меня покорил, точно не скажу — на то это и было наваждение, — но покорил так, что я без конца его читала или мне его читали, и так же бесконечно рассматривала картинки с говорящим месяцем, подводным царством и чудо-китом, на котором росли дерева и рощи, стояли церкви и дома, и ходили люди. Или часами, как мне сейчас кажется, мечтала — о чем? — глядя на восточную царь-девицу с осиной талией, очень красивую и очень сердитую. Но лучше всего помню то дивное состояние души, которое мы называем предвосхищением. Так вот, все эти смешные и красивые картинки и стихи были полны предвосхищением кульминации, того самого прекрасного момента, когда наш Иван прыгает в кипящий котел и выныривает оттуда благородным красавцем, а противный дряхлый царь*бух в котел — и там сварился.* Царь-девица и Иван женятся, детская душа вместе с народом радуется и поет, справедливость восторжествовала, но для меня дело было не столько в этом, сколько в чудесном превращении Ивана в красавца-князя. И вот этот самый момент метаморфозы, то бишь сцену у трех котлов, я всегда ждала, затаив дыхание, а потом переживала, каждый раз заново, с совершенно первозданным восторгом.

Потом я заболела Бидструпом, был такой датский карикатурист с коммунистическими симпатиями, которого издавали в СССР. Бидструп был исключением в том смысле, что это была не наша книга, а тети Веры, жены маминого брата. Когда мы приходили к ним в гости, все шли направо, в большую комнату, где был накрыт стол, а я шла налево, в маленькую, где меня уже ждала толстая книга с карикатурами Бидструпа. Там на каждой странице размещался рассказик в картинках. Из всех этих рассказиков мне почему-то запомнился тот, где все подряд поскальзываются о банановую кожуру. Такой стандартный слэпстик. То ли эта банановая кожура на меня так магически действовала, бананов ведь тогда у нас в помине не было, а тут они, можно сказать, под ногами валяются, уж не знаю. А еще Бидструп, хоть и коммунист, но описывал вполне буржуазную жизнь. Дамы в элегантных костюмчиках сидят в кафе, с сигаретой и чашечкой кофе, мужчины в шляпах пьют коньяк и курят сигары, другие дамы в кокетливых шляпках и на каблучках выгуливают собачек. В общем эти картинки излучали эдакий дискретный шарм буржуазии, тайну которого я и по сей день не могу разгадать.

Потом я полюбила сказки Вильгельма Гауфа. *Карлика Носа, Холодное сердце, Маленького Мука.* В *Холодном сердце* были такая мрачная, ветхозаветная атмосфера и черный лес Шварцвальд со страшным великаном, где рубили и плавили лес и люди-нелюди с каменными сердцами в груди, и ясная четкая мораль, как и положено в европейских сказках. А вот, например, про *Маленького Мука* хочу сказать, что кроме самой сказки мне еще очень нравилось ее название. Что-то в нем было загадочное и мне хотелось все время повторять его. Еще меня интриговал сам Вильгельм Гауф. Он умер, когда ему было всего двадцать пять, то есть он был даже младше Лермонтова, которому все-таки уже исполнилось двадцать семь, и я помню, что мне было очень жалко его и я думала о смерти и какая это странная судьба — умереть таким молодым.

А уже попозже, мне было наверное лет тринадцать-четырнадцать, я прочитала *Над пропастью во ржи.* Ну, тут вообще все было непонятно, ни тебе четкой ясной морали, ни жестких причинно-следственных связей, ни главного героя, который должен был пройти испытания, чтобы стать человеком. Даже название, и то было каким-то смутным — ну что значит *Над пропастью во ржи*? При этом главный герой Холден честно мучился какими-то своими мучениями, и самое интересное, что они передавались мне и брали за душу. Он как зеницу ока берег таинственную рукавицу, которой играли в бейсбол, о котором я понятия не имела. У него были странные отношения с одним учителем, с родителями. Я многого не понимала, но мне это было абсолютно все равно, и я продолжала читать, как зачарованная. Тут еще, думаю, форма повлияла на содержание, придав дополнительный, загадочный смысл. Книга

была замечательно издана. На черно-белой обложке мальчик-подросток с короткой стрижкой и в рубашке с открытым воротом прислонился к дверному косяку, одна рука поднята вверх и держится за косяк. Он стоит в темном деревянном строении, то ли в амбаре, то ли в сарае, за его спиной на противоположной стене видно окно, куда проникает свет, и смотрит куда-то вдаль, в мир, который мы не видим. Меня сразу поразило его лицо, очень необычное, но не то что бы красотой, а каким-то, скажем, совершенно несоветским и негеройским выражением. Возможно, в этих негеройских, мечтательных глазах как раз и таилось и таится то самое главное-главное, что очень трудно или, может, почти невозможно выразить словами.

Потом, кстати, папа нашел эту репродукцию, уже цветную, и оказалось, что у мальчика голубые глаза и голубая рубашка. К сожалению, не знаю (американского) автора этой картины. Ее использовали для обложки журнала *Америка*, который папа откуда-то достал. Он повесил ее на стенку, и она у нас там висела до смерти родителей.

Вот так я и жила, читая, предвосхищая, переживая, жалея и раздумывая над судьбой героев и писателей. В какой-то момент я перестала страдать, что у меня нет самой любимой книги, решив, что я просто читаю одну большую большую и толстую-толстую книгу, где герои ищут главное главное, ну и я вместе с ними.

Сергей Дмитренко, прозаик (г. Москва)

От «Мурзилки» к соллипсизму

Одна из главных педагогических жалоб сегодняшнего времени состоит в том, что дети ничего не читают, а только сидят в компьютере.

То, что ничего не читают, это, вне сомнений, неправда. Читают современные дети немало, а может, и много, но не книги, а с экрана и т.п. Пожалуй, нас не устраивает их круг чтения, его особенности. Но взрослым непозволительно забывать, что круги их собственного детского чтения остались в прошлом, а навязывание их детям, подавно внукам, может превратить их в круги интеллектуального ада.

Тем более что и к себе самим мы можем предъявить сходный счет: если не по количеству прочитанного, то по его качеству.

Все же сегодня, сейчас все мы (те, кто этого хочет) свободны в выборе книг для своего чтения. И наши дети тоже. Прежде всего, их никто не понуждает читать горы сочинений, сотворённых по разряду идеологического большевистского бреда, притом замешенного на псевдохристианской, лжехристианской основе. Все эти «Красные дьяволята», «Будьте готовы, ваше высочество!», «Честное комсомольское», «Бей, барабан!» и т.д. и т.п. нынешние детки могут читать лишь для того, чтобы приколоться. Никакой зюганов не сможет понудить их тратить время на книжную макулатуру.

Но зато на каждом — каждом — родителе теперь лежит ответственность за то, чтобы их чада читали только хорошие книги. И для этого есть верный и по сути единственно правильный путь. Когда у вас появляются дети, вы получаете возможность вновь пережить с ними свое детство, а из этого детства принести им свои самые лучшие книги, а с ними найти еще новые прекрасные. Вы, разумеется, не вполне впадете в детство, но кое-что существенное обретете — если с первых месяцев жизни вашего ребенка будете много, очень много читать ему вслух. Таким путем шли мои

родители — а ещё мне много читала тетя Юля, тогда незамужняя сестра папы, вдобавок к этому и учительница немецкого языка.

Именно таким образом они трое раз и навсегда обратили меня в читателя. Я слушал, слушал, а потом и сам, задолго до школы, выучился читать.

До сих пор помню то волшебное мгновение, когда я сам прочел в букваре, доставшемся мне от старшей возрастом кузины, первый рассказ.

Я смотрел на эти, давно знакомые буквы, буквы, которые не всегда успешно складывал в слоги и слова, и думал, что придется вечером идти за помощью к взрослым, потому что без них мне не узнать, что произошло с этим куда-то бредущим козликом.

И вдруг будто кто-то сказал мне сверху: «Козлик». Да, это было название рассказа, я услышал, как знакомые буквы сложились в слово, которое я только что не мог прочитать.

«Жил у Зины козлик», — продолжал читать кто-то. Я поднял голову.

Никого.

«Пошла Зина на реку», — звучало сверху, но на кухне, где я сидел на стульчике, никого не было. Бабушка отдыхала в комнате.

«А козлик уж там», — да это же мой голос!

«На реке мостик. У моста кусты».

Я дочитал рассказ и тут же прочитал его еще раз. «Козлик. Жил у Зины козлик...»

Это чудо настолько потрясло меня, что я стал читать все рассказики на раскрытых страницах, потом на соседних — и дальше, дальше...

К вечеру, когда родители пришли с работы, я прочитал весь букварь.

И началось это упоение чтением! «Мурзилка», которого мне выписывали с младенчества, «Весёлые картинки», детские книжки... Но скоро самой главной книгой, точнее, тремя главными книгами стал трехтомный «Энциклопедический словарь», вышедший как раз в год моего рождения — 1953-й. Чудесный мир разворачивался на его страницах. Карты земли и звёздная карта, множество картинок и портретов, не беда, что чёрно-белых, тогда чёрно-белое было куда важнее, чем теперь.

В книгах были четыре больших вклеенных портрета — Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина — как обозначение смысловой доминанты всего издания, но сейчас расскажу о главном откровении, которое мне эти книги дали.

Читая огромные статьи о «гениальном мыслителе, корифее революционной науки» Марксе, «вожде и учителе международного пролетариата» Энгельсе, «величайшем гении человечества» Ленине и его «верном ученике и соратнике», «великом продолжателе его бессмертного дела» Сталине, я обратил внимание на то, что эти пастыри человеческого стада — страстные борцы за утверждение своих идей, в частности, неустанно наносили «сокрушительные удары» по «буржуазной идеалистической философии».

Стремление узнать, что же это за философия такая, которая, как трактует достославный словарь, мешает жить прогрессивному человечеству и требует постоянной борьбы с нею, я пустился в путешествие по статьям этого словаря и вскоре добрался до понятия солипсизм, которое объяснялось как «философское воззрение, признающее единственной реальностью только мое «я» и отрицающее существование всего остального мира». И хотя затем заявлялось, что «к абсурдным выводам солипсизма неизбежно ведет субъективный идеализм», а солипсизм «опровергается повседневной практикой и наукой», это меня уже не впечатляло.

Существование солипсизма было для меня головокружительно прекрасным открытием!

Да, только мое «я» может создавать ту реальность, в которой мне хочется жить. Я могу пригласить в свою реальность геолога с удивительной фамилией Иностранцев, Александра Иностранцева, исходившего север России и открывшего множество

месторождений, и астронома Виктора Амбарцумяна, получившего за свои исследования звездного неба Сталинскую премию 1-й степени, и ни за что не допустить сюда, например, Вячеслава Менжинского, несмотря на то, что он был «злодейски умерщвлен троцкистско-бухаринской бандой врагов народа», или какого-то Урицкого, который «вел беспощадную борьбу с контрреволюцией и был убит эсерами» (то есть он даже не задумывался, что за его «беспощадную борьбу» и ему могут навешать пенделей).

Зато в моем мире будут энтузиаст солипсизма «реакционный английский философ» Джордж Беркли и другой философ, Фридрих Вильгельм Шеллинг, отстаивавший идею, что «природа и сознание, объект и субъект совпадают в сверхразумном духовном начале — "Абсолюте"».

Спасибо вам, беззаветные борцы с соллипсизмом и всеми формами идеализма. Благодаря вашему своеобразному просвещенчеству, я смог сформироваться как свободный человек, независимый от закрепощения разного рода корпоративными обязательствами, включая ваш тоскливый коммунизм, и самостоятельно выбирающий свои пути жизненного конформизма.

Всеволод Емелин, поэт (г.Москва)

«Я бросил учиться, гулять... Я читал фантастику»

Вообще это был позор. Мальчик «из служащих», как писали тогда в анкетах в графе «Происхождение». Родители не были профессиональными гуманитариями, но много и с удовольствием читали. В семье был настоящий культ книги. Плюс была практически неограниченная возможность книги доставать. Это в те годы (конец 60-х — 70-е) встречалось крайне редко. А моя мать работала секретаршей в Управлении Делами Совета Министров СССР, у очень большого начальника. Начальнику каждый месяц из основных издательств страны присылали списки новых книг. Начальнику оставалось только поставить галочки напротив нужных наименований. Руководитель чтением не злоупотреблял, и списки практически в девственном виде доставались матери. В результате в квартире было множество книг. От собраний сочинений Вяч.Шишкова и «Библиотеки современной фантастики» до альбомов Босха и Борисова-Мусатова. Кроме того к услугам была библиотека Совета Министров, где можно было брать книги и журналы на дом, на неограниченный срок. Короче, все разрешенные тогда в Советском Союзе книги имелись в доступности.

И вот единственный ребенок этой семьи не только пошел в школу, не умея читать, но и первый класс закончил, толком не научившись. Нет, я очень любил слушать, когда мне читали книжки. А мне читали все, что положено. И Пушкина, и Винни-Пуха, и Карлсона, и Незнайку, и Гайдара... Но сам не представлял, как можно вот так взять и прочесть книжку. Это казалось мне каким-то чудесным умением, ну как водить машину или ходить по проволоке. И когда я между первым и вторым классом, болтаясь в одиночестве на даче, открыл относительно толстую взрослую книжку, а через несколько дней обнаружил ее прочитанной, я ужасно удивился и зауважал себя. Книжка называлась «Безумство храбрых» и дала мне важнейшее знание, что можно скучно написать об интересных событиях. Сорвала крышу мне следующая книга. Уже был сентябрь, я пошел в школу и на вопрос матери, что принести из библиотеки, попросил почему-то «про космические путешествия».

Среди нескольких книг, которые не запомнил, была зеленовато-желтая из доныне существующей серии «Библиотека приключений и научной фантастики». Александр Полещук «Звёздный человек». С изображением некоего крайне подозрительного мужчины на обложке. Только много лет спустя я понял, что это была одна из точек бифуркации в моей жизни. Игры, драки, кино, телевизор — все тогдашние детские развлечения оказались серой тоской по сравнению с таким чтением. Сейчас я перечитал книгу в сети. И понял, что был прав. Пусть книжка в общем и не написана. Она состоит из ряда вполне случайных эпизодов, кое-как сшитых в одно расползающееся полотно. Пусть интриги ходульны и местами просто анекдотичны. Чего стоит история, как всемогущий межзвездный изгнанник влюбляется в девушку главного героя и в буквальном смысле обещает бросить ей под ноги всю Вселенную. Но, на мой взгляд, этим творением Александр Полещук на тридцать лет вперед задал вектор движения нашей фантастики.

В книге причудливо смешались элементы романа ужасов, романа катастрофы, детектива, психологического триллера, сатиры, мистики, фэнтази... Даже несделанность предавала ей особое очарование тайны и недосказанности. Писался «Звёздный человек» в 1957 году. Отдельной книгой вышел в 1963-м. Говорят, у подростков был очень популярен. Годы спустя в интервью президент Клуба любителей фантастики при Доме детской книги жаловался, что повесть Полещука как никакую другую постоянно воровали с их стендов. Но это единственное упоминание «Звёздного человека», которое я встречал. В те годы Ефремов писал «Туманность Андромеды» про то, как люди разных планет, построившие отдельные коммунизмы, взявшись за руки, дружно строили коммунизм во вселенском масштабе. Стругацкие тогда писали «Страну багровых туч» и «Стажёры», тоже про героическую битву хорошего с лучшим. Я, восьмилетним ребенком, ни минуты не сомневался, что основная жизнь моя пройдет при коммунизме. Главная печаль, что не с кем будет бороться после естественного исчезновения американских шпионов и отечественных предателей. Полещук избавил от этой печали начисто. Действие развивается на фоне хорошо знакомого дачного Подмосковья. И вдруг в привычном пространстве образуются неожиданные прорехи из которых тянет таким межзвездным холодом, что все козни вредителей из фильмов и книг Гайдара кажутся абсолютно незначительной ерундой. Суровый мужчина со шрамом, которого все называют Человек. Именно так, с большой буквы, что звучит особенно издевательски, учитывая, что он не только не человек, но и не инопланетянин, а боевой робот-разведчик, умеющий принимать любую форму в зависимости от обстоятельств.

«...Мой мозг... Человек прикоснулся к студенистой массе, заполнявшей его череп. — Моя нервная система... (Я увидел тончайшую сеть ответвлений, пронизывающую грудь и руки Человека. Она на секунду засветилась ярко-красным цветом и исчезла.) Мой позвоночник... — С этими словами Человек продел руки сквозь свою грудную клетку и коснулся металлических шарообразных позвонков. — Я могу быть таким, как вы меня знаете, могу быть другим... — Человек свернул свой позвоночник в кольцо и стал похожим на какого-то страшного, огромного паука... — Могу свернуться в камень...

Я закричал и бросился к двери, но меня остановил окрик Человека:

"Назад!"...»

В пятьдесят седьмом году автор, недаром сотрудничавший в журнале «Изобретатель и рационализатор», предсказал магистральный путь развития технологии. Его инопланетные гаджеты сейчас заполняют нашу жизнь. Например, «Шлем управления». Надевший его субъект управляет роботом, его словами и движениями, видит мир его глазами (камерами). Так главный (настоящий) инопланетянин забрасывает главного героя посредством шлема и роботов на астероид и в пещеру первобытных разумных существ на Венере. Предсказывает и смартфон, карманную пирамиду, в которой

сосредоточена информация всех библиотек и музеев. Когда на ней садятся аккумуляторы, герои подзаряжают ее от советской батарейки.

Владелец армии роботов ищет цивилизацию или нескольких человек, с которыми мог бы разделить будущую власть над Мирозданием. Но «Советская малина устроила совет, советская малина врагу сказала нет»...

Абитуриент, его девушка, два ученых. Один физик, один врач, но странноватый врач очень широкого профиля. «Он пытался — и не без успеха — освежить свою область привлечением физических и химических методов исследования. Он ломал трубчатые кости на ударных копрах кафедры сопротивления материалов строительного института, фотографировал и описывал осколки; сдавливал черепа в гидравлическом прессе; замерял биотоки в открытых ранах; изучал модель головки бедренной кости, сделанной из органического стекла, в поляризованном свете...»

Это чем-то напоминает безбашенных героев советской фантастики 20-х годов.

В общем, эти люди встают на пути узурпатора.

На Земле у него сразу ничего не ладится. Сначала абитуриент распиливает метеоритный камень, в виде которого его робот прибывает на нашу планету. Камень сразу срастается, но после инициации на лице у Человека образуется шрам. Мудрый дед называет его антихристом. Девушка отвергает его любовь. В отделении милиции запирают его в сейф. «Супротив милиции он ничего не смог» (В.Высоцкий). В конце концов он решает за причиненные обиды погасить земное Солнце. Но ученым удается завладеть шлемом управления, а абитуриент, которого он берет на звездолет, направляющийся к Солнцу, в нужный момент открывает люк и сгорает вместе с кандидатом в диктаторы Вселенной. Наша планетная система оказывается спасена. До следующего раза, как минимум.

В Википедии творчество Полещука связывают с Чижевским. Я не очень ориентируюсь в русском космизме, но ощущаю некоторый специфический аромат замогильных утопий Фёдорова и Циолковского и колорит картин Филонова.

А то и дело проскакивающие хармсовские фразы: «Простите, — звонил он в другую клинику, — человек без зрачков к вам не поступал?»

И главное, за свое будущее я теперь был спокоен. Страшных врагов и мест для подвига хватит и в светлом коммунистическом обществе.

За это автору можно было простить и совершенно не интересное мне копание в электрических схемах. Это, видимо, было непреодоленное влияние так называемой «фантастики ближнего прицела» 40—50-х годов, в которой советские инженеры побеждали стихийные бедствия, рак и мировой империализм посредством усовершенствования радиолампы. Простить и сатирическое изображение институтских интриг и дремучих начальников, тиранящих таланты. Эта тема потом тоже всплывет у Стругацких...

А со мной на несколько лет стало все ясно. Я бросил учиться, ходить гулять, общаться со сверстниками и взрослыми. Я читал фантастику. Стругацких, Лема, Брэдбери. Не раздумывая, лез в драку, если при мне начинали хвалить мушкетеров, Майн Рида или, не дай Бог, русскую классику.

Вот такое, достаточно неожиданное, действие оказали на меня Александр Лазаревич Полещук и его повесть «Звёздный человек». Вторая книжка, прочитанная мной самостоятельно.

Шамиль Идиатуллин, прозаик (г.Москва)

История и болезни

Я рано начал читать и вскоре читал везде, всегда и все подряд. Привычка укрепилась в больницах, в которые я два-три раза в год отправлялся с хронической пневмонией и вычурной версией отита. Телевизоров там не было, компьютерные игры еще не придумали, подвижные забавы пресекались на корню, Пиковую даму после второго раза вызывать становилось неинтересно — приходилось читать все, что найдешь. Своих карлсонов и сборники сказок я прочитывал по три раза в первые же дни, а потом бродил по соседним палатам, клянча все подряд. Помнится, печальный полудокументальный роман «Земля, до востребования» про концлагерные мыкания советского разведчика Маневича я прочитал в киевской больнице, когда мне еще не исполнилось семи, — с растущим недоумением, но тщательно.

За пределами больничек и пионерлагерей, в которых приходилось трубить по две смены каждое лето, я тоже греб под себя книжки и журналы без разбора — всю фантастику и детективы, до которых мог дотянуться, почти весь детлит, включая журнальные публикации в «Пионере», «Костре» и «Уральском следопыте», а потом в «Юности» и «Авроре», и огромный случайный набор взрослых книг, от Пикуля с Адамовичем до Мопассана с Кортасаром.

Классе в третьем соседка стуканула маме: «Смотрю из окна и чуть с инфарктом не падаю — дорога к дому, по ней КамАЗы и К-700 грохочут туда-сюда, а по обочине ваш младшенький бредет носом в журнал и на грузовики и грязищу ноль внимания». Мне устроили выволочку, а папа убрал детские книги, кроме предусмотренных школьной программой, на антресоли, которые заколотил гвоздями. Так что я довольно рано освоил гвоздодер с молотком.

Примерно в то же время я открыл для себя автора, книги которого владели и более-менее управляли мною лет пятнадцать, а любимы до сих пор.

Свечка зажглась

Где-то в феврале 1980, кажется, года, сачкуя по случаю очередной пневмонии, я бродил в свитере по квартире и тоскливо оглядывал либо перепаханные, либо неинтересные полки. С отчаяния вытащил из-под стола пачку прошлогодних журналов «Пионер», принялся читать кусками что придется и наткнулся на продолжение повести Владислава Крапивина «Колыбельная для брата». И пропал надолго, а может, и навсегда. В той пачке было, к счастью, еще одно продолжение, а также окончание. А первых двух номеров не было. И искал я их по макулатурам да библиотекам долгие полтора года. Начало третьего куска (про визит Женьки с доносом на гетмана-злодея Петру Евгеньевичу от Кочубея) уже запомнилось мне без малого дословно и почти не требовало прелюдий и пояснений, когда нашелся первый номер — а там трагические обстоятельства кражи кошелька. И счастье под той же оборванной обложкой. И новое счастье: отыскался второй номер — а там вся правда про зеленого павиана Джимми и строительство гафельного кеча «Капитан Грант». Хотя нет, не вся. Одного листа не хватало, что заставило меня придумать кучу версий абзаца, кончавшегося почему-то словами «А потом уже не смеялись». Не угадал, естественно.

Тут надо пояснить, что сюжет повести построен на ЧП в передовой школе: кто-то из учеников украл кошелек практикантки. Обвиняют самого дерзкого, самый дерзкий, отругавшись и потихоньку отплакавшись, принимается искать подлинного

вора, попутно находит цепочку несправедливостей, составленную из мелкого рэкета, тихого страха и общепринятых подлостей, — и выходит на священный бой.

Владислав Крапивин был феноменом советского детлита и педагогики: не покидая Свердловска и обходясь почти без реверансов официальной идеологии, он подарил десяток ролевых моделей тысячам подростков, привил понимание собственного достоинства сотням тысяч, а миллионы просто обеспечил прекрасным чтением. Лучшие книги Крапивина можно изучать как пошаговые инструкции достойного существования в трудную минуту, и автор не всегда это скрывает, четко вбивая тезисы: «Самое трудное, знаешь, что? Когда ты считаешь, что надо делать одно, а тебе говорят: делай другое. И говорят хором, говорят самые справедливые слова, и ты сам уже начинаешь думать: а ведь, наверно, они и в самом деле правы. Может случиться, что правы. Но если будет в тебе хоть капелька сомнения, если в самой-самой глубине души осталась крошка уверенности, что прав ты, а не они, делай по-своему. Не оправдывай себя чужими правильными словами».

Крапивин стал для меня надеждой, отрадой и смыслом, наполнявшим жизнь от очередной госпитализации до очередной выписки — или там от января до февраля, когда, ура-ура, придет второй номер «Пионера» с продолжением «Журавлёнка и молний». При этом лет пять, а то и семь, свердловский командор был просто единственным светом в окошке и главным авторитетом. К сожалению или счастью, не поведенческим (то есть в паруса и шпаги я так и не ударился, хоть выучил все паруса и выпилил из оргалита шверт человеческого роста, безнадежно загромоздивший наш балкон на те самые пять-семь лет, а учителям хамил не по крапивинским выверенным лекалам, а в рамках собственных диковинных представлений, отшлифованных обстоятельствами места и времени). Но литературно-художественным — безусловно. «Колыбельную» и «Голубятню на жёлтой поляне» я перечитывал несколько раз в год. В журналах, конечно, — книг-то было не достать.

Матрос Курва Ф.Ф. свою фамилию полностью оправдал

Виктор Конецкий смолоду был одним из лучших, умных и честнейших писателей — это легко и беспощадно доказывают, например, «Завтрашние заботы», короткая ранняя повесть о моряке, который встретил любовь, глупо промахнул мимо и отчаянно рванул обратно. Он был и остался обидно недооцененным и не слишком известным — несмотря на всенародную славу фильмов «Полосатый рейс» и «Тридцать три», к которым Конецкий писал сценарии. Лично меня оба фильма оставили равнодушным, так что я тоже мог остаться без такого нужного и важного — лично для меня — любимого писателя. Но повезло.

Мне было лет одиннадцать, когда я, чтобы не уходить из очередного налета на букинистический отдел книжного магазина «Глобус» с пустыми руками, ухватил залистанный малоформатный сборник повестей и рассказов неизвестного мне автора. Просто повелся на морскую форму с фотки, кажется. Открывался сборник суровыми рассказами про блокаду, тыловой Ташкент и горюющего по своей давней трусости военного летчика. Рассказы читались легко, но здорово царапали, так что я книгу почти отложил — и тут началось: сперва ультрамачистско-геройский рассказ «Если позовет товарищ», а потом «Невезучий Альфонс» и несколько рассказов про Петю Ниточкина. Это был мгновенный нокаут. Мастер умного глума, нигде более советскому школьнику не встречавшегося, умел хладнокровно доводить до смеховой истерики читателей поопытней меня — так что я лег и больше не встал. Так, лежа, и выслеживал Конецкого, где возможно. И выследил ведь немедленно — на родной полке, занятой «Библиотекой "Дружбы народов"», стоял зеленый том с двумя романами. Один из них, «Вчерашние заботы», я перечитывал раза три, а отдельные куски — раз десять. Потому что это ведь был один из самых ударных томов длиннющего романа-странствия, в

который складывалось большинство книг, написанных Конецким в последнюю четверть его века. Формально роман складывался из почти что документальных путевых заметок штатного помощника капитана теплохода, идущего то Северным морским путем, то меж тропическими островами: один рейс — одна книга, день за днем дневниковые записи с точными датами, именами и названиями, тоннами угля, рыбы и гниющей картошки, беседами на мостике и скандалами в диспетчерской, ушлой матросней и скандальными буфетчицами. И всякий раз документальная основа, само собой, была тщательно перемешана, перетасована и перепридумана, чтобы ладнее принять сбалансированный прозаический кунштюк тончайшей выделки, совсем не похожий на кунштюк предыдущий. Каждый роман Конецкий писал в новом формате, переходя от драмы стареющих мужиков к плутовской мениппее, от цепочки литературоведческих этюдов к отчаянной публицистике. И щедро накидывал поверху новеллы убойной силы, чудовищно смешные и трогательные до слез. Про трусоватого морского волка, явившегося в Институт красоты сводить древние татуировки. Про особенности лечения женского радикулита в диком мужском коллективе. Или про выпавшую из поезда табельную винтовку, которую юному курсанту Вите Конецкому придется найти на таежном перегоне в течение одной ночи — иначе трибунал.

Благодаря изощренности издателей многие повести и рассказы Конецкого представлены в моей библиотеке полудесятком экземпляров — это не считая выдирок из «Невы» и «Звезды», которые я изящно сшивал под единую обложку. И Аксенова я долго не любил в том числе и потому, что в затяжной и изящно расписанной обеими сторонами сваре с Конецким безоговорочно держал мазу за Виктора Викторовича.

И буду держать, сколько получится.

И чтобы никто не ушел обиженным

Лет в двенадцать я узнал, что последние лет десять любимый Крапивин каждый год публикует новую повесть либо в московском «Пионере», либо в свердловском «Уральском следопыте», о существовании которого я не подозревал. Попытка немедленно выписать журнал провалилась — оказалось, что не вся Кама считается Уралом, и в городе Брежневе условно местные издания других регионов выписывать нельзя. К концу 1985 года правила смягчились, и журнал я выписал. Чтобы разочароваться, воспылать и открыть новый гештальт.

Как раз Крапивиным тот год был небогат, зато обнаружилось, что в «УС» большое место занимает раздел фантастики. Тогда я, понятно, не знал, что скромный периферийный журнал и лично руководитель его отдела фантастики Виталий Бугров в самый разгар свирепого утаптывания качественной отечественной фантастики не только спас ее, но и умудрился укрепить и создать несколько формообразующих элементов, на которых авторы и читатели продержались пару десятилетий. Журнал, по сути, взял под свою крышу десятки разбросанных по стране клубов любителей фантастики, которые в те годы уже положено было громить и разоблачать. Он печатал сильных авторов, он затеял первый в стране фестиваль фантастики «Аэлита» и он проводил грандиозные ежегодные викторины — несколько десятков вопросов, ради ответа на которые следует сперва найти, а потом прочесать сотни томов; приз — книжка с автографом. Естественно, я немедленно принял в викторине участие. Естественно, с нулевым результатом. Что не помешало мне вписываться в конкурс и на следующий год, и годом позже. Попутно я собирал старые номера «Следопыта», из которых любовно выдирал не только художественные тексты, но и прежние конкурсы с ответами. Удовольствие от их чтения было сопоставимым, если не большим.

Я так ничего и не выиграл, но вошел во вкус и нахватался имен. Наиболее часто употреблявшимся именем было «братья Стругацкие». Для составителей и участников викторины пара «фантасты — Стругацкие» была такой же неразрывной парой,

как «партия — Ленин» или «поэт — Пушкин». А я не то что ни строчки из них не читал — даже книжки ни единой не видел. Ай-яй, подумал я. Непорядок. Сейчас исправим.

Книги Стругацких я искал года три. Их не было нигде — ни дома, ни у знакомых, ни в библиотеках. Город, в котором я вырос, строился во второй половине 70 — начале 80-х, в этот же период, понятно, формировались библиотечные фонды. И именно в это время Стругацких практически не издавали.

В пятнадцать одноклассник вдруг привез от бабушки и подарил мне знаменитый «перевертыш»: с одной стороны повесть «Стажёры», с другой — «Второе нашествие марсиан». Подарил не от избытка щедрости, просто книга была совсем убитой, а ему не слишком понравилась. Меня, честно говоря, «Второе нашествие» тоже не торкнуло — молодой был, глупый — а вот «Стажёры» зашли как надо. Потом запрет на авторов вдруг растворился, и «Детлит» издал в «рамочке» «Библиотеки приключений и научной фантастики» сборник «Стажёры» с четырьмя повестями. Зеленый томик появился и у меня — и вот это оказалось попадание в сердце и любовь навсегда.

Стругацкие впрямь оказались необходимой парой, и не только к фантастике, но и к читательским представлениям об умном развлечении, прекрасном слоге, многослойном сюжете и приключении духа как достойном продолжении приключений тела.

Эти три писателя и четыре человека сделали меня как читателя и, очевидно, как писателя тоже. Но как ни странно, самую любимую мною книгу написали не они.

Написал ее Владимир Богомолов.

Бабулька приехала

«Момент истины» я прочитал лет в тринадцать. Прочитал с некоторым недоумением, как и положено подростку, воткнувшемуся не просто во взрослый, а в абсолютно непривычный, тяжелый и не слишком дружелюбный текст. Слишком много героев и малохудожественных вставок, в том числе скучных документов с дотошным перечислением фронтов, единиц техники и трех граммов изюма, которые следует выдавать в пайке личного состава вместо пяти граммов сахара, слишком тягучая интрига, слишком много рассуждений, топтаний на месте, выпуклых противокозелков и неразжеванных объяснениями кусков какой-то чужой подлинности.

А потом — р-раз, и взрыв лютой, невероятной крутизны: стрельба по-македонски, экстренное потрошение, «Бабулька приехала!». Недельная пайка эндорфина за раз. Я выхватил ее раз и другой, перечитывая только последнюю часть — и постепенно от обиды — «С какой стати такое счастье стартует лишь на трехсотой странице?» — вырос до серьезного поиска ответа на тот же вопрос. А пока искал, обнаружил, что и скучное вроде бы начало отличается неимоверным сюжетным и повествовательным драйвом. Что вполне массовожанровую историю об охоте на шпионско-диверсионную группировку, способную сорвать неожиданное наступление Красной Армии, можно рассказать так, чтобы она безоговорочно относилась к «большой» литературе. Что Богомолов первым и чуть ли не единственным показал, как один человек или маленькая группа может успешно противостоять действиям «сильнейшего государства», в то время как свое сильнейшее государство то и дело пытается все испортить. И что ответ на мучивший меня вопрос прост и замысловат: без завязки и развития нет кульминации, не погрешишь — не покаешься, третья шоколадная конфета подряд вкуса уже не имеет и так далее.

Для читающего подростка такие открытия, тем более сделанные самостоятельно, были заметным достижением. Отчасти с этим, наверное, связана любовь к книге, которая помогла с открытием. Но в основном все-таки любовь объясняется тем, что «Момент истины» грандиозен без дураков.

Пойду перечитаю.

Илья Кочергин, прозаик (г.Москва)

Главные и любимые

Трудно четко выделить главную книгу детства, поскольку детство — это большая эпоха, это целая античность или, может быть, средневековье, границы его как-то размыты. Ради удобства детство иногда приходится дробить на раннее, зрелое и на позднее — когда ты уже думаешь, что стал совсем взрослым, а окружающие вздыхают и качают головой, глядя на тебя. Иногда даже возникают сомнения, что детство закончилось, поскольку все никак не приходит ностальгия по нему. Но все же думаю, что оно завершилось, раз книги уже не действуют на меня с такой необыкновенной силой, как это было когда-то.

В шесть лет со мной что-то сделал Генри Уодсворт Лонгфелло, которого смог еще и улучшить в переводе Иван Бунин. Моя бабка водила меня каждый день в лес рядом с нашим домом в Тёплом Стане, показывала дупла, в которых прятались лесовики, строила для меня запруды на ручьях и устанавливала на них крутящиеся мельницы из сухих травяных стеблей, собирала иногда какие-то растения, а вечерами мы по очереди читали друг другу «Песнь о Гайавате». Мы даже в лес часто ходили с книжками в авоське и читали, сидя на корнях огромного дуба, помнящего еще князей Трубецких, по поместью которых мы совершали наши прогулки.

Бабка поздно начала читать и в то время, выйдя на пенсию, активно наверстывала упущенное. Даже сейчас, когда ей исполнилось 97 лет, когда она уже имеет праправнуков и когда глаза совсем ослабли, ее часто можно видеть стоящую перед подоконником с открытой на нем книгой. Она полюбила читать стоя.

Так вот Лонгфелло что-то сделал со мной, «Песнь о Гайавате» стала одной из главных книг на всю жизнь. В двадцать лет я отправился расширять свою географию и вскоре нашел место, которое полюбил на всю жизнь, в котором обрел прекрасных друзей, прожил чудесное время и которое навещаю до сих пор.

«Средь долины Тавазэнта,
В тишине лугов зелёных,
У излучистых порогов,
Жил когда-то Навадага.
Вкруг индейского селенья
Расстилались нивы, долы,
А вдали стояли сосны,
Бор стоял, зелёный — летом,
Белый — в зимние морозы,
Полный вздохов, полный песен».

Если, бормоча эти строки, ездить по нашей большой стране в поисках лучшего места на свете, то рано или поздно наткнешься на деревню под названием Язула, где стихи четко совпадут с пейзажем. И тебе придется лишь поменять *долину Тавазэнта* на *долину Чулышмана*, а *индейское селенье* на *алтайское селенье*. И даже свой сказочник Навадага живет в этом селенье, только его немного по-другому зовут.

Ясно помню еще одну книжку из дошкольного возраста — о приключениях Алдара Косе, находчивого и веселого героя казахских народных сказок. Рыжая такая обложка. Почему так, почему именно казахские сказки? Да просто случайная книжка. Никогда не поймешь, что понравится ребенку, а что пройдет мимо его сознания. Моей очередной детской мечтой стало проехать верхом по желтой выгоревшей траве, а потом войти в юрту и отведать жирные, румяные боурсаки. Мечта исполнилась

именно так, как я и хотел. Я работал тогда в Алтайском заповеднике. Мы весной во время патрулирования перевалили через заваленный снегом перевал в соседствующую с заповедной территорией долину, где пасли скот несколько казахских семей.

Я слез с коня, привязал его к коновязи рядом с кошмяной юртой, вошел и занял место для гостей. Хозяйка налила чай и выставила тазик, скорее даже таз, именно с такими боурсаками, о которых я грезил — жирными и румяными. На всякий случай, чтобы я не разочаровался в детской мечте, она поставила рядом чашку с топленым маслом, которым можно было дополнительно умащивать эти жареные в жиру шарики из теста. Мы в том походе жили впроголодь, перебиваясь случайными утками и куропатками, обещанные продукты нам не подвезли, и детская мечта воплощалась в жизнь необычайно сладко.

Тазик опустел за пять минут. Мы перекололи хозяйке все дрова, наносили воды, промучались два часа, вытаскивая из ледяной воды ручья свалившуюся туда корову, покрытую паршой. Нам сказали спасибо и напоили чаем еще раз, но тазик так и остался пуст. Тогда мы попрощались с хозяйкой и, уезжая, предложили сфотографироваться на память всем вместе и по раздельности. Хозяйка повязала новый платок, сменила рабочую куртку на чистую.

— Проходите, чай пейте, — сказала она после фотосессии, и в открытой двери юрты замаячил заветный тазик, снова наполненный с горкой румяными, жирными боурсаками.

В раннешкольный период детства из долгого плена романов Дюма и Жюля Верна меня неожиданно вырвала абсолютно никому не известная книжка зеленого цвета со скачущими русаками на обложке.

Иван Арамилев. На охотничьей тропе. Детгиз, 1952, Москва-Ленинград.

Прелесть ее, кажется, заключалась в том, что автор писал для детей, обращаясь к ним вполне по-взрослому. В первой же главе описывалась жуткая сцена притравки лаек по медведю, закончившаяся смертью зверя и отстрелом негодных собак, после которой мальчик обещает себе никогда не становиться охотником, но недолго противостоит соблазну охоты. По-взрослому с большой тщательностью были выполнены и иллюстрации.

Пожалуй, эта книга в моей жизни заняла первое место по количеству перечитываний. Вкупе с Фенимором Купером и подшивкой журнала «Охота и охотничье хозяйство» она сделала так, что к двадцати пяти годам я прочно обосновался на таежном кордоне, оброс хозяйством, доил свою корову, выпаивал телят, проводил массу времени в лесу с ружьем и не думал о перемене судьбы.

Но видно последней главной книжкой затянувшегося детства явился сборничек французской поэзии в современных переводах. Там, в заповеднике, вообще попадалось много разной неожиданной литературы. В маленьком зимовье в урочище Сайгоныш мне и встретился тот сборник с Бодлером и Малларме, кажется, там был еще Жак Превер и еще кто-то.

При достаточно сильном информационном голоде и мясной диете французские поэты всего за одно прочтение оказывают на неокрепшее сознание сильное действие — начинает навязчиво снится город, переполненный прекрасными женщинами. Книги нужно выбирать с осторожностью — ведь жил бы и жил себе до сих пор в тиши звенящих кедров, любовался бы закатами.

Помимо главных книг я в разные периоды детства подвергался сильному воздействию многих важных и любимых книжек. Мною была полностью истрепаны и замусолены «Любовь Адама и Евы» — комикс Жана Эффеля; «Шерлок Холмс» Конан Дойла, даривший цепенящее чувство уюта квартирки на Бейкер-стрит; Василий Ян, подтолкнувший меня расширять свою географию именно на восток; Владимир Соловьёв со своим солнечным Ходжой Насреддином; легенды о рыцарях Круглого

стола (не помню автора, помню только зелёный цвет обложки) — непрерывно куда-то едущих без четко сформулированной цели, совершающих подвиги по наитию.

Должен, конечно, упомянуть Волкова с его Изумрудным городом и деревянными солдатами, Стивенсона, умевшего влюбить читателя в ужасного убийцу — Джона Сильвера, Вальтера Скотта, после которого я усвоил, что самые красивые волосы бывают у женщин, моющих голову в ледяной воде горных ручьев и сушащих ее на ветру с вересковых пустошей, Олега Куваева, «Территории» которого я однажды пытался отомстить, справедливо подозревая вину этой книжки в моей не слишком размеренно и гладко идущей жизни. Рубанул книжку топором, такой она и стоит в моем шкафу — подраненной, такой ее прочел мой сын.

Среди причуд детского восприятия — любимая многотомная «История француженок» на непонятном мне французском языке, забавно иллюстрированный «Русско-монгольский словарь фразеологизмов и устойчивых выражений» (даже сейчас помню его название — «Орос хэвшсмэл хэллэгийн зурагт ном», хотя возможно, ошибаюсь буквой-другой), Словарь иностранных слов и конечно Большая Советская энциклопедия (синяя). С этими книгами я провёл много хороших дней.

Наверно многое забыл упомянуть, но они там, внутри, крепко сидят, главные и любимые.

Анастасия Орлова, поэт (г.Ярославль)

Я расту

Как же печально, что все мои детские книги были утрачены при многочисленных переездах!

Я хочу рассказать об одной из своих самых любимых книжек, потому что в ней одной заключено многое. Это сборник «Я расту»:

А я не знаю, что я расту
Всё время, каждый час...

Белая крупная книга с рельефными буквами «а» и «б», которые так приятно изгибались под пальцами, а в правом нижнем углу сосредоточенный маленький мальчик в красной рубашке. Я на ней застревала. Читала и перечитывала, читала и перечитывала, читала и перечитывала. А было чем увлечься: самые отборные стихи Барто, Чуковского, Берестова, Маршака, Хармса, Мошковской, Михалкова, Сефа, Сапгира, Игоря Мазнина... Сборник был искусно составлен, замечательно проиллюстрирован командой художников. Но магия была не только в подборе стихотворений, не только в замечательных картинках, а еще и в том, как вели себя в книжке буквы: они увеличивались, уменьшались, подпрыгивали, плясали, кувыркались, следовали за стихотворением. Это завораживало невероятно!

Я никак не могла найти эту книгу в интернете, потому что стихотворение «Я расту» крайне известное, а кроме названия я про нее ничего не знала. Но как всегда, Фейсбук творит чудеса: по описанию обложки один из друзей — о чудо! — ее опознал. Он прислал мне фото обложки и некоторых разворотов. Ура! Как будто встреча со старым другом!

В сборнике были и такие стихи:

Всегда мы помним Ленина
И думаем о нём.
Мы день его рождения
Считаем лучшим днём!

Но в памяти, к счастью, сохранилось совсем другое.

Теперь я знаю, что книжка выходила в 1976 и 1978 годах в издательстве «Русский язык». Сотавил книжку поэт Игорь Мазнин, а предназначалась она, оказывается, для детей, изучавших русский язык как иностранный. К ней прилагалось еще пять виниловых пластинок. Но пока книгу я не нашла. Пока. Мечтаю о ней.

Валерия Пустовая, литературный критик (г.Москва)

Паттерны Шекспира

Легко понять простого читателя, когда вспомнишь себя в детстве. Если одним словом назвать свое детское воспоминание о литературе, то это литература не размеченная. Этим летом я послушала вебинар критика и главного редактора сайта Rara avis Алёны Бондаревой о том, как подобрать героя для читателя трех-семи лет. Критик рекомендовала книги, расставляя метки — для романтиков, для девочек-разбойниц, для решения первых трудностей. Это отлично ориентирует родителя и читателя трех-семи лет вполне удовлетворит, но что происходит с выбором героя для детей постарше? В моем детстве от предков был книжный шкаф и спонтанные находки на книжном развале в Олимпийском, а критика детской литературы существовала только в фольклорной форме, из уст в уста, и, к примеру, любимые мной доныне «Хроники Нарнии» маме рекомендовал коллега, сам отец. Помню много неразмеченного, случайного — абсолютно свободного чтения. Знала ли я себя настолько хорошо, чтобы найти себе книгу по характеру? Знала ли литературу настолько, чтобы опознать на полке маст хэвы своего детства?

Осознанное культурное потребление пришло потом — вместе с навыком культурного предъявления. Умение ориентироваться в литературе — конец читательской искренности, как будто разучился читать для себя и принялся восполнять пробелы, догонять фейсбучные разговоры, показывать обложки, советовать друзьям, замерять читательские забеги: «а вы еще не?» и «а я уже». Вдруг ловишь себя на том, что манят не книги, а метки, и главная из них — имя автора, на которое в детстве обращала внимание в последнюю очередь. Помню, как заглотила будто подростковый роман о мальчике-ученом и мальчике-бродяге, «Нарцисса и Гольдмунда», опубликованный в нескольких номерах «Литературной учебы» с картинками, — и только в университете узнала, что нечаянно полюбила прозу великого Германа Гессе.

Так пришла ко мне и главная, пожалуй, книга детства, обложка которой не могла привлечь ни яркостью (серый однотон), ни названием (слово «Комедии» заметней в начале словарной статьи, чем в начале книги), ни именем автора (условный и миниатюрный портрет на обложке представлял схематичного долговолосика с бородкой — и вероятно, мог напоминать мне сказочного короля или мушкетера на пенсии, но мало что говорил о незнакомом буквосочетании «У.Шекспир»).

То есть собрания трагедий в доме не было, и триллер для тинов «Ромео и Джульетту» я прочту уже за двадцать, а перепашет меня печальной повестью и вовсе за тридцать, когда, случайно посмотрев бережную к тексту экранизацию, я почувствую

решимость на бунт против куцего языка любви, на котором, как мне показалось тогда, пытался объясниться со мной мой будущий муж.

А комедии были, и возрожденческая их всечеловечность — холодноватая, будто из инобытия, свобода изъяснения, не затаргетированная ни на возраст читателя, ни на его эпоху или пол, — отлично встроилась в контекст моего детского чтения.

У Шекспира шутили отстраненно и умно, как в «Винни-Пухе» Милна в изложении Заходера, девочки пускались в волшебные приключения, переодевшись мальчиками, как в «Королевстве кривых зеркал» Губарева, и царил дух светской церемонности и одновременно дружеской пирушки — оксюморонное сочетание, привлекавшие меня и в «Трёх мушкетерах» Дюма.

Низовая, трактирная, строптивая сексуальность — до сих пор помню реплику одного бойкого шекспировского кавалера: «вас, женщин, тяжесть тоже не страшит», — укрощалась изяществом остроты. У Шекспира ревновали, сплетничали, подглядывали, вожделели, высчитывали выгоду, нажирались и подличали — но все это свальное человечье греховодие искало себе изящную, точную, умную форму, и не высказанным, будто не высеченным в камне-печатке, не могло существовать.

И высекалось, да, в воображении так, что многое до сих пор помню, хотя с юности не перечитывала. Западали в мою детскую голову паттерны Шекспира.

Прежде всего — очень по нутру пришедшееся мне представление, что история самой нежной и счастливой любви укладывается в череду острот. Мужчина словами бряцает — женщина поводит томно, и чем изощреннее и щедрее потратят они слова на то, чтобы сбить с партнера гендерную спесь, тем горячее, значит, их роман. В комедиях — в отличие от трагедий — болтают будто нарочно мимо, рассыпая бисер, чтобы умолчать о сокровище, сотрясая воздух впустую, чтобы не проговориться о главном. «Много шума из ничего» — моя любимая в детстве комедия, где груз легкого и остроумного разговора несли на себе два второстепенных персонажа, пока главные страдали, тупили, притворялись мертвыми и оплакивали мнимую потерю, — в общем, любили, как Ромео Джульетту, но куда скучнее, — эта комедия сейчас кажется трепом, заваливающим мелким щебнем ход к страху. Вся она о том, как жуткое и непоправимое не случилось — но всем досталось в него поиграть. Ровно на ту долю включенности, чтобы неистовые одиночки Бенедикт и Беатриче смогли присолить свою пустую болтовню парой участливых слов и на том сойтись наконец в брачном союзе.

Нужно ли говорить, как мало после такого образца, усвоенного в детстве, я, повзрослев, могла доверять любви без слов. И как неистово меня несло отозваться на зов трепача.

Кроме того, запало в ум, что большое и светлое чувство приходит вопреки желанию, установкам и первоначальной склонности. Это сегодня мне видно, что Бенедикт и Беатриче доводили друг друга остротами до почти полового изнеможения, а тогда я верила их словам, что они и знаться не хотят, как козел с волчицей. Запомнилось задолго до знакомства с Джейн Остин, которая возвела этот паттерн в золотое правило романтической страсти, — что любовь торжествует через слом предубеждения. И стало быть, можно легко поверить в блестящую перспективу отношений с парнем, который отчетливо не привлекает.

Беатриче запала в душу шуточной жалобой, которой я прониклась, как исповедью: а мне, говорила, бедной чернушке, останется только сидеть и молить — дайте мне мужа.

За тридцать я прочту книгу о женщинах, которые чувствуют себя бедными чернушками в ожидании неведомого мужа, — «Женщины, которые любят слишком сильно» (Робин Норвуд), — и пойму, что это была самая несмешная реплика в любимой пьесе.

Чернушкой представлялась и ни разу не остроумная Катарина из «Укрощения строптивой» — которая жизнь и близких изводила на то, чтобы вывести на чистую воду

свою сестру Бьянку, общую любимицу. Тяжкой яростью Катарины двигало, как я чувствовала уже тогда и в чем сознательно убедилась теперь, то же самое, что провоцировало Беатриче на задорные любезничанья. Внутреннее убеждение, что мужа ей не дадут — что любви она не достойна, черная, строптивая, странная, не умеющая притворяться в отношениях иной, чем есть.

Я чувствовала родство с шекспировскими чернушками и ждала своего Петруччо, как невероятного избавителя от одиночества, который смело перенесет любые мои недостатки.

Вот кто в комедиях мужик, да, Петруччо — вполне попадающий в паттерн того самого настоящего мужика, который в чувствах неуязвим. Он смел, великодушен, жизнелюбив, умен и силен, и его нельзя поранить любовью. Сложность любовной многоходовки, в которой Петруччо прикидывается бревном, чтобы протаранить путь к женской ласке, — и тем самым доказать, что нуждается в нежности не меньше, чем поспорившие с ним о покорности жен сотрапезники, — открылось мне позже, в черно-белой советской экранизации пьесы. Как и тот факт, что в браке с таким вот, настоящим мужиком придется смириться с тем, что Катарину он берет одной — а любит и лелеет другой, измененной, будто переменив жену, как лошадь, на брачной переправе.

Тем кто чувствует себя чернушками, нравится, когда мужчины их переменяют. Выбирают черненькими — и делают беленькими.

В Катарине манила ломовая прямота чувств — и пугала. Она будто всходила на костер ярости, принося в жертву свою красоту, лишь бы не пойти на поводу у желания нравиться — как «кокетка эта Бьянка».

Я верила, что сильная Катарина найдет покой, когда встретится с превосходящей силой Петруччо. И искала эту превосходящую силу сама.

Как много прошло лет, тренингов, сердечных драм, обид, стыда и страха, прежде чем я научилась уважать в человеке его нежность, а в отношениях — язык молчания и покоя.

Нежность, молчание, покой — язык принятия, на нем комедия не говорит. Комедия ломается, противится, улещает и заушает, задирает и дергает. Комедия — язык бунта.

В том числе — против своей натуры. Как разметить героев для юного читателя, если первое же сомнение: какого пола будет герой? — разрешить затруднительно. Книги для девочек-разбойниц читают, оказывается, и мальчики: муж признался мне, что в детстве любимой книгой у него была «Рони, дочь разбойника» Линдгрен, которую я, узнав такое, впервые прочла в свои тридцать пять. Ну а многие девочки в детстве примеривают на себя приключения героев-мальчишек. Есть разница: влюбиться в Питера Пэна или так увлечься образом, чтобы видеть себя на его месте.

У Шекспира и выбора нет: в детстве я, нацепив, как камзол, мамину черную импортную блузку — изначально блузка была розовой, но однажды мама застала меня в ней с огромным масленым пятном на груди, «будто блин обняла», — сетовала она и отдала блузку на перекрас, — так вот, в маминой блузке до колен я часто играла в принца Гамлета потому, вероятно, что роль Офелии мне представлялась слишком жалкой. В комедиях переодевание героини так эффектно выталкивало ее в главные и решительно действующие лица, что не переодетые женщины, красавицы и властительницы, казались пешками в чужой увлекательной игре. В «Двенадцатой ночи» очевидно, что Оливия пленительней и могущественней переодетой Виолы, но и сама своей красотой и саном пленена: знай сидит в замке, к любимому подсылает слуг и томится от гордости и внезапной страсти. Тихая Селия в «Как вам это понравится», даром что родная дочь захватившего власть герцога, беспомощна и бледна рядом с Розалиндой, заставившей любимого ухаживать за собой в мужском обличье.

Но самое далекое и глубоко повлиявшее на меня смещение идентификации даже

не в том, что главные герои комедий не верны себе, как околдованные любовники из «Сна в летнюю ночь». А в том, что больше, чем любым из главных героев комедий, мне хотелось быть единственно постоянной у Шекспира величиной: шутом, который верен себе и смотрит на метания героев бесстрастно и с легкой песенкой на устах, будто сам драматург.

Помню едва не потасовку с одной из главных — модных, богатых, продвинутых — девочек класса. Девчоночьи разборки расписаны на языке комедий — это мальчики рискуют, как Меркуцио и Тибальд. Напрочь забыла причину конфликта — а логически ее, как водится, и тогда нельзя было установить. Но помню, что была в моих отношениях с группой модных и продвинутых девочек какая-то ревность — не исключено, что мы выясняли, кто из нас больше соответствует паттерну девочки, человека и главной героини. У меня, которая находила повод для бенефиса в роли меланхоличного шекспировского шута, видимо, не получалось корректно встрять в соревнование за звание девочки правильной и главной. Апогей этого самоощущения пришелся на студенческие годы, когда я узнала, что свою отклоненность от статичного главного образа можно культивировать. С одним кавалером юности я разругалась вдрызг, когда он посмел назвать меня «обычной девушкой».

Прошло много лет, тренингов и далее по списку, прежде чем я приняла себя как вполне женщину и главную героиню своей жизни. Когда на рок-фестивале, решившем судьбу нашей любви, я спросила у тогда ещё совсем скупо изъяснявшего свои чувства будущего мужа, кажусь ли я ему странной, — и получила удивленный ответ: нет, — то успокоилась и поверила, что он меня глубоко понимает.

Отвечая на вопрос о книгах детства, я, в том числе называя «Комедии» Шекспира, обычно говорю, что они научили меня смеяться. И только теперь поняла, как многому важному, помимо того. И хотя с паттернами Шекспира, перерастая детство, пришлось расстаться, я до сих пор люблю и помню его комедии, будто лучшие сказки. Сказки о том, что всерьез раздумывать о жизни способен только тихий шут, — а остальным приходится много бегать, болтать и бузить, чтобы переждать свои дни легко и незаметно, как за чтением шекспировской комедии.

Алексей Сальников, прозаик, поэт (г.Екатеринбург)

Всё собрать

Вообще, удивительно, сколько всякого непредсказуемого читалось в детстве, выкапывалось в школьной и поселковой библиотеках, будто само собой покупалось в двух книжных магазинах (опять же поселковом и в деревне неподалеку). Сначала вспоминается такая почти тетрадка, где были упражнения утренней гимнастики, которой так горячо и внезапно пожелал завладеть, что тут же, что называется, нааскал нужные десять копеек у прохожих (причем никто сразу не дал нужную сумму, пришлось спросить у нескольких). Поселок у нас невелик, этим же вечером весть, что сын просит милостыню, долетела до матери, а ее тумаки долетели до меня. Это было еще до школы.

Затем, лет в восемь-девять-десять, учебники по географии старших родственников, «Книга юнармейца» и «Кондуит и Швамбрания», подтолкнувшие к рисованию карт выдуманных государств с отметками высот, болот, колодцев и полезных ископаемых.

Тогда же была взята в библиотеке книга «Поиски жизни во Вселенной», и, насколько помню, мы ее потом с другом брали по очереди, потому что было очень нужно, чтобы она была у нас на руках. Не обошлось и без специально состаренной карты клада, которую как бы нашел, несколько одноклассников как бы поверили, что это настоящая карта (а может, и поверили), и ковыряния земли в лесу.

Купил случайно «Баловень Каиссы», потому что нужно было что-то делать с набором дорожных шахмат, почти сознательно был приобретен «Военно-морской словарь для юношества» (потому что Крапивин), но из него была сделана игра с хитрой системой бросаемых кубиков из пластилина, способных указать на любую статью в словаре и привязки слова из статьи к удлиняющемуся рассказу о морских приключениях. Из того же времени «Следопыты в стране анималькулей» и «Атлас-определитель беспозвоночных». Ох, последний особенно скрашивал летние каникулы, когда друзья пропадали по бабушкам и пионерским лагерям.

Много было всего. «Герой Саламина» Воронковой с иллюстрациями Ильинского, а с ним и учебник по истории древнего мира, который подарила двоюродная сестра. Всякие художественные книжки, иногда очень удивительные: о сыне беглых революционеров в еврейском местечке (сейчас попытался найти эту книгу в интернете, и лучше бы не искал, но помню, что у главного героя был непутевый друг, и был там силач по кличке Доля), еще одна перечитываемая многократно книжка про, опять же, сына беглых революционеров в Одессе, при этом не «Белеет парус одинокий». Год за годом как бы штурмовал рассказ «Лев и собачка», пытаясь, чтобы не было слез в конце, возмущаясь слову «издох».

И вот однажды, в средней школе уже, в самом ее начале, наткнулся в магазине на невзрачную толстенькую книжку в бумажном переплете, коричневую, кажется. Между страницами с краткой аннотацией, именем редактора и непосредственно началом самой книги было небольшое стихотворение, начинавшееся: «Три кольца владыкам эльфов под высоким небом», а кончавшееся так, что я сразу дошел до кассы и расплатился. Это был просто гипноз.

В начале книги имелась предыстория, поднявшая что-то из глубин памяти, чувство, что этакое где-то уже читал, и да, читал, оказалось, «Хоббита», но особого впечатления он в свое время не произвел: ну, сказка и сказка, видали и получше. Тот же «Продавец приключений» Садовникова был буквально затерт до дыр. «Мио, мой Мио», опять же, и прочитан и просмотрен в кино (а помощник Мио почему-то так запомнился, что спустя много лет был узнан в кино с приятным чувством встречи со старым знакомым), да те же истории про Эмиля были гораздо интереснее. А тут, от волнения, что кроме первой книги ничего нет, был раскопан в библиотеке и «Хоббит».

Лев над трупом дохлой собачки был потеснен с пьедестала самых трогательных моментов и был заменен на двукратно играющий нервами эпизод, в котором, во-первых, Гэндальф падал в бездну со словами: «Бегите, дурни!», во-вторых, сборная хранителей кольца выбегала, наконец, из Мории, а глава заканчивалась так: «Бой барабанов затих».

Было, конечно, предчувствие, что такие герои просто так не окочуриваются, тем более, волшебники, но неизвестность угнетала. Благо недолго, потому что в поселке появилось местное кабельное телевидение, там стали крутить все подряд: от «Крепкого орешка» до хентая (и японщина, в некотором смысле, произвела впечатление не меньше, чем история про кольцо), показали в итоге и мультфильм Ральфа Бакши, который развеял некоторую неопределенность, от Гэндальфа серого не осталась и следа, конечно, а белый производил впечатление укуренного хиппи и породил неловкое ощущение, которое можно было описать словами: «Лучше б ты не воскресал!». Но вторую книгу, все же хотелось.

На работе у мамы появился человек, который помимо своих рабочих обязанностей на свиноферме еще и торговал книгами и доставал всякие книжные новинки. Так, по

наитию, мама купила мне «Звездных королей» Гамильтона и еще что-то такое. Не особо надеясь на успех, попросил ее осведомиться у книготорговца насчет «Властелина колец», и, хоп, довольно быстро синяя книжка с названием «Две твердыни» у меня появилась, в конце нее Фродо попадал в плен. Третью книгу обещали достать, а пока ее не было, вторую успели прочитать все, что называется, причастные.

Времени между второй и третьей книгой прошло довольно много. Власть уже, кажется, успела смениться окончательно, несколько городов были переименованы, а в Свердловской области появились многочисленные культы самого различного рода. Кастанеда читался тогда, как Фенимор Купер, факт того, что на Урале не растут галлюциногенные кактусы, и невозможность повторить то, что описывалось в книге, заставляли нас с друзьями грустить. Почти у каждого на книжной полке оказались «Дианетика» и «Бхагавад-гита». Да что говорить? Кришнаиты давали концерт у нас в школе, и я с трудом сдержался, чтобы не сбежать с ними, потому что девушка-гитаристка-солистка была у них прямо милаха, невозможно прекрасная. У мамы друга имелась книга «Тайная магия» тиражом пятьсот тысяч экземпляров. Почти каждый ребенок в поселке заказал по почте и получил бесплатный экземпляр «Евангелия для детей» с цветными иллюстрациями. Какие-то сумасшедшие шарахались по Уралу, разнося в каждый дом самодельные брошюрки о ГУЛАГе и жестоких пытках НКВД. Плюс, как на грех, именно в Екатеринбурге убили царя. На втором канале, где были местные новости, развивалась эпопея с поисками останков царской семьи, диспутами — они это или не они, призывами покаяться и крестными ходами. Радио не отставало и тоже поддавало жару.

К чему я веду. Просто однажды, увидев на столе книгу «Возвращение государя», я решил, что это опять приволокли что-нибудь сектантское, тем более, неподалеку была новость, что Мария Романова не против занять российский престол, если такова будет воля народа. Подумал, что книга как раз об этом: о плюсах возвращения монархии в Российскую Федерацию. То, что о плюсах — был уверен на сто процентов. Как раз такой момент времени выпал, когда у монархии были только плюсы. Слушая Талькова: «Листая старую тетрадь расстрелянного генерала», люди всегда нахмуривались, этак слегка кивали, дескать, да-да, все так.

Что со мной было, когда зацепился, наконец, взглядом за имя автора на обложке, — не описать. А что было с нами всеми, когда почти сразу же после того, как была прочитана третья книга, «Северо-Запад» выкатил двухтомник Ника Перумова с продолжением всего этого дела!

Сейчас все привыкли, выдрессированы книгоиздателями и сценаристами, «Светлячком», «Каслом», «Ходячими мертвецами», Мартином и Роулинг, но тогда это чувство постепенного овладения, часть за частью, законченным произведением — было внове.

Тамерлан Тадтаев, прозаик (г.Цхинвал)

«Ему нельзя пить, курить, есть свинину и читать Гоголя...»

Мое увлечение литературой началось со школы, с произведений Лермонтова. Его «Герой нашего времени» потряс меня, и я стал подражать Печорину, благо некоторое сходство с ним, как мне казалось, у меня было. Вот только усы не росли, хоть и брил я над верхней губой чуть ли не дважды в день. Ладно, рано или поздно все равно

отрастут, а пока, накинув на себя личину скучающего аристократа, я зевал в лицо своим одноклассникам или нарочно засыпал на уроках на глазах учителей, этих жалких плебеев. Княжну Мери я совсем не понимал: вместо того чтобы влюбиться в меня и страдать, она строила глазки Грушницкому, и однажды на перемене я вздул его прямо перед этой дурой, но любви ее так и не добился. Зато с Белой у нас все было как нельзя лучше. Не раз мы удирали с уроков в кино, и там, в полупустом зале, в перерывах между поцелуями я нашептывал ей отрывки из «Демона»: *недолго продолжался бой, бежали робкие грузины...* Чмок. Хочешь ещё? Давай. *Скакун лихой, ты господина из боя вынес, как стрела, но злая пуля осетина его во мраке догнала.* Умница, шептала Бела, только тебе надо избавиться от этого жуткого акцента.

Иногда я заходил к тетке, попить чайку с бубликами, и незаметно клал в ее чашку таблетку слабительного. Ничего не трогай, говорила она, выбегая из комнаты. Конечно, тетя, бормотал я, вынимая из ее кошелька рубль, реже трешку. Однажды тетка выбежала в туалет вместе с кошельком, и так как я не привык уходить от нее с пустыми руками, прихватил томик Гоголя в зелнной обложке. Сдув с него пыль, я прочитал «Портрет», «Страшную месть», «Вия» и заболел. По ночам я боялся спать, потому что во сне ко мне являлся горбатый колдун и начинал душить. Потом он повадился прилетать в гробу с панночкой, и они вдвоем начинали кусаться, да так больно, что я кричал и будил всех в доме. Мать, видя в каком состоянии я нахожусь, забеспокоилась и в один прекрасный день отвезла меня в Тбилиси к какому-то профессору, который сначала отбил мне коленки молотком, а после выписал какие-то микстуры. «Ему нельзя пить, курить, есть свинину и читать Гоголя», — наказал он матери на прощание...

Айгерим Тажи, поэт (г.Алма-Ата)

«И снова наступит весна...»

В детстве мы постоянно собирались с сестрами и подружками у нас дома и читали книги. Книги брали в серванте, наполненном литературой до предела, или в отличной детской библиотеке неподалеку. Эта библиотека была удивительной, в ней всегда находилось то, что нужно. Любимое здание, откуда мы приносили сразу по шесть книг на человека — целую книжную башню, пряталось в маленьком районе под названием Гормолзавод на окраине Актюбинска. Настоящая сокровищница тех лет.

Мы обычно сидели вместе в одной комнате, но каждый читал свою книгу. Мама в шутку называла наше маленькое книжное сообщество «избой-читальней». Мы не только не мешали друг другу своим присутствием, наоборот — часто один из нас мог громко расхохотаться над смешной историей. Окружающие тогда отрывались от чтения и просили рассказать, что же такое интересное встретилось на страницах. Слушая, обычно все давились от хохота, хотя по отрывку, наверно, ничего и не было особо понятно. Но тогда мы что-то понимали. Когда же кто-нибудь тихо плакал над очередной жалобной книгой, другие делали вид, что ничего не замечают.

Что же делают книги с ребенком? Не знаю точно. Трудно выразить. Но отчего-то с теми детьми, которые тоже грустили над «Белым Бимом Чёрное Ухо», сочувствовали страданиям Эндера, мечтали встретить Субастика или отправиться тайно в путь, как Бильбо Бэггинс, с теми, кто был и остается в сердце такими детьми, всегда чувствуется родство.

Даже в возрасте «за 30» можно вместе смеяться, просто вспомнив фразу из, допустим, повести «Моя семья и другие звери» Джеральда Даррелла. Она срабатывает как пароль для узнавания. Достаточно пары слов, чтобы каждый восстановил в памяти отрывок из книги. Вспомнишь вдруг «Пончики, пончики целые вагончики!» из «Приключений Гомера Прайса», и уже кто-то заканчивает: «Чики-пон, чики-пон, нет для пончиков препон!» Как же легко общаться, когда есть такие общие культурные коды между людьми.

Иногда задаюсь вопросом, почему разным людям литературные персонажи могут воображаться одинаково. Бывает, смотришь фильм и внутренне возмущаешься (а в детстве и до слез доходило), что какие-то герои выглядят не так, как представлялось. И все, киноистория не удалась. Я помню фильм про Пеппи Длинныйчулок, который мы долго ждали. И каково было наше разочарование, когда мы увидели не любимую героиню, а девочку-незнакомку. До сих пор предпочитаю сначала читать новую для себя книгу, а потом смотреть снятое по ней кино.

В детстве мы читали, и незаметно для нас приходило внутренне понимание того, как это жить — когда обстоятельства другие или мир другой, какой выбор делать, куда идти. Проказник Карлсон учил нас: «Пустяки, дело житейское!» Пеппи Длинныйчулок — смелая независимая девочка, подсказывала, что если уж решил полить цветы, то никакой дождь не помеха. Чиполлино, мальчик-луковица из бедной семьи, боролся за справедливость. Андерсоновский садовник мог увидеть красоту цветка на грядке в огороде. Йо Мадьярок, гигант из железа, улыбаясь, мол, знай наших, сам себя плавил на металл.

Я много раз перечитывала книгу «Незнайка на Луне». Когда-то мне казалось настолько нереальным то, что происходило в обществе на Луне, что было не страшно, а весело читать об особенностях лунной жизни. Дай монетку-сантик в гостинице «Экономическая», чтобы включилась вода, еще сантик, чтобы появились кровати, сантик за постельное белье, сантик, чтобы загорелся свет. Жадные богачи и продажные полицейские выглядели забавными, мы же понимали, что коротышки-то их точно проучат. Голод Незнайки был временным, как и болезни Козлика. А остров Дураков — так, просто приключение перед спасением. Все казалось странным, но несерьезным, потому что мы верили в то, что подобное возможно только на сказочной Луне, а не на Земле, и зло будет точно побеждено добром. А потом... не знаю, был ли Носов провидцем, но более полувека назад он описал то, что творится в мире сейчас. Отброшу сравнения. Для меня очевидно главное — автор вложил в читателей веру в то, что даже коротышка Незнайка может справиться с такими проблемами, нужно только не унывать, верить в друзей, быть честным.

Или герой книги Джеймса Крюса Тим Талер, продавший то, что ему казалось неважным, — свой смех. Пугающая история, в которой мальчик попал в жестокий взрослый мир, где правят нечестные деньги и мрачная власть. И ясно видно, что же важнее в жизни — внешнее благополучие при пустой душе или внутреннее счастье и чистота. Такие книги полезны всем, но как же они влияют на еще маленького человека. Читать, сопереживать и самому, наверно, еще несознательно, делать выбор, единственно правильный. А потом расти, развиваться, исходя из этого выбора. И каждая книга раскрывает перед читателем дороги, а он, откликаясь на то, что прочитал, строит себя, будущего. И мне не хочется верить, что можно сострадать в детстве Тиму, а потом вырасти и превратиться в его злейшего врага.

В пять лет мне подарили книгу Пауля Маара «Семь суббот на неделе». Тогда мне захотелось, чтобы у меня тоже появился свой Субастик. Несмотря на юный возраст, я понимала, что он выдуманный, «из книги», но детская фантазия так интересно работает, что это знание не помешало одновременно верить и в то, что если немного

постараться, то он обязательно придет. В книге он появлялся после нескольких совпадений подряд, например, в понедельник визит друга по фамилии Понеделькус, во вторник занятия с соседом-второгодником и т.д. до пятницы без перерыва. И тогда в субботу приходил он — Субастик. И с ним можно строить МДС — машину, доставляющую сосиски, проказничать, исполнять мечты. Мечты... Я пыталась вспомнить, что мне тогда хотелось. Наверно, многого, как любому ребенку. Странно, но единственное, что помню — мечталось, чтобы в нашем городе появился прекрасный сад. А у меня — собака. Я много раз пыталась сделать так, чтобы совпадения случились, а за ними и чудо. Но важное условие — подряд, было слишком трудным. Субастик тогда не пришел. Но потом у меня все-таки появилась собака, лучшая в мире собака. И несмотря ни на что мечтать я не разучилась. И — да будет сад.

Мне так нравилась книга про Субастика, что, однажды увидев ее в магазине, я купила около десятка экземпляров и раздала знакомым. Спустя много лет, стояла, единственная взрослая, среди толпы немецких детей в Германии на встрече с автором Паулем Мааром. Тогда писатель нарисовал мне на обложке книги личного Субастика.

А еще детские книги — это ностальгия. Такая же, как открытки из прошлого. Как давние фотографии. Хрупкие бумажные письма. Воспоминания. Запахи. Я это четко ощутила во взрослом возрасте, после переезда из родительского дома в свой, когда попыталась заново собрать библиотеку из любимых книг, в том числе детских. Попав в книжный магазин, я не сразу, но поняла, что новые издания не вызывают у меня того чувства родства с книгами, какое вызывали мои «книжки-старушки». Что-то важное зацепилось в памяти, что екает даже просто от вида знакомой обложки.

Как же все-таки на меня повлияли детские книги? Они до сих пор на меня влияют. До многих книг я добралась только во взрослом возрасте. Пару лет назад, например, открыла для себя роман-сказку Ричарда Адамса «Обитатели холмов». Эта книга выглядит детской, но она о борьбе за выживание, о смерти, об обретении дома, о поиске себя самого. Другие книги — понравившиеся еще в юности — я перечитываю и сейчас. На удивление мир детской литературы мне кажется иногда более настоящим, чем тот — из газет и ТВ. И чувствую, что переживания за судьбу сказочных существ, фантазийных персонажей из иных вселенных и крошечных миров так же сильны, как и много лет назад. Сказки про Муми-тролля, особенно зимняя часть, по-прежнему вызывают ощущение странной печали, даже тоски, от которой почему-то хорошо внутри. Вот снова за домом палатка Снусмумрика — странника, всегда появляющегося неожиданно и так же неожиданно исчезающего. Все так же Муми-мама прячется в саду, нарисованном на стене. Не останавливаясь, бродят по свету Хатифнатты, безмолвно, бесцельно. Муми-папа печалится на маяке на пустынном острове. А где-то недалеко воет Морра. В который раз просыпается дома Муми-тролль в страхе и одиночестве, а вокруг царит зима. Он попадает в незнакомую жизнь с новым окружением, где приходится заботиться о других существах, спящих родственниках, предке. Где привычный мир становится чужим. Где все время ждешь весны, но зима длится бесконечно долго. Где (сейчас я уже это понимаю) он, будучи ребенком, внезапно становится взрослым. Но это сказка, и потому для Муми-тролля, что бы ни случилось, снова наступит весна.

Саша Филипенко, прозаик (г.Минск)

«Никаких сказок я не помню»

Признаваться в этом на страницах большого литературного журнала страшно, но важно — любимой детской книги у меня нет. В детстве я категорически не читаю. Нет-нет, уже с малых лет я понимаю, что книги являются для меня источником обогащения — бабушка прячет в нашей домашней библиотеке заначки, но прячет она постоянно в книгах разных, поэтому одной единственной и самой любимой у меня нет. Так, подобно многим нашим современным критикам, я книги пролистываю, но не читаю. Иногда, забыв в каком томе спрятаны доллары, бабушка сама просит меня «пройтись по писателям второй полки». Так мы и живем. Никаких сказок я не помню, отец мне ничего не читает. Чтобы я поскорее засыпал, перед сном мне ставят записи с выступлениями Михаила Жванецкого. Кажется, я и сейчас с легкостью могу вспомнить его знаменитый этюд о Барже. Что же спасает меня от гуманитарной катастрофы? Музыка! Я учусь в лицее при консерватории и мои первые любимые книги — произведения Рахманинова, Баха и Моцарта. Я «читаю» «Лесного царя» Шуберта и «Князя Игоря» Бородина. Думаю, это даже хорошо. В это время, как говорит Вуди Аллен, на уроках русской литературы тонуть веселее, чем слушать учителя. Из года в год Лидия Ивановна делает все, чтобы мы не читали. Одним словом, она делает все то, за что теперь я ей чрезвычайно признателен. Благодаря ей я открываю для себя русскую литературу в восемнадцать, а не в десять. С книгой у меня любовь настоящая, не по принуждению, чего не скажешь, например, о моем бедном сыне, которого я «мучаю» чтением каждый вечер. Ему шесть, и теперь я с уверенностью могу сказать, что моя любимая его детская книга — «Необыкновенные приключения Карика и Вали». Ромка, уверен, любимую книгу сейчас не назовет, а вот самое ненавистное произведение озвучит с легкостью — это «Большая элегия Джону Донну», которую папа, уверяю вас, продолжит читать и дальше, потому что великий рыжий поэт в довольно небольшом произведении повторяет глагол «уснул» пятьдесят два раза. А что может быть лучше и важнее для детской литературы?

Алексей Иванов

Пищеблок

Фрагмент романа

Часть первая

След вампира

Голова обвязана, кровь на рукаве,
След кровавый стелется по сырой траве.
М.Голодный. «Песня о Щорсе» (1935)

Глава 1. Макароны и барабаны

Олимпийские кольца укрывались даже в упругой округлости букв:
«Олимпиада-80!»

Белые полосы транспарантов были натянуты вдоль ограждения верхней палубы речного трамвайчика и по правому борту, и по левому. Правда, суденышко шло не по Москве-реке на фоне обновленного и величественного стадиона в Лужниках, а по Волге, и фоном были Жигулёвские горы, древние, покатые и покрытые кучерявым лесом. И вез трамвайчик не широкоплечих атлетов-олимпийцев, а рогожные мешки с гречкой и сахаром, картонные коробки с макаронами и сухофруктами, алюминиевые бидоны с молоком — в общем, продукты для пищеблока пионерского лагеря «Буревестник». Но вымпел на мачте кораблика развевался по-олимпийски яростно.

Иван Палыч Капустин, капитан, сидел за штурвалом, больше похожим на автомобильный руль. Поверх речной тельняшки с синими полосами Иван Палыч надел черный китель, уже изрядно заношенный, а на голову водрузил фуражку с крабом и золотым рантом. Управлять речным трамвайчиком было не сложнее чем автомобилем, но капитаны — везде капитаны. В любом из них было что-то властное, и потому Игорь Корзухин ощущал себя стесненно, как школьник на экскурсии, хотя

Алексей Иванов родился в 1969 году в Горьком в семье судостроителей, закончил школу в Перми. Автор 20 книг, изданных общим тиражом более полутора миллионов экземпляров: «Сердце пармы», «Географ глобус пропил», «Хребет России», «Псоглавцы», «Ёбург», «Ненастье», «Тобол» и др. Лауреат премий Д.Мамина-Сибиряка (2003), имени П.Бажова (2004), «Книга года» (2004), «Ясная поляна» (2006), «Странник» (2006), «Большая книга» (2006) и др.

знал Иван Палыча с детства. Иван Палыч дружил с отцом Игоря, тоже капитаном, только Александр Егорыч Корзухин командовал не галошей, то есть теплоходиком типа «Москвич», а сухогрузом типа «Волго-Дон» — огромным, почти как авианосец. Игорь сидел в рубке на месте моториста, и Капустин искоса поглядывал, чтобы пассажир не взялся за рычаг, которым переводят двигатель с обычного хода на обратный, — можно запороть машину. Перед Игорем на панели темнели циферблаты: число оборотов, давление масла, температура воды охлаждения. Игорь знал, как управляют судном, и, конечно, не стал бы дергать за рукоять: дурак он, что ли? Но Иван Палыч не доверял этому сопляку. Слишком много в юнце было выпендрежа: и джинсы, и самодельный значок с гитаристом, и патлы.

— Чего не постригся-то перед сменой? — недовольно спросил Капустин.

— Я постригся, — ответил Игорь.

Капустин, разумеется, не понимал: когда волосы закрывают уши — это и есть самый модный причесон. Еще Игорь отпустил усики, которые, впрочем, получились по-юношески реденькими. Ну и ладно. Летом надо успеть похипповать, ведь осенью в универе начнется военная кафедра, где всех заставят обтесать башку машинкой под общий скучный полубокс.

Минувшей весной Игорь окончил второй курс филфака университета. После сессии студенты-филологи отправлялись на фольклорную практику по деревням Поволжья: расспрашивали старушек про забытые обряды, записывали народные песни, местные былички и диалектные слова. На филфаке по большей части учились девушки, и поездки в глубинку всегда были наполнены любовным томлением. Шаткая ограда морали качалась под напором чувств, удерживаемая лишь воспитанием и естественной робостью. С робостью Игорь справился, а воспитание надеялся преодолеть, но в июне, к величайшей своей досаде, подхватил на Волге простуду, и в экспедицию его не взяли. Фольклорную практику деканат заменил ему педагогической: надо было отмотать одну смену вожатым в пионерлагере. Что ж, и это неплохо. Вожатыми работали студенты пединститута, точнее, студентки, потому что в педе, как и на филфаке универа, девушки тоже были в большинстве. Игорь полагал, что студентки-педагогини ничем не хуже универовских филологинь, а может и лучше, если после практики не захочется продолжать отношения.

Широкая река на ярком солнце сверкала перед носом трамвайчика, и вдали рассыпчатый блеск сливался в сплошное ослепительное полыхание. Двигатель трамвайчика глухо клокотал где-то в недрах под рулевой рубкой. Окна рубки смотрели на все четыре стороны. Возле низкого левого берега Игорь увидел растопыренную, как железный паук, землечерпалку. Ее труба, лежащая на решетчатой стреле, сплошным потоком извергала жидкую пульпу в разверстый трюм пришвартованной самоходной баржи.

— Олимпиаду в лагере-то не пропустишь? — спросил Капустин.

Олимпиада начиналась через неделю. Все ждали ее открытия с каким-то непонятным предчувствием праздника — так ждут Новый год, надеясь, что все плохое само собой отвалится и останется в прошлом. Но что особенного мог получить от Олимпиады закрытый город Куйбышев, куда иностранцев не пускали? «Фанту» и колбасу в гастрономах? Кроссовки в «Спорттоварах»? Фиг. Для СССР, исключая Москву, выгоды Олимпиады ограничивались кофтами-олимпийками и красивыми олимпийскими рублями. Игорь не испытывал ни пиетета перед всемирным ристалищем, ни какого-то нервного оживления от неких грядущих благодеяний: вообще-то их никто никому и не обещал. Однако Игорь не сказал Иван Палычу о своем скепсисе.

— Телика, наверное, в лагере нет, — дипломатично ответил он.

— Телик в корпусе, где радиокомната, — возразил Капустин.

— Откуда вы знаете? — удивился Игорь.

— Знаю, — уклончиво сказал Иван Палыч.

Игорь, сообразив, умолк. Димон Малосолов, матрос этого трамвайчика, уже растрепал, что у Палыча в пионерлагере «Буревестник» образовалась любовница — заведующая пищеблоком. Трамвайчик ходил в лагерь чуть ли не через день и часто оставался на ночь у причала, а Палыч из капитанской рубки перемещался в койку возлюбленной. Игорь позавидовал капитану: такой старый, полтинник уже, и все еще ходок. А у него, Игоря, у молодого и резвого, нет подруги даже после второго курса.

Кстати, Димон Малосолов тоже сумел завести себе в лагере девчонку — одну из вожаток. Пока Палыч дрых в койке своей заведующей, Малосолов романтически прогуливался по берегу Волги с вожаткой, но добился только потискать ее. В конце концов Димону это надоело, и он решил поменять подругу на более сговорчивую. Его ничуть не смущало, что отвергнутая избранница все увидит и поймет, и ей будет больно. Игорь завидовал столь непоколебимому эгоизму Димона. С таким эгоизмом жизнь — легкотня.

Сейчас на трамвайчике в лагерь ехали три студентки; накинув на плечи стройотрядовские куртки, девушки сидели на передней палубе среди мешков, коробок и бидонов. Игорь рассматривал палубу сквозь большие окна ходовой рубки. Коварный Димон дождался, когда одна из студенток подойдет к ограждению, и подрулил к ней вроде как покурить. Вожатка была самой невзрачной из трех — пухленькая, в очках, с русым хвостом. Типичная филологиня. А Димону того и надо было: с такой проще достичь цели.

Игорь в рубке не слышал, что там на палубе говорит Димон, однако прекрасно помнил все его уловки. Димон спросит, как бы предлагая помочь: «Девушка, вашей маме зять не нужен?» — и девчонка растает. С девчонками всегда так случается. А у Игоря краснели уши от банальности димоновских подкатов. Игорь так не мог. Ему требовалось, чтобы девчонка сама сперва заинтересовалась им. Потому, кстати, он и забрался в рубку к Иван Палычу. Вожатки в пионерлагере должны удивиться: что это за парень такой к ним приплыл — торчал всю дорогу рядом с капитаном?

Игорь был в курсе всех обстоятельств жизни Димона. Они дружили в школе с первого класса. После восьмого Игорь остался в девятом, а Димон поступил в ПТУ на рулевого-моториста. Нынешним летом их дружба возродилась: оба они поневоле болтались в Куйбышеве. Игорь околачивался дома, не взятый в фольклорную экспедицию, и курил во дворе, чтобы не ругала мама, а Димон по вечерам пил пиво на лавке у подъезда. Навигация у Димона была скучной: трамвайчик-то, в отличие от больших судов, не ходил в длинные рейсы до Москвы, Ленинграда или Астрахани. Димон жаловался Игорю на то, как батрачит у Капустина: смазывает движок и драит палубы, а на стоянках наматывает причальные концы на кнехты и дежурит вахтенным у трапа. К штурвалу Капустин Димона не подпускал. И правильно делал.

Иван Палыч направил суденышко к левому берегу мимо белого бакена, обозначающего отмель, и трамвайчик сошел с фарватера. А по фарватеру мимо медленно пронесся белоснежный «Метеор» на подводных крыльях. Он был весь устремлен вперед, словно застыл в бесконечном прыжке: неземной, фантастический, поднятый над волнами силой антигравитации. Даже в рубке Игорь услышал авиационный рев его турбин. Так звучала настоящая жизнь, в которой были небоскребы, трансатлантические лайнеры, могучие и почти разумные ЭВМ, орбитальные «шаттлы» и поиск внеземных цивилизаций, а не пионерлагерь «Буревестник» с его макаронами и барабанами.

На берегу показалась небольшая деревня в полтора десятка домиков, крытых железом или шифером: крашеные заборы из тонких планок, огороды, телеграфные столбы с перекладинами; на легком ветерке с Волги шевелились кроны лип и яблонь. Деревня, видно, считалась такой незначительной, что к ней не подтаскивали ни брандвахту, ни хотя бы понтонный причал.

— Первомайская, — пояснил Игорю Капустин. — Одни старики живут. Кто может — в лагере работает. Сторожами там, плотниками, судомойками.

— А зимой? — спросил Игорь.

Зимой-то пионеры сюда не приезжают.

— Зимой здесь профилакторий и лыжная база ДОСААФ.

За деревней в Волгу впадала речка, заросшая по берегам вербами.

— Называется Рейка, — сказал Капустин.

— Ну и название! — удивился Игорь.

— Раньше была Архиерейка. Лагерь-то — бывшие Самарские дачи. Купцы жили всякие, знать. У какого-то архиерея тоже была дача.

Игорь наконец разглядел эти бывшие дачи — нынешний пионерлагерь. Под высокими корабельными соснами вдоль берега Волги стояли сказочные пряничные теремки — причудливые, как елочные игрушки, лубочно веселые, все в кудрявой резьбе, с фигурными крылечками, с какими-то мансардами и балкончиками, с застекленными верандами, с разноцветными фронтонами, с башенками, с кровлями шатром, лодочкой или палаткой. Не дачный поселок, а выводок резвых деревянных петушков с гребешками и пестрым опереньем. Впрочем, в толпу нарядных домиков затесались и не очень нарядные — щитовые бараки и белокирпичные коробки. От Волги поселок отделялся забором из сетки-рабицы: понятно — чтобы пионеры не бегали купаться.

— Обычной дороги сюда разве нет? — спросил Игорь.

— Есть грунтовка, но ее подпор то и дело топит.

Иван Палыч имел в виду подпор Саратовского водохранилища. Весной и тогда, когда ГЭС в Балаково сокращала сброс, уровень водохранилища поднимался, и пойменные озера-старицы ниже Куйбышева разливались, перекрывая проселочные дороги на низменном левом берегу. В навигацию надежнее было снабжать лагерь речным транспортом.

— Вон уже ждут нас, — сказал Капустин, и ревун трамвайчика квакнул.

Для пионерлагеря был сооружен причал — дощатый помост, вынесенный далеко в воду. Он покоился на железных трубах-опорах, вбитых в дно, как сваи. По краям этот помост был обвешан автомобильными покрышками. Асфальтовая дорожка вела к воротам, возле которых на тумбе возвышалась гипсовая девочка-пионерка, трубящая в горн. На причале возле телеги с колесами от легковушки стояли несколько мужиков. Похоже, они готовились разгружать припасы, привезенные на трамвайчике.

Игорь сощурился, рассматривая встречающих, но никаких девчонок-вожатых на берегу не увидел. Жалко, блин! Никто и не узнает, что он плыл в рубке с капитаном!

Глава 2. Новенький в строю

Пухленькая вожатка ступила на трап с некоторой робостью, и Димон Малосолов, стоящий на причале, галантно поддержал ее под локоть, а потом мягко подтянул к себе якобы для важного и приватного разговора.

— Слышь, Иришка, у меня тут дружбека к вам в лагерь поработать прислали, а он-то не из ваших, — понизив голос, сказал Димон с приятельской откровенностью. — Прошу, ты устрой его как следует, лады?

Игорь поморщился от досады: весь рейс он с понтом провел в компании капитана, однако протекцию ему составляет матрос.

— А мне в столовке че-нито вкусненькое возьми, — добавил Димон.

Экипаж трамвайчика обычно обедал в лагере.

Пухленькая вожатка чуть покраснела от удовольствия.

— Ну, если будет, — с деланной неохотой согласилась она.

— Игорёха, забери сумку Иришкину! — по-свойски распорядился Димон. — Мне щас разную байду еще в телегу скидать надо!

Игорь не мог отказать: невежливо отказывать, нехорошо.

Вожатки поздоровались с мужиками у телеги — явно это были алкаши из деревни, подшабашивающие в лагере разнорабочими, — и пошли к воротам с гипсовой горнисткой. Игорь потащился за ними, разглядывая самодельные трафаретные рисунки на целинках, стройотрядовских куртках студенток: елки, костры и палатки, а сверху по дуге — название отряда: «Романтики». Наверное, БАМ. Хотя возможны и КАМАЗ, и Атоммаш, и Саяно-Шушенская ГЭС, и даже просто работа проводником в поезде дальнего следования. На одном плече у Игоря висел рюкзак, а в руке он сжимал сумку Ирины.

Лагерь удивил Игоря. Точнее, не лагерь, а дореволюционный дачный поселок — живописная свободная россыпь маленьких деревянных дворцов. Игорь вспомнил экскурсии по старой части Куйбышева: среди купеческих пассажей с витринами и кирпичных особняков с рядами арочных окон попадались декоративные деревянные домики псевдорусского облика. Это было какое-то завихрение модерна, его называли «ропетовский стиль». Игорь и не знал, что в тридцати километрах от города существует целое гнездовье этих кукольных жар-птичек. Можно сказать, ансамбль. Правда, его единство было безбожно нарушено казенными новоделами, и гармонию напополам рассекла заасфальтированная аллея с пионерскими стендами и газосветными фонарями. Но корабельные сосны хранили дух праотеческого узорочья.

Пухленькая вожатка остановилась и указала Игорю на один из теремков.

— Тебе в тот корпус. Оттуда Володя Киселёв уехал, а ты на его место принят. Положи вещи в вожатскую комнату и приходи в столовую.

— Меня Игорь зовут, — передавая сумку, сказал Игорь.

— А меня Ирина Михайловна, и никак иначе.

Игорь понял, что эта девица желает получить все удовольствия сполна: приятно, когда один парень клеится, а другого можно отшить.

В корпусе было светло и пусто. Пахло свежей олифой и досками. Сверху доносился невнятный шум радиоприемника. По скрипучей лестнице Игорь поднялся на второй этаж, где располагалась комната вожатых. В каморке со скошенным потолком стояли две кровати, две тумбочки, письменный стол и шкаф. Кудрявый полноватый парень, нацеливая в окно телескопическую антенну транзистора, искал какую-нибудь подходящую станцию.

— Привет, — сказал Игорь, сваливая рюкзак на пол. — Я новый вожатый.

— Вот эту койку занимай, — парень указал антенной.

Игорь переложил рюкзак на койку и протянул кудрявому руку:

— Игорь.

— Александр, — солидно ответил кудрявый.

— Филолог? — спросил Игорь. — Физик? Историк?

— Иностранные языки, инглиш.

Игорь порадовался, что сосед — не с факультета физической культуры. На физкультуру поступали в основном спортсмены, отслужившие в армии. И до армии-то они были не отягощены мозгами, а срочная только укореняла их в дуболомстве, и рабфак уже ничего не мог исправить. Эти парни чаще всего оказывались неплохими людьми, но в школу, в спортивные секции и в пионерские лагеря они тащили удобную для работы дедовщину и кондовую сержантскую мудрость: «я начальник — ты дурак»; «кто сильнее — тот герой»; «полковник сказал, что муха — вертолет, значит, вертолет».

— «Битлов» на русский перевести сможешь? — спросил Игорь у Саши.

— Знаешь, я всего такого не одобряю, — Саша кивнул на самодельный значок с фоткой Пола Маккартни. — У нас же советский лагерь.

— Понял, — сухо сказал Игорь.

Но Саша против воли покосился и на джинсы Игоря.

— А что у тебя за фирма?

Видимо, Сашины принципы не распространялись на все сферы жизни.

— «Монтана».

Увы, увы, «монтана» у Игоря была паленая, дерибасовская, на какую уж денег хватило. Однако следует надеяться, что никто не раскусит подделку.

Сашу явно удручил престижный лейбл.

— Сразу скажу, — выключая приемник, заявил он, — что не планируй приводить сюда девчонок. Я комнату уступать не буду.

— Найду, где уединиться, — хмыкнул Игорь.

Он вовсе не был ловеласом, но пусть этот Саша не корчит командира.

— Пойдем на обед. У нас тут не хиппи, все по расписанию.

Одноэтажное и безликое здание пищеблока, сложенное из силикатного кирпича, выглядело, как прачечная; впрочем, в прачечных окна заделывали толстыми плитками бутылочно-зеленого стекла, а пищеблок имел обычные окна с деревянными рамами. Снаружи оконные проемы были перекрыты решетками. Рисунок их прутьев напоминал восходящее солнце с лучами — как на гербе СССР. Над кровлей кухни торчали две черные железные трубы. Из форточки, подвывая, вентилятор выбрасывал струю горячего котлетного запаха. У задней двери громоздились ящики из-под овощей и мятые баки с объедками. Широкий главный вход поверху был гостеприимно украшен выцветшим транспарантом «Приятного аппетита!»

В столовке через просторный зал тянулись ряды столов. В простенках меж окон висели поучающие плакаты: розовощекий пионер в пилотке чистил ножом картошку; пионерка с косичками, улыбаясь, мыла мочалкой блюдо; мальчик и девочка с красными галстуками, расставив руки, вдвоем тащили тяжелое ведро. Так полагалось поступать сознательным детям.

Сейчас в столовке обедали работники лагеря, которых в смену обычно никто не замечал: несколько мужиков и теток — какие-нибудь плотники, сторожа и уборщицы; молодой доктор и пожилая медсестра — оба в белых халатах; толстый дядька бухгалтерского вида; парень в синем комбинезоне — несомненно, радиотехник. Впрочем, имелись и вожатые. Димон Малосолов пристроился к пухлой Ирине. Рядом с капитаном Капустиным на скамейку села женщина в химических кудрях — видимо, любовница-заведующая. Игорь услышал, как она негромко говорит Капустину, хлебающему суп:

— Картошку можешь себе оставить, только перебери — она здесь уже гнилая, и просуши. Рис подели пополам: три кило тебе, три — мне. А сахар вообще не трожь, я себе заберу, буду в августе варенье делать.

На раздаче Игорь взял борщ, перловую кашу и стакан с компотом, а затем вернулся на место рядом с Сашей. Обедать одному было неловко.

— Киселёв работал на четвертом отряде, и тебя туда назначат, — сказал Саша. — А я на третьем. Весь день в третьем корпусе, а живу в четвертом.

— Почему? — удивился Игорь.

— Не будут же селить парней с девушками. Это разврат.

«Моралист выискался», — подумал Игорь.

— А кто у меня второй вожатый?

— Это ты второй вожатый, — с превосходством поправил Саша. — А первый вожатый у тебя Иринка Копылова.

— Она? — Игорь кивнул на пухлую подругу Димона.

— Она. И ключ от комнаты я тебе пока не выдам.

— Почему? — возмутился Игорь.

— Сначала отнеси свои документы Наталье Борисовне. И справку врачу покажи. В прошлую смену во втором отряде был педикулез.

— Думаешь, я вшивый?

Саша невозмутимо пожал плечами: почему бы и нет?

Игорь подумал и решил не спорить. Оно ему надо? Его цель — отмотать положенную практику, а не переделывать этот мир к лучшему. В казенной жизни все похоже на медкомиссию в военкомате: превратись в косоглазого и плоскостопого идиота, и тогда тебя признают негодным к строевой.

Глава 3. Как везде

После обеда всех вожатых собрали в Дружинном доме. Собрание вела та самая Наталья Борисовна, которой Игорь должен был сдать направление на практику, — старшая пионервожатая. Фамилия у нее была Свистунова.

Игорь осторожно разглядывал Знамённую комнату, полыхавшую на солнце блеском медных горнов и барабанов с металлическими ободками; в шкафах без дверок среди рулонов стенгазет и растрепанных журнальных кип сияли никелированные спортивные кубки; стены пламенели развешанными шелковыми вымпелами. Свернутое знамя дружины, помещенное в особую стойку, от затаенного царственного величия казалось неподъемно тяжелым, словно ствол артиллерийского орудия.

Вожатых, считая с Игорем и Сашей, было двенадцать человек: четверо парней и восемь девушек. Двух других парней звали Кирилл и Максим, но казалось, что они тезки, потому что явились в одинаковых олимпийках и трениках. А девушки, почти все, надели целинки, пестревшие шевронами, лычками и эмблемами — нашивки теснились так плотно, что куртку можно было читать, как газету. Стройотрядовская фанаберия создавала ощущение бурной личной жизни у девиц, хотя их романтика, скорее всего, воплощалась в работе поварихами для какой-нибудь бригады стропальщиков где-нибудь на строительстве гидростанции. Однако Игорь все равно заревновал. Сколько ни ехидничай, а стройотряд — не филологические посиделки с бабуськами.

Еще на собрании присутствовал главный физрук — молодой высокий мужик с недовольно-скучающим лицом. Он сидел в углу, широко разведя колени, и подергивал ляжкой, будто куда-то торопился, а его принудили торчать здесь. Сама же Свистунова, фигуристая бабенка с зычным голосом, в пионерском галстуке выглядела эдакой боевой малышкой.

— Чего такие квелые? — задорно спросила она вожатых и откинула с глаз крашеную челку. — Ну-ка подтянись! Поднять хвост пистолетом!

— Да мы же всегда готовы! — привычной, видимо, шуткой ответили ей девушки-вожатые и принужденно засмеялись.

— У нас новый сотрудник. Игорь Корзухин. Откуда ты, Игорь?

— Филфак универа, — сказал Игорь.

— Ну и хорошо. Вливайся в коллектив, Игорёк.

— Сейчас вольюсь, — пообещал Игорь.

Ему не нравилось, когда его называют Игорьком, но девушки-вожатки повернулись к нему с дружелюбным интересом, и он не рассердился.

— Иришка, тебе маячок: взять шефство над новеньким.

— Пусть хоть одевается прилично, — вздохнула Ирина.

Вожатки посмотрели на Пола Маккартни у Игоря на значке.

— Ты на гитаре умеешь? — спросила одна из вожаток.

— Умею, но вам лучше этого не слышать, — честно предупредил Игорь.

Девушки рассмеялись уже свободнее.

— Наш человек, — подвела итог Свистунова. — Итак, к делу!

Широким жестом она расстелила на столе большой ватман с таблицей,

заполненной разноцветными фломастерами, — подобным образом полководец расстилает перед генералами карту намеченного сражения.

— План-сетка прежняя, бойцы. Распределим мероприятия. Помнится, Ленчик, в прошлую смену ты не хотела у старших отрядов строевой смотр проводить. Но ведь справилась?

— Справилась, — кивнула кудрявая и глазастая Леночка.

— Вот, зря боялась, — удовлетворенно сказала Свистунова, помечая на ватмане ручкой. — Как говорится, только юбочка помялась... Веруня, а у тебя конкурс рисунков на асфальте и поделки из природного материала, так?

— Так. Только мел и пластилин никому не давайте, в тот раз не хватило.

— Едите вы их, что ли? — удивилась Свистунова. — Ладно, учту. А кто у нас за День варенья отвечать желает?

— Может, не надо его? — усомнилась толстенькая вожатка с косой. — Здесь даже манник нормальный не испечь. Да и поварихи на кухне ворчат.

— Зато девчонок за уши не оттащить, — возразила Свистунова. — Поставлю на вид заведующей пищеблоком, пусть даст своим бабам втык.

— А я еще шахматы возьму, у меня же разряд, — солидно сообщил Саша, сосед Игоря по комнате. — В конце смены турнир организую.

— Турнир — хорошо, как раз то, что доктор прописал, — согласилась старшая вожатая. — Ты у нас вундеркинд какой-то, Саша.

Саша снисходительно хмыкнул. Вожатки глядели на него заискивающе.

— За тобой, Вероничка, получается фестиваль пионерской песни.

— А фонограмму прислали? — спросила Вероничка.

Игорь подумал, что этой девушке не идет уменьшительно-ласкательное имя. Девушка держалась надменно и потому казалась более сложной, чем все остальные. Целинку она не носила, и прическа у нее была не как у прочих вожаток: не хвост или коса, а короткая и даже дерзкая стрижка под мальчика. В ушах Вероники сверкали золотые сережки, не сочетающиеся с пионерией. На филфаке Игорь уже встречал таких девушек. Они курили, сторонились однокурсниц, не обедали в столовке и читали поэтов Серебряного века.

— Фонограмму пришлют, — ответила Наталья Борисовна чуть жестче, чем прежде. — Только знаешь, красавица, если выбираешь песню про любовь — то про любовь к родине. Лирику оставляем дома.

Вероника не ответила и лишь улыбнулась свысока.

— Я проведу чемпионат по пионерболу, — сказал вожатый Максим.

— Добро, — согласилась Свистунова. — А кто на ШКИД?

ШКИД — это Школа Интернациональной Дружбы. Попросту говоря, это когда пишут письма в «Артек» или «Орленок» пионерам из соцстран.

— Иринка и Галка, ШКИД — вам. Только мальчишек надо побольше.

— Им лень писаниной заниматься, — возразила чернявая Галка.

— Что значит лень? Надо — и все! Не хотят старшие — возьмите младших. Но учтите, что я прочитаю. Пусть не выпрашивают у иностранцев жвачки и наклейки. У нас областной конкурс на лучшее письмо.

— Это понятно, Наталья Борисовна.

Свистунова рассматривала план-сетку и покусывала ручку.

Игорю стало неуютно. Он неплохо помнил свои собственные школьные годы, не такие уж и далекие, и тайно надеялся, что взрослая жизнь отодвинет эту показуху и казенщину в сторону. А нетушки. Здесь, в пионерлагере «Буревестник», багряная рука взяла его за горло так же крепко, как и прежде.

— Ну что? — изучив ячейки плана, Свистунова подняла требовательный взгляд на вожатых. — Есть еще идеи? Чего приуныли, бойцы? Кого-нибудь осенит вспышка разума? — Вожатые молчали. — Нет? Тогда все!

— Эй, стопэ, Наталья! — вдруг забеспокоился физрук, подтягивая ноги. — Как-то я не услышал, чтобы «Зарницу» вычеркнули!

Игоря удивила фамильярная манера физрука. Она не вязалась со стилем совещания у старшей пионервожатой. А Свистунову это даже не покоробило.

— Вычеркнули, Руслан, вычеркнули, — покладисто ответила она.

— А почему? — огорчилась одна из вожаток.

— Здорово же по лесу побегать! — поддержала ее другая вожатка.

— Мечтать не вредно! — усмехнулась Свистунова.

— Вам побегать, а мне потом дэбилов искать! — презрительно фыркнул физрук с таким видом, будто ему приходится все за всеми исправлять и без его нечеловеческих усилий работа развалится, а он уже устал.

— На «Зарнице» драки! — пояснила Свистунова. — Старшие младших бьют. Так что обойдемся без «Зарницы». И без Праздника Нептуна.

— А почему без Нептуна?!

Праздник Нептуна в пионерлагерях всегда все любили — и взрослые, и дети: можно поорать, потолкаться, силком искупать кого-нибудь.

— Агрессию лучше в спорте проявлять!

По удовлетворению физрука Игорь понял, что на Празднике Нептуна физруку тоже приходится усмирять «дэбилов», а он, как известно, уже устал.

— Обратите внимание, что День самоуправления тоже вычеркнут, — оповестила Свистунова. — От него только бардальеро в лагере.

Физрук авторитетно кивнул, и девчонки-вожатые больше не возражали.

Игоря осенило: физрук был мужиком старшей пионервожатой! Потому она и выполняла его пожелания! Игорь наклонился к соседке Леночке:

— Они женаты, что ли?

— В гражданском браке, — с благоговением прошептала Леночка.

Выражаясь в духе кудрявого Саши, незаконно сожительствуют.

Игорь распрямился, испытывая облегчение. Поначалу он ощутил себя здесь чужаком: никого не знает, сидит такой модный, как болван, а девчонки-вожатки под водительством решительной комиссарши Свистуновой борются за интернациональную дружбу, мир во всем мире и прочие правильные вещи. Однако фигушки. Тут как везде. Флаги — флагами и серпы — молотами, но даже в пионерлагере людям хочется жить попроще, полегче и получше.

Глава 4. Пионерская аллея

Валерка не стал давиться в толпе пацанов, сбившейся у выхода на трап. Куда рваться-то? Зачем? Только ручку у чемодана оторвут. Над палубой и рубкой трамвайчика, что прижался бортом к причалу, с криками носились чайки. Молодой матрос у трапа грубо оттеснял пацанов от раскрытых дверок, хватая за плечи, и пропускал по одному, как шарики в «Спортлото». Этот матрос всю дорогу о чем-то болтал с вожаткой, с пухлой и очкастой Ириной Михайловной, заигрывал с ней и теперь показывал, какой он резкий мужик.

— По очереди! По очереди! — орал он пацанам. — Щас как дам в лоб!

Девчонки толклись за спинами пацанов и галдели.

— Рин Халовна! — кричали они. — А Галкин лягается! Рин Халовна, тут чья-то кофта лежит! Рин Халовна, а у Морозовой панаму сдуло!

Валерка продолжал сидеть, пропустив вперед и девчонок тоже.

— Лагунов! — увидела его вожатка. — Пошевеливайся!

— Лагунов! — тотчас закричали девчонки, оглядываясь. — Чего расселся! Вставай с лавки, дурак! Приехали! Слышишь, чего тебе сказали?

Валерка нехотя поднялся и пошел, болтая чемоданом. Учителя всегда обращали на него внимание, потому что он был невысокий, худенький и в очках. Учителям казалось, что он нуждается в опеке, иначе его затрут или потеряют. Но Валерка Лагунов в опеке никогда не нуждался.

Жалко, что доплыли так быстро. На корабле было интересно.

Ирина Михайловна вывела свой отряд с причала и собрала в кучу возле ворот — двух железных столбов, над которыми была укреплена дуга железной рамы с железными буквами: «Пионерлагерь “Буревестник”». Ирина Михайловна принялась по списку проверять свой отряд: пятнадцать мальчиков и пятнадцать девочек. Все после пятого класса, только школы разные, хотя из одного района, и почти всем по двенадцать лет. Валерка разглядывал опустевший речной трамвайчик — изящный, будто огромная игрушка, а пацаны глазели на памятник у ворот — на гипсовую скульптуру девочки-горнистки. Валерка еще на трамвайчике отметил и запомнил, как в его отряде зовут самых шебутных и горластых мальчишек, которые умели знакомиться мгновенно и ничего не стеснялись.

Пацан по фамилии Титяпкин заглянул гипсовой горнистке под юбку и с сожалением сообщил:

— Блин, там все заделано!

— Ты урод, Титяпкин! — возмущенно завопили девочки.

Имени Титяпкина никто не знал, да с такой фамилией имя и не нужно.

Другой пацан — Серёжка Домрачев — сказал:

— У нас закон такой был: кто шишкой ей в горн попадет, чтобы шишка внутри осталась, тому будет счастье.

Серёжа Домрачев провел в лагере «Буревестник» первую смену и теперь приехал на вторую. Он все знал о «Буревестнике».

— Я щас шишку найду! — заметался мелкий юркий пацан, похожий на неукротимого лягушонка. Его звали Женя Гурьянов, а кличка была Гурька. — Я каждую ночь сюда стану ходить! Я ей полную трубу шишек набью!

— Гурьянов, вернись на место! — рявкнула Ирина Михайловна.

— Кидай не кидай, все равно ни хрена не сбудется! — буркнул высокий губастый мальчик с недовольным лицом. Мальчика звали Веня Гельбич.

— Законы всегда сбываются! — возразил Колька Горохов. — Че, не верите? Сами увидите! Кто не верит — тем же хуже!

— У горна воронка неглубокая, там шишка не застрянет, — рассудительно заметил крепкий русоволосый мальчик, которого звали Лёва Хлопов.

— У нас у одного пацана застряла, — возразил Серёжа Домрачев. — Он домой вернулся, и ему родаки велик купили.

— Запомните, ребята! — громко объявила вожатая. — Мы — четвертый отряд! Сейчас мы идем в четвертый корпус! Разберитесь по парам!

— Фиг ли как в садике-то! — обиделся Славик Мухин.

Ирина Михайловна сама без обсуждений расфасовала мальчишек по парам. Валерке достался Серёжа Домрачев.

Ребячья суматоха под гипсовой горнисткой потихоньку разряжалась: вожатые уводили свои группы в жилые корпуса. Сначала забрали младших — шестой и пятый отряды, потом Ирина Михайловна возглавила шествие четвертого отряда. От ворот в глубину лагеря тянулась Пионерская аллея — обсаженная кустами акации и обставленная большущими застекленными стендами. Вдоль аллеи, как вдоль городской улицы, возвышались фонари. На горячем асфальте валялись растопорщенные сосновые шишки.

— Вы на шишки наступаете, пацы? — спросил у всех Колька Горохов. — А нельзя! Кто наступит — тот че-нито дома забыл, верная примета!

По всему лагерю в невидимых динамиках играла бравая пионерская музыка.

Девочки сразу поторопились за Ириной Михайловной, чтобы расспрашивать ее по пути, а мальчишки замыкали движение: им хватало собственного ума, и вожатка только мешала обмену мнениями.

— Как тут живется, Серый? — по-хозяйски спросил Лёва Хлопов.

— Да фигово! — влез со своим мнением Гельбич. — Я здесь в прошлом году одну смену провел — лучше бы в тюрьму попал. Месяц строем ходили!

— Нормально тут, — возразил Серёжа. — Тихий час только задрал.

— А я вообще спать не буду! — заявил Женька Гурьянов.

— Все так говорят, а сами спят, — горько ответил Серёжа.

От аллеи ответвлялись дорожки, ведущие к жилым корпусам и прочим зданиям лагеря. Валерка с удивлением разглядывал причудливые резные терема — какие-то приветливые, не похожие друг на друга, словно бы ни к чему не принуждающие: делай, что хочешь. Это было непривычно, будто вместо смотра строя и песни предложили поиграть в прятки. На тесовых стенах и крашеных железных крышах лежали желто-зеленые световые пятна. Прямые и высокие сосны казались вертикальными взлетами. В дырявых сосновых кронах солнце рассыпалось на огни, как в клочьях хвойного дыма. Сквозь струнный перебор красных стволов сверкала длинная полоса Волги.

— Это второй корпус, тут старшаки живут, — пояснял Серёжа Домрачев. — Это Дружняк, Дружинный дом. Там кружки всякие, киношку показывают. Это столовка. Там вон — баня. Это — пятый корпус, где салабоны.

— И так все понятно, че говорить-то! — раздраженно проворчал Гельбич.

Он ревновал, что расспрашивают Серёжу, а не его.

— А местные есть? — боязливо спросил худенький и мелкий мальчик, имени которого Валерка еще не знал.

— Местных здесь нет, — успокоил Серёжа. — Есть Беглые Зэки.

— Обацэ! — восхитился Гурька.

— В прошлом году никаких зэков не было! — заявил Гельбич.

— Может, тогда Зэки еще у себя сидели. А щас они в лесу живут, за оградой, — темнея глазами, поведал Серёжа. — У них там землянки. Я сам видел. За ограду нельзя ходить — поймают.

Валерка дома во дворе не раз слышал легенды о Беглых Зэках. Убежав из зоны, зэки превращаются в каких-то чудовищ, полулюдей-полузверей.

— А поймают — что будет? — встревожился Гурька.

— Если без галстука попадешься, может, отпустят, — Серёжа имел в виду пионерский галстук. — А если с галстуком — убьют. Старшаки говорили, что в другом году один пацан ушел — и пропал. Потом только скелет нашли.

Мальчишки были впечатлены.

— Не все же зэки такие, Серый, — неохотно усомнился Лёва Хлопов. — Нам в секции тренер сказал, что был один футболист, олимпийский чемпион, и он тоже стал зэком. А потом его отпустили, и он опять стал футболистом.

— Он же не убегал, — возразил Серёжа.

Лёва вздохнул. Это верно. Если бы тот зэк-футболист убежал, может, тоже обратился бы в людоеда и пасся возле какого-нибудь пионерлагеря.

А девчонкам было совершенно наплевать на угрозы окружающего мира. Девчонки со всех сторон приставали к Ирине Михайловне.

— Рин Халовна, а конкурс песни будет? Рин Халовна, а я умею художественное плетение! Рин Халовна, а дискотеку сделают? Рин Халовна, а можно в другой отряд ходить? У меня там сестра!

— Здесь вообще много колдовства разного, — мрачно сообщил пацанам Серёжа Домрачев.

Валерку это удручило. Он не любил колдовства. Взрослые убеждали, что колдовство — пережитки прошлого, выдумки, но все равно было страшно.

— Вон тот дом видите?

Серёжа указал на самый, наверное, красивый теремок: голубой и белый, двухэтажный, с верандой, балкончиком и башенкой.

— Там какой-то старикан живет, пенсионер. У него есть Чёрная комната. Туда люди заходят — и никто уже никогда не выходит!

Валерка посмотрел на ладненький голубой домик, и по спине у него побежали мурашки. Ничего подобного взрослые о мире не рассказывали. Их мир был скучный и понятный, весь для разных надобностей, как автобусная остановка — общая и заплеванная. Колдовство же, ясное дело, было злое и неправильное, оно мстило всем за неизвестно что, но от него мир делался цветным, загадочным и более живым: значит, колдовство было настоящим.

— У нас в прошлом году один чухан в лесу заблудился, так его нашли, — сказал Гельбич, лишь бы поспорить с Серёжей.

— Если бы в лагере дети пропадали, сюда бы мильтоны приехали, — сердито заметил Лёва Хлопов.

Он любил футбол, и ему не хотелось ничего колдовского.

— Детей старикан туда не пускает. А люди там пропали вообще давно.

— Какие люди?

— Это же дачи буржуев были до революции, — негромко сказал Серёжа. — Когда красные пришли, буржуи все в Чёрную комнату забежали и исчезли.

— Четко! — воодушевился Гурька. — От них должны привидения остаться!

— От привидений надо пиковую даму под матрас положить, — Колька Горохов завертелся, оглядываясь на пацанов. — Пацы, у кого карты есть?

— Я пойду привидений ловить! — азартно заявил Гурька. — Ночью!

— Обоссышься! — авторитетно предупредил Славик Мухин.

К четвертому отряду, расслабленно растянувшемуся по аллее, вдруг подскочила похожая на девочку тетка с пионерским галстуком.

— Чего такие кислые? — бодро крикнула она. — По маме заскучали? Ну-ка давай речевку! — и она заорала: — «Это кто шагает в ряд?!»

Все знали эту речевку.

— «Пионерский наш отряд!»... — вразнобой отозвались девочки.

— Мальчики, не слышу вас! — подхлестнула тетка. — «Дружные!»

— «Умелые»... — вяло и нестройно ответили пацаны.

— «Честные!» — требовательно проорала тетка.

— «И смелые!» — прокричали мальчишки.

— «Наш девиз всегда таков»!

— «Будь готов! Всегда готов!» — уже слаженно закончили пацаны.

— Вот теперь правильно!

Тетка потрепала по затылку Титяпкина и понеслась дальше.

— Это что за дура? — негромко спросил Титяпкин.

— Свистуха, главная вожатка, — сказал Серёжа Домрачев.

Глава 5. Место командира

Пока отряд шел по аллее к своему корпусу, они разговаривали, а потому как бы немного сдружились; стало понятно, что и дальше можно держаться вместе, то есть в четыре пары: Валерка и Серёжа Домрачев, Лёва Хлопов и Колька Горохов, Титяпкин и Гурька, Славик Мухин и восьмой пацан, мелкий, про которого пока не знали, как зовут. Всю дорогу он робел и лишь поддакивал. А высокий, всем недовольный Гельбич остался без компании.

Четвертый корпус оказался двухэтажным теремком, смотревшим сразу на все

стороны. Ирина Михайловна завела отряд на веранду — большую и жарко нагретую. Здесь ждал второй вожатый: парень с модной прической и темными усиками. Он растерянно улыбался, не зная, что делать, а Ирина Михайловна управлялась с пионерами, как опытный погонщик.

— В корпусе четыре палаты, значит, будет четыре звена, — сказала она отряду, строго блестя очками. — Два звена — мальчики, два — девочки, по семь и восемь человек. Так что делитесь на звенья, и поживее. Даю пять минут.

Гурька сразу растопырил руки, загреб тех, с кем шел, — Лёву Хлопова, Титяпкина, Валерку и прочих, кроме Гельбича, — и принялся пихать к окну.

— Вот наше звено! — завопил он остальным пацанам. — Не лезь, сволочи!

— Гурьянов, за языком следи! — одернула его Ирина Михайловна.

Как полагается учителю, она быстро запоминала своих подопечных в лицо и по фамилиям.

Главный вопрос, терзающий всех пацанов, едва они увидели корпус, задал вожатой кто-то из мальчишек второго, не Валеркиного звена.

— Рин Халовна, а кого на второй этаж заселят?

Второй этаж, понятно, — самый ништяк, самое четкое место!

— Уж точно не нас, — злобно сказал Гельбич.

— На втором этаже палаты девочек, — сообщила Ирина Михайловна.

— А че так?! А че?! Фига-се! — в досаде взвыли все пацаны.

— Потому что вы психопаты! — отрезала Ирина Михайловна. — Вы ходить спокойно не умеете и на лестнице шею свернете!

— Да все мы умеем!..

— Разговор окончен. Игорь Александрович, ведите девочек наверх.

Усатый-волосатый вожатик снова улыбнулся.

— Девочки, за мной, — вежливо сказал он. — Ступеньки не сломайте.

Палата, в которую Ирина Михайловна запустила звено Валерки, была похожа на каюту деревянного корабля. Большое окно. Восемь заправленных коек по четыре в ряд: полотенца висят на спинке, байковые одеяла натянуты, подушки торчат пирожками. У каждой койки — тумбочка. На досках стен, на половицах и на байковых одеялах лежали яркие квадраты солнца.

— Располагайтесь, — сказала Ирина Михайловна. — Доставайте, что вам надо, и парадную форму. Через полчаса чемоданы заберу в кладовку.

— Нормальная палата, — озираясь, подытожил Лёва Хлопов.

Его слова прозвучали как команда «Вперед!»

Гурька отшвырнул свой рюкзак-колобок и полетел к окну.

— Моя! — завопил он, звездой упав на койку.

Валерка знал, что койки под окном всегда считаются самыми лучшими. Почему — неизвестно. Однако лично Валерке больше нравилась койка в углу, и он молча поставил на нее свой чемодан. И второго соседа нет, и выход рядом, и удобнее делать домик из простыни, чтобы укрываться от комаров.

В пионерлагерях Валерка бывал уже много раз — с третьего класса ездил. Папа считал, что Валерка слишком много читает и ему не хватает общения со сверстниками. Валерка не спорил, хотя в лагерях ему было скучновато. Папа у Валерки работал инженером в секретном конструкторском бюро, чертил двигатели для военных ракет. Это была государственная тайна, но не понятно, от кого. Как человек, думающий о Родине, папа хотел, чтобы сын был ближе к народу. А Валерку народ заколебал: одному побыть бы, без товарищей, без учителей и без глупой младшей сестренки, — вот чего надо.

Другую койку под окном тотчас занял Титяпкин: плюхнулся задом и принялся вертеться туда-сюда, словно ввинчивался для более надежного закрепления. Но к Титяпкину вдруг не спеша подошел Лёва Хлопов.

— Слушай, — проникновенно сказал он. — Я футболист, я бегаю, у меня легкие вот так разработаны, — Лёва руками показал перед собой нечто вроде женских грудей. — Мне кислород нужен. Пусти меня к окошку, а?

Титяпкин обомлел. Лёва, безусловно, был сильнее всех в палате, но дело не в этом. Даже за такое короткое время само собой определилось, что к Лёве в их только что сплотившейся компании уже все прислушиваются. Лёва незаметно становился признанным командиром. И как теперь быть бедному Титяпкину? Поссориться с Лёвой, когда остальные задружились?

— Да за мах! — залихватски заявил Титяпкин, словно уступить Лёве ему было в радость, и ловко перепрыгнул на койку напротив.

— Эту я забил! — обиженно закричал Славик Мухин.

— Я с Лёвкой! — заорал ему Титяпкин. — У Лёвки кислорода нету!

— Пошел в жопу! — Славик без аргументов столкнул Титяпкина на пол.

— Ты че? — разозлился Титяпкин. — Пойдем выйдем!..

— Это Славика кровать, — осуждающе заметил Титяпкину Лёва.

Рассудительному Лёве не хотелось иметь рядом придурка Титяпкина. А Титяпкину глупо было ссориться с Лёвой из-за койки Славика, если уж он не стал ссориться из-за своей собственной койки. Но Титяпкин почувствовал, что унижен. Ему требовалось отыграться. Его взгляд пронесся по палате и остановился на Валерке — маленьком и в очках. Очкарики — все слабаки и дристуны, в этом Титяпкин не сомневался. А место в углу вроде неплохое.

Валерка сидел на полу, перекладывая из открытого чемодана в тумбочку аккуратно свернутый свитер и парадную одежду — белую рубашку и синие школьные брюки. Титяпкин перескочил через кровать Серёжи Домрачева и с ногами взгромоздился на кровать Валерки, будто обезьяна на ветку.

— Я здесь буду! — сообщил он. — А ты вали на пустую!

Он указал на пустую койку возле восьмого мальчика, безымянного.

Валерка понял, что назревает схватка, и встал. Сердце его колотилось.

— Сам иди! — ответил он.

— Ты че, очкастый, оборзел? — Титяпкин вел себя, как шпана.

— Ты там не сидел, Валерыч! — поддержал Титяпкина Колька Горохов. — Жопу поднял — место потерял! Правил, что ли, не знаешь?

— Вам не подраться, нам не посмотреть! — крикнул издалека Гурька.

— Дерни отсюда, Титька! — решительно сказал Валерка.

Пацаны бессовестно заржали, и даже Лёва улыбнулся. У Титяпкина от обиды запрыгало лицо. Он ринулся к Валерке, сжимая кулаки.

В этот миг дверь распахнулась, и в палату шагнула Ирина Михайловна. На вид она была слабовольной тетехой, пухловатая и близорукая, но внутри у нее — Валерка это уже уяснил — находился стальной стержень.

— Что за гвалт? — свирепо спросила она.

Пацаны молчали. Ирина Михайловна быстро оглядела всех.

— Титяпкин, не наглей! — сразу поняв ситуацию, жестко сказала она. — Отцепись от Лагунова. Займи свободную койку. Я проверю!

Не сомневаясь, что ей подчинятся, Ирина Михайловна вышла.

Титяпкин чуть не заплакал.

— Нечестно это! — уже без всякого озверения пожаловался он. — Вы все выбирали себе койки, а мне, как чушману, последняя осталась!

— Ладно, — смилостивился Лёва. — Давайте, как в футболе, жребий кинем: кому пустое место выпадет, тот на него и пойдет, а Титяпа на его место.

— Может, лучше посчитаемся? — предложил Колька Горохов.

— Считай, — согласился Лёва.

Колька начал считать, тыча пальцем. Лёву он исключил из розыгрыша, признавая право командира лежать там, где хочется.

— За сто-лом си-дели гости, из баш-ки тор-чали гвозди, — затараторил Колька, вращаясь вокруг себя с вытянутой рукой и выставленным пальцем. — Э-то я заколотил, чтоб ни-кто не у-ходил! Ты!

Колька указал на безымянного мальчика. Этот выбор всех устроил.

— Тебя как зовут? — спросил Лёва.

— Юра Тонких, — едва слышно пролепетал пацан.

— Переложись, Юрик, туда.

— Я уже вещи в тумбочку засунул...

— Перекладывайся! — яростно закричал Горохов. — Закон не уважаешь?!

— Титяпа, занимай койку, — распорядился Лёва.

Титяпкин был удовлетворен, хотя получил, в общем, то же самое место, против которого так бунтовал. Направляясь к своей новой койке, Титяпкин обернулся и бросил на Валерку огненный взгляд.

— А с тобой, очкастый, седня вечером махач будет, понял?

— Закрой рот — кишки простудишь, — неустрашимо ответил Валерка, как полагалось у пацанов, хотя угроза ему очень и очень не понравилась.

Из коридора донесся зов Ирины Михайловны:

— На сбор! Всем на отрядный сбор!

Глава 6. Всем о себе

Подъем, зарядка, утренняя линейка. Завтрак, обед, полдник, ужин. «Трудовой десант», тихий час, вечерняя линейка, отбой. Занятия в кружках, соревнования, конкурсы, смотры. Родительский день, итоговый концерт, последний костер. Купания, игры, кино... Ирина Михайловна подробно разъясняла порядок жизни в лагере, но Валерка не слушал. Он и так все знал. Щурясь, он читал список отряда, прикнопленный к стенду, вернее, список девочек: Бояркина, Вишнёва, Гуляева, Завьялова, Касимова, Лебедева, Сергушина, Стяжкина... Знакомых нет.

Отряд сидел на веранде на скамеечках вдоль стен. Все были одеты для торжественной линейки: светлый верх, темный низ, пионерские галстуки.

— Так, ребята, теперь нам нужно выбрать командира, — деловито сказала Ирина Михайловна. — Есть предложения?

Предложений не было. Ребята еще не перезнакомились, зато по школе помнили, что командир — это не тот, кто командует сам, а тот, кто заставляет остальных выполнять команды учителей или вожатых. Нафиг кому надо?

— Кто в школе был командиром отряда?

— Я была! — вдруг заявила какая-то девочка.

В голосе ее звучали и гордость, и желание, чтобы ею восхищались.

— Иди сюда, Сергушина, — распорядилась Ирина Михайловна.

Сергушина вышла перед отрядом как-то по-балетному, мягко ступая на цыпочках, повернулась, показывая себя, и улыбнулась, будто киноактриса. У нее были челка и два хвостика с желтыми пластмассовыми бабочками; губы она накрасила помадой, глаза и брови подвела черным карандашом.

— Как зовут? — спросила Ирина Михайловна.

— Анастасийка! — пропела девчонка.

Ирина Михайловна оглядела эту расписную кокетку и вздохнула. Не дело командиру отряда быть такой размалеванной, однако учителя в школе ведь утвердили Сергушину на ответственном посту командира — значит, есть за что. Следует доверять мнению коллег и потерпеть девчачьи глупости.

— Отряд согласен выбрать Настю? — спросила Ирина Михайловна.

— Я не Настя, я Анастасийка!

Девчонки зашушукались, а пацаны засмеялись.

— Все согласны, — подвела итог вожатая. — Сядь, Сергушина.

Анастасийка, красуясь, поплыла обратно.

— Но перед линейкой умойся, — сверкнула очками Ирина Михайловна.

Анастасийка, не оглядываясь, фыркнула, что означало: «Я так и знала!»

— Еще нам нужен высокий мальчик в знаменосцы, — продолжила Ирина Михайловна. — Веня Гельбич, как раз для тебя задание.

Гельбич был на полголовы выше всех.

— Не, я не хочу, — отперся он.

— Давай не возникай! — одернула его Ирина Михайловна. — У Игоря Александровича в комнате возьмешь флаг, пилотку и ленту через плечо.

— Да бли-ин!.. — расстроился Гельбич.

— А еще надо название отряда, девиз и речевку.

Валерка подумал, что есть колдовство детей: Чёрная комната, Беглые Зэки, разные там Гробы-на-Колесиках, Автобусы-Мясорубки и Синие Ногти. А есть колдовство взрослых: командиры отрядов, знамена, звезды, девизы. Детское колдовство — оно, наверное, для страха: чтобы не открывали дверь, кому попало, чтобы не уходили куда-нибудь с незнакомцами, чтобы не ели неизвестную еду. А для чего колдовство взрослых? Чтобы сделать вид, будто все дети — пионеры, «всегда готовы», «дружные, умелые, честные и смелые»?

— У кого какие варианты названия? — Ирина Михайловна встряхнула отряд строгим взглядом. — Ну, где инициатива?

— Да ваще никак не надо называть! — Гельбич в досаде дернул плечом. — Четвертый отряд — и все понятно! Все равно название никто не запомнит!

— А если бы тебя самого никак не назвали, тебе бы это понравилось? — с назиданием поинтересовалась Анастасийка.

Пионеры засмеялись, а Гельбич презрительно скривился: видимо, такой вариант его вполне устраивал.

— Будут предложения поумнее? — недовольно спросила вожатая.

— Давайте назовем «Роза Экстаз», — сказала Анастасийка.

— Розовый унитаз, — тотчас сказал кто-то из пацанов.

— Это что такое? — удивилась Ирина Михайловна.

— Очень красивый цветок, — мечтательно объяснила Анастасийка. — Его на Восьмое марта девушкам дарят.

— У нас не Восьмое марта, — отвергла вожатая. — Короче, отряд будет называться «Данко». Девиз — «Гори так ярко, как сердце Данко!»

— В прошлую смену отряд так назывался, — напомнил Серёжа Домрачев.

— И чем плохо, Домрачев?

— Да хоть как назовите! — Серёжа почему-то обиделся и отвернулся.

— Речевка такая, запоминайте: «Возьми свое сердце, зажги его смело, отдай его людям, чтоб вечно горело!» Итак, давайте потренируемся...

Эту дурацкую речевку они настойчиво повторяли всем отрядом, пока шли от своего корпуса к Дружинной площадке. Ирина Михайловна следила за девочками, Игорь Александрович контролировал мальчиков. Анастасийка вышагивала впереди, словно была невестой, а отряд нес ее длинную фату. Венька Гельбич уныло плелся за Анастасийкой, будто жених поневоле; он был в пилотке и с алой лентой через плечо; знамя он нес, как весло.

Дружинная площадка на самом деле была волейбольной площадкой, по периметру ее окружали гравийные беговые дорожки. Шесть пионерских отрядов выстроились на гравии ровными прямоугольниками. Небольшая группа взрослых во главе со старшей

пионервожатой расположилась так, чтобы не быть ни к кому спиной. Парень-радиотехник подтащил стойку с микрофоном. Провода тянулись к ящикам с дискотечными колонками.

— Здравствуйте, ребята! — грянул из динамиков бодрый голос Свистухи. — Приветствуем вас на лучшей смене этого года — на Олимпийской смене!

По отрядам прошелестело легкое волнение.

— Расскажите всем о себе! — призывно прогремела Свистуха.

Вожатая первого отряда тихо скомандовала:

— Три... четыре!

— РИТМ! — гаркнул первый отряд.

— Девиз! — скомандовала вожатая.

— Романтики! Искатели! Творители! Мечтатели!

— Речевка... Три... четыре!

— Решать! Искать! Творить! Мечтать! В ритме века быть человеком!

Из кустов акаций вокруг площадки прыснули перепуганные птички.

— Комета! — так же, как первый, проорал и второй отряд. — У кометы есть девиз: никогда не падать вниз! Комета на небе, а мы на земле! Да здравствует счастье всегда и везде!

— Алые паруса! — подхватил третий отряд. — Ветер дует в паруса, детство верит в чудеса! Плыви всегда, плыви везде и путь найдешь к своей мечте!

— Три... четыре! — прошептала и Ирина Михайловна.

— Данко! — взревел Валеркин отряд. — Гори так ярко, как сердце Данко! Возьми свое сердце, зажги его смело, отдай его людям, чтоб вечно горело!

Затем завопили свое и пятый отряд, и шестой. В смысл названий, девизов и речевок никто не вдавался. Главное было — чтобы прозвучало в лад. Какой отряд переорет всех — тот самый козырный. Вернее, наоборот: какой отряд будет кричать хуже всех, тот и чмошный.

— Отлично! — одобрила старшая вожатка. — Теперь и нам надо назвать себя. Знакомьтесь, ребята!.. Самый строгий человек нашего лагеря — старший воспитатель Родионова Марина Федоровна! Похлопаем!

Отряды похлопали старшей воспитке, которая в ответ помахала рукой, а потом похлопали Колыбалову Николаю Петровичу — директору лагеря, Захваткину Руслану Максимычу — физруку и Носатову Валентину Сергеичу — доктору. Запомнить имена-отчества и должности никто и не пытался.

— А вот самый главный человек в нашем лагере! — Свистуха повернулась к сухопарому старику в пионерском галстуке. — Это Серп Иваныч Иеронов!

Отряды заинтересованно ждали разъяснений.

— Серп Иваныч — ветеран Гражданской войны! Он пенсионер союзного значения! — Свистуха обвела отряды восторженным взглядом. — Над таким вот замечательным человеком наша дружина берет свое шефство! Салют!

Свистуха вздернула руку ко лбу, и все отряды тоже отсалютовали.

— Серпу Иванычу мы предоставляем почетное право поднять флаг Олимпийской смены! Ваше слово, товарищ Иеронов!

Высокий Серп Иваныч чуть склонился к микрофону.

— Здравствуйте, ребята, — просто сказал он. Голос у него был густой и красивый. — Надеюсь, я вам тут в лагере мешаться не буду. Видели, наверное, голубой домик с красной крышей? Это моя дача. Вот такой я помещик. Заходите в гости, угощу чаем с печеньем.

Пионеры нерешительно засмеялись. Никто, конечно, и не думал вот так запросто завалиться в гости, но за приглашение, как говорится, спасибо.

Валерка стоял в первом ряду и неплохо рассмотрел старикана. Вроде, добрый.

Седые волосы коротким ежиком, короткая белая щетина бороды и усов, резкие морщины. Костлявый, немного сутулится, но крепкий.

— Серп Иваныч участвовал в революции и освобождал наш город! — сбоку крикнула в микрофон Свистуха.

— Да вы уж, наверное, и не помните про эти события, — смущенно сказал Серп Иваныч, заранее извиняя пионеров.

— Помним! — зашумели отряды: приятно было оказать уважение такому дружелюбному и скромному человеку.

— А кто освобождал наш город, ребята? — опять влезла Свистуха.

— Чапаев! — воодушевленно закричали со всех сторон.

Чапаева-то не забудешь: возле куйбышевского драмтеатра громоздился большой памятник — Чапай на коне и куча всяких солдат с винтовками.

— А кого прогоняли? — лукаво спросил Серп Иваныч.

— Белых!

Понятно, что белых, а не фиолетовых. Но белые-то были разные. Для Валерки давняя Гражданская война была прекрасной и героической сказкой, от которой щемило сердце. Валерка много читал о том времени.

— Прогоняли интервентов, — негромко сказал он.

Иеронов, конечно, не услышал Валерку, но его услышала Анастасийка Сергушина, командир Валеркиного отряда. Анастасийка стояла на полшага впереди строя, чтобы ее все видели.

— Интервентов! — звонко крикнула она.

— Ого! — удивился Серп Иваныч. — Ну-ка, девочка, я к тебе!

Он обогнул микрофон и, улыбаясь, направился к Анастасийке через пустое пространство Дружинной площадки. Отряды настороженно затихли, наблюдая. Никто не знал, зачем старик поперся к пионерке.

— Щас по шее даст, — предположил Славик Мухин.

— Зря мы эту дуру выбрали! — забормотал соседям по строю Колька Горохов. — Девка-командир — фиговая примета! Дежурить заставят!

Иеронов приближался, грозно заслоняя собой весь мир.

— Это не я, это он сказал! — глядя на старика, оробевшая Анастасийка быстро перевела вину на Валерку. — Вон тот, в очках!

Валерка одеревенел. Эх, надо было молчать!.. Ничего хорошего не бывает, когда высовываешься со своим мнением!

Серп Иваныч подошел к Валерке и положил ему руку на плечо.

— Молодец! — негромко и с чувством похвалил он.

Валерка взглянул в темные глаза старика, и почему-то у него захолонуло сердце. Печальные глаза Серпа Иваныча словно бы видели все на свете. В них таилась бездна, будто он, Валерка, смотрел в телескоп, проваливаясь в высокую пропасть ночного неба, только в той пропасти не было мерцающих звезд — один лишь черный дым. Наверное, дым Гражданской войны.

— Мы вместе флаг поднимем, — оборачиваясь, объявил отрядам Иеронов.

Отряды взволнованно загудели: повезло же очкарику!.. Серп Иваныч взял Валерку за руку, как внука, и повел к мачте, что была вкопана на краю площадки. Валерка чувствовал, что весь лагерь смотрит на него.

Вдоль мачты на роликах был натянут трос, а к тросу прицеплено красное знамя. Старшая вожатка незаметно подала знак радиотехнику, и в динамиках вдруг пронзительно затрубили горны и загрохотали барабаны.

— Тяни веревку, — усмехнулся Серп Иваныч. — Не бойся.

Валерка начал перебирать трос, и красный флаг поехал в высоту. На верхушке мачты он развернулся и заполоскался в яркой солнечной синеве. Все пацаны и все девчонки пионерлагеря «Буревестник» смотрели на знамя, задрав головы.

Пятиконечные звезды, клятвы и всякие буденновки давно превратились в надоевшую, бессмысленную и обязательную глупость — и для детей, и для взрослых, но в поднятом флаге все равно сохранялось что-то честное, чистое, настоящее. Как в городских голубях, которые роются в помойках и клюют на тротуарах шелуху семечек, — но могут вдруг полететь.

— Будь готов! — крикнула Свистуха, вздернув руку в салюте.

— Всегда готов! — в раскат отозвались отряды.

Валерка возвращался в строй, ощущая, как весь лагерь завидует ему. Валерка встал на свое место между Славиком Мухиным и Юриком Тонких и попытался превратиться в никого, чтобы на него перестали пялиться.

— Зашибонско, Валерьяныч! — жарко зашептал ему сзади Титяпкин.

Валерка понял, что Титяпа уже расхотел устраивать махач с человеком, который внезапно овеялся такой славой. Себе дороже будет.

Глава 7. Темное время суток

Жизнь — вещь парадоксальная. Чтобы сохранить хотя бы относительную самостоятельность, человеку надо быть в роли ведомого, то есть того, кто, по идее, вовсе не имеет никакой самостоятельности. Беречь то, чего нет, — абсурд. Но Игорь привык к абсурду. Призывают же беречь идеалы коммунизма, и никто не спятил от удивления. В общем, отрядом командовала Ирина, а Игорь для сохранения самостоятельности просто выполнял ее указания.

А для Ирины все было просто и прекрасно. Она выросла в каком-то колхозе, и теперь управляла подчиненными с крестьянской нерассуждающей хозяйственностью. Чем занять детей? Да чем угодно: в лагере полным-полно кружков, секций и подготовок к разным соревнованиям! Как разобраться в детях? А чего тут сложного? Высокий — на волейбол, крикливый — в хор, умный — пускай играет в шахматы, кривляется — тогда в театральный кружок, а если пойман со спичками или нарушает режим, то грабли в руки и вперед — на уборку территории. Главное — проследить, чтобы никто не отлынивал.

Ирина заявлялась в корпус еще до того, как по трансляции звучал горн из «Пионерской зорьки», который возвещал побудку, и уже не покидала отряд до самого отбоя. Перед отбоем она проводила на веранде «свечку» — общее собрание для обсуждения итогов дня. По замыслу, пионеры должны были передавать друг другу зажженную свечу; кто держал ее — тот высказывал свои впечатления о прошедшем дне. Однако директор лагеря Колыбалов из противопожарных соображений запретил палить огонь в деревянных домах, и свечу отменили. А итоги Ирина оглашала сама, без помощников. Она полагала, что если давать слово каждому желающему, то пионеры до подъема спать не упихаются, а могут и разодраться.

Все детали дня Ирина помнила с точностью разведчика.

— Кривошеин сегодня в столовке кашей кидался — завтра будет в палате подметать, — сказала она. — У Сергушиной завтра Совет дружины в десять. Потапова, в рваных колготках на линейку не пущу. Цыбастов, я слышала от тебя матерное слово. Еще раз — и пишу заявление в милицию, понял?

— Гурьянов обещал ночью из лагеря сбежать, — нажаловались девочки.

— Игорь Александрович, проверьте ночью Гурьянова, — властно повелела Ирина. — Если он не будет в койке — выгоним из лагеря за нарушение режима. Все, делайте «орлятский круг», и пора в палаты.

«Орлятским кругом» назывался пионерский ритуал, когда все вставали в круг, обнимали друг друга за плечи и хором негромко говорили какие-нибудь обещания или пожелания. Или же пели что-нибудь воодушевляющее.

Четвертый отряд, потолкавшись, выстроился вдоль стен и обнялся. Игорь с одной стороны положил руку на плечи Титяпкина, с другой стороны — на плечи Маше Стяжкиной. Мальчики стеснялись обниматься с девочками, поэтому Игорь и Ирина разделяли их собой.

— День пролетел, и лагерь спешит ко сну, — забубнили все.

— Доброй вам ночи, наши ребята, — как-то интимно сказали девочки.

— Доброй вам ночи, наши девчата, — зажато сказали мальчики.

— Доброй вам ночи, вожатые наши, — хором сказали опять все. — Завтра нам в трудный путь! Начинаем операцию «Т-с-с!»

Пионеры с облегчением освободились друг от друга и предостерегающе зашипели, прижав к губам указательные пальцы.

Это действо казалось Игорю жгучим фальшаком. «Орлятский круг» подразумевал, что пионерская жизнь — бескомпромиссная и опасная борьба, которая сплачивает борцов как братьев. Игоря ошпаривала неловкость, и тянуло яростно чесаться. Он и почесывался, пока загонял пацанов в палаты.

В каморке вожатых Саша тоже готовился укладываться. Это летом-то, в десять вечера!.. Наверное, в детстве Саша был очень послушным ребенком, плотно охваченным строгой опекой родителей, и до сих пор не избавился от привычки все делать правильно. А Игорь хотел почитать в кровати. Но, как известно, по сигналу «отбой!» наступает темное время суток.

— Ты сможешь уснуть при свете? — спросил Игорь.

— Нужно уважать правила общежития! — ответил Саша.

Ясно: чтение обломилось. Сидеть с книжкой на веранде Игорь не желал. Он обреченно вышел на крыльцо и достал сигарету. Никакую подругу Игорь в лагере еще не завел, потому оставалось лишь гулять в одиночестве.

За соснами, за Волгой догорал закат; в его угасании томилась сплошная эротика: стыдливая горячая краснота и движение вниз, к постели... Сквозь мягко слепящий багрянец черные сосновые стволы, как швартовочные тросы, подтягивали синее небо к мохнатому причалу земли. Было жарко, будто в машинном отделении теплохода возле только что выключенного дизеля.

Игорь шагал по длинной Пионерской аллее, сам не зная куда. На Волгу, наверное, куда еще здесь можно было пойти? Фигурные терема корпусов, угловатыми частями утопая в зыбком сумраке, внезапно обозначали себя среди кустов пунцовыми отражениями заката в оконных стеклах. В третьем корпусе одно окно было открыто, и до Игоря донеслось пение девочек:

— Не слышны в са-аду даже шо-ра-хи, все здесь за-ми-рло да утра-а...

Это был настоящий вечер, без всяких дурацких пионерских заморочек.

В акациях за стендом «Слава победителям!» кто-то ворочался и хихикал.

— Ну-ка вылезай! — останавливаясь, строго приказал Игорь.

Из зарослей выбрались две девчонки — обе из второго отряда. Одну из них Игорь уже знал. Она была главной звездой физрука Руслана и главной проблемой вожатки Леночки. Звали ее Жанкой Шалаевой. В нее, наглую, большеротую и глазастую, потихоньку влюблялись все старшие пацаны. Девочкой она была дворовой и, очевидно, понимала о жизни больше, чем следует в ее возрасте. Ее подругу, мрачную хулиганку, звали, кажется, Олей.

— Нарушаем режим? — прищурился Игорь.

— Ой, только не говорите Ленке, Игорь Саныч! — кокетливо ответила Жанка, ничуть не смущенная.

Вожатая уже была для нее Ленкой, и она уже выучила, как зовут всех мужчин в педколлективе. Н-да, оторва не пропадет.

— Живо в корпус! — сурово сказал Игорь. — Через десять минут проверю!

Девочки недовольно фыркнули, развернулись и улезли обратно в кусты.

Игорь пошел дальше. Над аллеей, вздрогнув, зажглись фонари. Небо сразу погасло; кроны сосен, подсвеченные снизу, превратились в медленно клубящийся потолок; пространство за стволами деревьев исчезло; акации выступили из темноты плотными кущами белой, как бумага, листвы.

Поодаль, у пищеблока, под тусклой лампочкой над служебным входом судомойка баба Нюра кормила объедками лохматого пса.

— Е-эшь, не бойся, — бормотала она. — Е-эшь, Мухтар, не о-отниму...

У бабы Нюры половина лица была перекошена параличом, и пионеры передразнивали ее гримасу, поэтому баба Нюра была злая и на всех орала. Игорь удивился тихой доброте, с которой баба Нюра возилась с псиной.

Игорь обогнул Дружинный дом с тыла, чтобы никто его не увидел: не поощрялось, когда вожатые покидают территорию лагеря. На заднем дворе на лавочке сидели Наталья Борисовна, старшая вожатая, и Руслан Максимыч, физрук. Стараясь не шуметь, Игорь прокрался у них за спиной.

— Хочу такую же дачу, как у Ероныча, — негромко призналась Наталья Борисовна, положив голову на плечо Руслана. — Клубнику буду выращивать.

— Проживи сто писят лет, как Еронов, и дадут.

— Может, мне родить, Руслик? Тогда квартиру из фонда выделят.

— Пока в декрете торчишь, место в горкоме потеряешь.

— А если на полставки там остаться?

— С полставкой на квартиру не рассчитывай, — вздохнул Руслан.

Наталья Борисовна тоже вздохнула. Столько хороших возможностей — работа, квартира, ребенок, — но одно исключает другое. Надо выбирать. И это трудно. Заводной комиссаршей Наталья Борисовна была только на работе.

Игорь дошел до ворот пионерлагеря, размотал ржавую проволоку на замочной петле и приоткрыл створку из железных труб. На постаменте, конечно, по-прежнему возвышалась призрачная горнистка. Дощатая полоса пирса, светлея, уходила в темноту Волги. Река дышала в лицо свежестью.

Игорь пошагал по пляжу подальше от входа в лагерь. Под ногами с хрустом продавливался песок. В небе висел узкий серпик нарождающейся луны. Игорь всей душой ощущал, что рядом с ним простирается огромная и плоская пустота бесконечного плеса — будто невидимое высоковольтное напряжение вдоль воздушной линии электропередачи. Так звучала Волга. Ее мистическое притяжение увлекало за собой, обрывая все привязи жизни.

От Волги лагерь был отгорожен сетчатым забором. Доступ к реке был самым непоколебимым запретом «Буревестника». Историями про утонувших детей начальство пугало вожатых куда сильнее, чем сами вожатые пугали детей историями про всякую нечисть, убивающую пионеров по ночам. Игорь невесело усмехнулся. То, что интересно, всегда оказывалось недозволенным. Нельзя купаться в реке. Нельзя ходить в лес. Нельзя соблазнять девушек. А что тогда делать? Смотреть Олимпиаду по общему телевизору?

Игорь сел на бревно, выброшенное водой и полузанесенное песком. Сзади за соснами горели фонари Пионерской аллеи. Впереди на реке еле тлели алые искры бакенов. Угасающая синева волшебной линией очертила дальние кручи Жигулей. По фарватеру шел круизный лайнер. Он казался освещенным изнутри, точно аквариум. Сквозь телепатический шепот течения доносилась неясная музыка. Люди плыли навстречу каким-то удивительным впечатлениям, танцевали на палубе, пили вино, шутили и смеялись, а он, Игорь Корзухин, был на все гайки и контргайки привинчен к пионерлагерю, к летней практике, к высшему образованию, к трудовой биографии...

А где-то луна серебрила исполинские щербатые грани древних пирамид. Океанский ветер трепал обрывки такелажа на мачтах Летучего Голландца. Неведомая сила поджидала самолеты в ловушке Бермудского треугольника. Ряды бессловесных

каменных истуканов вглядывались в горизонт с берега острова Рапануи. Драконья челюсть Стоунхенджа скалилась разбитыми зубами. В Непале косматый снежный человек, стоя на четвереньках, нюхал следы альпинистов. В холодной глубине озера Лох-Несс бесплотно скользила тень юрского плезиозавра. Космическая навигация пустыни Наска навеки застыла в скрещениях таинственных дуг и биссектрис. Джунгли корнями медленно раздирали на куски заброшенные города индейцев майя. Стаи разноцветных рыб вились меж колоннад затонувшей Атлантиды. Ничего этого ему, Игорю Корзухину, никогда не увидеть. Почему? А по кочану.

Сзади зазвенела сетка забора. Игорь оглянулся. Кто-то ловко перелезал через ограду. Нет, не ребенок. Взрослый человек — но стройный и гибкий. Что за гимнаст вдруг выискался?.. Игорь изумился: это была девушка, но стриженная под мальчика. Вероника. Вожатая из третьего отряда, в котором другим вожатым был Саша, сосед Игоря по комнате.

Вероника вышла на пляж, делая вид, что не замечает Игоря. Игорь сразу понял, что в этом пренебрежении заключается вызов — конечно, не лично ему, а всему миру. Всем «нет», «нельзя» и «никогда». Вероника сбросила обувь, извиваясь, спустила джинсы, через голову стащила футболку, а потом, заломив руки, бесстрашно расстегнула лифчик. Слабая луна еле освещала ее бледную грудь. Игорь остолбенел: не мог пошевелиться или хотя бы отвести глаза. Боязливо расставив руки, Вероника в одних трусиках осторожно ступила в воду, добралась до глубины по пояс, легла и поплыла от берега.

Игорь наблюдал, как она сделала круг и вернулась. Она вышла из воды вся блестящая и по-прежнему не прикрывала грудь руками. У Игоря в уме все смешалось: сейчас надо было небрежно уронить какое-нибудь саркастическое замечание, или, наоборот, выразить понимание и одобрение, или хотя бы предложить сигарету, а он молчал, как каменный истукан на острове Рапануи. Белая грудь Вероники заворожила его, заворожил этот странный и дерзкий поступок — искупаться полуголой назло всему, и пускай даже никто не увидит этого, а потрясенный остолоп не в счет. Вероника быстро обтерлась футболкой и принялась одеваться.

А потом она пошла обратно к забору, перелезла через сетку и скрылась за кустами. У Игоря же осталось безумное ощущение, что ни с того ни с сего он вдруг потерял все на свете. Или, может быть, все на свете обрел.

Глава 8. Оскал олимпийского мишки

Дружинный дом был двухэтажным щитовым бараком, построенным лет тридцать назад как совхозное общежитие — тогда деревня Первомайская еще худо-бедно процветала. Теперь в Дружинном доме располагались жилые комнаты старшей пионервожатой, физрука и старшего воспитателя, а также кружковые комнаты, радиоузел и почти священная Знаменная комната. На первом этаже находился кинозал с затемненными окнами. Туда можно было запихать человек шестьдесят-семьдесят, поэтому фильмы в лагере менялись раз в три дня, чтобы их посмотрела вся дружина. Сегодня был вечер третьего и четвертого отрядов. Игорь, Ирина, Саша Плоткин и Вероника сидели в последнем ряду, и к ним присоседились физрук Руслан и Свистунова.

Радиотехник Саня крутил скучное документальное кино про подготовку к Олимпиаде, но старшая вожатая пообещала, что потом будут мультики, и недовольные зрители терпели, тихо переговариваясь в ожидании зрелища. Стрекотал киноаппарат; в темноте над залом светился расширяющийся дымный луч, в котором мелькали цветные тени, и ребячьи макушки делались то синими, то красными, то желтыми.

— Угадайте загадку, пацы, — заелозил Лешка Цыбастов из второго, не Валеркиного звена. — В темной комнате на белой простыни полтора часа удовольствия! Что это?

— Отвянь, все знают! — пробурчал Венька Гельбич.

— Ну-ка прищемились там! — строго одернул болтунов физрук Руслан, потом склонился к уху Саши Плоткина и уважительно прошептал: — Не понимаю, как ты ваще этих дэбилов в шахматы учишь? Молоток!

Саша пожал плечами: дескать, что свыше дано, того умом не постичь.

Валерка внимательно смотрел на экран. Ему, в отличие от прочих, было интересно. Столько всего приготовили для Олимпиады!.. Валерку поражала странная инопланетность новых спортивных сооружений: чаши стадионов напоминали метеоритные кратеры, а велотрек в Крылатском был подобен фантастическому поселению на Луне; многоногим марсианским крабом растопырился стадион «Дружба», и на него неудержимо пер Дворец спорта «Динамо», похожий на старинный танк. На стеклянно-ячеистом вогнутом парусе гостиницы «Космос» дробно полыхало солнце. Блестели вереницы прозрачных и элегантных автобусов «Икарус». Пышно били белопенные фонтаны. Реяли стаи пестрых флагов. Но сильнее всего Валерку впечатляли спортсмены. Они дружно шагали рядами и колоннами и белозубо улыбались кинооператору. Валерка рассматривал лица атлетов — простые, открытые и мужественные. Спортсмены были как солдаты на параде: им ведь и вправду предстоял бой, жестокая схватка на пределе возможностей.

Валерка завидовал спортсменам. Конечно, не их силе. Он завидовал тому, что у спортсменов были команды, на которые можно положиться во всем, и команды не подведут. А у него, у Валерки, своей команды не было. И надеяться не на кого, и выкладываться не для кого. Что объединяет его с Титяпой или Колькой Гороховым? Палата в корпусе? Желание посмотреть мультики? Это не по-настоящему. Настоящего единения Валерка не встречал никогда. Дружба — не то. Дружба — это когда тебе интересно с твоим другом, когда вы похожи. А команда — когда все разные, но вместе делают одно дело, которое нужно всем, и это дело не сделать в одиночку.

Лёва Хлопов тоже не отрывал взгляд от экрана.

— Ринат Дасаев!.. — восхищенно бормотал он, узнавая футболистов олимпийской сборной. — Черенков идет!.. Бессонов!.. Гаврилов!..

Документалка наконец-то закончилась, зал облегченно зашумел, и Саня поменял бобины: началось время мультиков. Правда, мультики тоже были про Олимпиаду. Назывались они «Баба-Яга против!» Цыганистая Баба-Яга, тощий Кощей в пальто и короне и мелкотравчатый Змей Горыныч пытались всячески напакостить пухлому Олимпийскому Мишке, но от недотепистости путались и мешали друг другу: ничего у них, придурков, не получалось. В общем, было смешно. Отряды разошлись по корпусам удовлетворенные.

Ирина Михайловна быстро провела «свечку».

— Гурьянов и Титяпкин, кто болтал на фильме? — Ирина Михайловна взглядом испепелила нарушителей тишины. — Хотите в следующий раз в корпусе сидеть, пока нормальные кино будут смотреть?

Затем четвертый отряд сцепился в «орлятский круг».

— День пролетел, и лагерь спешит ко сну, — забубнил Валерка вместе со всеми. — Доброй вам ночи, наши девчата... Доброй вам ночи, вожатые наши... Завтра нам в трудный путь!.. Начинаем операцию «Т-с-с!»

Валерка терпеть не мог этого кривлянья. Какого фига они так задушевно прощаются? Никто же не сдохнет ночью! И они тут друг другу не родня! Валерка даже с мамой и бабушкой перед отъездом в лагерь так пылко не обнимался и к маленькой сестренке не проявлял такой нежности!..

В палате пацаны разобрались по койкам, Горь-Саныч выключил свет и закрыл дверь. Пацаны тотчас вскочили и схватили полотенца. Перед сном требовалось

перебить комаров, сколько можно, иначе заедят. Отхлестав по стенам, а заодно и друг по другу, пацаны снова улеглись. Теперь можно было приступить к обсуждению дня — настоящему, а не такому, как на «свечке». Комары, переждав суматоху, потихоньку раззвенелись, как прежде.

— Мультики дряньские были, — заявил Гурька. — Не ржачно нисколько.

— А кино интересное, — сказал Лёва. — Я бы съездил в Москву позырить на Олимпиаду. Или хотя бы на футбол.

— В Москву никого не пускают, — возразил Серёжа Домрачев. — Все поезда идут в обход.

— А людям приехать как? — удивился Титяпкин.

— Жопой об косяк, — буркнул Славик Мухин.

— А зрителей для соревнований где возьмут?

— Все зрители — переодетые мильтоны и солдаты, — авторитетно поведал Серёжа. — В Москве во всех школах летом солдат поселили. А стадионы новые построили, чтобы в стенах сделать незаметные окошки, через которые солдатам можно из винтовок стрелять, если что.

Пацаны мрачно задумались. Да, похоже на правду. Олимпиада ведь — та же война, только как бы врукопашную и не до смерти.

— Иностранцы всякие диверсии приготовили, — сказал вдруг робкий Юра Тонких. — Они об этом давно уже целую книгу написали. Кто надо — читал.

— Откуда знаешь? — не поверил Славик Мухин.

— От папы.

Вообще-то нормальные пацаны на слова родителей не ссылались. Это считалось по-салабонски: все равно, что в школьной ссоре звать на помощь учительницу. Однако в данном случае можно было сделать исключение из правил, и даже Колька Горохов, вздохнув, промолчал.

— Там в той книге написано, что иностранцы будут дарить футболки с Олимпийским Мишкой, — продолжил Юрик. — Так-то Мишка нормальный, а когда постирают — краска облезет, и он оскалится зубами, как собака.

— Т-щ-щетко! — восхитился Гурька. — Мне бы такую футболку!

— А еще там написано, что будут дарить жувачки, а внутри — бритвочки. А негры через стаканы в газировочных автоматах будут заражать болезнями. И джинсы будут продавать, а в швы там зашиты микробы.

От переполнивших чувств Гурька заметался у себя в койке.

— А че никто их не поймает? — обиделся Титяпкин. — Они же вредят!

— Папа говорил, что по ночам в Москве мильтоны будут трясти деревья и собирать в баночки жуков, которые упали. Потом их отдадут в медицинский институт и сделают прививку. Но это ведь не сразу.

Коварство иностранцев поразило пацанов, и Валерку тоже. Правильно в мультике было показано, что «Баба-Яга — против». Один только Лёва Хлопов остался недоволен. Он приподнялся на локте, глядя на Юрика. Диверсии — диверсиями, но футбол-то не надо сюда замешивать!

— А про футбол что-нибудь написано, Юрик? — спросил он.

— Написано, что иностранные футболисты везут коробочки с блохами. Выпустят на наших, наши станут дергаться и чесаться — и проиграют.

Лёва немного успокоился и лег щекой на подушку.

— Из-за блох-то не проиграют, — убежденно сказал он. — Блохи — фигня.

Пацаны смотрели в потолок и размышляли о трудностях жизни. Сосны за окном были подсвечены синими фонарями Пионерской аллеи.

— Надо нам футбольную команду собрать, — твердо решил Лёва.

Глава 9. «Собакам на драку!»

Распорядок дня был начертан на больших стендах, установленных возле столовки, перед Дружинным домом и на Пионерской аллее. Время между «трудовым десантом» и обедом предназначалось для занятий в кружках и секциях, для тренировок и репетиций. На стенде этот период был снабжен стихотворным пояснением: «Раз пришел веселый час, так играйте все у нас!»

Игорь Саныч вел мальчишек своего отряда на стадион играть в футбол.

— Старшаки говорили, что в прошлом году вместо стадика был бассейн, — на ходу рассказывал Серёжа Домрачев. — Только однажды девки купались там после пацанов, и одна от воды сделалась беременной. Начальника лагеря чуть в тюрьму не посадили. Он приказал закопать бассейн.

Пацаны, если честно, не очень-то представляли, как у девок происходит процесс беременья. Для пацанов драматическая история преобразования бассейна в стадион выглядела вполне правдоподобно. Жизнь трудна.

— Не было никакого бассейна! — не очень уверенно возразил Гельбич, но на него никто не обратил внимания.

Каждую смену в лагере проводился футбольный чемпионат. В нем всегда побеждала команда старшего отряда — первого или второго. Команды старшаков состояли из таких БЕЛАЗов, одолеть которых никто не мог. Но Лёва Хлопов, вооруженный теорией футбола, дерзнул сломать эту традицию.

— В футболе важны не мускулы, а мозги, — убежденно говорил Лёва пацанам из своей палаты. — Когда игроки умелые, а команда сплоченная, можно сокрушить любого соперника. Главное — навыки и воля к победе.

Воля к победе имелась у всех, а навыками Лёва обещал снабдить.

— Я такие приемчики знаю — любого обведете, — заверил он.

Лёва вступил в переговоры с Игорем Александровичем. Игорю очень понравился замысел Лёвы. Игорь, в общем, не знал, чем занимать пионеров, когда ему как вожатому надо их чем-нибудь занимать. Да и скучно было следить за играми детей, когда сам уже вышел из детского возраста. С собой в лагерь Игорь прихватил пару книжек фантастики. Можно почитать, пока мальчишки поглощены своим делом и не нуждаются в надзоре.

Игорь отыскал Руслана, главного физрука и хозяина стадиона.

— Слушай, выдели мне поле раз в день на час, — попросил он.

— На кой?

Игорь объяснил. Руслан легко согласился: если стадион занят другими, то и ему работы поубавится. Но на всякий случай он предупредил:

— Там одни ворота шатаются. Если твои дэбилы повалят их — сам вкапывать будешь.

Лёва запланировал ежедневные матчи между своим звеном и звеном Веньки Гельбича. В этом противоборстве Лёва рассчитывал оценить качество всех игроков, чтобы потом организовать отрядную сборную из одиннадцати человек. На чемпионате в конце смены эта натренированная команда вышла бы против «белазов». И тогда выяснится, что важнее: интеллект или сила.

Узнав об инициативе Игоря, Ирина разъярилась.

— Это не занятия с детьми! — прошипела она. — Ты, Игорь, таким образом просто отлыниваешь от обязанностей!

— У нас же олимпийская смена! — демагогически ответил Игорь.

А пацаны дружно поддержали идею. Футбол-то интереснее, чем уборка шишек на «трудовом десанте», репетиции спектакля в защиту мирного неба или написание писем иностранцам в Школе Интернациональной Дружбы.

— Нечестно! — сразу разоралось звено Гельбича. — Нас семь, а вас восемь!

— Я могу не играть, — робко предложил Юра Тонких.

— Хорошо, Юрик, будешь запасным, — охотно согласился Лёва.

Все равно от этого стручка никакой пользы.

А Валерку футбол не воодушевлял. Комары ночью так свирепствовали, что Валерка почти до рассвета отмахивался и чесался, а потому совсем не выспался. Шагая к стадиону, он думал о том, что сегодня надо соорудить над собой крышу из простыни, натянув ее на спинки кровати. Не напрасно же он занял место в углу палаты, где удобнее всего делать «домик» от кровопийц.

Крепко утоптанный стадион окружали длинные лавочки для зрителей. Разметки на поле не имелось. Ворота стояли пустые — просто два столба и перекладина. Игорь Александрович вывел пацанов на стадион.

— Все! — он беспомощно развел руками. — Больше ничем помочь не могу.

В футболе Горь-Саныч ничего не понимал и не скрывал этого.

— Дальше я сам, — солидно ответил Лёва.

Пока болваны Гельбича нагоняли мяч на ноге, Лёва занялся теорией.

— Гурька, ты будешь вратарем, — сказал он.

— Нет! — завопил Гурька. — Я голы забивать хочу!

— Ты самый ловкий, — терпеливо объяснил Лёва. — Без тебя нам капец.

В душе Гурьки азарт боролся с тщеславием, и победило тщеславие.

— Ладно, — снисходительно согласился Гурька.

— Значит, слушайте дальше, — продолжил Лёва. — Серый и Колян, вы будете защитниками. Вы должны охранять наши ворота.

— А голы забивать? — заревновал Колька Горохов.

— Голы забивают нападающие.

— Делай меня нападающим!

— Все будут по очереди.

— Тогда давай считаться, чтобы по правилам было!

— По правилам — это меня слушать! Я капитан!

— Да зажрись ты своим футболом! — рассвирепел Горохов, ушел в сторону и от досады принялся пинать землю.

— Титяпкин и Мухин, вы нападающие.

— Я их всех снесу! — пообещал Титяпа. — Их всех отсюда в морг увезут!

— А мы с Валериком — полузащитники. Мы в середине поля.

Термин «полузащитники» Валерке не понравился. И защитником-то быть скучно, а тут вообще только половина задачи! Выходит, по-настоящему в футбол будут играть лишь Титяпа и Славик! Но спорить Валерка не стал.

— Подавайте мяч, Горь-Саныч! — распорядился Лёва. — Мы готовы.

Игорь Александрович вышел на поле и положил мяч посередине. С одной стороны к борьбе изготовилась команда Лёвы, с другой стороны — команда Веньки Гельбича, у которого все игроки, не мудрствуя лукаво, были нападающими, и потому слитная кодла гельбичей выглядела куда более опасной, чем технично расставленная команда Лёвы. Игорь Александрович сунул в рот свисток, позаимствованный у физрука, и свистнул.

Гельбичи ринулись к мячу, Вовка Макеров точным ударом сразу послал его вперед, и гельбичи ломанулись напрямую, расшвыряв Титяпу и Мухина. Лёва отважно метнулся на перехват, повалив пару гельбичей, и Валерка тоже побежал куда-то наугад, еще не соображая куда. Колька Горохов трусливо отпрыгнул с пути гельбичей, Серёжа Домрачев затерялся в толпе врагов, и Лёха Цыбастов с разгона ударил по воротам Лёвиной команды. Гурька, вытянув руки, полетел в один угол ворот, а мяч пролетел сквозь другой угол. Гурька упал, вскочил и помчался за мячом, словно хотел отомстить ему, и чем быстрее месть свершится, тем незначительнее окажется поражение.

— Ладно, все нормально, — утешил своих бойцов Лёва. — Нельзя начинать с победы, это расслабляет, — Лёва тяжело вздохнул и осуждающе посмотрел на гельбичей: — А вы чего всем стадом атакуете? Игроки бывают разные: форвард, хавбек, голкипер, а у вас одни форварды! Так нельзя! Мы же общую сборную готовим, и против «белазов» будем играть одной командой. В ней у каждого своя задача. Ее надо отработать.

— Иди в жопу! — ответили Лёве наглые и торжествующие гельбичи.

Никто из своих пацанов Лёве ничего не сказал, но урок был усвоен: правила только мешают побеждать.

Гурька принес мяч и водрузил его в центре поля.

— Собакам на драку! — заявил он.

Игорь Александрович дал свисток. Снова вспыхнуло сражение. Славик Мухин и Титяпкин оставили свою зону ответственности у ворот и влились в общую свалку, и Лёве тоже пришлось присоединиться. Пацаны вопили, толкали друг друга плечами и отчаянно лягались, пытаясь попасть по мячу. Валерка, боясь разбить очки, бегал вокруг побоища, но не находил способа всунуться в него. Всех футболистов охватила ярость: плевать на команду, плевать на ворота, свои или чужие, главное — влепить кедом, чтобы мяч улетел куда-нибудь к черту! А мяч вдруг свечкой взмыл в воздух над толпой, потом рухнул вниз, и Лёва, подпрыгнув, боднул его лбом.

Мяч приземлился прямо перед Валеркой и запрыгал по полю. Валерка тотчас метнулся к нему, пнул и погнал перед собой, устремляясь к воротам гельбичей. В воротах, широко растопырив руки, в панике заполошно суетился Борька Подкорытов; лицо у него было белым. А толпа остальных футболистов понеслась за Валеркой, будто дворовая свора за кошкой.

— Стой, очкастый! Стой, падла! — кричали и чужие, и свои.

Титяпа первым настиг Валерку и поддал ему по пятке. Валерка зацепил ногой за ногу и растянулся на пузе. Толпа футболистов, бурля, прокатилась над ним, и кто-то наступил ему на руку. Битва закрутилась в штрафной зоне гельбичей и потихоньку ввалилась в ворота, затоптав Борьку Подкорытова.

— Это гол, гол! — орали из команды Лёвы. — Зассали, гады?

— Не гол! Не щ-щитово! — орали из команды Веньки. — Борзота!

Валерка поднялся и пошел с поля. Ему стало неинтересно.

Юра Тонких сидел на лавке рядом с Игорем Александровичем. Вожатый читал какую-то растрепанную книжку с цветастой обложкой.

— Иди, Тонкий, играй за меня! — зло приказал Валерка.

— Я не хочу...

— Иди, а то в ухо дам!

Юрик поплелся на поле, а Валерка сел на лавку.

— Не любишь футбол, Лагунов? — искоса глянул на него Горь-Саныч.

— Люблю! — строптиво буркнул Валерка.

Сзади к ним подошел Валентин Сергеич Носатов — лагерный доктор.

— Угости сигареткой, Игорёк, — попросил он вожатого.

Валентин Сергеич возвращался в медпункт от Серпа Иваныча Иеронова — два-три раза в неделю Носатов навещал всесоюзного пенсионера, чтобы измерить давление. Иеронов — человек пожилой: восемьдесят лет, ровесник века, надо держать здоровье под контролем. А то умрет в пионерлагере, как Пальмиро Тольятти в «Артеке», и тогда врача попрут с работы.

Затягиваясь сигаретой, Носатов понаблюдал за игрой.

— Какой позор! — с чувством сказал он.

— Чем уж богаты, — пожал плечами Игорь Александрович.

— Веди их ко мне после матча. Надо бинтовать и зеленкой мазать.

На поле продолжалась битва. Растрепанная и орущая орава шарахалась от ворот

к воротам. Валерка понимал, что основа футбола — передачи, когда футболисты пасуют мяч друг другу, ловко избегая столпотворения, но сейчас никто не хотел уступать мяч, каждый жаждал завладеть им и заколотить гол самостоятельно. Вокруг вертящегося мяча кипело ожесточенное сражение. Пацаны будто фехтовали ногами, расшибая колени и голени своим и чужим. Мелькали красные китайские кеды и расшлепанные сандалии, летел песок из-под подошв. Использовать руки строго запрещалось, но в кутерьме пацаны поневоле отпихивали друг друга и орудовали локтями. Потеряв самообладание, Колька Горохов вцепился в Лёху Цыбастова.

— Ты че, тыгыдымский конь! — возмущенно завопил Лёха.

Титяпкин выдернулся с мячом из толпы и, хрипя, понесся на половину гельбичей, однако его догнали, и он исчез в куче-мале.

Гурьку в воротах от возбуждения разрывало на части. Гурька то бегал кругами, то подпрыгивал и повисал на перекладине, будто на турнике. Если кто-то из гельбичей пробивался на линию атаки, Гурька в полуприсяде скакал перед ним в штрафной зоне и бешено кричал, как герой на расстреле:

— Давай! Давай, сволочь!

А Лёва Хлопов вкладывал в борьбу всего себя без остатка, хотя можно было чего-нибудь и оставить. Лёва играл умело и ловко: подрезал, обводил, легко отнимал мяч, уворачивался оборотом и делал финты. Но бедой Лёвы была самоотверженность. Лёва желал показать класс и вовлечь в игру всех, кто был в его команде. Он щедро раздавал пасы, прострелом или навесиком отправляя мяч товарищам. Он отважно бросался в самую гущу рубилова, не щадил себя, прикрывал своих пацанов от ударов гельбичей и часто падал, оставаясь в корчах одиноко лежать на земле, когда толпа убегала прочь, но потом мужественно поднимался и, хромая, снова рысцой спешил наперерез орде противника. Он задыхался. Его колени кровенели ссадинами, его майка и растянутые триканы были перепачканы землей, его волосы растрепались, языки на его кедах вывалились. В общем, Лёва играл благородно — не на жизнь, а насмерть. На поле он был «один за всех», но увы, увы: эти «все» не были «за одного». Пацаны сражались каждый за себя, и команда Лёвы неудержимо получала гол за голом. Валерке стало горько за Лёву.

Вот бы здорово изобрести такую особую машинку: нажал кнопку — и все сразу подчиняются беспрекословно. Проще бы жилось. Лично ему, Валерке, эта машинка была не нужна: он никогда не мечтал командовать. Он отдал бы машинку Лёве. Лёва — хороший человек, а пацаны его не слушаются.

Истерзанный Лёва собрал пацанов обеих команд в центре поля.

— Вы чего как маленькие? — допытывался он. — Нам не надо побеждать друг друга! Мы учимся играть вместе! Вот ты, Цыбастыш, почему Вовчику не отпасовал? Он же прямо против наших ворот находился! А ты, Юрик, зачем отскочил? Ты должен свою зону караулить! Надо всем заодно быть!..

Мяч лежал на земле рядом с Лёвой. Пацаны нервно переглядывались. Титяпкин не выдержал, рванулся к мячу и пнул. И вся орава тотчас с воем кинулась вслед за мячом, бросив Лёву с его бесполезными поучениями.

Игорь Александрович, заложив книжку пальцем, посмотрел на пацанов, посмотрел на Валерку и понимающе усмехнулся.

— Разочаровался в коллективизме? — спросил он.

— Вам нельзя так говорить! — огрызнулся Валерка. — Вы же учитель!

— Учитель, но не дурак.

Валерка не ответил, сердито глядя на игру. При чем тут коллективизм? Коллективизм — это прекрасно. Коллектив всегда прав. Коллектив всегда лучше, чем один человек. Умнее, честнее, храбрее. Но там, на стадионе, разве коллектив? Разве команда? Не команда, а стая макак, дерущихся за банан!

Глава 10. Внешний вид

Для всех, кто надеялся посмотреть открытие Олимпиады, у Серпа Иваныча попросту не хватало посадочных мест, поэтому телезрители сами приносили себе стулья. Игорь вел на дачу Иеронова активистов своего отряда: Веньку Гельбича, Анастасийку Сергушину, Леночку Романову и Лёву Хлопова. Ирина отпустила их, оставшись в корпусе; Олимпиада ее не интересовала, хотя Ирина сто раз в день требовала от пионеров гордиться тем, что они приехали в лагерь на особенную смену — олимпийскую.

Игорь заставил Веньку и Лёву тащить стулья за Лену с Анастасийкой.

— Бабам-то Олимпиада на хрена? — ворчал Венька Гельбич.

— Бабы у тебя в классе, — ответила Анастасийка. — А мы — девушки.

В лагере имелось только два телевизора. Черно-белый «Рассвет» стоял в Дружинном доме, но там собралась целая толпа: Свистуха с Русланом, старшая воспитательница Ирина Фёдоровна, директор лагеря Колыбалов, доктор Носатов, радиотехник Саня, завхозиха, бухгалтерша и кастелянша, заведующая столовкой и поварихи. Пионеры из старших отрядов, желающие увидеть зрелище, уже не влезали, и вожатые попросились к Серпу Иванычу — тем более что Серп и сам всех приглашал. На чужой территории гостям было несколько неловко, зато у Серпа разноцветно сиял большой «Рубин».

Серп Иваныч был польщен. Он по-стариковски воодушевился таким количеством молодежи и не знал, чем угодить. Кирилл и Максим, вожатые-тезки, приперли телевизор Иеронова на веранду, водрузили на стол и настраивали антенну; Серп Иваныч помогал расставлять стулья.

— Хватает или нет? — спрашивал он. — У меня на втором этаже еще один стул есть, только спинка сломана. Нужен будет кому-нибудь, а, ребята?

С Серпом Иванычем кокетничала симпатичная и наглая Жанка Шалаева.

— А эта дача вот прямо ваша, да? — Жанка смотрела на Серпа чистыми глазами дурочки. — Вы, наверное, какой-то подвиг совершили, да?

— Просто я очень старый, — пояснил Серп Иваныч. — В городе я давно уже надоел, и меня сюда отправили, чтоб я помер и не мешался.

— Вы совсем-то еще не старый, — возразила Жанка. — Не скоро помрете.

Лучи заката набирали над Волгой такую скорость и силу, что слепили даже сквозь частокол сосновых стволов. Веранда была погружена в янтарное свечение. В окно Игорь увидел, что возле крыльца стоит и курит Вероника — вожатая, которая несколько дней назад купалась при нем без лифчика. Игорь уже знал, что Вероника работает на третьем отряде вместе с занудой Сашей Плоткиным, а живет в одной комнате с правильной Ириной. Наверное, Веронике надоели поборники моральных норм. Курение вожатых в лагере не поощрялось, тем более вожатых-девушек, и Вероника затягивалась с видом человека, утомленного дурацкими упреками. Игоря потянуло к ней, словно ему уже что-то пообещали. Он быстро направился к выходу.

— Привет, — сказал он, доставая сигареты. — Пришла на Олимпиаду?

— А разве здесь что-то еще могут показать? — буркнула Вероника.

Однако Игорь решил продолжать в прежнем ироническом тоне.

— Каким видом спорта интересуешься? Плаванием?

Вероника явно хотела огрызнуться, но против воли фыркнула от смеха. Собственная недавняя дерзость ее ничуть не смущала, а этот усатый парень, похоже, и не думал осуждать. Значит, нормальный.

— Надо же чем-нибудь заняться вечером, — призналась Вероника. — Не методички же читать.

— С развлечениями здесь туго, — согласился Игорь. — К Свистуновой я бы не

пошел телик смотреть, незачем лишний раз на глаза попадаться. Спасибо Серпу, что пустил к себе. Хороший он старикан.

— Да, славный, — кивнула Вероника.

Разговор забуксовал.

— Даже не верится, что Серп всю историю видел, — сказал Игорь, лишь бы продолжить беседу. — На саблях с белыми рубился, на тачанках гонял...

Такое и вправду не укладывалось в голове. Серп Иваныч выглядел, так сказать, весьма современным стариком: молодежь не ругал, своего мнения не навязывал, не жаловался на здоровье, шутил, смотрел цветной телевизор. Но вот телевизор-то никак и не сочетался с буденовцами.

— Вообще-то тачанки — это не к нему, — заметила Вероника. — Я... э-э... — она замялась, — короче, я знаю людей, которые знают его, — ну, в городе, в обкоме. Так вот, они говорили, что Серп делал карьеру по линии партии. И на конях он скакал разве что только поначалу.

Значит, у Серпа Иваныча в биографии — лишь митинги и партсобрания.

— У-у!.. — разочарованно протянул Игорь. — А я-то думал, он герой...

Вероника неожиданно рассердилась.

— А герой — только тот, кто со штыком в атаку? — с вызовом спросила она. — А если человек всю жизнь вкалывал, как ишак?

Всю жизнь вкалывать — безусловно, достойно уважения. Но прожить жизнь ишаком... Нет, Игорь такого не хотел.

— Серп всего себя работе отдал! Не женился, детей не завел — некогда было! Потому сейчас и возится с пионерами — своих-то внуков не нажил!

— Не знаю, правильно ли это, — с сомнением сказал Игорь.

— Судя по твоему виду, конечно, неправильно! — презрительно уронила Вероника, намекая на джинсы и модную стрижку Игоря.

— У тебя внешний вид тоже бывает не совсем правильный, — осторожно ответил Игорь, намекая на ночное купанье.

— Пошляк! — оскорбилась Вероника.

Она бросила сигарету, готовая уйти, но Игорь схватил ее за руку.

— Да погоди ты! — примирительно сказал он. — Я же ничего обидного про Серпа Иваныча не говорю! Мне он очень нравится!

— Таких людей, как он, сейчас нету! — строптиво заявила Вероника.

— Нету, — истово подтвердил Игорь.

— Если бы ты его понимал, то сейчас не здесь бы прохлаждался, а на БАМе рельсы укладывал!

Такой аргумент всегда висел над совестью Игоря, как дамоклов меч: если ты хороший человек, то почему не участвуешь в хорошем деле?

— Ты тоже не на БАМе! — огрызнулся Игорь.

Какого фига эта девица взялась его учить?

Вероника вырвала руку и быстро пошла к домику Серпа Иваныча.

Игорь мрачно затянулся, размышляя. Он хороший человек, но ему неинтересно строить железную дорогу в тайге. Было бы интересно — так пошел бы учиться в железнодорожный техникум, а не на филфак университета. Он не лентяй и не эгоист. Не обыватель и не мещанин. Но он не хочет ни на БАМ, ни на КАМАЗ, ни на Атоммаш. Он хочет плыть на тростниковой ладье «Тигрис» и вместе с Туром Хейердалом разведывать пути древних шумеров. Хочет вместе с Кусто в «ныряющем блюдце» изучать коралловые рифы. Хочет с Рейнгольдом Месснером когда-нибудь подняться на Аннапурну. Хочет раскапывать руины Мохенджо-Даро, искать Эльдорадо в джунглях Ориноко или забраться на недоступное плато Рорайма, где, конечно, вряд ли живут уцелевшие динозавры, но все равно там Затерянный Мир. В этих желаниях нет ничего дурного. Но о них почему-то лучше помалкивать.

А Вероника... Она сама не желает жить так, как все, потому и купалась без лифчика. И рассердилась она не на Игоря, а на кого-то другого или на что-то другое. На нем, на Игоре, она просто сорвала зло. Увы, для этого ей пришлось обвинить его в том, в чем на самом деле она не винила ни его, ни себя. Какие обвинения подвернулись под руку, такие она и пустила в дело.

— Начинается! Начинается! — закричали из теремка Серпа Иваныча.

Когда Игорь вошел, на экране мускулистый атлет в белой форме бежал по улице Москвы с олимпийским факелом в руке. Факел оставлял длинный дымный след. За атлетом тянулись две цепочки спортсменов. Медленно ехали милицейские машины с полыхающими мигалками.

На веранде перед телевизором собралось человек двадцать. Лёва Хлопов охранял место для Игоря. Иеронов, уступая место гостям, сидел в последнем ряду. Игорь протиснулся к нему. Хотелось как-то услужить старику, чтобы оправдать себя за скепсис, хотя Серп Иваныч о скепсисе и не знал.

— Садитесь на мой стул, — прошептал Игорь. — Там ближе к телику.

— У меня дальнозоркость, голубчик, — улыбнулся Серп. — Иди, иди.

На олимпийском стадионе гордо протрубили горнисты. По спортивным дорожкам двигалась процессия в античных одеяниях и лавровых венках; мужчины держали курящиеся блюда с благовониями, а женщины — гирлянды роз. Катились триумфальные колесницы-квадриги, вышагивали черные и белые кони, девушки сыпали цветочные лепестки. Потом пронесли белое олимпийское знамя с пятью кольцами, прицепили к мачте и подняли в небо. Зазвучал олимпийский гимн, знамя развернулось на ветру, полетели птицы.

Над трибунами вздымалась чаша для олимпийского огня, похожая на огромный фужер. Спортсмен с факелом побежал наверх, к чаше, и вокруг него растекалась волна синевы. Люди на трибунах рукоплескали, статисты на поле махали платками. Из чаши вырвались высокие языки пламени. Опять заметались птицы, и диктор сказал, что это пять тысяч почтовых голубей. На огромном панно под чашей с огнем появилось изображение Олимпийского Мишки. Зазвенели фанфары. А перед теликом царила благоговейная тишина.

На стадионе в Лужниках с гигантского экрана космонавты в скафандрах послали олимпийцам спортивный привет и сообщили, что видят с орбиты и Москву, и даже Грецию. Трибуны забушевали овацией. Дикторы читали величественные стихи. По зеленому полю стадиона кружили белые танцоры-спортсмены, и зрители поражались непривычной свободе мужчин и чувственности женщин. Потом поле заполнили артисты в национальных костюмах; мелькали сарафаны и бешметы, папахи и тюбетейки; гремели азиатские барабаны и выли какие-то зурны; ряды артистов перестраивались, вытягиваясь дугами и свиваясь в текучие кольца хороводов. В красочном представлении не было казенщины юбилейных концертов, и дух захватывало от разнообразия лиц и костюмов. Разнообразие таило в себе неимоверную силу державы, которая и выстраивала людей в сложнейшие фигуры.

Потом на поле высыпала куча олимпийских медвежат, они кувыркались и махали в воздухе ногами. Затем появились дети: толпа мальчиков и девочек прискакала на палочках-лошадках. Мальчики принялись прыгать и делать сальто, девочки в желтых платьицах танцевали с куклами и раскладывались на зеленом поле звездами подсолнухов. Юные гимнасты, ловкие и гибкие, очень точно отражали суть детства — гораздо точнее, чем пионеры со своими выспренними ритуалами; Игорь вдруг почувствовал щемящую нежность к детям — и к тем идеальным, что были на экране, и к балбесам в своем отряде. И его сердце окатила любовь к своей стране, такой могучей и огромной, часто — неповоротливой, но в глубине — все равно теплой и доброй.

Никто из телезрителей на веранде не видел, как с последнего места Серп Иваныч наклонился к девушке-вожатой, что сидела впереди, и, похоже, что-то ласково

зашептал ей на ушко. Лицо девушки исказил испуг, потом его сменило недоумение, и наконец девушка, зажмурившись, тихо улыбнулась. Это выглядело так, будто старый галантный аристократ одарил трепетную мадемуазель очень приятным, но не совсем допустимым комплиментом.

Глава 11. Песни и танцы

Лёва не отступился от задуманного; он погнал своих горе-футболистов на тренировку и во второй день, и в третий. Игорь Александрович читал книжку, а Валерке скучно было сидеть и тупо глазеть на футбол.

— Горь-Саныч, можно я пойду просто гулять? — попросился он.

— Нельзя.

— Я же нормальный. Я не буду курить или бить стекла.

— Тебя поймают, а мне будет втык.

— Я вас не выдам. Скажу, сам сбежал. Честное слово.

Игорь Александрович поломался, но все же отпустил. Валерка подумал, что Горь-Саныч — хороший вожатый, понимающий.

Пообещав не соваться на Пионерскую аллею и Дружинную площадку, Валерка гулял по окраинам лагеря вдоль сетчатого забора. Он начинал путь у шестого корпуса, шел по берегу Волги, сворачивал в лес и завершал маршрут перед медпунктом. Оттуда двигался обратно. Чирикали птицы, пахло смолой. В нескольких местах Валерка обнаружил глубокие подкопы под ограду. Кто их сделал? Собаки? Пионеры? Беглые Зэки? Эх, иметь бы на территории лагеря такую же землянку, как у Зэков в лесу, только невидимую, чтоб залез туда — и будто исчез. Сидеть бы там и наблюдать, но не присутствовать...

За углом медпункта находились картофельные грядки тети Паши — пожилой медсестры. Тетя Паша не теряла рабочего времени даром и выращивала урожай. Наверное, Беглые Зэки потихоньку воровали лохматые кусты картошки — ведь надо же что-нибудь есть. Тетя Паша должна была все знать про Зэков. Валерка спрятался за кустом, надеясь подсмотреть, как тетя Паша из окна медпункта подает какой-нибудь знак для тех, кто укрывается в лесу. Вот тут-то Валерку и заметила Свистуха.

— Попался, который кусался! — старшая вожатая вытолкнула его из куста. — Почему здесь шляешься? — с подозрением спросила она. — Заболел?

— Да я нечаянно... — растерялся Валерка. Откуда тут взялась Свистуха? Зачем ей приспичило переться в медпункт? Она же здоровая, как лошадь! — Я это... Я в Дружинный дом хотел идти. В кружок записаться.

— Давай со мной, — сказала Свистуха. — Я туда же.

Валерка покорно потащился за старшей пионервожатой.

— Чего любишь? — деловито поинтересовалась та. — Рисовать? Петь? В шашки играть? В настольный теннис? Или стенгазетой займешься?

— Петь буду, — обреченно решил Валерка.

Он и вправду любил петь: считал, что поет очень красиво, а в школьный хор его не взяли, потому что руководительница хора — глупая корова.

— Значит, в музыкальный кружок, — постановила Свистуха. — У нас все должны в чем-нибудь участвовать. А кто не все — того накажем.

Музыкальный кружок занимался в зале, где по вечерам показывали кино. Кружковцы не только пели, но еще и танцевали, поэтому им требовалось место. Сейчас на скамейках вроссыпь сидели девочки — с десяток, наверное, и два тихих, ничем не примечательных мальчика. Под скамейками лежали цветастые полиэтиленовые пакеты девочек.

— Вот вам новый певец, — объявила Свистуха. — Как зовут?

— Валера.

— А где Вероника Генриховна?

— Она в эту, в радиорубку пошла. За этой, за фонограммой.

— Ладно, заливайтесь, соловьи, — сказала Свистуха и убралась из зала.

Среди девочек была и Анастасийка Сергушина. При виде Валерки она скептически сморщилась:

— Ты же не умеешь петь, Лагунов. У тебя голоса нет.

— Ты сама не умеешь! — рассердился Валерка. — Это у тебя голоса нет!

— У меня альт, — с превосходством ответила Анастасийка.

В зал, пересмеиваясь, свободно, как в свою квартиру, вошли еще две девочки. Валерка их знал: спортсменка Жанка Шалаева из второго отряда и ее подруга Оля — резкая и опасная дылда по прозвищу Лёлик. Обе они уже были здесь, в зале, но отлучились, когда Свистуха привела Валерку.

— Во! — громко сказала Жанка, оставив рот открытым на звуке «о».

Валерка понял, что Жанка показывает девочкам накрашенные губы.

Девочки смотрели с восхищением, только Анастасийка хмыкнула.

— А снизу немножко размазалось, — сказала одна из девочек.

— Подтери, — тотчас велела ей Жанка.

Девочка наслюнявила палец и стерла помаду у Жанки в углу рта.

— В тубзике зеркало фиговое, — пояснила Жанка. — Не видно ни фига.

Валерка понял, что Жанка бегала в туалет краситься.

— Дашь мне тоже? — заискивающе спросила девочка, которая поправляла Жанке разъехавшуюся помаду.

— После Лёлика.

— А мне? — спросила другая девочка.

— Рука в говне, — отрезала Жанка.

Она привыкла быть в центре внимания. Дворовая звезда, улыбчивая, общительная и наглая, Жанка нравилась плохим мальчикам, а потому жила вольно, как ветер, и купалась в безнаказанности.

— Общей помадой пользоваться негигиенично, — сказала Анастасийка.

— Тебе никто и не дает, Сергушина.

— У меня и так есть.

— У мамки скоммуниздила? — свысока усмехнулась Жанка.

— Я чужого ничего никогда не беру, Шалаева, — с достоинством ответила Анастасийка. — У меня у самой все свое.

— Че, и цепка своя? — не поверила Жанка, указывая на тонкую золотую цепочку на шее Анастасийки.

— На ней крест! — заржала Лёлик, будто крестик означал что-то позорное.

— Мне бабушка подарила, — Анастасийка благоговейно положила ладонь на грудь. — Она меня в детстве крестила. Креститься не запрещено.

Жанке было плевать, запрещено или нет. Ее оскорбило то, что у этой козлихи есть такая дорогая и любопытная вещь.

— Я Бекле скажу, он у тебя снимет, — пообещала Жанка.

Бекля был прославленным хулиганом. Как он попал в лагерь — загадка.

— Не снимет, — уверенно возразила Анастасийка.

— Снимет-снимет, я знаю.

— Не знаешь.

— Я вообще все знаю! — Жанка плюхнулась на лавочку. — Хочешь, отгадаю, что ты скажешь в первую брачную ночь?

— Не хочу, — ответила Анастасийка.

— Я хочу! — сказала та девочка, которая не получила помаду.

— Закрой глаза, дай руку, — распорядилась Жанка. — Я буду колдовать.

Девочка закрыла глаза и протянула Жанке раскрытую ладонь. Жанка дунула в нее и принялась производить над ладонью какие-то пассы, будто бросала щепотями невидимую соль.

— Колдуй, баба, колдуй, дед, колдуй, серенький медведь!

Жанка хитро посмотрела на всех, приглашая посмеяться над дурой, и пощекотала ладонь девочки ногтем. Лёлик злорадно заулыбалась.

— Ну, кончай! — взмолилась испытуемая девочка, ежась от щекотки.

— Вот это и скажешь! — торжествующе объявила Жанка.

Другие девочки угодливо захихикали.

Довольная собою, Жанка наконец-то заметила Валерку.

— А ты что, новенький? Из какой школы?

Таких, как Жанка, почему-то все сразу знали, а таких, как Валерка, увы, никто никогда не знал. И собственного имени — по мнению Жанки — Валерке не полагалось. Достаточно номера школы.

— Не из твоей, — буркнул Валерка.

— Борзеешь, очкарик? — с готовностью напряглась Оля-Лёлик.

— В моей школе таких чмошников нет, — подтвердила Жанка.

Снова заскрипела дверь в зал — это вернулась Вероника Генриховна. Она несла большой квадратный конверт казенного зеленого цвета. В конверте, без сомнения, находилась пластинка. Девчонки тотчас переключились.

— Вника Греховна, Вника Греховна! — загомонили они. — У нас новый!

— Ну и хорошо, — Вероника Генриховна быстро оглядела Валерку. — Если ему понравится, то запишем в коллектив.

Валерка уже не раз видел эту Веронику Генриховну. Она была вожатой в третьем отряде. И Валерке она почему-то не очень-то нравилась. Было в ней что-то такое же, как в Жанке Шалаевой, вот.

— Для каких песен у нас есть музыка? — спросила Анастасийка.

Вероника Генриховна перевернула конверт и зачитала:

— Пионерские песни «Край родной», «Костёр», «Крейсер “Аврора”», «Орлята учатся летать», «Пусть всегда будет солнце», «С чего начинается Родина». Детские песни: «Картошка», «Голубой вагон», «Чунга-Чанга», «Когда мои друзья со мной», «Бременские музыканты», «Колыбельная». Выбирайте, какую песню будем репетировать.

Девчонки дружно полезли под скамейки в пакеты и достали песенники. Сделанные из общих тетрадей, песенники были произведениями искусства: тексты написаны цветными ручками, а названия — фломастерами, на всех страницах аккуратно наклеены фотки и картинки по теме. Песню про любовь иллюстрировали цветы, про море — корабли, про дружбу — парочка малышей, что держатся за руки. После каждой песни было начертано «Конец!»

— Надо «Орлят»! — безапелляционно заявила Анастасийка.

— Почему? — удивилась Вероника Генриховна.

— У меня альт, я буду солировать. А остальные — хор.

Анастасийка не сомневалась, что все должны служить ей во славу.

— Соляра... что? — не поняла Жанка.

— Со-ли-ро-вать, — повторила Анастасийка. — Значит, петь сама.

Анастасийка встала, откашлялась и звонко пропела:

— «Но жизнь не зря-а-а зовут борьбой, и рано нам тру-бить отбой-бой-бой!.. А-ар-лята учатся ле-тать!»

Это было так здорово, что Валерку даже продрал озноб. В тоненькой Анастасийке вдруг сверкнуло что-то серебряное, высокое и пронзительное.

— Ну, ты обурела, Сергушина! — разозлилась Жанка.

Конечно, Жанке так не спеть, хоть лопни.

— Я в музыкальной школе и в городском хоре пять лет занимаюсь! — гордо сообщила Анастасийка. — Надо использовать мои способности.

— Да ни фига! — Жанка яростно пнула по ножке соседней лавочки. — Надо спеть «Чунгу-Чангу»! Мы на прошлом Новом годе ее пели, да, Лёлик? Иди сюда, покажем им!

Жанка и Лёлик встали перед девочками и посмотрели друг на друга.

— Три, четыре! — скомандовала Жанка. — «Наше ща-астье па-стаянно — жуй ка-коссы, ешь баннаны, жуй ка-коссы, ешь баннаны, Чунга-Ча-анга!»

Жанка и Лёлик спели и станцевали — обе в лад и необыкновенно мило: приставив к голове растопыренные ладошки вроде ушей, они изобразили обезьянок, весело изгибаясь и приседая. Валерка не мог поверить, что перед ним — дворовые разбойницы, умеющие подбить глаз или обозвать так, что соперники теряли дар речи. Впрочем, в движениях Жанки и Лёлика, слишком детских для девочек, которые почти превратились в девушек, таилось и нечто странно непристойное. Жанка и Лёлик подцепили это, конечно, не в школе.

— Можно шапки такие сшить круглые, — глядя на Веронику Генриховну, сказала Жанка, — щеки накрасить и хвосты сделать. Ваще мартышки будем.

Жанку не волновало мнение других девочек, не говоря уж о незаметных мальчиках. Впрочем, девочки не возражали. И Валерка тоже не возражал, хотя ему больше нравилась песня о крейсере — она про войну, а не про обезьян. Но Жанка с Анастасийкой без колебаний решали за всех.

Вероника Генриховна отлично уловила легкий любодейский оттенок танца. Валерка догадался об этом по неожиданно ожесточившемуся лицу вожатки. Но отреагировала она совсем не так, как отреагировали бы учителя.

— Пионерских песен нам достаточно, — с холодком сказала девочкам Вероника Генриховна. — Так что будем репетировать «Чунга-Чангу».

— Схавала, Сергушина? — победно спросила Жанка.

Анастасийка надменно отвернулась.

А Валерке показалось, что Греховна в чем-то родственна Горь-Санычу. Уступая желанию подопечных, оба они нарушали правила. Но Горь-Саныч уступал Лёве, потому что в правилах ему было скучно, а Греховна уступала Жанке, потому что в правилах ей было тесно. Впрочем, Валерка твердо решил, что с кружком Греховны он связываться не станет. Он не хочет плясать и петь с мартышками. И Анастасийка ему нравилась больше Жанки.

Глава 12. Мертвец в пианино

— Игорь, а где у тебя Хлопов? — спросила Ирина.

— Где? — глупо переспросил Игорь.

Они стояли на пустой веранде. Ирина сквозь очки сверлила Игоря гневным взглядом. «Свечка» закончилась, пионеры ушли в палаты.

— Девочки мне сказали, что утром он плохо себя чувствовал. А после полдника его никто не видел. Он был на ужине?

Игорь не знал. Он уже привык и к работе вожатого, и к своему отряду и не пересчитывал пацанов по головам, не проверял по списку.

— Лишней порции в столовке не оставалось, — осторожно заметил Игорь.

— Ее Гельбич съел. А Хлопов куда-то пропал. Это че-пэ!

— Я пойду искать, — сразу сказал Игорь.

— Давно пора! Я подожду здесь, пока все не прояснится!

Игорь вышел на улицу. Солнце уже село, но закат за Волгой не успел угаснуть, и было светло. На Пионерской аллее фонари еще не горели. В густо-синем небе инфракрасным теплом лучились лохматые кроны сосен.

Странно, куда подевался Лёва? Он был хорошим мальчиком: такие не убегают из дома, не связываются с дурной компанией и не имеют приводов в милицию. Может, Лёва серьезно заболел и его положили в медпункт? Но доктор Носатов сообщил бы об этом... Или же Лёва сидит у Серпа Иваныча с вожатыми и смотрит по телику «Дневник Олимпиады»?.. Игорь поглядел на дачу Иеронова, которая высилась вдали за кустами. В окнах первого этажа мелькали отблески телеэкрана. Нет, другие вожатые прогнали бы Лёву.

Игорь топтался на аллее, решая, куда направиться, и заметил шевеление в акации за большим стендом с лозунгом «Твори! Выдумывай! Пробуй!»

— Хлопов! — тотчас наугад окликнул Игорь.

Из-за стенда нехотя выбрался Лёва и принялся отряхиваться.

— Ты где был? — строго спросил Игорь.

— Там... — уклончиво ответил Лёва. — Олимпиаду показывали...

Он явно врал и потому прятал глаза. Настоящий учитель наверняка вцепился бы в Лёву и вытряхнул из него всю правду, но Игорь пожалел пацана. Мало ли какая мальчишечья необходимость заставила его исчезнуть? Может, он строил себе штаб — детское укрытие где-нибудь в лесу за оградой. Или на спор таскался к развалинам церквушки у берега Рейки: эти развалины в «Буревестнике» считались местом очень зловещим и очень опасным, и там пацаны проверяли свою храбрость. А может, Лёву просто кто-то обидел, и он убежал плакать, чтобы никто не стал свидетелем его слабости.

— Тебя все обыскались, — осуждающе сказал Игорь. — Пошли в корпус.

На крыльце на Лёву набросилась Ирина.

— Хочешь, чтобы тебя из лагеря выгнали, Хлопов?! — прошипела она. — Ты чего себе позволяешь?! Ты где был?!

— Ладно, Ирина Михайловна, не ругайте его, — Игорь попытался утихомирить вожатку. — Он у Серпа Иваныча задержался.

— Нельзя детям потакать, Игорь Александрович! — отрубила Ирина. — А этому Иеронову я объясню, во сколько телик выключать надо!

— Я сам объясню, — поморщился Игорь.

Он подтолкнул Лёву вперед и мельком удивился, какое у Лёвы холодное и твердое плечо. И спина у него была сплошь замусорена хвойными иголками и травяной трухой, точно Лёва валялся на земле в лесу.

Игорь с облегчением водворил Лёву в палату.

Пацаны, понятное дело, еще не спали. Валерка соорудил себе «домик» от комаров: стыбзил у вожатки горсть канцелярских кнопок и прикрепил к стене край своей простыни, натянутой, как крыша, на обе спинки кровати. К спинкам простыня была привязана тесемками из бинта. Половина простыни пологом закрывала «домик» сбоку. В «домике» было уютно, будто на верхней полке в вагоне. Пацаны иззавидовались и тоже принялись мастерить себе «домики», правда, ни у кого не получалось так ловко, как у Валерки.

— Очкастый себе самую удобную койку захамил! — сказал Титяпкин.

Валерка откинул полог.

— Щас за «очкастого» в пачу втащу, Титька! — предупредил он.

— Сам не обзывайся! — обиженно ответил Титяпкин.

Лёва молча и отчужденно прошел к своей койке.

— Ты куда смылся? — спросил его Гурька. — Из лагеря сбежать хотел? Че меня-то не позвал?

Лёва странно закашлялся, словно отвык говорить.

— Я Олимпиаду смотрел, — хрипло сказал он.

Олимпиада в палате мало кого интересовала, а вот страшные истории интересовали всех. Наступило время страшных историй.

— Горох, считай! — распорядился Славик Мухин.

— Со вто-ро-го эта-жа поле-тели два ножа, — начал считать Колька. — Красный, си-ний, го-лу-бой, вы-бирай се-бе лю-бой! Домря, выбирай!

— Красный, — выбрал Серёжа Домрачев.

Горохов снова прочитал считалку, начиная с Серёжи, и рассказывать историю выпало Гурьке. Пацаны замерли. Гурька сел на койке по-турецки.

— Короче, одна бабка купила черный платок и положила на кухне. Мать пришла с работы, пошла на кухню, а платок такой подлетел к ней, закричал: «Дай крови!» — и задушил. Потом отец пришел с работы, пошел на кухню, а платок подлетел к нему, закричал: «Дай крови!» — и задушил. Потом старший брат пришел, видит такой — в кухне все валяются, побежал к ним, а черный платок закричал: «Дай крови!» — и тоже задушил. Потом пришел младший брат, видит: все мертвые, и платок по кухне летает. Брат испугался, побежал в комнату к бабке, говорит: «Че делать?» Бабка такая говорит: «Отруби себе руку и сожги!» Младший брат отрубил себе руку, сжег — и платок сгорел!

Пацаны полежали, потихоньку осваиваясь с ужасом.

— Горох, считай!

Колька снова посчитал, и выпало Юрику Тонких.

— В одной семье жили папа, мама и дочка, — заговорил Юрик. — Папа и мама хотели, чтобы дочка играла на пианино. Они пошли в магазин, а там только черные пианины. Продавщица говорит: «Не покупайте!» — а они все равно купили. На следующий день дочка стала играть. Играла-играла, мама говорит: «Хватит играть на черном пианино!» — а она не может остановиться. Потом остановилась, а мама лежит на полу мертвая. «Скорая» приехала, говорит: «А у нее крови больше нет!» На следующий день дочка снова села играть. Играла-играла, папа говорит: «Хватит играть на черном пианино!» — а она опять не может остановиться. Потом остановилась, а папа лежит на полу мертвый. «Скорая» приехала, говорит: «У него тоже крови нет!» Дочка побежала в магазин, говорит там продавщице: «Заберите пианину!» А продавщица говорит: «Купи топор!» Дочка купила топор, пришла домой и стала рубить пианину, а оттуда ручей крови потек! Дочка разрубила пианину до конца, а там мертвец лежит! Это он всю кровь пил!

Юрик печально замолчал. Пацаны тоже молчали. В тишине гнусаво зудели комары. Валерке от страха стало совсем невмоготу. Все, блин, хватит играть на черном пианино!

— Пацы, не надо больше, — сказал Валерка.

— Очкуешь? — злорадно спросил Гурька.

— А сам не очкуешь, да?

— Ладно, завтра еще будем рассказывать, — за всех решил Горохов. — Я про Автобус-Мясорубку знаю. А щас отбой, пацы!

Валерка закинул полог своего «домика», вытянулся и зажмурился, чтобы поскорее заснуть и не бояться. Успокаивая себя, он думал о причинах ужаса. Ужас — от первобытной обезьяны. Обезьяна всего боялась, поэтому взяла палку, обточила камень и разожгла костер: в общем, стала человеком, чтобы не бояться. И человеческий мир не содержит в себе страха. Пускай этот мир порой скучный или дурацкий, но все равно не страшный. Конечно, даже в нем случаются страшные вещи: люди попадают под машину, болеют неизлечимыми болезнями или садятся в тюрьму. Но это от неправильного поведения. Дураки идут на красный светофор, пьют и курят, воруют. Короче, покупают черное пианино. Живи правильно — и страха не будет.

Он, Валерка, живет правильно — однако страх есть, и еще какой! Кто же виноват? Обезьяна? Неправильные люди? Нет, не они, ведь мертвец забрался в пианино сам! Никто не может объяснить, откуда страх!

Похоже, все пацаны уже заснули, но Валерка вдруг услышал тихий проволочный звяк панцирной сетки, шелест белья и легкое шлепанье босых ног о половицы.

Кто-то поплелся в туалет?.. Но дверь не скрипнула. Зато донеслось какое-то странное чмоканье, от которого у Валерки по рукам пополз холод. В этом полуночном чмоканье Валерке почудились сразу и безумное наслаждение, и невыносимая жуть.

Валерка немного отодвинул полог и глянул в щелочку. Половину палаты затопила тень. Сквозь большое окно были видны сосны, озаренные синим фонарем, — какие-то сейчас тайные в своей сути, словно опоры деревянного моста, когда смотришь на них, проплывая по реке. На дальней стене лежали полосы белого света. Славик Мухин спал на спине, выпростав левую руку, будто в больнице под капельницей. А перед койкой Славика на коленях стоял Лёва — стоял на коленях и, согнувшись, целовал Славику сгиб руки. Лёва пошевельнулся, распрямился, и Валерка едва не умер: у Лёвы блестели мокрые черные губы. Вернее, конечно, не черные, а красные. Лёва пил кровь.

Валерка не мог оторваться от этого безумного зрелища. Лёва блаженно замер, точно прислушивался к своим ощущениям, а потом снова наклонился и припал ртом к руке Славика. Валерка опять услышал чмоканье.

«Я сплю! — сказал себе Валерка. — Я наслушался страшных историй, вот мне и снятся кошмары!..» А Лёва снова распрямился, будто переводил дух. Лицо его в тени было почти неразличимым, но в темных глазницах едва заметно дрожал багровый блеск. Валерка торопливо задернул полог.

Он лежал, весь сжавшись, и убеждал себя, что Лёва его не заметил и вообще он все себе сам напридумывал. В палате было тихо. Никто не сопел и не бормотал — будто на торжественной линейке, когда выносят знамя. А потом легкие шлепки босых ног раздались рядом с кроватью Валерки, и на пологе «домика», синем от света фонаря, обрисовался силуэт Лёвы. Лёва присел на корточки возле кровати. Сквозь полог поплыл шепот:

— Лагунов, пусти меня в «домик».

Валерку от Лёвы отделяло только тонкое полотно застиранной казенной простыни. Тонкое полотно — и значение «домика», своего дома.

— Лагунов, пригласи меня, — просил Лёва. — Я твой друг...

Валерка молчал. На синем полотне появились черные ладони. Лёва невесомо касался простыни, оглаживая полог, точно лаской хотел добиться разрешения войти в чужой дом.

— Тебе же будет лучше, Лагунов, — шептал Лёва. — Этого все хотят, только сами не знают...

Валерка молчал. Где-то вдали на Волге загудел теплоход.

Лёва еще посидел возле Валерки, а потом поднялся. Шлепки босых ног удалились к окошку — туда, где находилась кровать Лёвы. Звякнула сетка.

Валерка лежал, глядя в полог вытаращенными глазами. Нет, это был сон. Это был сон. Утром заиграет горнист и морок развеется без следа!

Станислав Ливинский

Как беспечная пташка

* * *

Звучит забавно — русский грек,
а с виду вылитый абрек,
ещё немного польской крови
и сильно сросшиеся брови.

Всему, мой глупенький сынок,
найдётся место в этой жизни.
Вот головастики без ног,
вот омерзительные слизни.

Вот нарезает чёрный кот
круги у рыбного прилавка,
и птичка песенку поёт,
и сквозь асфальт пробилась травка.

Их тоже обижают люди.
Но и таких ведь кто-то любит.

* * *

В саду за хлипкою оградою
живут жуки, сверчки и слизни,
и яблоки на землю падают,
уставшие от сладкой жизни.

Их соберёт в передник грустная
чудаковатая старушка.

Из них варенье выйдет вкусное,
а может — сморщенная сушка.

А может быть, у швейной фабрики,
где рынок возле остановки,
она продаст все эти яблоки
без сожаленья, по дешёвке.

Ливинский Станислав Аликович — поэт. Родился и живет в Ставрополе. По специальности фотограф. Автор книги стихов «А где здесь наши?» (М., 2013). Лауреат Международного литературного Волошинского конкурса (2012).

* * *

Это кто там идёт в водолазке,
оставляя следы на песке;
нарезает лучок и колбаску,
самогон остужает в реке;
ловит рыбку — должна ведь ловиться,
голубым трепетать плавником;
не убийца, не самоубийца
с не обсохшим ещё молоком?!

Это я, как беспечная пташка,
воспеваю родную дыру.
Если я не родился в рубашке,
то, быть может, в рубашке умру.
Превращусь в бестолковую чайку,
прокричу над речною волной,
распугав головастиков стайку,
и по небу отправлюсь домой.

* * *

Да кто ж, мой миленький, из нас
не засыпал в обнимку с мишкой,
не опускал бесстыжих глаз,
не выносил от гроба крышку?!

Такая быль о трёх частях,
где от получки до получки
живут и пляшут на костях,
и похмеляются шипучкой.

Звонят в подпитии жене,
чтоб в сотый раз в любви признаться,
и пишут матом на стене,
и участкового боятся.

* * *

Как мы жили, так и пели —
выходило невпопад.
Оглянуться не успели,
чтоб оплакать дивный град.

Нам теперь ли верить в чудо
с пустотою вместо глаз?!
Ночью «скорая» к кому-то
приезжала много раз.

Кто-то громко хлопнул дверью
иль тихонько притворил.
Я себе уже не верю,
что бы там ни говорил,

как бы там ни делал ручкой,
усмиряя гордый нрав.
Время — лекарь-самоучка,
костолом и костоправ.

* * *

Вот так, обыденно и просто —
война, тюрьма и рабский труд,
Христос, как жертва холокоста,
а в перспективе — Страшный суд.

Сосед, на Сталина похожий,
непруха триста лет подряд.
И без конца и края можно
перечислять весь этот ад.

Ходить-бродить на задних лапах,
как дрессированный медведь,
и корень зла искать в масштабах
страны, ломающей комедь.

Скупая спички, соль и мыло,
на чёрный день плести петлю...
Когда бы ты не говорила —
я и таким тебя люблю.

* * *

Уже не здесь, ещё не там,
но седины теперь не прячу
и обывательским мечтам
я предаюсь, копая дачу.

Ну да, стал мелочен. Щелчки
в суставах тщательно считаю.
На днях купил себе очки
и первый раз в очках читаю.

Глава, ещё одна глава,
герой расстрелян по ошибке.
Плывут за стёклами слова,
переливаются, как рыбки.

А я глазами их ловлю
и вновь на волю отпускаю,
не потому что я люблю,
а потому что жизнь такая.

* * *

Постарайся меня не забыть,
если нет больше силы любить
и прощать переезды-пожары.
Нам и здесь не снискать благодать,
нас в чистилище станут шмонать,
загонять наши души на нары.

Всё унылый, пропащий народ,
где стихи — это типа рот в рот.
Мальчик-девочка, парой, за ручки.
В общем, так! — не закончив дела,
ты склонишься над краем стола,
передёрнув затвор авторучки.

* * *

Вот так и живут, и дают имена
и детям, и маленькой речке.
И смотрят подолгу на всё из окна
и курят в трусах на крылечке.

Кивают на осень, её письмена,
повадки и мордочку лисью.
А ночью такая вокруг тишина,
что слышно, как падают листья.

Каштан ударяется о козырёк,
и кошка мяукает где-то.
И бьётся о лампу ночной мотылёк,
прельщённый безжизненным светом.

* * *

Служил творцу-единорогу
и семерых царей видал.
О счастье пел, но, слава богу,
тебе не переприсягал.

Краснознамённая держава,
страна, жена, больная мать.
Когда высасываешь право
любить и втайне проклинать.

Впадать, как сумасшедший, в детство.
Менять на бабки страшный дар.
В кривое зеркальце смотреться
и перечитывать «Анчар».

Александр Гаррос

Воля

Кинороман

Предисловие и публикация Анны Старобинец

Саша Гаррос переехал из Риги в Москву — ко мне и нашей маленькой дочке — в конце 2005 года. До этого он работал в соавторстве со своим другом Лёхой Евдокимовым (за дебютный роман «Головоломка» они получили премию «Нацбест», на вручении которой мы с Сашей, собственно, и познакомились). После переезда Саша написал, наверное, сотни статей, репортажей и эссе для разных журналов. Мы с ним вместе написали несколько киносценариев. Он сочинил два рассказа и пять-шесть потрясающих стихотворений. Но он так и не написал ни одной полноценной книги. Он не написал свой роман. Хотя идея романа была — и не одна.

Он писал блестяще. Он мыслил математически четко. Он легко мог придумать историю гармоничную, логичную и соразмерную, как кристалл. Он легко мог записать эту историю своей фирменной языковой вязью, сказочно-красивой и кружевной, как ледяной узор на зимнем окне. Но он этого так и не сделал за 12 прожитых в Москве лет. Что-то очень ему мешало писать роман.

Может быть, я мешала. Ну как я — я и дочь, я и кот, я и пудель, я и сын, я и книги, которые я-то как раз писала, я и грязная посуда, я и быт, который он взвалил на себя.

Может быть, мешала основная работа. Нужно было все время что-то писать — статьи, колонки, сценарии, — а Саша не был (в отличие от меня) настолько многозадачен, чтобы утром работать над одной историей за деньги, а вечером — над другой для души, в перерывах выгуливая собаку и запекая индейку.

Может быть, мешала многолетняя привычка писать с соавтором. Одиночный литературный поход пугал, как одиночное восхождение на высоту восемь тыщ метров. Кто на тросе вытянет обратно наверх, если случайно сорвешься в пошлость и лажу? С кем присядешь, перекуришь и выпьешь, обсудишь пройденный сегодня и запланированный на завтра маршрут?

Может быть, мешало неумение писать без дедлайна. Так бывает у журналистов и сценаристов — пишешь только, когда припрет, не спишь сутки, сдаешь текст в последний момент.

Саша сдать свой текст не успел.

Он начал писать роман «Воля» — задуманный давно, еще в 2012, — только осенью 2015-го, когда у него появился диагноз, а вместе с ним и дедлайн. В буквальном смысле. Когда линия смерти замаячила впереди.

Как-то сразу нашлось на это свободное время. Появились — между облучениями и химиями — его любимые схемки разноцветными ручками на больших листах формата А3: переплетающиеся сюжетные линии, системы персонажей, кружочки, черточки, куриные почеркушки.

«Волю» он изначально задумал как киноповесть. Как неслучившийся сценарий, по которому — Сашины слова — «не может и не будет снят фильм в современной России».

Саша очень угадал с формой. Сценарная запись — без внутренних монологов и эмоций, без рассуждений, все только через позы, реплики, действия — оказалась идеальным выбором для того, чтобы говорить про «здесь» и «сейчас», чтобы сделать срез жизни, потрогать живую, настоящую ее ткань, поймать за хвост тот самый цайтгайст, который, как жалуются коллеги-писатели, сегодня неуловим.

В центре сюжета — харизматичный учитель истории, которого с волчьим билетом выгнали из хорошей московской школы (темная история с соблазнением старшеклассницы, которая то ли была, то ли нет, но как бы то ни было школьница в итоге погибла; заметим, это все было придумано задолго до скандала в 57-й школе). И который в результате уехал в провинциальный русский городок, устроился учителем в местной школе, организовал там что-то вроде факультативного исторического кружка реконструкторов (да не то чтобы даже организовал — дети сами к нему пришли, харизматик же, сильный и интересный учитель). Дальше дети стали играть в революцию и в эсеров — и заигрались. Доигрались до серьезного дела, до обвинения в подготовке теракта, спасибо провокатору из ФСБ.

Ничего не напоминает? Дела «Нового величия» еще не было, когда он это придумывал. Саша умер за полтора года до этого дела.

Просто логика. Математическая выверенность идеи. Кристаллическая гармония исторических, литературных и жизненных параллелей. Ну еще, конечно, журналистский подход и хорошая интуиция. Расшифровывая Сашины корявые записи на листах формата А3, я нашла табличку «синхронизация». Саша там запараллеливал события в тексте и те, что происходили в то же время в реальности. «Октябрь — гибель Моторолы, декабрь — гибель ТУ-154 с ансамблем и доктором Лизой, январь — Трамп, начало февраля — Ждун».

Синхронизация Сашиной задумки с реальностью — взять хотя бы дело «Нового Величия» — продолжилась уже без него: гармонично устроенная история рассказывает себя сама, снежный узор выкристаллизовывается на окне, даже если хозяин покинул дом. Он писал свой первый «сольный» роман «Воля» до конца февраля 2017-го. Он успел примерно треть — и дал мне прочесть написанное. В начале марта появились отеки, и он сказал:

— Я превратился в Ждуна. Не только внешне. Я сижу и жду смерти.

Писать он больше не мог.

Я много раз просила его рассказать мне, чем заканчивается роман. Я, как могла, пыталась облечь эти вопросы в корректную форму (ты перестал писать, а мне интересно, что дальше), но оба мы понимали: я спрашиваю, потому что хочу закончить то, что он начал. Уже потом. Без него.

Он не хотел. Его сольный недописанный текст запараллелился, синхрони-зировался для него с его недопрожитой жизнью:

— Если мне станет лучше, я допишу его сам. Если я умру — пусть мой текст умрет тоже. Пусть никто никогда его не прочтет.

Я с ним спорила. Да, я знала, что он терминальный больной, что любимый, сильный, умный человек гибнет. Но принять еще и смерть его текста — тоже сильного, любимого, умного, — я не могла. Я говорила, что раз история уже придумана — она должна быть написана. Я говорила, что он не может так поступить с персонажами — просто бросить их на дороге. Я говорила, что он не может поступить так со мной. Он отвечал: как хочу, так и поступаю.

В середине марта он позвал меня и сказал, что решил рассказать, чем все кончится. Я открыла лэптоп и все записала, и мне даже удалось не заплакать. Он рассказывал под гул кислородного концентратора, тихим голосом, но с мальчишеским каким-то задором. Он использовал слово «будет», которое меня потрясло: Ань, вот этот персонаж будет делать то-то и то-то, а вот эта линия будет такой-то, а вот тут я еще не решил, как будет, так или так.

Я спросила, разрешает ли он мне — потом — дописать роман за него. Он усмехнулся:

— Ты не можешь написать за меня мою книгу. Этого не может никто.

Я действительно не смогла бы. Я не умела и никогда не сумею писать, как он. Я пишу (по-хорошему) просто. Он писал (по-хорошему) сложно, нанизывая снежинки метафор на тонкую логическую иглу:

«Широкий нож вспарывает белесое рыбье брюхо. Рука в резиновой перчатке лезет в багровую щель, выдирает спутанный моток требухи, весь в потеках, швыряет в картонную коробку. Нож взлетает, опускается, и еще раз, — отчекрыженная рыбья башка с

пластмассовыми кнопками глаз тоже летит в ящик. Бегемотистая тетка в замызганном целлофановом переднике поверх халата пасует выпотрошенную рыбину к товаркам, берет новую из ящика, брякает на разделочный стол — весь в разводах крови и слизи.

Напортив, через проход, обвислый, сильно пьющий мясник рубит стойкую отмороженную баранину.

Желтоватые бройлеры в гинекологических позах. Яйца в бильярдной треугольной кладке. Бакалея, курево, санкционка. А в овощных, во фруктовых рядах — гранаты оттенков запекшейся крови, пирамиды свекольных ядер, баклажанных снарядов, кабачковых мин, тыквенных торпед. Соленые огурцы в ведре — как патроны «эрликона», специи в лотках — как порох и селитра россыпью. Тлеет в банках и баночках греческий огонь меда и масла, напалм аджики, ткемали, сацебели. Щербата плитка пола, катят тележки подсобные рабочие, орут, подманивая и клеясь, торгаши (тут много обоего пола южан и азиатов), шаркает сотнями конечностей классово и визуально разнородная — от провинциальных хипстеров до обветшалых пенсионерок, от телок модельного класса до крупных жлобов мелких криминальных пород, — толпа...»

...Нет, я не могу так писать. Я попросила его объяснить, как он это делает. Засмеялся:

— Тебе не надо. Ты и так круто пишешь.

— Нет, ну все же.

— Я просто так вижу. Я просто так мыслю.

— Саш, а если твою книгу допишет Лёха? По твоему сюжету? Он ведь тоже похоже видит и мыслит? Вы же вместе писали.

— Нет. Во-первых, это моя сольная книга. Во-вторых... нафиг это Лёхе сдалось? У него своих дел хватает.

Через несколько дней он сказал, что я, возможно, права. Что нельзя бросать историю на дороге.

— Я хотел бы, чтобы то, что я успел написать, когда-нибудь вышло. Только то, что я написал. И ничего больше.

— Сань, но где может выйти недописанный текст?

— Ну, не знаю. В журнале. В толстом журнале.

Я сказала, что в это не верю. Толстым журналам не нужна недописанная сценарная запись с большим количеством мата. Саша кивнул.

За три дня до смерти — когда я уже от него отстала с романом — он сказал, что изменил свою волю.

— Я даю тебе разрешение делать с моим романом все, что ты хочешь. Если ты считаешь нужным его завершить — завершай. Если ты его сможешь издать — издавай. Я больше не против. Я не смогу его дописать.

Я сказала «спасибо» и поняла, что он умирает. Всех кошмаров, происходивших с его телом, мне было, видимо, недостаточно, чтобы понять. Но его разрешение означало проигранный бой — за текст и за жизнь.

За час до смерти я сказала, что обещаю: все, что он написал, прочтут. Он помотал головой отрицательно: не то говоришь.

— Не то говорю? А что сказать? Я люблю тебя.

Он кивнул: теперь правильно.

Саша был человек упорядоченный, основательный. В компьютере нашлись подробные описания всех линий, синопсисы большинства оставшихся глав, наброски будущих диалогов. В рюкзаке нашлись свернутые вчетверо листы формата А3 с арками персонажей. Я расшифровала все записи, собрала всю разрозненную информацию в единый поэпизодный план и отправила Лёхе Евдокимову. Он согласился дописать роман, не раздумывая (сейчас он уже на финишной прямой). И согласился поставить на обложке только Сашино имя. Я ему очень благодарна за это.

Я также благодарна издателю Елене Шубиной и ее редактору Алексею Портнову за готовность издать роман, когда он будет закончен.

Я благодарна Александру Снегиреву и журналу «Дружба народов» за эту публикацию. Здесь печатается все, что Саша успел написать. Ровно так, как он сам хотел: «в каком-нибудь толстом журнале».

Я люблю эту книгу. И она будет.

А.С.

Александру Житинскому, Владиславу Крапивину,
братьям Стругацким — и другим учителям;
Никите Соколову, Дмитрию Быкову,
Алексею Иванову — и другим старшеклассникам.

ПОДМОСКОВЬЕ, ПОЛИГОН РОЛЕВИКОВ. ИЮЛЬ, РАННЕЕ УТРО

Ливень. Струи частые, тугие — нити в ткацком станке. В линялой предутренней мгле — хаотичная очередь грозовых сполохов. Словно толпа папарацци работает.

ТИТР: Подмосковье, июль

Дробный, неприятный глазу свет проявляет лысый гребень холма, и на нем — четкие силуэты трех крестов для распятия: Голгофа. Рядом возникает — быстро выбирается с другого, невидимого склона холма, — мужчина. Голый по пояс, волосы до плеч, под сорок, но в хорошей форме; жилистый, выразительное лицо, щетина. Иисус, хипстерская версия.

Это Ян.

Ян на миг замирает, глядя с холма и тяжело дыша. Докатывается (и ложится на новые сполохи) сдавленный гром. Ян бросается вниз. К чему — мы видим уже его глазами.

Внизу — песчано-глинистый берег неширокой лесной реки. Толпа — несколько десятков человек. Все — молодые парни и девушки, одеты пестро и причудливо. Кто-то полуголый, как Ян, на иных — какие-то туники, кожаные штаны наездников, кто-то в брезентовой плащ-палатке, гортексовой туристической куртке (из-под нее торчат голые ноги), полиэтиленовом одноразовом плащике. Ян врезается в толпу, пробивается, торопливо расталкивая молодежь — «пропустите», «извините».

Сквозь белый шум дождя — реплики толпящихся.

— Медики есть?!

— ...Ну девка, я чё, знаю? Эльф, цвельф...

— Вызвали скорую?..

— Во где мертвятник надо было ставить... А чё я такое сказал?!

— ...Скорую вызвал кто-то?!

— Освободите проход!

— ...Мастера ваще в курсе?

— Знаешь что, Паша, ты вот реально урод.

— Она утонула, чё.

— ...бухая, ёкалэмэнэ, зуб даю. Набубенилась — и купаться.

— Медики есть?

— ...Гормоны, ёкалэмэнэ. Гормоны и алкоголь.

— Ты медик?

— ...всех трясти будут. Лексар, блин, чё ты как зомбак!.. Траву зашкерь! Менты приедут щас, всех трясти будут...

— Медик он, медик.

...Ян отталкивает пацанчика со смартфоном в поднятой руке, снимающего что-то невидимое для Яна на земле. Делает еще шаг по инерции, останавливается. На брошенной прямо в грязь пенке лежит без движения девушка. Это Инга. Она в одних узеньких плавках, видна подростковая грудь, а лица не видно: его закрывает затылок широкоплечего парня, приникшего к Инге в отчаянном поцелуе. Парень пытается делать Инге искусственное дыхание. На нем стеганая куртка-подкольчужник из обмундирования римских легионеров. Над ним и Ингой — еще несколько парней примерно в такой же одежде. Все они подтянуты, лаконично, на один модно-милитарный манер, стрижены, и сразу видно, что они — вместе; стая.

— Инга!.. — Ян, хрипло, отчаянно.

Парень — Максим — отрывается от губ Инги (видно ее лицо — красивое, очень юное и совсем неживое). Глядит снизу на Яна, машинально вытирая губы тыльной стороной широкой крепкой ладони; они глядят друг на друга, и между ними сразу — опасное напряжение неприязни.

— Что, педагог, доволен? — губа Максима дергается в усмешке, похожей на тик: злой, нервный и тоже, пожалуй, отчаянный. — Дохлый номер!

Еще миг — и Ян, зарычав, прыгает вперед. Ловко и сильно пробивает приподнявшемуся на колене Максиму не то апперкот, не то правый боковой в челюсть. Максима подбрасывает и разворачивает — разбив, как шар в кегельбане, строй товарищей, он рушится мускулистой спиной в глинистую жижу и чуть проезжает вниз, к кромке воды. Ян бросается снова — но пришедшие в себя клевреты в подкольчужниках отбрасывают его назад, крепкие руки хватают Яна за плечи и локти, не дают рвануться к противнику.

— Э, тихо ты, учитель! Тих-тих-тих!..

— Да вызовите кто-нить ментов!

— Видишь?.. гормоны... и алкоголь...

Максим, отведя руку одного из клевретов и чуть потряхивая башкой, сам поднимается с земли. Подбородок рассечен, течет кровь, но лицо собранное, упрямое. Хорошее лицо — честного, открытого, сильного парня из фантастической книжки советских 60-х.

Пацанчик в пластиковом плащике, снимавший своим телефоном Ингу-утопленницу, продолжает снимать и сейчас; один из клевретов-легионеров вдруг шагает к нему и ловко отбирает телефон — одновременно коротко подсекая боковым ударом ноги; пацанчик падает в грязь; клеврет давит возмущенное колыхание соседей в зародыше, властно приподняв раскрытую ладонь; сует телефон за широкий холщовый пояс...

Максим улыбается хищновато и болезненно. Из уголка губ тоже течет кровь. За действиями кореша он не следит. Только за Яном. Чуть невнятно — рот же разбит:

— Ответку ждешь? Будет ответка, педагог. Я т-те отвечаю.

Сплевывает кровавой слюной.

Ян как раз не отвечает — молча, сжав зубы, дергается вперед; его держат. Скрещенные взгляды мужчин искрят. На лицо Инги — мертвое, мертвое лицо, — рушится с небес вода, смывая грязь, которой ее обрызгали в суматохе. Сполохи, бубнеж грома. И — синяя мигалка с завыванием вспыхивает сбоку от холма с крестами: то ли скорая, то ли полиция...

Толпа вздрагивает, отвлекается — и те, кто держит Яна, тоже. Ян вырывается из их хватки, прыгает вперед... Но Максим не отвлекся. Улыбка его лишь самую малость сминается, когда он с грациозной четкостью профессионала пробивает Яну маваши гери в голову.

Затемнение.

МОСКВА, КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА ГИМНАЗИИ. АВГУСТ, ДЕНЬ

В темноте — не то короткая автоматная очередь, не то оборванное барабанное соло. И снова. Рингтон сотового телефона.

Телефон звонит и в третий раз — в руках Яна. Ян — по одну (ту, что для посетителей) сторону большого стола в просторном кабинете, по другую — двое: громадный, тучный, астматически дышащий мужчина лет семидесяти в твидовом пиджаке, — и элегантная дама за шестьдесят, с той породистой строгостью в чертах, что отличает завучей элитных школ. Она и есть завуч. Мужчина — директор знаменитой московской гимназии, Михаил Борисович, — не глядит на Яна; вертит в руках сигарету. Дама-завуч, Галина Эдгаровна, напротив, изучает Яна недобро. Ян сбрасывает звонок. Он спокоен. Волосы теперь собраны в короткий хвост. Щетина сбрита. На левом виске

и части щеки — обработанная чем-то желтым ссадина и подвыцветшая обширная гематома.

Ян убирает телефон в карман.

— Могли бы и отключить звонок, — завуч, холодно.

— Не мог бы. Мне следователь будет звонить.

Галина Эдгаровна разглядывает Яна как юннат экзотического слизняка — с брезгливым интересом.

— Вы же педагог, Ян Иванович. Историк. Ученый... Как вы докатились? Напасть... с кулаками... на офицера ФСБ...

Директор вдруг встает и, не глядя ни на кого, идет к окну. Мимо полок с призами и кубками, мимо стены с грамотами, дипломами, фотографиями — на большинстве он, директор, в разном возрасте и в разной компании — молодой с молодыми фантастами Стругацкими, зрелый с академиком Сахаровым, пожилой с премьером Медведевым...

— Я педагог, а не пацифист. А он подонок, а не офицер, — Ян скрещивает руки на груди. — Инга утонула из-за него. Это он ей вещества давал.

Директор громко открывает окно (на подоконнике массивная пепельница), клацает зажигалкой «Зиппо».

— Вещества? — завуч не понимает.

— Наркотики.

МОСКВА, ЦЕНТР. АВГУСТ, ДЕНЬ

Максим, в модной безрукавке-худи (капюшон символически чуть накинут на затылок) и шортах, идет по украшенному вазонами и газонами широкому плиточному тротуару одной из центральных московских улиц. Идет чуть вразвалку, уверенно и беспечно — бодро так, по-михалковски шагает по солнечной, пышной Москве. На подбородке — подживающий шрамик от удара Яна. Максим нагловато и обаятельно улыбается встречным красоткам. Некоторые отвечают.

Поравнявшись с шагающим Максимом, резко замедляется автомобиль — черный неброский «мерс» с госномером и «всепогодным» пропуском под лобовухой. Боковые стекла затенены. «Мерс» ползет со скоростью пешехода параллельно Максиму. Вынужденные так же резко замедлиться водители позади «мерседеса» возмущенно сигналят. Максим не обращает на происходящее ни малейшего внимания — в отличие от других прохожих: те поглядывают и на «мерс», и (сложив два и два) на следующего своим курсом Максима.

«Мерседес» плетется вровень с ним десяток секунд. Потом — седок авто явно понял, что внимания Максима так не привлечь, — чуть обгоняет, подруливает вплотную к бровке и встает аккурат под знаком «Остановка запрещена». Максим делает еще пару шагов и останавливается, глядя на «мерс» без выражения. Какая-то по-хипстерски одетая женщина, тоже остановившись, принимается снимать «мерс» и запрещающий знак на телефон.

Щелкает и приглашающе чуть приоткрывается задняя дверца.

Максим слегка морщится.

Сбрасывает с затылка капюшон худи, садится в машину.

«Мерседес» под какофонию возмущенных гудков трогается с места.

Заднее сиденье «мерседеса» отделено от передних толстой прозрачной перегородкой. Сбоку от Максима — мужчина лет пятидесяти плюс с волевым загорелым лицом и седоватыми коротко и хорошо подстриженными волосами, костюм, галстук — все недешево и со вкусом.

Мужчина может быть бизнесменом, чиновником, юристом. Мужчина — генерал ФСБ. И тоже Максим.

Он разглядывает сбоку профиль Максима. Тот без выражения смотрит вперед-

вбок, наружу. Снаружи, медленно ускоряясь, прокручивается пафосный столичный центр.

— Что с тобой не так, Макс?

Голос генерала дружелюбен, вопрос звучит мягко, почти сочувственно. Максим чуть поворачивает голову, смотрит на визави, молчит.

— Ты импотент?

Максим чуть ведет бровью.

— Может, комплексы у тебя? Много били в детстве? Училка изнасиловала? Или ты, не знаю, латентный гей?

Максим молчит. Собеседник смотрит на него с той же сочувственной полуулыбкой.

— Ты прямо скажи, Макс. Не стесняйся. Мне ж надо понять, почему из всех, сука, вариантов ты для своих экспериментов выбрал психованную... малолетнюю... шлюху!

— Она не шлюха, — голос Максима сипловат и резок.

Генерал хватает Максима пальцами за подбородок, не щадя незажившего шрама, разворачивает к себе (Максим смотрит мимо его глаз — не виновато, а вызывающе).

— Ты понимаешь, дурак, сколько мне волков в загривок дышат? Ждут, когда Акела промахнется?

— А ты не промахивайся, — чуть невнятно (пальцы генерала сжимают его нижнюю челюсть) и холодно рекомендует Максим.

Генерал секунду изучает его физиономию в своей щепоти, потом смеется, отталкивает.

— Этот ее учитель... Неверов Ян Иваныч... подал заявление на тебя.

— Я эту заяву ему в глотку...

Генерал, продолжая улыбаться, быстро и жестко бьет Максима тыльной стороной ладони по губам.

— Ты дышать в его сторону забудь. По иску ему будет отказ в возбуждении. А ты... герой-геморрой... — генерал разглядывает собственные пальцы. — ...Кончил щедро, с отличием? Отметил? Круто. А теперь, товарищ офицер, давай за сто первый километр. За тыща, сука, первый. В гуще русской жизни Родине послужить. С кадрами сам вопрос реши, скажи, батя только велел, чтоб до Москвы и Питера — тыща кэмэ, не меньше. Вопросы?

Оборачивает улыбающееся лицо к Максиму. Максим молчит. Секунда, другая. Генерал стучит костяшками пальцев в перегородку — водителю. «Мерс» плавно тормозит. Угол рта генерала чуть дергается.

— Что это вдруг за херня вообще?.. Ролевые игры?..

— Ты не поймешь, пап, — голос Максима предельно безразличен.

Щелкает дверь. Генерал роняет, не глядя на сына:

— Вон.

МОСКВА, КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА. АВГУСТ, ДЕНЬ

— И вы, учитель, потащили ее на эту свою... «игру»...

— Она поехала сама.

— Она несовершеннолетняя!

— Не крепостная же.

Завуч, нависнув над столом, уперев ладони в столешницу, буравит Яна лазерным взглядом, — Ян, напротив, откинувшись на стуле (руки скрещены, нога на ноге), глядит спокойно.

— Ну представьте же вы, — Ян вдруг меняет позу, расцепляет «замок» рук — призыв к искренности на языке тела; меняется и тон: — Тридцатые годы, месяц Нисан, провинция в песках. Скоро Пасха, тревожно, патрули на улицах, зачистки... Пацаны на стенах граффити малюют — римские оккупанты, гоу хоум, свободу Иудее! Старики брюзжат — типа, при Ироде Великом за такое сразу камнями побивали, зато порядок

был. Террористы-сикарии что ни день с ножами на уважаемых граждан кидаются... Римский префект от нервов бухает по ночам... Фарисеи, богатеи, местные элиты, зелоты, провокаторы, все грызутся, интрига на интриге... всё переплетено, всё на волоске буквально... Проповедников всяких, сектантов — как грязи. Но тут новый какой-то мутит, молодой, сам вроде из быдла, сын плотника, но харизма так и прет, народ ведется толпами... какие-то блудницы, говорят, прям с промыслом своим завязали и теперь ноги ему целуют... И называет себя, главное, Царем Иудейским... а обстановочка и так токсичная — только спичку поднеси... Понимаете? — Ян подается вперед. — Не как в Евангелии, не как в учебнике. А — на себя примерить, в полный рост, до первой крови... — осекается, горько кривит губы. — Инга... была... умной девочкой. С воображением. Ей было интересно. Ее не надо было тащить.

Пауза. Директор курит у окна.

— Вы родителям ее вот так же все красиво повторите? В глаза? — на скулах у Завуча алые пятна, голос ядовит. Ян — вновь откидывается, глухо:

— Идите к черту.

Завуч постукивает ручкой по пластиковой папке, лежащей на столешнице.

— Вы с ней спали. Да?

Ян — ледяным тоном:

— Не ваше. Собачье. Дело.

Грохот — Ян и Завуч вздрагивают, смотрят на Директора: это он, отшвырнув окурок, с силой захлопнул окно, движется к Яну с пепельницей в руке, мощно, как танк:

— Сопляк! Не наше дело?! Да ты понимаешь... на что я... каждый день... с какими шакалами... чтоб сохранить вот это все?! — трясет могучей рукой. — Да я как шлюха у шеста верчусь, чтоб эта школа!.. лучшая школа в этом городе, в этой, блин, стране! — работала!.. чтоб вы все — работали!.. чтобы растить!.. вопреки всей этой дряни!.. приличных людей!.. И тут ты, щенок! Не можешь хер свой в штанах удержать!.. даешь мракобесам повод!.. а потом говоришь мне — не ваше дело!.. да я тебя, сопляк, своими руками!..

Директор, огромный, мощный старик, багровый, апоплексически задыхающийся, нависает над Яном, даже как бы замахивается пепельницей. Застывает глыбищей...

— Михаил Борисович. Остыньте.

Ян смотрит спокойно и холодно. Директор вдруг выпускает воздух; совсем иначе — тоже холодно, четко, по-деловому:

— У вас были близкие отношения?

— Да, — с вызовом. — Дружеские.

— Я слышал другое.

— Вам послышалось.

— Так всем и говорите, — Директор, развернувшись и не глядя более на Яна, обходит стол — назад, к своему месту, садится, гремит пепельницей об стол. — Подпишете с Галиной Эдгаровной бумажки... по собственному... не беспокойтесь, финансово компенсируем. Оформим как премиальные. Дадим наилучшую характеристику. Но столицу я бы на вашем месте покинул. На время. Сами понимаете: и слухи будут, и дружок этот ваш из эфэсбэ...

Завуч пододвигает к Яну уже раскрытую папку с авторучкой. Ян смотрит в папку, на завуча, на директора. С ироническим любопытством:

— А как же — учитель года? Гордость гимназии? Раз — и всё? А, Михал Борисыч?..

— Вы сами, дорогой вы мой коллега, так сказать, девальвировали, — Директор, отбросив условности, закуривает новую сигарету. — Хуже того — поставили под удар все наше общее дело. Весь наш большой коллектив.

Ян разглядывает Директора. Тот окутывается дымом. Завуч, вытянув руку с пультом, включает кондиционер. Ян — с легким интересом:

— А если не подпишу?

— Вам тоже этот скандал не нужен! — Завуч напрягается. Директор курит, смотрит на фотографии на стене.

Ян, хмыкнув, берется за авторучку.

— Да не ссыте вы... коллеги... — ставит закорючку, шуршит листами, ставит еще... — Как два пальца. — Ослепительно, но криво улыбается, швыряет авторучку на стол. — Кто я, на хер, такой, чтоб мешать растить приличных людей.

НА ПОДЪЕЗДЕ К ЭНСКУ. КОНЕЦ АВГУСТА, ДЕНЬ

...Летит пейзаж за окном поезда, летит музыка — в наушниках Яна. Ян стоит в тамбуре, в руке — фляга виски в бумажном пакете. На лице — снова щетина. Ссадина зажила, от гематомы лишь сизая тень. Ян делает глоток из фляги. Стоящая напротив с сигаретой проводница зыркает на него, затягивается. Ян глядит в окно.

Там — Большая Вода: широкая, калибра Волги, река (или даже море?) в прорехах неопрятных береговых сооружений. Пакгаузы, ржавые портовые краны, причалы, несвежие туши буксиров и сухогрузов, штабеля контейнеров, хмарь, смурь, росчерки чаек, кляксы ворон. Человеческий фактор: пикник на капоте мятой иномарки — водочка, шашлычок, одутловатые граждане в трениках... Бегущие за поездом, немо лающие и отстающие дворняги... Ян смотрит наружу с болезненно-застывшим выражением, музыка в его ушах пульсирует, пейзаж несется.

На стекло обильно брызгает, картинка смазывается, замывается. Дождь пошел. И сразу сквозь летящую музыку глухо хлопает и рокочет, стекло становится черно-желтым: поезд ухнул в туннель, тусклая лампа в тамбуре мутно подсвечивает отражение Яна.

ЭНСК, У КЛУБА «КОШКИНЪ ДОМ». КОНЕЦ АВГУСТА, НОЧЬ

Глухой и темный переулок, зады нарядно отремонтированного и подсвеченного здания: глухая стена, забранные изящными, но — решетками окна, единственная дверь с крыльцом, даже на вид массивная, две камеры на углах, перекрывающие подходы. Обратная сторона ночного клуба «Кошкинъ дом», служебный вход.

Метрах в тридцати в мятой тачке с потушенными огнями глухо играет рэп, сидят четверо. Все молоды (один — вообще подросток), все коротко стрижены — почти бриты, все в черном; узнаваемые скины. Подросток — лет 16, плотный, крепкий, круглолицый, — на заднем сиденье, рядом с ним скуластый подвижный русачок, 18—20, нос уточкой и уточкой же — гуттаперчевый улыбчивый рот. За рулем — кадыкастый кент того же возраста, на шее из-под худи виден край татуировки — что-то руническое, витое; кадыкастый зримо нервничает, внутренне вибрирует и отливает эту вибрацию в отбиваемый по баранке путаный ритм. На соседнем пассажирском — атлетический парень с черной жесткой щетиной на черепе и челюсти, с черными живыми и жгучими глазами, с чувственными, мясистыми губами; красивый, сильный, постарше напарников — двадцать плюс. На коленях у него лежит старый револьвер (чуть не комиссарский «наган» — барабан семизарядный) — и горсть патронов; парень спокойно делит патроны на две кучки — у некоторых гильза маркирована синим крестиком, в остальном на вид они одинаковы. Косится на нервного водителя.

— Харэ психовать.

— Чё сразу-то?.. — нервный вскидывается, тоже нервно. — Я спокоен ваще как удав.

Но барабанить перестает, принимается просто сжимать-разжимать кулаки. Красавец-старшой, иронически дернув углом рта, заканчивает делить патроны на категории. Удовлетворенно:

— Это на реального зверя... Валить... — ссыпает в карман, остаются маркированные синим крестиком: их как раз шесть. — А это на зверька. Пугать.

— Холостые? — подросток с заднего сиденья подается вперед, старается звучать весомо, взросло; выходит так себе.

Старшой, хмыкнув:

— Неженатые.

Начинает неторопливо насыщать патронами барабан револьвера. Подросток:

— На вид такие же.

— Это чтоб зверек поверил и обосрался, — Мел вставляет очередной патрон.

Нервный, следя за его манипуляциями, — нервно:

— Ты по ходу сам не спутай.

— Не бзди, боец.

Пауза в пару секунд. Старшой вставляет патроны. Нервный сжимает-разжимает ладони...

— Слышь, Мел... А этот чел... ну, который ствол подогнал... он кто ваще?

Подросток открывает рот — словно хочет что-то сказать нервному, — и тут же закрывает. Смотрит на Мела. Мел — Вадька Мельников — с последним патроном в одной руке и револьвером в другой внимательно и с интересом разглядывает нервного. Тот тушуется.

— Не, а чё сразу-то?.. Я в смысле — ну, нормальный он ваще? А то на этом стволе, может, десять жмуров висит... Я тока в том смысле, а ты сразу...

Мел вгоняет патрон в барабан.

— Понормальней тебя.

Нервный замолкает — но принимается снова барабанить по баранке. Мел картинно прокручивает барабан и сам хмыкает: цирк. Скуластый и веселый с заднего сиденья:

— А может, один боевой вставим? Пусть зверек в русскую рулетку сыграет.

— Один вставим — это американская. Русская — это когда один вынем... — Мел сует револьвер в карман, смотрит на часы, быстро оборачивается к весельчаку. — Ронни. Твой выход, брат.

Ронни легко натягивает на голову черную балаклаву, а поверх — пристраивает экшн-камеру GoPro Hero на ленте; легко вылезает, хлопает дверцей, вальяжной и ловкой походкой идет к служебному входу клуба. В руке — дубинка-тонфа, Ронни изящно и быстро покручивает ее. Негромко и беспечно насвистывает. Оставшиеся в машине смотрят ему вслед: Мел спокойно, нервный — нервно, подросток — напряженно и задумчиво сопя. Пару секунд спустя подросток решается:

— Мел, а чё он Ронни, я не понял?

— Потому что Салливан.

— Кто?

Мел — все еще не оборачиваясь:

— Ронни О'Салливан. На бильярде был король. Чемпион мира. Реально любой шар забивал.

— И чё?

— И всё. Шурик тоже не мажет... — теперь Мел оборачивается, с интересом смотрит подростку в лицо. — А что тебя смущает вообще?

— Да ничё... — подросток мнется; Мел не отводит взгляда, паренек решается. — Ну — мы же русские, за чистую Русь бойцы? А у него погоняло... как у Рейгана...

— А какое должно быть? Святогор — или Коловрат?

Подросток обиженно сопит, дергает плечом. Мел смеется, слегка тычет его кулаком в скулу. Разворачивается и смотрит на Ронни — тот останавливается метрах в пяти от служебного входа, в слепой зоне обеих камер наблюдения. Пижонским движением сует тонфа за ремень...

...Продолжая глухо насвистывать, вынимает металлическую рогатку с мощным резиновым жгутом и пару подшипников. Вкладывает один в кожаную «заплатку»

посередине жгута. Поднимает, щурится... Фьють, дзынь, — одна камера разлетается вдребезги.

... — Попал! — у подростка, подавшегося вперед на сиденье машины, глаза круглые, восторженные. — Круть!

Все смотрят на Ронни; тот стреляет еще — и поднимает руку с растопыренными пальцами: V, виктория.

— Поехали! — Мел быстро натягивает на голову балаклаву, нервный — тоже, подросток, на секунду запнувшись, присоединяется... — и поднимает с пола, из-под ног, бейсбольную биту. У нервного такая уже в руках. Мел, надевая на левую рубчатый кастет, быстро полуоборачивается к обоим — и нервному, и подростку; черные глаза в прорезях маски; говорит быстро, жестко:

— Так, еще раз. Второй этаж, люкс — там кошак в короне на двери. Урод один должен быть. Не считая мяса. Идем плотно, я альфа, Кир браво, кто рыпнется — гасишь. Только не насмерть... (Нервный Кир резко кивает.) Ронни снимает, Захар замыкающий, вперед не лезть, вообще не лезть под руку... И чтоб под запись — ни имен, ни кликух! Приказ ясен?

— Мел, это несправедливо реально... — Подросток Захар опять обиженно сопит, теперь — сквозь балаклаву. — Я тоже боец, я ваще-то...

— Алё, боец! — Мел обрывает Захара резко и резко тычет кастетом в грудь. — Ты даже не дух, понял? Ты запах. У меня брательник старше тебя, ты его видишь тут?

— Я...

— Баста, блин! Гоу-гоу-гоу-гоу!..

Синхронно и резко, как в дурацком боевике, вылезают из тачки, — двое с битами (Захар-подросток и впрямь оказывается шире, квадратнее тощего нервного Кира), Мел с кастетом на левой и револьвером в правой. Быстро идут к Ронни — тот опять покручивает свою тонфа; включает закрепленную на лбу камеру. Вчетвером подходят к крыльцу, Мел впереди, Кир чуть сзади-справа, Ронни и напряженно (будто сейчас и впрямь прилетит бейсбольная подача) сжимающий биту Захар — следом...

Дверь распахивается — словно их ждали. На крыльцо из желтого света шагает плечистый чернявый охранник в пиджаке с уоки-токи в ладони. Успевает только приоткрыть рот — и получает прямой в переносицу кастетом. Рушится — назад, в проем двери, в желтый свет и глухие звуки техно. Мел шагает через охранника. Кир, пригнувшись и оскалившись, пару раз бьет лежащего битой. Ронни залихватски ухает, камера во лбу у него горит рубиновым огоньком: работает. Захар с воздетой битой переминается, не зная, как действовать...

...Время начинает двигаться в ритме дерганой видеозаписи Ронни.

ЭНСК, КЛУБ «КОШКИНЪ ДОМ». КОНЕЦ АВГУСТА, НОЧЬ

Охранник на полу: елозит на пузе, как раненый тюлень. Руки Кира заматывают его голову по линии рта скотчем — запястья охранника уже стянуты за спиной. Охранник глухо мычит, дергается. Глухо долбит техно из-за стенки.

— Резче, резче, не тормози! — голос Мела.

Шнурованный черный ботинок пинает охранника в бок. Ноги в ботинках гремят по ступеням, фигуры в балаклавах ломятся по лестнице на второй этаж. Бордельно-будуарный, провинциально-эклектический шик обстановки — мельком, по пути: темное полированное дерево — вагонка на европонтах; венозного тона плюш; расшитая раскоряченная кушетка а-ля Луи Каторз — а на стенке над ней холодное техногенное ню Хельмута Ньютона...

Прыгает в глаза дверь (темное полированное) со значком: силуэт сидящего кота, над головой — корона.

— Мел?.. — сдавленно.

— Базар, сука! — яростным шепотом.

— Я машинально, чё сразу-то...

— Пусти. Двиньтесь все, резко!

Мел — атлетическая фигура с кастетом на левой руке, в правой уже револьвер — чуть подается назад, в очищенное соратниками пространство, — и наносит точный удар ногой в берце под дверную круглую ручку. Дверь — хлипкая — с хряском и ударом в стену распахивается. Четверо нападающих вваливаются внутрь.

— На колени!!! На колени все, сука!!! — истерически убедительный вокал Кира перекрывает приторную тюркоголосую попсу: тут своя, отдельная музыкальная юрисдикция.

Комната — в том же стиле бордельно-плюшевой лесопилки. Стены, столик, стулья — полированное дерево, кресла — похабно-бордовый бархат, над стратегическим многоспальным сексодромом — балдахин с кистями. На спинке кресла — мужская одежда, видна богатая фактура дорогой и безвкусной, с искрой, костюмной ткани. На полу — фрагменты женской эротической сбруи, черный ажур. На столике — бухло и фрукты. На краю мощной кровати сидит мощный мужчина в полурасстегнутой белой шелковой рубахе и приспущенных брюках со стрелками; ему за полтинник, брюхо, брылья бульдога и цепкие зенки хищника, буйный седой волос на груди, лысина: Саяф, азербайджанец, местный воротила, хозяин доходного рынка. Подле — две телки в кружевном, с бокалами-сигаретками. Голая спина и выбеленная грива третьей, одетой только в трусики, конфигурацией недвусмысленно обозначают производимый блоу джоб. Сладкая жизнь хозяина жизни, химически чистый концентрат пошлости.

Вторжение парней в балаклавах взрывает эту гармонию. Телки с визгом шарахаются в угол (третьей, минетчице, Кир — впрочем, участники маски-шоу различимы сейчас с трудом, — наподдает берцем в бок). Саяф замирает: цепкие глазки безошибочно вычленяют из хаоса (девки визжат, Кир вопит: «Тихо! Ша, суки!..») черную дыру ствола в руке Мела. Мел шагает к нему, ствол практически упирается в лицо, голос у Мела ровный, пугающе веселый:

— Здоров, чучмек. Руки за голову — и на колени, резко.

Саяф не кажется напуганным — скорее стремительно оценивающим, обсчитывающим обстановку; опасным. Поднимает руки — мощные руки, ладони как вратарские перчатки, — но не торопясь, почти небрежно.

— Парень, — легкий акцент, густой, жирный голос начальника, спокойный, едва не дружеский тон. — Я так вижу, ты берега попутал. Ты под кем ходишь вообще?

Мел вдруг очень быстро, хлестко бьет Саяфа в лицо — левой, кастетом, сбоку. Саяф глухо ухает, мотнувшись; порванная щека, кровь — щедро, волной. Девки взвизгивают; та, что с голой грудью, минетчица, — истерически рыдает.

— Ходить, обезьяна, ты щас будешь — под себя. Фильтры вруби.

Кратчайшая пауза, глаза в глаза; по-прежнему в глазках азербайджанца нет испуга, есть — мгновенный пересчет ситуации, словно колесики крутятся; матерый кабан.

— Погоди, давай обсудим. Спокойно поговорим...

— Приговорили уже тебя, хачидло, — ствол в руке Мела, чуть опустившийся после удара, снова смотрит Саяфу в лоб. — Терпение русское кончилось. На колени.

Шлюха в углу продолжает истерически рыдать; камера Ронни на миг дергается туда — блондинка прижалась к другой девке, та поглаживает ее, успокаивая; Кир нависает над ними, делает угрожающее движение битой, шипит; Захар — тоже с битой — по-прежнему переминается на периферии, не то исполняя приказ лидера, не то растерявшись в «реальном деле».

— Прикрыться дай, — голос Саяфа.

Камера прыгает обратно — к Саяфу и Мелу. Азер так и сидит со спущенными штанами на раздвинутых ногах, — полы рубахи и мощное брюхо, впрочем, микшируют порнографическую откровенность позы.

— А давай, муслим, мы тебе еще обрежем, — сам весельчак Ронни, невидимый оператор, подает голос. — Чтоб не торчало.

— Обрежут голову твою пустую, дурак, — Саяф, холодно.

Мел молча бьет Саяфа опять — в то же место; девки снова взвизгивают, Саяф снова сипло ухает, кровища хлещет, башка мотается — сильней, чем в первый раз; видно, что азер поплыл. Сползает с края тахты на колени. Блондинка продолжает истерически рыдать.

— Рот закрой, вафля влетит, — голос Кира.

Саяф, чуть покачиваясь, — ладони возле ушей:

— Ошибку... делаешь...

— Не-е. Исправляю, — Мел, беспечно.

— Слышь, ты полегче, мы тоже русские! — голос девки, той, что пытается успокоить истерящую блондинку.

Камера Ронни перепрыгивает на них. Кир:

— Вы не русские, вы у зверьков подстилки.

Голос Мела:

— Молись, что ли. Алла-тралала...

Камера Ронни возвращается к Саяфу и Мелу... по инерции чуть проскакивает — к креслу с одеждой... к Саяфу... снова к креслу: мужская одежда на нем чем-то привлекает внимание Ронни...

— Скотина! Не видишь, у девушки шок! — голос девки (ее коллега-блонд продолжает рыдать).

— Командир... — неуверенный голос Ронни.

— Ломка, да? — в голосе Кира гопнический сарказм. — С болта резко сняли?.. Так давай я ей облегчу...

— Заткнулись все! — Мел, резко; камера Ронни снова шарахается от кресла к нему. Мел, девке: — Уйми подругу, вас не тронет никто.

— Командир? — снова голос Ронни.

Мел оборачивается к нему — лицо в балаклаве глядит прямо в объектив. Раздраженно:

— Чего?

— Тут штанов двое.

— Чего?!

— Ну этот... в штанах же... — камера (видимо, вместе со взглядом Ронни) на миг скачет к Саяфу, обратно — мазнув по Мелу — к креслу: — А тут еще...

Раздается рев — из коридорчика, ведущего к ванной комнате (взгляд Ронни дергается на звук), выскакивает огромный, мускулистый, почти голый южанин лет тридцати плюс, вероятно, побратим или телохранитель Саяфа. Прыгает на Мела, сшибая его (револьвер отлетает в сторону). В объективе камеры Ронни пляшет хаос — выскакивая в поле зрения то так, то эдак. Телохранитель и Мел, сцепившись, катаются по полу, девки голосят, Кир, тоже вопя, пытается гвоздить телохранителя битой — но неясно, по кому попадает, Захар, поднимая свою биту как самурайский меч, на цыпочках крадется к центру событий... Саяф — на коленях — вдруг делает очень юркое для его комплекции движение к креслу с одеждой... Истерящая блондинка топлесс с воплем прыгает на Кира, вцепляется когтями, тот лупит ее коленями и битой, стараясь сбросить... Телохранитель срывает балаклаву с Мела... Дубинка-тонфа — в руке самого Ронни — выпрыгивает сбоку, колошматит телохранителя по затылку раз и еще раз... Мелу удается оказаться сверху — он рубит противника кастетом, как мясник на разделке туши... Кровь, визг, хрип, стон, мельтешение, оскаленные суккубы, демоны без лиц — и все это под рахат-лукум тюркской попсы: ад.

И — выстрел. Жесткий хлопок по барабанной перепонке. И еще один. Саяф с лакированно-бордовым лицом бьется на полу. Хрипит. В груди — черные дырки. Две.

В руке — пистолет, блестящий, новый, дорогой, типа «глока» или «беретты». Из-под туши Саяфа вытекает кровь — быстрее, обильнее, принципиально иначе, чем прежде. Над Саяфом стоит подросток Захар: в правой, опущенной — бита, в левой — револьвер Мела. Секундная пауза: даже девки вдруг смолкают — перед тем как заорать на максимуме. Саяф скребет пол: доски, коврик. Кровь растекается, черная, густая. Захар оцепенел — балаклава обнуляет его эмоции, лишает лица.

— Тихо, — голос Мела. — Тих-тих-тих...

— Пипец! — голос Кира. — Пипец, пипец, пипец!..

Словно услыхав команду, начинают визжать девки.

Мел медленно ковыляет — с протянутой рукой, без маски; впрочем, лицо окровавлено и видно лишь вполоборота... — к Захару. Когда они оказываются рядом, видно, что револьвер в руке Захара ходит ходуном.

— Спокойно. Спокойно. Дай сюда.

— Ты сказал, холостые, — голос Захара, ровный-ровный. — Холостые же ты сказал, да?

— Сказал-сказал. Дай мне его сюда... Вот так... Молодец... — Мел аккуратно вынимает, выбирает револьвер из сведенных пальцев Захара, девки орут, Саяф в луже крови уже перестал дергаться, копошится избитый в мясо телохранитель... — Спокойно, боец, всё путем... Ты молодец, брат, всё правильно сделал...

— Ты сказал холостые, — голос Захара как готовое треснуть стекло.

Револьвер в руке Мела, сам израненный Мел, Захар, оцепенело-подрагивающий, словно студень, — все становится крупней, ближе; это Ронни, как сомнамбула, движется к Мелу. Тот оборачивается к Ронни; окровавленная физиономия искажается, растопыренная пятерня прыгает в лицо Ронни — в объектив:

— Дебил, выруби камеру!..

Затемнение.

ЭНСК, ЛИЦЕЙ, КОРИДОРЫ. КОНЕЦ АВГУСТА, УТРО

Ян — чуть помятый и при хипстерском параде — быстро подходит к зданию Энского лицея.

Здание — красивое, старорежимное, не то сталинской выделки, не то вовсе XIX века; и стоит в красивом месте, с видом (вид опять густо драпирован туманом).

Лицейский двор оплетен чугунной оградой, через нее Ян на ходу видит, как на широком крыльце закуривает серьезный, при бронежилете и кобуре, охранный детина, — а над ним и над крыльцом темнолицые гастеры в люминисцентных фуфайках монтируют здоровенный баннер. 1 СЕНТЯБРЯ, написано там, ДЕНЬ ЗНАНИЙ, — и под слоганом шеренга героев, тех, в кого надлежит воплотиться ученикам. Удивительный, но давно переставший изумлять синтез: Ученый с эллипсами Мирного Атома на ладони, Женщина-Врач со Шприцем, Инженер с Ракетой, Художница с Палитрой нисколько не изменились со времен СССР, тоже вполне советский по сути Защитник Отечества — камуфляжем и эффектным арсеналом превращен в Вежливого Человека, а рядом — ранее непредставимые Батюшка с Иконой, Управленец с Мобильником и Бизнесвумен с Планшетом... Ян, впрочем, лишь бегло скользит взглядом по этим ролевым моделям, быстро идя вдоль ограды...

...Шагает по полутемному коридору мимо стенда во всю стену: НАШИ УЧЕНИКИ — НАША ГОРДОСТЬ. На мгновение взгляд Яна выхватывает из мозаики лиц фото симпатичного, как веселый щенок, юнца: ЯН НЕВЕРОВ: ИСТОРИК, УЧИТЕЛЬ, ПИСАТЕЛЬ. ВЫПУСК 1993.

...Не сбавляя темпа, Ян проходит мимо.

ЭНСК, ЛИЦЕЙ, КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА. КОНЕЦ АВГУСТА, УТРО

Женщина за обширным, очень аккуратным столом. Женщине — явно за 50, но она спортивна, подтянута, следит за собой (прическа, макияж, маникюр, костюм — все искусно, но не безвкусно) и даже, пожалуй, отчетливо секси. На стенах — неизбежная рифма с кабинетом директора московской гимназии, — фото, где женщина (да, она тоже директор элитной школы) в компании каких-то гипотетически знаменитых людей, от премьера, опять-таки, Медведева до писателя Прилепина; а также Путин соло, грамоты, благодарности, вымпелы, все как надо. Женщина не смотрит на этот иконостас — она смотрит в телефон. Фронтальная камера, режим селфи: женщина озабоченно и быстро панорамирует свое лицо в разных ракурсах, с разных высот, подправляет ватным тампоном уголок глаз, губ. Быстро бросает тампон в корзину для мусора, надевает изящные очки (без диоптрий), последний взгляд — и она блокирует-убирает телефон: дверь распахивает молодой парень в костюме, видимо, секретарь. Отодвигается. В дверь шагает Ян.

Смотрит на женщину. Не умея совсем скрыть удивление:

— М...мила?..

— ...Николаевна, — Мила встает, тонкими напряженными пальцами опирается о столешницу, улыбается. — И даже Людмила Николаевна, так уже привычнее.

Ян шагает к столу, продолжая разглядывать директора Милу. Без вызова или намека — и все равно между ними повисает ощутимое напряжение. Пожалуй, больше всего похожее на... эротическое?.. Ян и Мила стоят по разные стороны стола. Ян в восхищении качает головой.

— Так. Значит, это я с вами... вел переговоры. Вы, значит, теперь директор.

— А вы догадливы.

— Я идиот. Но Рогинская-то почему? — Ян сощуривается. — Вы же были — Казакова.

— Наследство от первого мужа, — Мила чуть улыбается. — Единственное... Ян Иванович.

Ян сморит на нее с прищуром.

— Не думал, что вы помните отчества... учеников.

— Я прогуглила, — Мила улыбается снова, так же дозированно. — Вы же все-таки знаменитый ученик, Ян Иванович. Модный столичный человек. Программа на «Эхе Москвы». Книжка... нашумевшая...

Выдвигает ящик стола — и достает средней толщины томик, шлепает им по столу. «Петли Истории», Ян Неверов. Ян смотрит на книжку.

— Нокдаун, — констатирует он и падает на стул для посетителей.

Мила, миг промедлив, тоже садится — одновременно двигая книжку к Яну. Вынимает из стаканчика авторучку.

— Все равно вам многое придется подписывать, начнем с автографа.

Ян послушно берет авторучку, откидывает титульный лист обложки.

— Миле... э... Людмиле Николаевне?

— Нет. Сергею Филиппычу. Он от вашей книги был в невероятном восторге. Хотя и спорил с вами все время. Очень горячо.

В лице Яна что-то вздрагивает.

— Вы с ним... сохраняете контакт? — волнение в голосе.

Мила чуть пожимает плечами — и странно, в этом нейтральном жесте тоже брезжит что-то эротическое, какое-то скрытое женское торжество.

— Надеюсь. Все-таки последние четырнадцать лет я его жена.

Ян откидывается на спинку стула. Трет скулу — все еще вполне различимый шрамик, оставленный Максом:

— Нокаут.

Мила, ровно, но не без ехидства:

— Посчитать вам до десяти — или сразу санитаров?

...Напряжение явно спало, книжка Яна — снова на стороне стола Милы (вероятно, уже с автографом). Между Яном и Милой — недопитый кофе, раскрошившееся печенье; перед Яном — еще и распечатанные страницы трудового договора. Окно раскрыто. Снаружи летят музыка и визги. Мила курит тонкую сигарету:

— ...А с должности директора он ушел только после инсульта. Четыре... нет, пять уже лет практически...

— А сейчас... как?

— Ну, можно сказать, восстановился. Тьфу-тьфу. Но, конечно, работать уже... — Мила грустно морщится.

— Я не знал. Про вас... и всё это...

— Разумеется.

— Мне жаль.

— Перестаньте. Он прямо счастлив будет, когда вы зайдете, Ян Иванович. Любимый выпускник...

Ян несколько раз кивает.

— Все-таки так странно, когда вы... меня... по отчеству.

— Положение обязывает, — Мила тушит в пепельнице окурок, взмахивает ладошкой, остро смотрит на Яна. — И еще одна вещь есть, про которую я обязана спросить.

Выжидающе замолкает. Ян, дернув углом рта:

— Про эту... историю? — Мила чуть прикрывает тщательно окрашенные веки; Ян, пожав плечами, устало, с небольшими паузами. — Ничего хорошего. Увы. Девочка, моя ученица. Умница, красавица, отличница, все при ней. Я взял ее на игру — она просила. И недоглядел. Ей предложили наркотики... один парень... негодяй. Она попробовала... и пошла... под кайфом... купаться. И утонула. А парень оказался выпускник Академии ФСБ. Еще и генеральский сынок. И я ничего не смог сделать. Оскорбительно. Как в лицо плюнули.

Мила снимает свои изящные очки.

— И вы прямо вот решили вернуться — сюда?

— Скорей — захотел уехать оттуда. Очень уж... противно.

Мила разглядывает Яна.

— Ян Иванович. Я опять-таки обязана... Между вами... и этой девочкой... ничего... м-м...

Ян спокойно выдерживает взгляд.

— Как вы помните, Людмила Николаевна, мне всегда нравились девушки постарше.

Мила вдруг сама отводит глаза. После паузы, постукивая длинным ухоженным ногтем по столу:

— То есть — все-таки... политика, Ян Иванович?

— Ну... В широком смысле.

Мила продолжает постукивать.

— Ян Иванович... Мы... ваши учителя, а ныне коллеги... гордимся вашими достижениями... и уважаем ваши убеждения... и вообще... как вы тоже помните... наш лицей всегда отличался, скажем так... прогрессивным... свободомыслящим... — Мила запинается, резко надевает очки обратно, разом прибавляя в строгости и деловитости; снова глядит на Яна сквозь ясную оптику. — Но вы должны очень четко понимать, что здесь, в нашем лицее, любая... политика... даже в самом широком смысле... абсолютно, категорически исключена.

Ян чуть улыбается.

— Разумеется. Никакой политики.

ЭНСК, КЛУБ «КОШКИНЪ ДОМ» И ОКОЛО, КОНЕЦ АВГУСТА, УТРО

Бухтит, бухает насупленный русский рэп — Баста, Ноггано, или Гуф, или 25/17 — в изрядно захламленном салоне тачки, работящего «субару форестера».

За рулем — крупный мужик лет сорока с крупной рубки лицом. Из тех лиц, что кажутся глуповато-одутловатым в статике, но мимические движения сразу проявляют и живые эмоции, и как минимум сметливость. Фигура у мужика — как у сильно отбившегося от режима борца-вольника. Это Лёха Машканцев, майор полиции, зам.начальника Н-ского Центра «Э».

В правой у Лёхи картонный стаканчик с горячим — он отхлебывает, обжигается, шипит. Левой Лёха энергично крутит баранку — резко причаливает возле служебного входа клуба «Кошкинъ дом»; там ленточки оцепления, собровцы в броне и с автоматами, пара полицейских «фордов», скорая, курящие в сторонке телевизионщики при фургоне с антенной, особняком — группа брюнетов в костюмах, один пузан — даже в кожаном плаще и широкополой шляпе. Все эти декорации мы вместе с Лёхой бегло досматриваем, пока Лёха вылезает из «субару», захлопывает дверцу, еще прихлебывает на ходу, квакает брелком-ключом, коротко кивает менту, отдающему честь... Нестарый и резколицый брюнет-костюмник устремляется было к Лёхе, — тот отрицательно дергает рукой и углом рта, менты заступают дорогу резколицему, вежливо преграждают, обволакивают. Брюнет тянет вслед Лёхе руку с серебристым бруском дорогого телефона, будто пытается переключить им Машканцева, как пультом. Лёха бросает картонный стаканчик на асфальт и ныряет в дверь. Звонит его смартфон. Лёха, недовольно оскалившись, подносит к уху.

— Юсуф, не борзей.

— Майор, ты считаешь, нам не надо поговорить?

— Надо. Но я вначале вникну, а ты меня подождешь.

Взбегает по лестнице.

— Майор, дорогой, я тебя с четырех утра жду, скока еще буду?

— Скока надо, стока и будешь.

Стряхивает звонок, шагает мимо собровца в дверь люкса — с силуэтом кошака в короне.

...И вот уже, сидя на корточках, смотрит — секунду, другую — на мертвое лицо Саяфа. Задергивает молнию — скрывая лицо Саяфа под пластиком спецмешка; встает с кряхтением. Запакованный труп Саяфа выглядит каким-то товаром, вырезкой или тунцом из великанского супермаркета. В руке у Лёхи тоже пластиковый пакетик, в нем — две револьверные гильзы с синими крестиками. Лёха раздраженно потряхивает пакетиком, мелко позванивает. Вокруг копошатся, видимо, эксперты, человека четыре.

— Это чьи мешки, пиндосские? — голос у Лёхи тоже раздраженный.

Мент рядом, бледный, тощий, лысый, вяловатый — подвальный сорняк, тоже со стаканчиком, морщится, мнет висок.

— Шведские, вроде. Или финские. А что?

— Да гребаный какой-то голливуд, — Лёха опять встряхивает-звякает; с надеждой: — Может, все-таки заказ? Чечены, ары, у кого на азеров сто*и*т? С горцами же у Саяфа по рынку был конфликт, не?.. Ну или Харитон по беспределу пошел?..

Лысый вяло пожимает плечами.

— Да хэ зэ. Пока по любому на нас повесят. Свидетели за экстремизм топят. Руссо фашисто, смерть хачам.

— И чё свидетели?

— Да шлюхи свидетели, — лысый блекло ухмыляется. — Три штука. Увезли оформлять. И охранца еще, который снизу... Ну он, типа, только чуваков в балкалавах видел, и сразу в табло прилетело, не в курсах, чё дальше...

— Гонит?

— Да хэ зэ. Покачаем.

— А его тельник чё? — Лёха кивает на Саяфа

— Да хэ зэ. Тельник в реанимации. Перелом основания черепа... и в черепе как таковом ему окошек новых наклепали...

— Битами?

— Вроде и битами, и кастетом.

— Типа их четверо было?

— Ну.

— А ствол типа только один?

— Ну.

— Коль! — Лёха окликает одного из «экспертов» — тот оборачивается, шагает ближе: молодой, в очках. Лёха звякает пакетиком с гильзами. — Чё за пищаль?

— Пули пока внутри, — Коля кивает на труп Саяфа. — А на глазок — будете смеяться, как бы не модель нагана восемьсот девяносто пятого года.

— Модель Ноггано... — Лёха быстро смотрит на гильзы, на Колю. — Прямо как в кино про гражданскую? Антиквариат? (Коля чуть разводит руками.) Смеюсь, чё.

Коля, с достоинством:

— Но это не точно пока.

— А нахера кресты, есть идеи? — Лёха, приподняв пакетик.

Коля пожимает плечами. Лысый, продолжая растирать висок, тускло:

— Может, это не кресты, а хэ, — Лёха смотрит на Лысого с недоумением. — Ну, буква. Шлюхи говорят, стрелок чего-то вопил про холостые... Ну, хэ как холостые...

— Хэ, — Лёха, с чугунным сарказмом, коротко ткнув в сторону трупа. — Я вижу.

В кармане у Лёхи опять звенит — другим звонком. С недовольной гримасой он выволакивает другой телефон: древний, кнопочный. Бегло глянув на экранчик, полуотворачивается от Лысого и Коли.

— Машканцев.

— Алексей Викторыч, это Рудольф... Наумыч. Тренер Егора по джиу-джитсу...

— Я понял. Что-то случилось? — молчание. — Сэнсэй?

— Сэмпай.

— Что?

— Сэмпай. Я. Инструктор. Учитель — это... ну, слишком как бы...

— Ага. Так я не понял, случилось что-то? Я вообще на службе.

— Простите. Егор ведь сейчас... не болеет свинкой?

— В смысле?

— Егор уже две недели не ходит на тренировки.

По ходу этого диалога в дверь вваливаются еще двое в комбинезонах (у одного в руках носилки), деловито подходят к омешоченному трупу Саяфа, приглядываются-примериваются. Один, сипло:

— Пипец. Жирный, как морж.

Лёха гневно взмахивает рукой — тихо, мол, — отворачивается и, зажав второе ухо рукой, шагает с трубкой к окну. Стоит спиной, что-то выслушивая и неслышно бормоча в ответ, несколько секунд, — пока двое в комбинезонах, сопя, кряхтя и невнятно матерясь сквозь зубы, переваливают тушу Саяфа на носилки и волокут в дверь. Лёха, закончив разговор, несколько раз мрачно постукивает телефоном по оконному стеклу.

— Викторыч? — сыпучий голос Лысого.

— Ну чё еще?! — Лёха оборачивается, злой, готовый сорваться. Рядом с Лысым, кроме Коли, еще один из парней-«экспертов», в руке у Лысого планшет. Лысый:

— Зацени.

Лёха смотрит на экран планшета. Там — шапка Ютьюба, невнятная — что за месиво на ней? — картинка, медленно прокручивается колечко: подгрузка видео. Над окошком с видео написано: «Казнь неруси».

ЭНСК, ЗАБРОШЕННАЯ ЛОДОЧНАЯ СТАНЦИЯ. КОНЕЦ АВГУСТА, УТРО

Шапка Ютьюба, титул — «Казнь неруси», мельтешащее видео — на экране смартфона. Смартфон — в руке у Мела. Мел, в старом черном кожане, стоит на крыльце аварийного на вид деревянного домика (на стене — светлый след от спасательного круга и багра, ржавый щит с какими-то правилами вспоможения на водах; едва не от крыльца отходят в ватный туман над Большой Водой деревянные мостки; это заброшенная лодочная станция). Рожа у Мела — мрачнее тучи. Черные яростные глаза прожигают несчастный смартфон: там последние секунды видео с камеры Ронни — лицо Мела (впрочем, милосердно кем-то раздробленное на крупные пиксели), его прыгающая в объектив растопыренная ладонь, стоп-кадр.

Мел шипит, резко вырубает телефон, зло отклацывает панель, вытряхивает аккумулятор, вылущивает симку, кряк! — ломает ее двумя сильными пальцами и отщелкивает кусочки в траву, кидает телефон и аккумулятор порознь в карман. Оскаленный, стремительный, врывается в домик: темный тесный коридорчик с парой дверей, за одной — шарах об стену! — кое-как подчищенное от следов разрухи помещение, импровизированная кухня с плиткой, рукомойником и столом, за столом сидит Ронни — тоже с очень мрачной рожей глубоко затягивается сигаретой, нервный Кир и подросток Захар стоят чуть в стороне, будто дистанцируясь от Ронни. Тот, увидев Мела, быстро выдергивает сигарету из губ, начинает подниматься:

— Мел, слушай, это...

Мел, зарычав, с размаху впечатывает Ронни правый боковой. Ронни летит на пол. Мел, сшибая стул, подскакивает, нависает, месит кулаками. Захар дергается было — Кир хватает его за плечо. Мел гвоздит, Ронни закрывается, перекатывается, ухает, крякает, чвякает, выкрикивает глухо и влажно:

— Это не я! Не я! Сука, Мел! Это! Не я!..

Мел, наконец, останавливается, тяжело дыша, — кулаки все в алом, морда у Ронни разбита в мясо, он ворочается на полу, подскуливая. Мел, сипло, страшно:

— Где камера?!

...Камера — маленький прямоугольничек в скрещенье двух широких лент крепления — шарахается об пол, брызжет стеклянное, отлетает пластмассовое. Ботинок Мела с хряском обрушивается сверху, додавливая.

...Обломки камеры — на столе. Пальцы Мела что-то выдирают из крошева плат и пластика. Кир, Захар — придвинулись, стоят, смотрят. Ронни смотрит тоже: снова сидит, снова с сигаретой, только испачканная кровью рука трясется и лицо — как после боя с Тайсоном.

...В руке у Мела — крошечный металлический кубик с торчащим проводком.

Ронни:

— Мел, я про это ни хера не знаю. Вообще ни хера. Я ж тебе сказал: я все вырубил. И вайфай, и блютус...

Мел тяжело глядит на измордованного Ронни.

Кир, нервно:

— Мел, ну сам прикинь болт к носу. Патроны — ни хера не холостые. Камера — сама картинку налево сливает. Подстава это, Мел. Вот та падла, которой ты поверил, нам и засадила. По самые помидоры.

Подросток Захар опять (как перед акцией — в машине) смотрит на Кира, на Мела с видом человека, который хочет что-то сказать... И сдерживается. Но Мел этого не видит: он переводит свинцовый взгляд на Кира. Тот чуть отступает:

— Ну чё сразу? Я не в том смысле...

Мел встает, резко двинув стул (Кир еще чуть подается назад, Ронни дергается, роняет сигарету на столешницу, Захар опускает глаза). Не глядя на соратников, выходит из каморки, из домика, размашисто шагает по мосткам в туман. Останавливается на последнем краю — сквозь буроватую, как спитой чай, воду видна затонувшая лодка

с пробитым днищем, по-прежнему привязанная к мосткам. Мел яростно выщепляет из-за ремня наган, выскребает из кармана кожана пригоршню патронов — и с синими крестиками (хэ!), и без, снова вперемешку. Намерен швырнуть все это смертоносное хозяйство в воду, уже начинает движение... Застывает, часто, тяжко дыша; брутальное лицо в каплях то ли пота, то ли туманного конденсата. Стоит, покачиваясь. Оскаливается — и вбивает наган обратно за ремень.

ЭНСК, ЛИЦЕЙ, КЛАСС. 1 СЕНТЯБРЯ, ДЕНЬ

— Машканцев Егор.

Руку вяло приподнимает полный мальчик — не то чтобы карикатурный жирдяй-бигмак, но крупный и какой-то дрябловатый. Не отрывает при этом взгляда от слегка замаскированного книжками-тетрадками планшета.

Ян, сидящий на краю своего учительского стола лицом к классу (щиколотка одной ноги на колене другой, расслабленно-уверенная поза, список учеников и авторучка в руках, высоченная стопка учебников на столешнице), смотрит на Егора с интересом.

— Егор — Алексеевич?

Тот кивает, по-прежнему избегая встречаться взглядом.

— Дроп энд гив ми фифти, фэт бой! — чревовещает углом рта здоровый, как американский морпех (бицепс, челюсть, короткая стрижка, широкая пластилиновая физиономия с лыбой поперек), пацан из-за предпоследней парты. Егор вздрагивает, быстро оборачивается. Здоровяк клацает в его сторону зубами, бубнит «голосом по рации»:

— Сало, сало, я хохол...

Егор утыкается в свой планшет. Ян, исподтишка наблюдавший эту микросценку, снова смотрит в список. Егор, зыркнув на препода, левой лезет в свой рюкзак и вынимает начатый батончик-гематоген (видно еще несколько таких же); правой — подносит к экрану планшета стилус. На экране сложный, отлично исполненный — но неоконченный — рисунок: какой-то дико героический персонаж в технике анимэ. Егор кусает гематоген. Рисует.

— Мельник Иван.

Сосед здорового шутника — черноглазый, быстрый, крепкоплечий и жилистый младший брат Вадьки Мельника, Мела, — небрежно взмахивает ладонью. В левой он, вовсе не таясь, держит смартфон.

— Я.

Всего в классе — полтора десятка человек, юноши и девушки 16—17 лет; кто-то, как бывает в этом возрасте, выглядит совсем взрослым, кто-то, напротив, еще угреватый ребенок, куколка на пороге превращения. Легкое шу-шу, попискивание девайсов, — но в целом молодежь пока не хамит, со своей стороны зорко приценяваясь к новому учителю.

— Наговицына Татьяна.

Руку молча поднимает большая, широкая и рослая деваха с серьезным умным лицом и торсом пловчихи.

— Петрик Анатолий.

— Туточки! — шуткарь-здоровяк-морпех, явно нестандартно совмещающий амплуа «мускулов» при альфа-самце (каким сразу кажется Ванька Мельник) и местного клоуна-затейника, шутовски вскидывает руки.

— Тамилмирзоев Аслан.

Плотненький, почти квадратный — потому что очень низенький, — хоббит: ржаво-рыжий, бровастый, вообще очень волосатый. Дергает рукой:

— Здесь я.

— Тимакова Елизавета.

Вскинутая ладошка, легкое шевеление пальчиков. Та самая крашения перьями секси-дива в черном-сетчатом, на которую любовался из автомобиля чекист Максим с утра. Преподу — четко отмеренный заряд ядерного сексапила из-под ресниц. Явно не дура, несмотря на эпатаж: скорее прикалывается (ну и манипулирует, да).

— Цой Кристина.

— Я!

Крепенькая, ладненькая, румяная, чуть раскосая девочка-ртуть.

— Янсма Глеб.

Узкую ладонь отстраненно приподнимает сидящий особняком юноша: породист, эффектен — и очень неформален: половина головы выбрита, вторая половина — с длинной вороной челкой, туннель в одном ухе, три серьги лесенкой (и наушник с проводком) в другом, какой-то сногсшибательный черный френч не то комбинезон с молниями в самых неожиданных местах... То ли гот, то ли панк, то ли гость из будущего. Плюс человек с навязчивостями: аккуратно рвет лежащие перед ним листы на идентичные прямоугольники. Как только Ян отводит от него взгляд, Глеб тут же втыкает второй наушник во второе (с туннелем) ухо и прикрывает глаза.

Ян, легко улыбаясь, откладывает список.

— Ну что ж, значит, все в сборе, кроме моей гипотетически прекрасной тезки Левашовой Яны. Теперь не только вы знаете меня в лицо, но и я вас. Прошу, однако не обижаться... — Ян встает, — если чье-то славное имя я поначалу забуду или, хуже того, перепутаю. Это никак не унижает вашей неповторимой индивидуальности. Просто я, увы, человек пожилой... («Пьющий!» — пищит углом рта неугомонный Петрик) ...склероз-воевода ко мне уже приглядывается, бежать некуда...

— А можно, мы вас тоже будем путать? — живчик Кристина Цой.

— Можно, — Ян, мягко прохаживаясь перед аудиторией, благосклонно кивает. — Но после второго предупреждения я буду ставить за это двойки.

— Нууу. Нечестно!

— Да. Мир вообще устроен нечестно. В нем торжествуют грубая сила и бессовестный произвол. Таков, собственно, первый урок истории... Ну, какие еще у кого вопросы? Раз уж мы к ним стихийно перешли?

Руку поднимает Таня Наговицына.

— Татьяна?

— Вы правда книги пишете?

— Написал одну. Был грех.

— А про что? То есть по истории же, конечно, но...

— Вы правы. По истории и даже называется «Петли Истории». Если коротко — про то, какой могла стать судьба нашей страны, если бы в поворотные моменты этой самой истории стрелки на путях перевели иначе... Я понятно говорю?

Таня смущенно пожимает плечами. Снова Кристина:

— А в интернете ваша книжка есть?

Ванька Мельник тем временем пихает Петрика в бок, демонстрирует ему свой смартфон. Петрик делает громадные глаза, восторженно скалится и вывешивает язык лопатой, как пес Плуто... На них с Мельником с интересом смотрит Лиза, Ванька ловит ее взгляд, — Лиза вопросительно приподнимает брови. Мельник, подняв палец, — сейчас, мол, погоди, — быстро тычет в экран смартфона...

— В интернете, милая Кристина, есть все. Моя книжка не исключение.

У Лизы Тимаковой пикает в рюкзачке, она вынимает смартфон.

В дверь коротко, тихо стучат — и тут же она открывается.

Лиза Тимакова смотрит в экран телефона, вздергивает тонкую бровь.

В класс шагает девушка. Ян смотрит на нее с симпатией — и, кажется, с легкой тоской. Ладная узкая фигурка, лицо чуть старомодной — то ли Ассоль-Аэлита, то ли эльф-дитя цветов — красоты, но главное — физически ощутимая радость жизни, ток,

игристые пузырьки. Садится за первую попавшуюся парту. Ванька Мельник смотрит на нее своими жгучими черными глазами — пристально. И Лиза Тимакова — с лениво-ревнивым интересом, бегло (и снова ныряет в телефон). Ян, тоже следя за ней взглядом:

— Вы — Яна... могу ли спросить, по батюшке..?

Короткая заминка.

— Евгеньевна.

— Ваш папа — Евгений Петрович?

— Да. И что? — мгновенная перемена: гордый поворот головы, затвердевшие скулы, ощущение внезапно возникшей между Яной и Яном ледяной линзы, вымороженного на траектории взглядов воздуха.

Ян, ровно, мягко:

— Просто я немного знал вашего отца. Задолго до его... политической карьеры. Он мужественный человек. Был — и, полагаю, остался.

Яна вспыхивает — так же мгновенно, как только что превращалась в «снежную королеву». Упирает взгляд в парту.

— Мэрская, мэрская девчонка! — углом рта чревовещает Петрик. Ванька неожиданно зло наддает ему локтем по шее, Петрик принимает этот удар не глядя, как резвящийся лабрадор шлепок хозяина.

Ян, как ни в чем не бывало:

— Анатолий, вы что-то хотели спросить?

Петрик, очень довольный:

— Да! А вы чё, реально в ролевые игры играете?

— Реально играю.

— А я слышал, — Петрик в восторге от собственной наглости, — что в ролевые игры играют только задроты и дрочилы!

— Петрик, баран! — шикает Кристина Цой, но и сама хихикает вместе с большей частью группы.

— Где слышали? — вежливо осведомляется Ян.

— На уроке полового воспитания! — гаркает Петрик.

— Я-то, глядя на вас, думал, что их отменили, — хихиканье, препод сравнял счет. — Ну раз уж вы, Анатолий, так интересуетесь нюансами *моего* полового воспитания, оставайтесь после занятий. Я вам подробно все расскажу.

— И покажу, — вдруг хорошо поставленным голосом говорит Глеб Янсма. Как он все слышал — непонятно, наушники в обоих ушах. Листок он уже раздербанил — теперь тщательно складывает из прямоугольников крошечные кораблики. Их уже несколько.

— Видите, ваш товарищ Глеб понимает меня с полуслова.

Все опять хихикают. Таня Наговицына, поспешно:

— Не, ну правда, Ян Иваныч... Зачем взрослому... солидному человеку бегать по лесам с мечом?

— Совершенно незачем. Ни одного солидного человека там не встречал.

Хихиканье.

— Теперь отвечу серьезно, — Ян снова приземляется на край стола, обводит взглядом аудиторию, — аудитория глядит на препода, харизматичного и ироничного, с интересом, даже Петрик, хоть и скалится нахально, откинувшись, как в цирке, разбросав из-под парты могучие мослы, — спой, мол, птичка. — Поскольку, как ни странно, вопрос ваш, Татьяна, совершенно прямо связан с нашим общим предметом. Скажите-ка мне, соратники: а зачем вообще обычному, нормальному гражданину изучать историю?.. — наставляет палец на Петрика. — Опережая ваше шампанское остроумие, гражданин Петрик: ответ «для ЕГЭ» не предлагать! Итак?

Заминка. Таня Наговицына, неуверенно:

— Ну как... знать прошлое... своей родины... ну, прежде всего... помнить...

— Да-да. Помним, гордимся. Но зачем?

Некоторая общая оторопь. И правда — нафига? Ванька Мельник тоже заинтересовался, подает голос:

— Чтоб учиться? Уроки истории же, все дела. Ошибки чтоб не повторять.

— Резонно. Но знакома ли вам, Иван, такая формула: «история учит лишь тому, что она ничему не учит»?.. — Ванька пожимает плечами. — Увы, эта формула верна. История — как лента в соцсетях. В ней всегда есть всё — и она всегда дает вам видеть именно и только то, что хочется. И с чистой совестью наступать на старые грабли... Еще идеи?

Народ безмолвствует и ждет. Ян приподнимает руку.

— Есть две вещи, два вывода, которые любой лох вроде нас с вами может извлечь из науки истории для личного практического употребления. Первая. Никто не уникален, — скользит взглядом по лицам подростков. — Я тут поминал ваши неповторимые индивидуальности, так? Это правда — в том смысле, что нету двух абсолютно одинаковых людей. Но вот ситуации у нас — всегда одни и те же. Всё, абсолютно всё, что может случиться с любым из вас, — уже с кем-то случалось. Тысячелетия отсюда и до древнего Шумера забиты миллионами ваших двойников. Которые уже миллиард раз воплотили ваш самый дикий кошмар, самый аццкий гемор и самую забойную эротическую фантазию. И умерли. Всё уже было. Всё, что кажется вам беспрецедентным и небывалым... все ваши проклятые вопросы, стыдные желания, безвыходные тупики, безответные любови... Любая священная война, любой крах империи... Всё имеет сто, тысячу клонов в истории. У пчелок с бабочками — то же самое... — послушные смешки; Ян владеет аудиторией. — И вот когда начинаешь это понимать — становишься как-то... трезвее. Спокойнее. Терпимее к людям. Даже к себе самому.

Ян чуть улыбается.

— Ну и вывод номер два. Вытекает прямо из первого. Все эти чуваки и чувихи с заморочками точно как у вас тоже не планировали попадать в учебник. Просто жили себе, решали вопросы. А потом влипли в историю. И теперь... — берет из стопки верхний учебник, небрежно листает его пальцем, будто на лютне лабает, — листаем книжечку, а там к ним, к каждому, как к жуку в музее, этикетка пришпилена: мудрец — подлец, вожак — слабак... — Ян ловко бросает учебник на вершину стопки. — И вот будет, конечно, дико круто, если вы... делая какие-то важные поступки и выборы в своей жизни... будете про это хоть изредка вспоминать. Что каждый, вообще каждый из нас рискует попасть в этот музей истории в роли экспоната. Вспоминаете, включаете воображение... — проводит перед собой раскрытой ладонью, — и прямо видите, что бы про вас написали в гребаном учебнике. И вам становится стыдно, — смешки; Ян ухмыляется: — Подвиги вы от этого совершать не начнете, и слава богу... но от рефлекторного свинства это вас, может быть, чуточку убережет.

Встает.

— Вот, собственно, эти две вещи наука история помогает понять... головным мозгом... у кого есть. А ролевые игры... особенно исторические реконструкции... дают ощутить спинным. На собственной буквально шкуре почувствовать. Поскольку вместо своей вы ненадолго влезаете в чужую... — чуть кланяется Тане. — Татьяна, я ответил на ваш вопрос?

Таня в смущении кивает — почти судорожно. Ян — Лизе, которая воздушно взмахивает ладошкой:

— Елизавета?

Лиза наклоняется, почти ложится на парту — так что никуда не деться от зрелища ее отменно оформившегося бюста в декольте; разворачивает экраном к Яну свой смартфон. Там — фэйсбук, стенка пользователя Яна Неверова, фото — на нем Ян в

костюме джедая из «Звездных Войн», рядом парочка чуваков в черно-белых латах имперских штурмовиков.

— Ян Ваныч, — щебечет Лиза с эротическим придыханием, облучая учителя гипертрофированным восторгом из громадных очей. — Раз вы настоящий джедай — у вас же и лазерный меч настоящий, ведь правда?

ЭНСК, ВОЗЛЕ ЛИЦЕЯ. 1 СЕНТЯБРЯ, РАННИЙ ВЕЧЕР

Егор, кусая гематоген, тюленьей походкой пересекает лицейский двор — к калитке. В ушах наушники, в наушниках — «Оф монстерс энд мэн». Летучие младшеклассники стремительно вжикают впритирку туда-сюда — Егор движется как в метеорном потоке. Давит на кнопку замка, дожидается помаргивания светодиода, шагает... Встает. Вынимает из ушей наушники. Двумя колесами на тротуар возле калитки влез «субару форестер» (из салона неразборчиво бормочет радио), на капоте сидит отец Егора — Лёха Машканцев, джинсы, кожаная куртка-«пилотка», дымящаяся крышечка от термоса в руке. Весело:

— Бычью кровь трескаешь? Молоток! — глотает.

— Па-ап?.. — Егор сбит с толку, напрягается. Лёха легко, невзирая на грузность, соскакивает с капота (сейчас, когда отец и сын рядом, очевидно и сходство их объемистых фигур, и разница: мощный, быстрый, каучуковый Лёха — и аморфный, приторможенный Егор), залпом допивает из крышечки, хлопает сына по плечу:

— Ну поехали, — распахивает дверцу.

— К...куда?

— Кататься. Праздник же.

— Я не могу... Пап, у меня тренировка же в семь, — Егор, с фальшивым энтузиазмом.

— А я тебя подвезу, — Лёха еще раз пихает сына кулаком в плечо — и лыбится с таким же поддельным, гипертрофированным задором.

Егор, потерявшись и не найдясь, сует упаковку от гематогена в карман и обреченно плюхается на сиденье. Лёха падает рядом. Трогаются — «субару» сползает с тротуара перед вежливо притормозившим «мерсом»... и сразу оказывается в пробке: забирать чад из школы выстроилась такая же автоколонна по одному, как утром — сдавать.

— Как прошло?

— Нормально, — тускло; Егор, по-птичьи выворачивая голову, глядит в свое окно: там на тротуаре Ванька Мельник треплется с Петриком и еще парой пацанов; у одного в руке пиво — пластиковая литруха, у второго вейп — вылетает красивое облачко пара... Ванька, в свою очередь, отвлекается от компании — смотрит, как Яна Левашова садится в огромный черный джип, дверцу придерживает охранник...

Радио в салоне, меж тем, говорит женским голосом:

— ...Губернатор края Платон Михайлович Губарев сегодня, в День Знаний, начал свой рабочий день с посещения Энского лицея — согласно федеральному рейтингу, подкрепленному мнением многих горожан, лучшей школы города и области. Выступая перед учащимися лицея, губернатор Губарев, в частности, отметил, как важно сейчас...

— Чего он вам втирал? — Лёха.

— Кто?

— Губер-губер, — Лёха кивает на радио.

— Да ничего, — все так же, глядя в окно. — Про патриотизм.

— Ну круто, — Лёха с раздражением смотрит на задницу джипа перед ним, на встречку — она пуста. Вырубает радио, врубает плейер — из динамиков начинает с полуслова звучать русский рэп.

«Субару» медленно переваливает через «лежачего полицейского». Прямо перед ним улицу перебегает высокий парень в темной штормовке с накинутым глубоким (лица не видно) капюшоном.

— Ты чё вчера дома не был? — в голосе Егора робкая агрессия; попытка контратаки.

— Работал, — Лёха быстро перегибается, достает с заднего сиденья мигалку. — Убийство у меня. Большого человека убили... Авторитетного...

— Ну круто, — Егор, не без яду; после паузы: — Кстати, мама очень на тебя зла.

— С мамой, — Лёха чуть высовывается в окно, шлепает мигалку на крышу «форестера», — я разберусь.

Из мигалки выпрыгивает волчок синего света, взвизгивает невыносимо для уха. Егор морщится. Разбрызгивая сполохи и вой, «Субару» вылезает на встречку, прет по ней.

ЭНСК. ПУСТЫРЬ. 1 СЕНТЯБРЯ, РАННИЙ ВЕЧЕР

...Хлопают дверцы. Лёха и Егор вылезают из машины — посреди пустыря, широко развалившегося во все стороны меж далеких кирпичных и блочных, гипотетически заводских, с торчащими трубами, корпусов.

Неровная — будто поле давней битвы или заросшая диким мясом обширная старая рана — поверхность: оплывшие курганы, ямы, куски бетона с торчащими жилами арматуры, ржавые балки, доски, лом — и все это затянуто, густо подернуто сорной злой травой, шпанистым колючим кустарником.

Егор настороженно озирается, стоя возле «субару». Лёха с приклеенной мечтательной улыбкой делает несколько шагов, нагибается, поднимает что-то длинное... ржавый кусок трубы, увесистый, корявый. Удовлетворенно сбивает с него грязь. Оборачивается к сыну (тот смотрит на него оцепенело):

— Дуй сюда.

— Зачем?.. — Егор не трогается с места, Лёха фыркает.

— Жрать тебя буду, сына! С особым вампирским цинизмом! — делает игривый жест трубой. — Иди давай.

— На фига мы тут вообще? — Егор, подходя — с опаской и неохотой.

— Знаниями делиться, — Лёха лыбится. — День знаний же.

Егор неопределенно пожимает плечами, по-прежнему напряженно наблюдая за отцом. Лёха мечтательно оглядывает пустырь, похлопывая трубой по ладони.

— Торпедный завод секретный тут хотели ставить, — сообщает. — Атомные типа торпеды, чтоб Америку с-под воды по шву дербанить. Тектоническое оружие — слыхал?.. Во-о... ну, болтали так, — делает пару шагов, пинает расколотый кирпич. — Фундамент залили, каркас воткнули — как прям скелет от бронтозавра, офигенно здоровый. А тут пррръ! — делает губами резкий пукающий звук, одновременно двинув трубой по широкой ладони; Егор вздрагивает. — Кирдык империи. Все свободны нах... К осени девяносто второго уже одни руины лежали, Сталинград. Мне тогда, — тычет концом трубы в направлении Егора, — как тебе было, семнадцать, выпускной класс. Только учился я херово, не как ты. Малолетним был бандитом, в целом. И тут у нас, значит... в сентябре... блин, четверть века получается, а?.. во-о... тут у нас разборка была, с ремзаводскими. Ремзавод — это где щас бизнес-центр. А мы же типа портовые. А тут типа посередине, ничейная земля. Пожалте биться...

Лёха опять мечтательно улыбается; Егор смотрит на него с непонятным выражением; Лёха — оживляясь:

— У ремзаводских такой Брега тогда был полевой командир. Береговой фамилия, потому Брега. Реальный танк, два на два, ну вот чесслово — пошире, чем я щас. И там такой нюанс еще, что батя его — кооператор... это бизнесмен по-тогдашнему... всякую шнягу туристическую лудил, и ножи тоже. Так что приходим мы тут, портовые, кто с чем... А эти суки — все с от такими финарями! — Лёха шлепает трубой по локтевому сгибу напряженной левой, этим не вполне приличным жестом отмеряя калибр финарей. — Свиньей стоят, псы-рыцари. И Брега впереди ну просто с мачете... —

очередная ностальгическая улыбка. — Мы реально обосрались все. Я тоже. А я тогда еще мелкий был, не как ты щас. Со жратвой, прикинь, в девяносто втором было не дико... Но я на этого Брегу смотрю — а у него лыба еще такая, гнусная лыба, в общем, — и прямо ширма у меня рухнула. С земли железную трубу цепанул, — вот, может прям эту, — Лёха вертит трубу в руке. — А чё, кстати, похожа... И прыгнул на него, с-суку. И трубой ему прям по лыбе. Во-о... — ковыряет сорняки и землю концом трубы. — В общем, смяли мы их тогда.

Замолкает. Егор тоже молчит.

— Вопросы есть? — Лёха смотрит на Егора. — Комментарии?

— Лихие девяностые, — Егор, после паузы, угрюмо. — Битва титанов. Я не знаю, восхищен... и все такое...

— Спросить ничего не хочешь?

— Папа, зачем ты мне это рассказываешь? — после паузы.

— На, держи, — вместо ответа Лёха, снова лыбясь, шагает к Егору и сует ему ржавую трубу в руки; тот рефлекторно перенимает; оторопело:

— Зачем?

— Бей меня.

— В смысле?

— Без смысла, блин, просто врежь!

Лёха сам резко взмахивает рукой — показывая, как. Егор пялится на него. Труба в руке выглядит нелепо.

— Ну?!

Егор несмело, медленно тычет в Лёху концом трубы. Лёха уклоняется, чуть шевельнув плечом.

— Нормально врежь.

Егор нелепо подбирается — и наносит, как в дурацкой замедленной съемке, опасливый бейсбольный удар. Лёха, брезгливо сморщившись, отводит — подталкивает в направлении движения, — трубу легким помаванием ладони. Егор, не ожидавший этого, «проваливается» в своем бутафорском махе. Лёха, раздражаясь:

— Ты бьешь или телку по жопе гладишь? — резкий жест. — Вмажь!

Егор наносит чуть более резкий удар — все равно безнадежно слабый и медленный. Лёха опять отбивает его, словно отгоняет муху.

— Вмажь!.. Представь, что врага гасишь! Реального гада!

Егор бьет. Лёха отмахивается — на лице злость от неуклюжести сына; вдруг хлопает того по толстой щеке — не сильно, но оскорбительно. Егор дергается.

— Вмажь!..

Егор бьет. Лёха отмахивается. Хлопает по щеке.

— Вмажь!..

Его бьет сильнее, лицо уже смято гримасой... Лёха отмахивается. Хлопает.

— Вмажь, урод!..

Егор, вдруг заорав, кидается на отца, со всей дури косо рубит ржавой трубой. По-настоящему: неуклюже, неумело — но резко, сильно и зло. Лёха перехватывает — рука Егора с трубой словно попадает в заводские шестерни или корабельный винт, Егора закручивает, подбрасывает, впечатывает. Егор хрипит — на пузе, мордой в землю, в жесткие сорняки, в колючие побеги кустарника. Труба отлетела, тренькнув о бетонные обрубки. Вывернутая кисть Егора зажата в широких ладонях отца, — Лёха прижимает поверженного сына коленом, ломит запястье и локтевой сустав в болевом приеме. Егор хрипит, взвизгивает:

— Пусти!.. Больно!.. Хватит!!!

— Проси правильно!

Свободная рука Егора судорожно хлещет ладонью по земле, как по татами. Лёха тут же выпускает руку сына из клещей, мгновенно и легко распрямляется. Егор

копошится на земле, собирая себя — исцарапанный, перемазанный. Кое-как встает на колени. Лицо искажено рыданиями — подавляемыми, почти беззвучными. Слюни, сопли. Лёха — тоже сразу подавляя проскочившую по лицу брезгливость, — тянет ладонь:

— Дай краба.

Егор дергается, поднимается сам, но Лёха все равно ухватывает его за плечо, вздергивает в вертикальное положение. Лицо Егора корчится в попытке справиться со слезами.

— Н...ненавижу...

— Меня?

— С...себя... Ж-жирный...

Лёха почти удовлетворенно кивает, но прерывает резко:

— Ну и дурак. Ненавидеть надо врагов. Себя надо воспитывать. Ну всё, всё. Хорош...

Выпускает плечо Егора, осторожно похлопывает. Глядя на мальчика, шагает к «субару», берет термос, наливает в крышку, протягивает Егору — все быстро, ловко. Егор, все еще подрагивающий от загнанных внутрь рыданий, быстро обтирает лицо тыльной стороной ладони. Принимает крышку, делает глоток... Кашляет, выплевывает. Сипло:

— Чего это?..

— Кофе.

— С чем?..

— С водкой. Пей давай.

Егор пьет. Допивает:

— Нельзя же... перед тренировкой... от алкоголя реакция... портится...

— Это кто сказал?

— Сэмпай... Тренер.

— На хер реакцию, — Лёха забирает крышечку, наливает еще. — Ты не для олимпиады дрочишься. Для реальной жизни. В реальной жизни две вещи важные, — сует термос в карман, показывает кулак, разгибает поочередно два пальца, получая на выходе знак «виктори». — Навык... и воля. На одной воле можно всех порвать. А когда еще навык есть... когда знаешь, как... — весь мир твой. Понял?

Егор смотрит на отца; мрачно кивает; уже взял себя в руки — только нос хлюпает. Лёха опрокидывает в себя крышечку, деловито:

— Чего тренировки прогуливаешь?

— Меня Ванька сдал? Мельник? — Егор: упрямый взгляд исподлобья.

— Это я тебе вопрос задал.

— Сам не видишь?..

— Чё я должен видеть?

— Я... не могу. Не получается. Нету навыка!..

— Так учись, — Лёха накручивает крышечку на термос, не вынимая его из кармана. — Воля есть — и навык будет.

— А если нет? Воли?

— Есть, конечно, — Лёха разворачивается спиной. — Ты ж мой сын.

Шагает к машине. Егор, не трогаясь с места, набычившись, в очередной раз трет хлюпающий нос тыльной стороной ладони — и повторяет:

— Меня Ванька сдал?

— Никто тебя не сдавал, — Лёха распахивает дверцу, обходит капот. — Город маленький у нас. Все на виду. Так что когда врешь — думай сначала... Давай, поехали.

— К...куда?

— Я ж сказал: подвезу на тренировку, — сам садится за руль.

...Егор плюхается на сиденье рядом с отцом. Лёха — заводя тачку:

— Кстати, чтоб знал. Свинка, если мелким ее не успел словить, вот в твоем уже возрасте — дикая жесть. Температура сорок, ломает по-черному, а яйца пухнут — во! — показывает кулак. — Болят просто нечеловечески. И детей потом может не быть. Или родятся мутанты какие-нибудь. Со щупальцами.

«Субару», урча, бойко переваливается по пустырю.

— Ты-то откуда знаешь? — Егор, мрачно.

Лёха на миг поворачивает к сыну лицо, ухмыляется и подмигивает:

— Болел.

...Машина удаляется, ржавая труба, снова ненужная, лежит в сорняках.

ЭНСК, ЛИЦЕЙ. 1 СЕНТЯБРЯ, ВЕЧЕР

В окне — включенный на полные обороты закат: удвоенный зеркалом Большой Воды, неровно обрезанный темными ступеньками индустриально-портовой застройки берега.

Ян в пустом классе за учительским столом: мягкие сумерки, освещение выключено. Перед Яном — неряшливый пасьянс бумаг: отчеты, формы, формуляры. Бледно ксерокопированный разграфленный лист А4: «План дополнительных занятий на .../... учебный год». Как закат — водой, лист продублирован экселевской таблицей на экране ноутбука. На лице у Яна — сдержанная самурайская тоска. В руке авторучка, другая рука на тачпэде. Вздохнув, Ян кликает свернутое окно — таблицу замещает фэйсбучная раскладка.

И тут же отворяется дверь. В класс шагает небольшой, удивительно ладно скроенный мужчина лет 35—45: тонкая талия, широкие плечи, осанка мушкетера или балетного премьера, славяно-арийское, как на полотнах Васильева, лицо, аккуратная русая бородка.

— Мучаетесь, Ян Иванович?

Ян шевелением пальца убирает Фэйсбук, потягивается на стуле, цитирует с выражением:

— «Вот она, моя бумажная могила»!

Визитер улыбается — принимает игру:

— По сюжету вы сейчас должны свой ноутбук — шашкой напополам.

— Тогда уж лазерным мечом... — визитер вопросительно приподнимает бровь, Ян чуть разводит руками. — Мои новые ученики так постановили.

— Зубастые, да?

— Палец в рот я бы не положил, — Ян захлопывает ноутбук, с интересом глядит на визави: тот подходит к столу.

— Так меч-то — есть у вас? — интересуется. Говорит он очень чистым, как-то старорежимно, каллиграфически артикулированным русским языком.

— Увы, — Ян вновь разводит руками. Визитер улыбается — улыбка хорошая, умная, несколько чеширская.

— Тогда прошу следовать за мной.

Ян встает — высокий, большой, вдруг как-то громоздкий и нескладный рядом с миниатюрным, идеально сбалансированным визави.

— Вы на белого кролика не очень похожи.

Визави, на сей раз то ли не понимая, то ли не принимая игры, протягивает маленькую жесткую ладошку.

— Королёв Павел Кириллович. Трудовик.

Ян перехватывает ладошку своей:

— Звучит как политическое кредо... — поясняюще: — Была при проклятом царизме такая партия.

Павел Кириллович, чуть склонив чело — пойдемте-с? — разворачивается, толкает дверь класса.

— Упаси Боже. До Трудовой группы, а также кадетов, октябристов и социалист-революционеров касательства не имею. Ибо всецело сто*ю* за монархию.

Они идут по коридору. Павел Кириллович движется исключительно изящно. Ян косится на него с интересом.

— Абсолютную? — уточняет.

Сворачивают на лестницу — вниз.

— В перспективе, безусловно, конституционную. Раздвоение власти — это мудро. Правящая династия — постоянная и для любви. Взаимной с подданными. Всяческие министры с депутатами — переменные и для битья. Также неизбежно взаимного...

— По-моему, у нас принято иначе — кто бьет, тот и любит.

— Ян Иванович, я, конечно, *ватник*, но идеи садо-мазо мне не близки.

Ян озирается: они уже «ниже уровня моря» — в подсвеченном густым желтым светом, выкрашенном гнусной краской цвета дохлого кузнечика полуподвальном аппендиксе. На вид — и впрямь тупиковом: несколько металлических дверей с полустертыми цифробуквенными заклинаниями кажутся запертыми, висит ватная тишина.

— Куда ведете, сусанин?

Павел Кириллович — с чеширской ухмылочкой:

— В нору. Неужели ничего не слышите?

ЭНСК, ДАЧНЫЙ ПОСЕЛОК — ЦЕНТР. 1 СЕНТЯБРЯ, ВЕЧЕР

Закат. Забор: солидный, планки внахлест, как пластины латного доспеха, высокий — метра три. На углах — рыбьи зенки видеокамер. За забором — зеленые пирамиды и шары хвойных и лиственных, равнобедренный остроугольный скат чешуйчатой крыши коттеджа. Геометрия богатых: дорогой дом в дорогом дачном предместье — разномастные шале и шато прячутся за крепостных кондиций стенами. А дорога все равно разбита. На ней напротив забора останавливается мотоцикл. Древний «Урал», кустарно (и это видно) проапгрейденный до вполне ничо-себе-байка. Седок — в джинсах и кроссачах, бундесверовской камуфляжной куртке, глухом шлеме. Сзади на сиденье приторочен второй шлем. Седок достает телефон. Звякает отправленная эсэмэска.

Седок снимает шлем. Это Ванька Мельник. Добывает из кармана сигарету... На гребне забора, ловко вбросив себя на руках, появляется девушка. Яна Левашова. Ванька, соскакивая с седла, поспешно сует сигарету в карман, бежит к забору. Яна, ловко толкнувшись ладошками, спрыгивает в его растопыренные руки. Пошатнулся, устоял; замирает, крепко обхватив Яну. Пытается с ходу поцеловать в губы. Яна подставляет щеку.

— Пусти, — Ванька лыбится, Яна щелкает его по носу. — Пусти, дурачок, щас камеры опять заработают...

Ванька с неохотой отпускает ее. Они бегут к мотоциклу. Ванька протягивает Яне шлем, надевает сам. Садится. Яна запрыгивает к нему за спину. Теперь уже она обхватывает Ваньку.

— Крепче, — с мстительным удовольствием командует Ванька, поддразнивая байк толчками педали.

— Так?

— Еще крепче!

Яна вжимается в широкую Ванькину спину. Мотоцикл, рявкнув, берет с места...

...И останавливается уже в густых сумерках: старый дом, двор-колодец, переполненные мусорные контейнеры, буддийские коты.

...Ванька и Яна подходят к железной двери в полуподвал. Никаких опознавательных знаков. Яна с любопытством озирается. У Ваньки вид уверенный. Он жмет кнопку звонка, берет Яну за руку. Секунда-другая — дверь приоткрывается. Тугие жесткие

децибелы, всплески ядерного света вырываются изнутри, окатывают, толкают Ваньку и Яну. Открывший дверь бритый амбал в футболке Motorhead глядит на Ваньку мутновато; у того по лицу проскакивает уже искра растерянности... — но тут амбал, дернув уголком губ, распахивает дверь шире. Ванька и Яна ныряют внутрь.

...В грохоте тяжелого техно, в световых судорогах, заполняющих подвальный и подпольный клуб-лабиринт, Ванька приветствует по очереди нескольких парней постарше — бритые черепа, мускулы, татухи; стукаются друг о друга кулаки, словно пасхальные яйца; бегло смыкаются-размыкаются объятья; маскулинный ритуал, манифестация древнего дикарского единства — мы племя, мы братья, врагов убьем, печень их съедим.

— Чего братан вне зоны все время? — слегка подзаплывший, расписанный рунами крепыш бегло тычет своим кулачищем в Ванькин.

— Чё я, сторож братану? — солидно пожимает плечами.

Подсмеиваются. Ванька важный, довольный: взрослые крутые парни, респект, мы одной крови... Вдруг, словно спохватившись, оглядывается. Яна, стоя у длинной стойки вдоль стены, глядит на него и парней без улыбки — словно, как это было с Яном в классе (когда он спросил ее об отце), между ней и Ванькой мгновенно повисла в воздухе преломляющая все лучи ледяная линза.

ЭНСК, ЛИЦЕЙ, ПОДВАЛ. 1 СЕНТЯБРЯ, ВЕЧЕР

— Мерещщицца!.. То ли баальшаая! То ли мааа-ла-йя! Мееедведица!..

Громовое мяуканье «Мумий Тролля» из колонок, красноватый вулканический свет. В нем самозабвенно и мастерски отплясывает красивая пара: полувосточная темноволосая дива с завидной фигурой — и мускулистый юноша-адонис, на вид обоим лет по 25—27, не более. Юноша... ба, тот самый, что несколько дней назад ловил покемонов на набережной Большой Воды.

Ян и Павел Кириллович смотрят на танцующих. Они стоят возле обширного верстака, в руках стаканчики с водкой, на верстаке — тусовка графинчиков, бутылей, тетрапаков, ломти пиццы и осетинских пирогов, штабель малосольных огурцов. Еще несколько человек — вокруг верстака в разных комбинациях м/ж: молодые педагоги (все или почти все они мелькали в массовке по встрече губернатора в стенах лицея). Вокруг них — обширное полутемное помещение, чистенькая, новенькая, очень круто укомплектованная помесь цеха и лаборатории: элегантные станки, стенды, полки, колбы, перегонный куб, генератор, какая-то еще внушительная техника, в россыпи стружки — штабель длинных дощатых ящиков с обозначением «хрупкий груз»...

— Союз биологии и физкультуры! — Павел Кириллович кричит в ухо Яну, глядя на отплясывающих красавцев.

— А также физики и английского? — орет Ян ответно; глазами показывает на хихикающую белобрысую полную деваху и что-то ей нежно втирающего здоровенного лысого детину с серьгой в ухе и выползающим из-под толстовки на шею языком разноцветной татуировки.

— Увы нам, это логично!

— Только не просите меня рассмотреть в этой плоскости нашу с вами пару! — Ян скалится.

— Вообще-то я имел в виду социальный аспект, а не сексуальный! — Павел Кириллович грозит Яну пальцем. — Я думал, вы либерал, а вы эротический реакционер!

Оба смеются.

— История и труд, как учит нас криминальное арго, всё перетрут! — Павел Кириллович чуть чокается стаканами с Яном, оба отхлебывают. Грохочут барабаны, вминая барабанные перепонки.

— Звукоизоляция — супер! — Ян, выдохнув.

— Магнезит!

— Что?..

— Магнезитовые панели! — Павел Кириллович, поставив стакан, делает движение, словно сплющивает что-то невидимое меж ладонями. — Сэндвич!

— И водка — супер! — Ян, покивав глубокомысленно про панели, оттопыривает большой палец.

— Так тройная перегонка! На березовом угле!.. — оба опять выпивают; Павел Кириллович неслышно хрустит огурчиком. — Ну что, не жалеете, что я вас привлек к нашей молодежной фракции?

— Чувствую себя самозванцем! — Ян тоже хрустит огурцом. — Какой я молодежь! Я старый хрен, мне сорок два! В утиль!

— Возраст — понятие не физиологическое!

— Моей печени это скажите! — Ян салютует стаканом, снова оба смеются, Павел Кириллович потряхивает перстом:

— Я читал вашу книгу. Это книга... молодого человека! Азартного... идеалиста!..

Ян, щурясь, разглядывает Павла Кирилловича: тот, выпивая, не утратил ни идеальной выправки, ни изящества, ни плавной четкости артикуляции.

— Интересный вы трудовик, Павел Кириллович! Я таких не встречал!

— А каких встречали? — Павел Кириллович беззаботно посмеивается, собирая вокруг глаз на гладком молодом лице обаятельные лучики.

Ян подливает себе из графина:

— Когда я тут учился... У нас труд вел Василий Гаврилыч. Вась-Гав! Отставник, контуженный, на левой руке два пальца! — показывает левую с большим и указательным — оттопырены «кусачками», щелк-щелк; нюхает стакан. — Матом владел — как Третьяк клюшкой! — залпом опрокидывает водку. — Три недели пахал, неделю бухал! Сергей Филиппыч... директор... Вась-Гава не трогал, а к концу запоя сам ящик жигулевского ему подвозил! Реанимация! И к понедельнику — оба-на, матрица-перезагрузка!.. — подхихикивает; обводит рукой со стаканом хайтек-подвал. — А из снаряжения имелся токарный станок... еще до войны списанный... три паяльника и лобзиков с рубанками дохрена!..

— Это все спонсорская помощь! — Павел Кириллович красивым, породистым движением головы обозначает окрестности. — Родители!

— Щедрые у вас родители! — орет Ян, и все смотрят на него: музыка вырубилась, ор звучит во внезапной тишине. Но Ян уже явно поддат — реакция подводит.

— Дальновидные, — негромко поправляет Павел Кириллович. — Понимают, что их детям собирать страну заново. Ручками, — демонстрирует крепкие ладошки; Ян, щурясь, смотрит на внезапно «набитые» костяшки пальцев коллеги. — Стало быть, ручки умелые нужны.

Ян осовело, но цепко изучает Павла Кирилловича, тот вдруг подмигивает, вновь — как будто все еще гремит музыка — наклоняется к уху собеседника:

— Между прочим, Нина Тимуровна весь вечер глядит на вас с большим человеческим интересом.

Ян, чуть качнувшись, разворачивается. Отплясавшая пара — евразийская красавица-биологичка, юноша-атлет; у красавицы в руке стакан; юноша, морщась, придирчиво изучает мелкий шрифт на пачке апельсинового сока; Нина и впрямь разглядывает Яна — и поймав ответный взгляд, не отводит своего.

ЭНСК, ПОДВАЛЬНЫЙ КЛУБ. 1 СЕНТЯБРЯ, ВЕЧЕР

Ванька и Яна — за столиком в подвальном кабаке-лабиринте. Перед Яной — что-то прозрачное в высоком стакане, перед Ванькой — кружка темного пива. Брутальное племя, с которым Ванька так прочувствованно здоровался, тусуется у стойки неподалеку. Технодолбежка: звук такой, словно все происходит в аппарате МРТ.

Яна выглядит отстраненной; Ванька — видящий это — расстроен, но старается держать мужчинскую («я выше бабьих закидонов») марку.

— Это твои друзья? — Яна смотрит на брутальных.

Ванька отхлебывает — тянет время; осторожно:

— Ну... в целом Вадькины скорее.

— Они скинхэды, да? — Яна переводит взгляд на Ваньку, тот неопределенно дергает плечом. — Фашисты.

Ванька, возмущенно — чуть не поперхнувшись пивом:

— Какие нах фашисты, Янк? Нормальные мужики... Просто не гады продажные... Родину любят...

— Родину любят. Черножопых не любят. Так?

Ванька, помедлив; уже явно сдерживая — и не сдержав — раздражения:

— А ты типа любишь черножопых, да? Сходи тогда вечерком по Девятке погуляй... Или по Цандера... Без телохранителей только... Пойдешь? Любви тебе будет — вот так, — скалится, чиркает ребром ладони по горлу. — До реанимации.

Ощущение ледяной линзы между Яной и Ванькой явно усиливается. Ванька смотрит на спокойное, слишком спокойное Янино лицо.

— Янк, ну извини... — берет ее за руку. Яна не отнимает руку — но и остается прежней, холодной. Ванька поглаживает ее ладонь. — Ну ты не права просто.

Яна, очень ровно и глядя мимо Ваньки:

— То, что есть уроды, не повод быть фашистом. Можно подумать, русских уродов мало.

Ванька глядит на нее, щурится; мягко — не выпуская руку, стараясь быть доходчивым:

— Слушай, ну чё ты как ребенок? Уроды, не уроды. Дело же не в этом. Просто они тут чужие. А жить по-нашему не хотят. Хотят по-своему. А нас — нагнуть. А я чё-т не готов, чтоб меня нагибали. Тут моя земля, я их не учу, как им в кишлаке жить... — поглаживает руку Яны, улыбается — явно приглашая и ее к переводу спора в шутку: — Как нам Кириллыч долдонит? «Вещество не на своем месте является грязью»...

Яна, язвительно:

— А я им, — кивок в сторону брито-подкачанного прайда, — своя, да? Не чужая? Сучка балованная, дочка мэра-коррупционера?.. Олигарха с темным прошлым?.. Я своя им, Вань? Или все-таки — тоже грязь?..

Ванька играет желваками, медлит. Яна отбирает руку, усмехается — почти неприятно:

— Хотя не, я не грязь, конечно. Я золотой песочек. Меня можно взять — и на бабло обменять. На много бабла. Для правого русского дела много же бабла нужно? Жалко, нормальные мужики, — опять, усмехнувшись, кивает в сторону компашки мачо, — не в курсе... такую щас возможность прощелкают...

— Ну харэ бред нести! — Ванька явно разозлился. — Они мои друзья!

— Так твои или Вадькины?

— Какая разница?!

— Ты им сказал, кто я?

— Я чё, нанимался?!

— А ты скажи.

— Янк, тормози! — Ванька, с трудом удерживая себя от взрыва, хватает кружку. — Ты со мной, тебя тут пальцем никто не тронет!

Опрокидывает в себя пиво долгим глотком. Яна смотрит на его ходящий туда-сюда кадык. Холодно:

— Ты вообще за рулем. Забыл?

Ванька в раздражении шарахает пустой кружкой об стол.

— Мне вторая мамочка нафиг не сдалась! Мне одной во так, — снова чиркает себя по горлу, — хватает!

Несколько секунд взгляды Ваньки и Яны яростно аннигилируют, сталкиваясь в пустоте над столом. Потом Яна дергает головой, резко встает:

— Вань, знаешь, я пойду.

— Куда?..

— Домой, — сдергивает со спинки стула свою куртку.

— Ночь уже! — Ванька теперь не кажется разъяренным, растерянно смотрит на Яну снизу.

— Такси вызову, — Яна разворачивается и шагает к двери.

Ванька секунду тормозит. Яна идет, на ходу вынимая телефон...

— Янк, стой! Я-анк?..

Ванька вскакивает, бросается за Яной. Мачо-патриоты с ухмылками следят от стойки.

Бундесверовская камуфляжная куртка Ваньки висит на спинке стула. В нагрудном кармане — вибрация, нездешний свет, — звонит неслышный в непрестанном тудум-тудум смартфон. Секунду, две, три...

Прекращает.

29.ЭНСК, КВАРТИРА. 1 СЕНТЯБРЯ, ВЕЧЕР

Голые хрупкие женские плечи, спина, руки; каждая жилка, мышца и косточка проступают в каждом — одинаковом, но все более ожесточенном — движении под бледной кожей; мотается тяжелая грива — брюнетка или густая шатенка; слипаются вокалы — хрипловатый женский и низкий мужской, крещендо, синхронное окончание; женщина — она была сверху — обессиленно опадает на партнера; темные волосы, рассыпавшись, скрывают и его лицо.

Секунда-другая — женщина, глухо засмеявшись, отталкивается руками, падает на спину рядом с мужчиной. Мужчина — Лёха Машканцев, товарищ майор. Женщина — на вид между 30 и 40, но притом вечный подросток по типажу и комплекции: с белой кожей, с компактной трогательной грудкой, маленькая, худосочная (особенно рядом со здоровенным Лёхой). Только глаза — огромные, выразительные — и исключительной густоты и длины волосы. Нервный чахоточный тип, эльф-заморыш.

Это Оля Мельник, мать Вадьки и Ваньки; Фасолька.

Лёха смотрит на нее сбоку, чуть повернув голову. Потные после любви, они лежат на типовой тахте в типовой комнате типовой панельной хаты, прогорклое фонарное масло сочится сквозь банальную тюлевую занавеску на скученную скучную обстановку.

— Хочу еще вина, — Фасолька, хрипловато.

Леха, чуть сместив центр тяжести, шарит за тахтой, добывает бутылку грузинского полусладкого, сам делает мощный глоток из горла, протягивает Фасольке. Она садится, скрестив ноги по-турецки, — облитая желтым тревожным светом. Пьет. Лёха продолжает любоваться ею: сейчас его лицо кажется не одутловатым — а мягким, подтаявшим от непривычных эмоций.

— Фасолька, — и голос такой же, размягченный, как пломбир летом. — Я тебя люблю.

Фасолька обтирает губы ладошкой. Медлит. Не глядя на Лёху, ровно:

— Тогда оставайся. Расскажи всё своей Гале. Разводись. Живи со мной.

Лёхино лицо застывает; взгляд, отскочив от тоненького силуэта Фасольки, оборачивается внутрь. Лёха явно через силу открывает рот — что-то же надо ответить. Фасолька быстро кладет палец ему на губы.

— Чшшш. Извини, Лёшенька. Просто трудно удержаться, когда ты сам подставляешься, — чуть улыбается. — Я же все знаю, что ты скажешь. Да сама я уже столько лет мать-одиночка... привыкла... — хмыкает. — Смысла нет менять.

Леха благодарно целует ее палец. Берет своей мощной кистью — ее хрупкую,

птичью. Разглядывает, разглаживает. Фасолька следит за ним все с той же грустной улыбкой.

— Какие пальцы у тебя красивые. Пальчики.

— И какие же?

— Тонкие. Легкие. Нежные... — Лёха вдруг легко и быстро, без усилия садится рядом с Фасолькой, заглядывает ей в глаза, держа Фасолькину ладошку меж двух своих: — Слушай, это неправильно, что ты больше не играешь. Тебе надо играть.

Фасолька делает еще глоток из бутылки.

— Поздно мне играть, Лёш.

— Не, ну чего значит — поздно? — Лёха явно рад сменить тему. — Фасолька, ты офигенно играешь. Как в филармонии... — просияв: — А хочешь, я тебе рояль подарю?

— У исламского террориста конфискуешь?

— Перестань, я серьезно. Какой самый хороший рояль?.. — неуверенно. — «Станвей»?..

— Алёша, — Фасолька, отобрав у него руку, гладит его по щеке. — Ну какой «Стэйнвей»? Куда я его дену? На потолок?..

Лёха думает, что бы ответить — не вылезая опять в зону преступной безответственности. На столе зуммерит телефон. Фасолька сует Лёхе в руки почти допитую бутылку, невесомо мазнув Машканцева рассыпчатыми прядями по груди, соскакивает с тахты. Берет телефон — на экране не имя, номер.

— Алё?

— Мам, это я, — голос Вадьки. — Вслух только меня не называй.

— Что?.. — растерянно.

— Имен не говори никаких. Ты одна?

Фасолька невольно быстро оглядывается — сидящий на тахте Лёха, мощный, гладкий, подсвеченный, похожий сейчас на изваяние Будды, допивает вино из горла.

— Н-нет... А что...

— Брат дома?

— Гуляет... Что случилось?

— Ничего не случилось. Все хорошо. Ты с ментом, да?

— Да в чем дело вообще?! Зачем ты...

— Извини. Все окей. Просто не говори ничего. Ни ему... Никому.

— Я не понимаю.

— Все в порядке. Не, правда, прости. Я должен уехать тут срочно... по делам... ненадолго. Хотел тебя увидеть. На пять минут. Можешь утром?

— Я... к восьми же — на работу.

— До работы. Помнишь — где вы с папой любили гулять? Ты мне еще говорила?

— Помню, — Фасолька снова оглядывается; Лёха смотрит на нее.

— Вот там. В семь ровно я буду. Тачку возьми, я деньги верну. Хорошо? До завтра.

— Подожди...

Дзынннь оконченного разговора. Фасолька заторможенно — ошалело, встревоженно — отнимает трубку от уха, глядит на нее, как на незнакомый и непонятный предмет. Спохватывается, жмет «перезвонить» — на определившийся номер.

«Извините — телефон абонента выключен или находится вне зоны...»

— Случилось что-то? — Лёха, ровно.

— Н-нет, — Фасолька встряхивается, улыбается — почти не фальшивя. — Подруга... Инна, помнишь ее?.. Муж бросил... девушка психует. Хочет выговориться... — дергает тощими плечиками, как бы небрежно отправляет телефон на стол. — Истерика... Сам понимаешь...

Запрыгивает на тахту. Лёха с сомнением поглядывает на нее. Фасолька хватает у него из рук бутылку — пусто:

— Ты чего, все выпил, что ли?..

— Это точно не Вадька звонил?

Фасолька вздрагивает:

— Мог бы мне оставить... — отбрасывает бутылку в узел скомканного белья, беззаботно. — Да не Вадька, не. А в чем дело-то?

— Он как вообще?

— Да ничего вроде... Вроде механиком устроился...

— А где? — Лёха улыбается заинтересованно-светски.

— В компании какой-то, грузы-перевозки... Я же не разбираюсь... А что ты спрашиваешь, Лёш?

— Надо с ним поболтать.

— Так ты позвони ему.

— Я звонил. Номер заблокирован.

— Да?..

— Ну, — Лёха чуть разводит руками. — Так что он когда позвонит, ты попроси его, чтоб меня набрал. Хорошо?

— Хорошо... — Фасолька, склонив голову набок, смотрит на Лёху. — Лёш... В чем дело?

— Да нет никакого дела.

— Не, погоди, — Фасолька берет его за запястье. — Зачем тебе Вадька? Он что, натворил чего-нибудь? Лё-ош?..

— Просто надо поговорить.

— Про что?

— Фасолька. Перестань. Я офицер все-таки.

— А я его мать.

— А ощущение такое, что адвокат.

— Алёша!

— Фасоль, не нагнетай! — Лёха чуть морщится. — Слуш, ну у меня вчера важного азера замочили. Хозяин Малиновского рынка. Ну ты же слышала наверняка.

— При чем тут Вадька?

— Да ни при чем... — Фасолька глядит в упор; Лёха — недовольно: — Сама знаешь. Он общается же теперь со всякими... Россия для русских, хачило на мыло... Друзей таких себе завел... Ну и вот — вопросы к нему возникают. Про друзей.

Фасолька темными тревожными глазами часто-часто сканирует Лёху. Тот старается держать покерфэйс. Но не удерживает, нервничает, злится от этого перехода любовного рандеву в плоскость допроса, где следователь — не он.

— Вадька тебя как свидетель интересует? — от волнения голос Фасольки становится тоньше, площе. — Или как подозреваемый?

— Как конь в пальто.

— А у тебя вообще есть подозреваемый?

— Перестань.

— Есть или нет?

— Ну какой подозреваемый?! Этого кабана вчера только завалили.

— Значит, нету подозреваемого. А тебе надо, чтоб был. Я знаю. Ты же мне сам объяснял...

— Фасолька, стоп!

— То есть ты от меня хочешь, чтобы я собственного сына сама...

Лёха хватает Фасольку широченными ладонями за узкие плечики; встряхивает:

— Ты чего, дура совсем?!

Фасолька издает жалкий звук сдувшегося воздушного шарика, сжимается в бледный комочек, занавешивается волной волнистых волос. Лёха отдергивает грабли, как от раскаленной сковородки, мигом тухнет. Виновато:

— Прости.

Фасолька — глухо:

— Иди домой, Лёш.

— Фасоль...

Вскидывает хрупкую, тонкую лапку:

— Прямо сейчас иди.

ЭНСК, НОВАЯ ЗАСТРОЙКА. НОЧЬ С 1 НА 2 СЕНТЯБРЯ

Мрачный Лёха останавливает «субару» в парковочном квадрате возле подъезда. Вылезает — взъерошенный, куртка в руке, с плеча свисает рюкзак, под расстегнутой нейлоновой жилеткой болтается в наплечной кобуре люгер. Квакает сигнализацией, задирает голову, тяжело смотрит на светящиеся кустами окна жилой высотки. Высотка — одна из нескольких: типичные псевдоэлитные ульи нулевых, каких изрядно тогда повымахало на нефтяных стероидах по живописным окраинам небедных русских миллионников. Где-то там, среди светящихся сотов, — и его, Машканцева, жилые ячейки, жена, сын...

— Майор Машканцев, если не ошибаюсь?

Лёха резко разворачивается, рефлекторно кидая правую к рукояти пистолета. Силуэт долговязого мужчины — как на жердочке, на низкой металлической ограде новенькой детской площадки. Лёха секунду вглядывается; брови лезут кверху.

— Неверов?.. — не веря. — Ян?!.

Ян встает, чуть качнувшись. В руке у него графинчик — один из тех, что паслись на верстаке в трудовом бункере; в граненом стекле плещет прозрачное. Ян ухмыляется:

— Товарищ Муха!

— Янычар!.. — Лёха, только что мрачный и грузный, вдруг прыгает вперед, роняя рюкзак, обхватывает длинного Яна, мигом отрывает его, смеющегося, от асфальта, вертит, как тряпичного: — Янычар, сука!..

ЭНСК, БОЛЬШАЯ ВОДА — КАТЕР. РАННЕЕ УТРО

Лёха — он за штурвалом — резко вырубает движок. Катер сникает, обиженно вспахивает воду только что задранным носом, но по инерции шустро идет вперед. Та же сила инерции дребезжит по дну пустыми пивными жестянками. Их перекатывается много. И полные тоже еще есть — в картонном ящике на корме. Возле ящика сидит на скамье Ян — малость остекленевший, как и Лёха, от ночного пьянства, но странно (как и Лёха) бодрый, помолодевший.

— Нефигово, да? — Лёха оборачивается от штурвала, охватывает пейзаж хозяйской ручищей; колебля катерок (беспонтовый — не яхта олигарха), ковыляет к корме.

Ян глядит: ну да — нефигово. Зефирное, взбитое, подтекающее розоватым сливочным светом небо невесомо лежит на сонном, нежном слое воды; штиль — лишь кильватерный клин катера морщинит акваторию, баржи и буксиры вдалеке недвижны, и громадные колонны дымов над жерлами заводов и ТЭЦ монолитно мерцают, как мраморные; тишь; темный еще, цельный массив берега — ажурная фатаморгана портовых кранов впаяна в бледный янтарь восхода; мир с утра словно недосотворен — или как минимум не распакован.

— Дзен!

Лёха падает на скамью напротив Яна. Выдергивает из ящика два поллитровых цилиндрика, «козой» (большим и мизинцем) подцепляет колечко-чеку сразу на обоих, дергает. Углекислое бурление. Сует банку Яну.

— Ну, по одной — и арбайтен.

Как-то сам вдруг разом тускнеет, большими глотками фигачит пиво. Кадык снует, как лифт. Ян потихоньку прихлебывает свое, наблюдает друга:

— Что, борец с экстремизмом, не радует арбайт?

Лёха, отдуваясь, отлепляет от рта практически пустую банку. Глаза вмиг подернулись влажной пленкой вовремя купированного похмелья.

— Не, ну как. Периодически, конечно, экстремально блевать хочется от всех этих... блогеров, хреёгеров, муфтиев, хреюфтиев... В убойном все было конкретнее.

— Я так понимаю, конкретно сейчас у тебя — практически как в убойном.

— Практически... — Лёха залпом добивает банку, кривится, мечет ее со звоном к товаркам. — А чисто теоретически — я бы этого Саяфа сам с большим чувством закопал. Лет двадцать причем назад...

Ян — поболтав пиво в банке, посвистев сквозь зубы:

— Увольняйся.

— Чтобы что?.. — криво улыбается; не дождавшись от Яна ответа: — Поздняк метаться.

Ян продолжает исподлобья изучать Лёху.

— Да, понятное ощущение. Что точка бифуркации пройдена... — с иронией. — Помнишь такую точку?

Лёха тычет Яна кулачищем в плечо, ржет:

— Не, ну Янычар, ты чё — рамсы попутал? Я же мент, единица тупизны! По точкам — это не ко мне ваще! По почкам — пожалста... Или по очкам... Я точку джи — и ту хрен найду...

— Муха, не жужжи. Гордый, блин... — Ян прихлебывает, назидательно: — У меня половина коллег не в курсе, чё за точка бифуркации.

— Заточка бифуркации, двести двадцать вторая, пункт четыре! — Лёха опять ржет, обрывает смех. — Че-то типа камня в сказках, так? Налево пойдешь — коня потеряешь, направо — кони двинешь, блабла? И свернуть можно куда хошь... А когда уже свернул... — Лёха рубит воздух ребром ладони, — то до упора?

Ян, кивнув, салютует банкой:

— Образно, дельно.

— Куда нам до столичной хипстоты... Ну и где у нас с тобой был камушек? — майор ухмыляется (мол, мы ж трепемся просто, дурочку валяем), но ощущение — словно он и впрямь ждет от умного друга точного ответа.

— Да где угодно! — Ян изображает работу мысли. — Может, надо было тебе после школы жениться на Фасольке...

Лёха фыркает:

— Я б женился. Это ж она меня — в упор... — помахивает туда-сюда ладонью перед носом.

Ян усмехается, вспомнив; мотает головой:

— Слушай, но этот сын Ванька... Иван, блин, Робертович... Я вообще не сомневался, что просто однофамилец. Чтоб Фасолька, дюймовочка наша, — такого лба родила...

— Это ты старшего еще не видел.

— А кто у нас... папа Роберт был?

Леха — с заминкой и неохотой:

— Ну как... Офицер. Спецназ. На Кавказе в нулевом убили. Вадьке пять, Ванька вообще в пузе сидел...

— А чего у них фамилия материнская?

— Гражданский брак, — Лёха, сухо, пожимая плечами.

— Военно-полевой, — усмехается Ян; видит, что Лёхе шутка неприятна, резко закольцовывает:

— Короче. Предположим, тебе надо было жениться на Фасольке. А мне — на Аське. Наклепать детей...

— А Зельцу на ком надо было жениться?

Ян с комически-задумчивым видом скребет репу:

— Мм... На правой руке? Хотя нет, он же левша... — Лёха ржет; Ян: — А чего, у Зельца тоже жизнь не удалась? Я думал, он тут еврей при губернаторе...

— Погоди, он же немец! — Лёха удивленно.

— Да не, я в том смысле, что серый кардинал.

— А, — Лёха, с некоторым облегчением: — Это да. Консильери.

— Ну, Муха, мент — а какие слова...

У Лёхи громко звонит телефон — основной, «рабочий». Ян замолкает — еще до того, как Лёха делает соответствующий жест.

— Машканцев, — Лёха слушает; лицо его напрягается — скепсис?.. азарт?.. — Кто?! Так. Что ты?.. Та-ак. Так. Где?! — теперь на лице веселое изумление; Лёха дергает башкой, вглядывается в берег... — Погоди... хуясе... Нет, просто я щас прямо напротив. Где-где, на бороде! В тазу плаваю! — трясет головой, словно собеседник может его видеть. — Нет! Никаких без меня движений! Через десять минут! Всё, конец связи!

Прерывает разговор. Встает — чуть качнув катерок: ноздри раздуваются, в тяжелом теле зримо ворочается потенциальная энергия, жаждет перевода в кинетическую. Быстро шагает к штурвалу катера, врубает движок... Ян с банкой пива в руке смотрит на него настороженно. Лёха, словно почувствовав его взгляд, оборачивается, наводится на резкость, нервно скалится:

— Янычар, поздравляю: ты попал.

Выжимает рычаг, катер вскидывается, рявкает, рвется.

ЭНСК — ВОЗЛЕ ЗАБРОШЕННОЙ ЛОДОЧНОЙ СТАНЦИИ. УТРО

Халупа лодочной станции — в окулярах бинокля. Варикозная, старчески облезлая дощатая стена, кривое крыльцо, след от круга и багра, стенд... Мутное окно в паутинную трещинку...

За окном кто-то проходит — мелькает темный силуэт.

Лысый — бледный, вяловатый, тощий мент-капитан, помощник майора Машканцева — отнимает бинокль от глаз, оборачивается, часто помаргивая. Лысый — в накинутой поверх обычной полицейской формы камуфляжной куртке, в резиновых сапогах — уныло торчит из буйного куста. Через полянку к нему, пригибаясь, трусит в сопровождении дюжего собровца Лёха Машканцев. Собровец — в полной штурмовой экипировке: броня/разгрузка, балаклава, сфера, помповик «Рысь»; там и сям в зарослях — обхватывая полукольцом с суши лачугу — еще собровцы. Лёха — как был в штатском (джинсы закатаны до колен — но мокры и выше), на ходу подтягивает ремешки надетого поверх футболки чужого бронежилета с разгрузкой.

— Скока их там? — Лёха, подкатываясь, громким шепотом.

— Вроде четверо.

— Чей сигнал был?

— Да хэ зэ. Аноним. Отстучал и положил трубку. Номер эмтээс, бесхозный...

Лёха изымает у Лысого бинокль.

— Откуда звонок, засекли?

— Издеваешься?

— Развлекаюсь, — Лёха пялится в бинокль. — А с хуя ли мы верим, что это наши клиенты?

Лысый пожимает плечами с видом полного уныния и безразличия.

— Там четверо — и тут. Чисто на глазок — подходят. Возраст, рост... пол... Прячутся, опять-таки...

— А если це подставные? Не разводят нас, а?

— Да хэ зэ. Возьмем — спросим.

Лёха резко отнимает от глаз бинокль, скалится. Тычет бинокль обратно в руки Лысому, вынимает из кобуры табельное.

— Ну, погнали?

ЭНСК, БЕРЕГ БОЛЬШОЙ ВОДЫ — КАТЕР. УТРО

Катер — у самого берега на мелководье. Швартовочный конец примотан к торчащей над водой кривой сосенке.

Ян — один на борту.

Бросает взгляд на часы, кривится, трет морду: щетина.

Вздохнув, берет еще банку пива. Чпокает. Уворачивается от султана бежевой пены, приникает. Ставит банку на скамью, сдержанно рыгает.

Присев на корточки, дергает дверцу шкафчика возле штурвала. Роется: какие-то таблетки, бумажки, монеты, надорванная упаковка презервативов, пачка Голуаза (Ян встряхивает ее — что-то есть! — прихватывает себе), пластмассовые футляры сидюков — хлам, хлам: русский шансон, попса... Вдруг — Нирвана, Невермайнд, 1991. Пиратская бледная обложка — ч/б ксерокс оригинальной, с плывущим за долларовой купюрой младенцем. Привет из юности.

Ян кривовато усмехается. Встает, вертя диск.

Поворачивает ключ, оживляя вхолостую движок. Врубает музыкальную систему. Скармливает щели «Нирвану».

Делает погромче — наглый лихой старт, первые аккорды Смеллз Лайк Тин Спирит...

Ностальгически улыбаясь, подергивая в такт башкой, Ян лезет в пачку Голуаза. Непонимающе смотрит на то, что там вместо сигарет: крошечный стеклянный цилиндрик с притертой пробочкой — вроде тех, в которые разливают пробные духи. Только в цилиндрике — белый порошок. Ян осторожно вынимает пробочку, осторожно высыпает крохи порошка на кончик пальца. Нюхает палец, сует в рот, втирает крупинки в десну. Ухмыляется:

— Ну Муха... ц-цокотуха...

Задраив цилиндрик, сует обратно в пачку. Пачку, помедлив, в карман. Сканирует пейзаж под суицидальный кобейновский кач из колонок. Пустая отмель, безлюдный берег, томный простор Большой Воды, медленно набухающее светом утро. Turn the lights out — it's less dangerous... here we are now — entertain us... Ян снова помимо воли потряхивает чайником, поднывает еле слышно Курту...

ЭНСК — ЗАБРОШЕННАЯ ЛОДОЧНАЯ СТАНЦИЯ. УТРО

Мел — в захламленной комнатке-кладовке; сломанная мебель, трухлявые книжки, толстая сырая труба изгибается от пола к потолку. Тусклый свет из круглой бойницы. Мел с усилием выдирает из большого армейского рюкзака рубчатый шестидесятнический свитер с горлом, утрамбовывает оставшееся, затягивает бечевку — словно гарроту. С рюкзаком в одной руке (вздувая бицепс — тяжелый!) и хэмовским свитером в другой пинает дверь (поверху снабженную ржавой пружиной), перешагивает коридорчик, входит на кухню.

У стола (маленький кемпинг-газ с походным чайником, жестяные и стеклянные банки, россыпь разномастной грязной посуды) — Ронни на табурете, подросток Захар на перевернутом ящике. Кир у окна — спиной к стеклу, сидит на подоконнике, нервно жрет доширак. У Захара вид прибитый. Он похож на зяблую помойную птицу. Ронни — на лице отчетливые, едва поджившие вещдоки ярости Мела — не смотрит на вошедшего; так бесстрастен, что ясно — на взводе. С пластикой раздраженного робота лезвием здоровенного ножа измельчает на столешнице чересчур крупную шалу. Фольга с остальным продуктом и упаковка голландских папиросных бумажек — рядом.

Мел швыряет рюкзак в угол, свитер поверх.

Кир с хлюпаньем, как японец, всасывает лапшу:

— Так я не понял, нахера теплые шмотки. Лето же.

— Ты меня вообще слушал? — Мел подходит к столу, берет кружку, нюхает. — До границы области фурой поедем. Я договорился. В рефрижераторе, с мороженными баранами. Там минус восемнадцать, ты за два часа околеешь, как генерал Карбышев.

— Кто? — спрашивает Захар. Ему не отвечают. Кир, саркастически:

— Ты по ходу не с тем же волшебником договорился, который нам патроны и камеру подогнал? А то так баранами и останемся. Мороженными, нах.

— Остроумно, — Мел встряхивает жестянку — кофе-растворяшка, еще есть — что-то сыпуче брякает внутри. Захар странно, быстро смотрит на него; сразу опускает взгляд. Мел высыпает содержимое жестянки в кружку.

— Ага, — Кир нервно выскребает остатки доширака. — Аж сам уссываюсь.

Ронни, игнорируя дискуссию, педантично выравнивает измельченную шалу на папиросном лоскутке.

— Мел, а зачем это все? — Захар, тихо.

— Что? — Мел заливает кофе кипятком из чайника.

— Ну — фура... в морозилке прятаться... как будто нас с собаками ищут... — Захар зябко передергивает плечами. — А про нас, может, вообще не знает никто...

Мел прихлебывает. Молча разглядывает Ронни. Захар, не дождавшись реакции, продолжает на той же монотонной ноте:

— Может, нас вообще никогда ловить не будут. Может, нам вообще никуда не надо уезжать.

— Подождем, проверим? — Мел, хмуро. Захар умолкает. Еще больше нахохливается. Мел, не глядя на него, обходит стол и останавливается над Ронни. Тот отложив свой свинорез, подрагивающими пальцами, но очень тщательно сворачивает самокрутку. Мел прихлебывает, показывает оттопыренным пальцем:

— Это что?

Ронни, на секунду подняв на Мела угрюмый взгляд, молча продолжает сворачивать.

— Убери.

Ронни игнорирует. Мел, сыграв скулами, накрывает самокрутку и пальцы Ронни свободной ладонью. Весомо:

— Ронни, брат. Разбежимся — и задуйся хоть наглухо. А пока — я за тебя отвечаю.

Ронни смотрит на Мела снизу. Измордованная морда опасно подрагивает — будто от мелкого тика.

— А ты мне кто? Мамочка?

— Я тебе командир.

— А я дембельнулся, нах! — Ронни, щерясь, выдергивает из-под ладони Мела свои пальцы; из папироски от резкого движения щедро сыплется трава. Ронни швыряет самокрутку на столешницу, вскакивает, с грохотом двинув табурет. Мел ставит кружку на стол. Ронни резко вскидывает навстречу Мелу оттопыренный средний палец. Истерически:

— Пошел ты, Мел! Пошел ты!..

В черных глазах Мела — сполох ярости; Кир и Захар замирают; мгновение чреватой нестабильности — сейчас Мел взорвется, врежет Ронни; а тот ответит; а...

Полыхающий взгляд Мела гаснет: упала заслонка. Мел демонстративно вскидывает ладони. Шероховатым столярным голосом:

— Тебе жить.

Не глядя ни на кого, выходит в коридорчик, грохает дверью кладовки. Кружка остается на столе. Ронни опускается обратно на табурет. Зло раскурочивает неудавшуюся самокрутку. Достает другую бумажку. Ладонью принимается сгребать траву на нее.

Захар теребит ворот, словно ему душно. Вдруг тоже вскакивает — и выскакивает прочь из кухни, через коридорчик, толкает дверь, вылетает на крыльцо...

И сталкивается нос к носу с собровцами: с разных сторон они стягиваются к халупе, прямо перед крыльцом — майор Машканцев с пистолетом в окружении нескольких здоровенных, будто звезды американского футбола, штурмовиков (Лёха, впрочем, и без брони не уступает им калибром). У одного в руках таран для вышибания дверей — огнетушитель-переросток.

Тянется резиновая секунда всеобщего подвисания...

Лопается — расплескиваясь звуком и движением.

— Менты!.. — Захар, сипло, истошно: — Шухер, мен...

Кидается обратно в дверь — но громадный собровец припечатывает его в бедро торцом тарана. Захар, как кукла, отлетает в стену, от стены — на колени; получает берцем сбоку в харю — мотнув башкой, выбросив лоскут кровавой слюны, рушится на доски крыльца и там остается. Запинаясь об него, стукаясь литыми плечами в узком проеме двери, собровцы рвутся в халупу. Лёха — за ними, среди них.

Судорога броуновского насилия: всё хаотично и одновременно.

Коридорчик мгновенно и до отказа забит мощными телами собровцев.

Из двери кладовки в него с ревом, замахиваясь, выпрыгивает Мел — прямо на Лёху. Лобовое столкновение, большой бабах — опознать друг друга они не успевают; Лёха — он гораздо массивней, — облапив Мела, сносит его обратно в кладовку, они рушатся на пол.

— На пол! На пол!..

В кухню врываются собровцы: безлицые терминаторы из футуристического кошмара — в балаклавах, в своей броне из космооперы, с вороненым железом для убийства в руках. Всё отчетливо похоже на то, как Мел и компания врывались к Саяфу — только теперь роли сменились, и Власть, как ей положено, выглядит страшней и безжалостней.

— Всем лежать!..

Кир головой вперед выпрыгивает в окошко, вынося раму, разбрызгивая мутное стекло. Ронни, напротив, бросается на ментов: рожа перекошена, свинорез в руке, вопль. Резкий круговой мах — один терминатор с уханьем отшатывается, зажимая разваленную клинком щеку, из-под перчатки с обрезанными пальчиками волной хлещет кровь. Ронни делает еще выпад — грохочет, и заряд помповика швыряет Ронни спиной на стол. Вместо горла у него алая, почти непристойная влажно-вывороченная морская звезда, лицо — белая маска в багровую крапинку. Второй выстрел разворачивает ему грудь и отбрасывает на пол. Идеально свернутая самокрутка лежит на столе — испачканная артериальной кровью.

В кладовке Лёха и Мел вскакивают — Мел хватает отломанную ножку стула, Лёха наводит на него пистолет... И снова миллисекунда обалделого паралича: опознают друг друга. У Мела, вмерзшего в воздух с деревяшкой в деснице, в позе матроса-гранатометчика с картины Дейнеки, глупо приоткрывается рот. У Лёхи лицо — как у глиняного голема. Из-за широченной Лёхиной спины уже лезут стволы собровцев. Лёха мучительно, как пловец из водоворота, выныривает из этой неподвижной секунды, бьет по стволам, отводя их, страшно каркает:

— Не стрелять!!! Не стрелять!!! Я сам!!!

Прыгает на Мела. Тот нелепо даже не бьет — скорей, отпихивает майора ножкой стула. Лёха, вообще не замечая этого, вздергивает Мела в воздух, шарахает об пол, рожей в доски, падает сверху, ломит руки, зажимает запястья в никелированных браслетах. Рык, хрусь, рушатся предметы, вокруг и над — собровцы, как живая камуфляжная стена, среди них — Лысый, узкий, вялый, по контрасту кажущийся представителем другого биологического вида. Лёха, прижимая хрипящего, бьющегося Мела коленом к полу, шарит по всем жуткими, бешено-бессмысленными шарами, цепляется за силуэт Лысого:

— Стас!.. — хрипит Лёха. — Постой с ним!..

Стас — Лысый — шагает к Мелу. Лёха подбрасывает свою тушу с пола, распихивая собровцев, кидается на кухню: тоже собровцы, вынесенное окно, тело Ронни в луже крови, один из ментов присел над ним на колено.

— Четвертый?.. — хрипит Лёха.

Собровец у окна — бегло глянув наружу:

— Взяли.

— Этот жив?.. — кивок на Ронни. Собровец, стоящий на одном колене, отрицательно мотает головой и чикает пальцами: готов, «двухсотый».

— Еще кто-то?..

— Чисто, — один из терминаторов.

Лёха разворачивается, кидается обратно в кладовку. Пара собровцев — смотрят из прорезей выжидающе; лысый капитан Стас — равнодушно, слегка вопросительно; Мел ворочается на пузе, дышит со свистом, мучительно задирает голову — то ли с ненавистью, то ли с ужасом, не понять.

— Все вон. Стас — снаружи подежурь.

Собровцы неуверенно выметаются, Стас шагает следом — послав начальнику уже отчетливо вопросительный взгляд; Лёха бешено машет — вон! Толкает дверь. Еще до того, как щелкает язычок, рывком переворачивает Мела — и дает ему в рожу, раз и еще раз.

— Идиот!.. — орет шепотом, нависая, давя. — Ты что наделал?! Ты хоть понимаешь, идиот, что ты наделал?!.

Мел, булькая разбитым ртом, пялится на Лёху снизу черными зенками.

— Кто стрелял?! — трясет его Лёха. — Ты?!

— Я вас... дядь Лёш... не понима...

— Идиот!!! — Мелов чайник мотается туда-сюда, Мел прикусывает язык. — Отвечать, быстро!.. Ты стрелял?! Ты?! Ты?!

— Н-нет!.. — сипит, наконец, Мел.

— Кто?! — рывок, лязг зубов. — Кто?!

— За...хар...

— Кто из них Захар?!

— Мел...кий...

— Где ствол?! — Мел мучительно щурится, видно — сейчас опять будет отпираться, Лёха опять мощно встряхивает его: — Идиот!.. Нет времени!..

— За трубой!.. — сипит Мел, дергает лаково-бордовым подбородком. — Там!..

Лёха вскидывается, прыгает к толстой трубе, змеящейся по стенке. Шарит за ней, с треском выдирает револьвер системы «наган» — торчат полоски скотча, которым он был прилеплен к трубе вместе с полиэтиленовым пакетиком, полным патронов.

— Еще есть?! — нависает над Мелом. Тот отрицательно мотает башкой, сплевывая юшку себе же на шею. Лёха, торопясь и путаясь, запихивает револьвер и патроны в гнезда разгрузки. Рушится опять рядом с Мелом — тот рефлекторно шарахается. Хватает Мела за грудки, скручивает окровавленный жгут в кулаке, рвет на себя, страшным жарким шепотом:

— Кто стрелял — ты не видел!.. Получил в репу, поплыл!.. Где ствол — не знаешь!.. Понял меня?! — встряхивает. — Понял?!

Мел судорожно кивает. Лёха, дыша практически так же часто и тяжко, как Мел, отстраняется немного (но ворот не выпускает), плющит жутким взглядом. Словно спохватившись, лезет в карман, вытаскивает пакетик с патронами; звякает им, опять нагибается к Мелу — глаза в глаза:

— Кресты зачем?! — встряхивает молчащего Мела. — Что значат?! Это хэ?! Холостые?!

— Да, — тихо.

— Тебе сказали, что это холостые?! — встряхивает.

— Да.

— Кто сказал?!

Мел молчит, глаза сужаются; Лёха встряхивает.

— Кто дал тебе ствол?! Саяфа — кто выбрал валить?! Кто?! Имя!..

Разбитое лицо Мела каменеет: не отвечу.

— Идиот!..

Лёха замахивается свободным кулачищем — с зажатым в нем пакетиком патронов. Мел сжимается, зажмуривается — готов принять удар. Леха удерживает себя на замахе, миг-другой балансирует со вскинутой кувалдой, желваки ходят... Роняет кулак, отбрасывает Мела, встает. Не глядя больше на него, на ходу пряча патроны, толкает дверь:

— Этого пакуйте.

За его спиной лысый Стас и собровцы входят в кладовку. Лёха танком прет к выходу, вываливается на крыльцо. Жадно, сипло дышит, озирается. Возле халупы теперь не протолкнуться — несколько полицейских машин, автозак-фургон, деловитые собровцы. Один — весь в крови и марле, товарищ заканчивает перетягивать ему бинтами лицо — поперек распоротой щеки. Подросток Захар — без сознания ничком, руки стянуты сзади. Кира — тоже в браслетах, но бьющегося в истерике — двое собровцев волокут к фургону. Кир орет на предельном заводе:

— Суки!.. Вы на хер суки не русские ни хера!.. Предатели гребаные!.. Пипец вам!.. Наша власть русская будет — пипец вам всем!.. Предатели, суки!.. Это наша страна!..

Лёха, расхристанный, окровавленный, похожий сейчас на разъяренного бандерильями быка, сквозь мутную пленку амока пялится на дрыгающего ногами Кира. Быстро шагает к нему с крыльца. Собровцы шарахаются с траектории майора. Лёха тычком обеих ладоней вышибает Кира из рук конвоиров-носильщиков — те не рискуют возразить. Кир летит на траву. Извивается, пытаясь отползти на спине. Верещит на одной ультразвуковой ноте. Лёха громоздится над ним, страшный, как бог языческой бойни. Вдруг пинает носком ботинка — даже не очень сильно, это скорее символ. Ровно — и оттого реально страшно:

— Слушай сюда, говно. Это не твоя страна. Это — моя страна.

Неторопливо идет за елозящим, как червяк, не перестающим вопить Киром, снова пинает его.

— ...И власть тут — моя. И будет всегда моя.

— ...Товарищ майор... — кто-то из собровцев, неуверенно.

Лёха не реагирует (а также не видит Мела, которого выводят на крыльцо другие собровцы и Лысый; не видит двоих ментов, вытаскивающих труп Ронни...) — он смотрит сейчас только на Кира, обращается только к нему. Пинает.

— ...А ты, педик, будешь свое гнилое очко подставлять уркам на зоне. И дышать, когда *я* тебе разрешу.

— ...Алексей Викторыч?

Лёха только чуть морщится и дергает головой — словно комар зазуммерил над ухом, досадил. Пинает Кира.

— ...*Если* я тебе разрешу. Так что начинай молиться... — пинает, — прямо щас... — пинает, — чтобы я тебе... — пинает, — разрешил.

— Лёш? — вялый голос лысого Стаса.

Лёха снова досадливо дергает башкой. Еще пару секунд, раздувая ноздри, смотрит на грязное елозящее подвывающее пресмыкающееся у себя в ногах. Пинает еще разок, с силой. Слегка улыбается безадресно — будто мимолетному приятному воспоминанию. И только потом оборачивается к Стасу.

— Что? — почти благостно.

Стас меланхолично кивает вбок. Взгляд Лёхи смещается.

Метрах в десяти возле кустов стоит растрепанный Ян. Джинсы мокры почти по бедра, руки за голову, тупорылый «бизон» собровца целит в бок.

Ян молча, завороженно глядит на Лёху.

Выражение сытой благости смывает с Лёхиного лица. Дергая им, будто в тике, Лёха орет на друга:

— Я, блин, чё те — не ясно сказал!.. сидеть!.. в гребаной лодке!..

ЭНСК, ЛИЦЕЙ — КЛАСС. УТРО

...Знакомая аудитория, знакомые лица в знакомом порядке: Ванька Мельник — с Толей Петриком, Егор — с планшетом и гематогеном, Лиза — с неземными очами, Глеб Янсма — с наушниками и педантично располосованной бумагой (на сей раз он всю дорогу складывает не кораблики, но самолетики)... Ну и т.д. Негромкий гомон, непременные девайсы в руках, вспышки, писки. Ванька, мрачновато-взвинченный, рубится с Петриком в танчики на телефонах, поглядывает на Яну, отвлекается — и получает снаряд под башню. Петрик торжествующе вопит «йу-ххууу!». Дверь распахивается, быстро, нервной походкой входит Ян. Невольно сразу же смотрит на Ваньку Мельника. Тут же отдергивает взгляд. Ванька бросает свой телефон на парту, ухмыляется; Петрик вообще сияет. Егор втягивает голову в плечи, весь уходит в свой планшет.

— Всем привет, — Ян, с избыточным, нервным бодрячеством; бросает рюкзак на стол. — Сегодня мы...

Умолкает. К доске прикноплена цветная А3 распечатка мастерски сделанного в более-менее анимешной технике рисунка: Ян — вполне узнаваемый, в джедайской хламиде а-ля Оби Ван Кеноби — фехтует с ушасто-волосатым Мастером Йодой. Только дуэлируют они не на световых мечах, а на собственных членах. На полотне Ян-Кеноби, весь перекошенный, как раз получает мохнатым гиперхером по голове. Подпись: «Конец Обиваныча».

Ян внимательно разглядывает кусок искусства. В классе — сдавленные смешки. Папарацци Петрик, скалясь, «от бедра» снимает Яна и плакат смартфоном на видео.

— Искрометно, — говорит наконец Ян. — Дерзко.

Еще волна смешков. Ян поворачивается к классу.

— Почел бы за честь поболтать с автором о живописи и анатомии. М-м?

Озирает аудиторию; Петрик нагло скалится в шестьдесят четыре зуба, Ванька тычет указательным в свой телефон, Глеб Янсма отрешенно внимает музону в наушниках, Егор Машканцев прячет объемистое тело за раскрытым учебником, как глупый пингвин — в утесах. Яна, тезка, смотрит в сторону, вид недовольный. Ян ернически вздыхает:

— Видимо, «же суи Шарли» я от вас не дождусь, — шагает к доске. — Видимо, вы у меня фанаты Бэнкси. Ну что ж... — берется за плакат.

У Егора на планшете — в открытом вайбере или мессенджере — с писком выныривает стайка поощрительных эмодзи. Егор быстро оглядывается: Ванька Мельник показывает ему большой палец.

Ян педантично — тщательно выдергивая кнопки — отдирает распечатку. Шмыгает носом. Руки по-прежнему трясутся. Движения Яна чуть неестественны, разрегулированы: одновременно слишком импульсивны и жестко-механистичны. Ученики уже малость недоуменно приглядываются к нему: учитель на взводе = опасность, азы инстинкта школьного выживания.

— Вернемся к теме занятия, — Ян складывает распечатку, падает задницей на ребро стола. — По учебному плану тема у нас сегодня «Революция тысяча девятьсот пятого — девятьсот седьмого годов, начало», — Ян уже сложил распечатку вдвое, вчетверо, в восемь раз... — Напомните мне, какое там было начало?.. — неизбежная заминка, вечный доброволец Таня Наговицына приподнимает руку. — Татьяна?

— Кровавое воскресенье?

— Принято. А что это было? Когда? — Ян бездумно пихает тугой квадратик бумаги в карман и не впервые промахивается. Взгляд его все время возвращается к Ваньке Мельнику и отскакивает от него.

— Расстрел мирного, ну... шествия рабочих... в январе тыща девятьсот пятого...

— И куда у нас рабочие мирно шли?

— К дворцу... к Зимнему.

— Зачем? — Ян раздраженно отбрасывает сложенную карикатуру на стол, трет нос.

— Подавать прошение... царю.

— Петицию. Так. Чтобы что?

— Ну, жизнь чтобы стала лучше, — Таня сбита с толку. — Условия жизни. Труда.

— Получилось у них?

— Н-нет. По ним солдаты стали стрелять. Многих убили.

— Так. А возглавил это злосчастное шествие кто? — Таня открывает было рот, Ян останавливает ее жестом: — Спасибо, Татьяна. Дадим слово вашим собратьям по рабочему классу. Итак?

— Ленин? — Петрик, скоморошьи.

— Не совсем, товарищ Петрик.

— Тогда Сталин.

— Давайте, Анатолий, мы остановимся раньше, чем вы по логической цепи доползете до Путина Вэ Вэ, — хихиканье; Ян кивает Кристине Цой — поднявшей руку (и глаза от смартфона): — Кристина?

— Священник Георгий Гапон, — рапортует Кристина.

— Перфектно. И как же батюшка дошел до жизни такой? — Кристина быстро ныряет обратно в телефон, Ян приподнимает ладонь. — Пока Кристина читает статью в Вики... а статья длинная, и в ней есть пара ошибок... — смешки. — Кто-нибудь что-нибудь помнит про священника Гапона?

— Точно, поп Гапон. Провокатор, да? — говорит вдруг Ванька Мельник.

— Чей? — Ян смотрит наконец на Ваньку прямо.

Ванька пожимает плечами:

— А чьи бывают? Пиндосский, не знаю, — смешки. — Ментовский, не?

— Что ж, была такая версия, — Ян кивает, вдруг вынимает из кармана телефон. — Кто-то из вас слушал Оксимирона?

В классе переглядываются — не столько из-за вопроса, сколько из-за резкости виража. Что-то с историком не так. Или он всегда такой стремный? Глеб Янсма кривится в ухмылке, подергивая башкой в такт своей, неслышной музыке.

— Кто-то слушал, Ян Иваныч, — Яна, негромко. Она серьезно разглядывает Яна — словно озабочена его поведением. Ванька искоса глядит на Яну.

— Отлично, тезка, — Ян, не отрываясь от телефона: деловито тычет пальцем в экран.

— За либеральный рэп т*о*пите, Ян Ваныч? — Ванька, с нагловатой ревнивой иронией.

— Либеральный рэп — это как квадратный дождь, — Ян продолжает копаться в телефоне.

— Оксюморон, — вдруг иезуитски комментирует Петрик. В его квадратной челюсти морпеха ученое словцо явно неуместно и оттого — солоно, как хитрое ругательство.

— Орел, товарищ Петрик... сечете игру слов... Но заблуждаетесь... Не оксюморон, а просто фигня... на постном... — из телефона Яна звякает музыка, тревожно-агрессивные клавишные. Ян поднимает взгляд. — Вот, послушайте.

Бит, резкий голос Оксимирона:

— Все переплетено — море нитей, но потяни за нить — за ней потянется клубок... этот мир — веретено, совпадений ноль...

Десяток-другой секунд подростки — кто невозмутимо, кто с явной оторопью, кто — подхихикивая и перемигиваясь, — слушают конспирологическую скороговорку Окси. «...Мой город устает чинить за деспотами власть, в разрезе предстает причинно-следственная связь, и там все переплетено, везде Сатирикон, бездействие закона при содействии икон...»

— Ну и так далее.

Ян вырубает песню, отталкивается от края стола. Идет по классу. Движется так, словно кто-то внешний дергает его за ниточки — а Ян, спохватившись, всякий раз обрывает эти дерганья на полуфазе. Говорит тоже нервно, резко — хотя и по-лекторски четко:

— Георгий Аполлонович Гапон. Священник, трибун, глава общества «Собрание русских фабрично-заводских рабочих города Санкт-Петербурга». Никаким провокатором и полицейским агентом он, по всей видимости, не был. Хотя убьют его в итоге именно за это. Всего-то через год, в марте тыща девятьсот шестого... Незаурядный человек. Страстный. Амбиции, способности. Красавец, харизматик, оратор уровня «бог». Верил в свою великую миссию. И многие другие в него верили. Повел тысячи рабочих к Зимнему. После расстрела шествия бежал за границу. Варился там в эмигрантском революционном котле. Со всеми перессорился, вернулся в Россию. И закончил повешенным на крюк на даче под Питером.

Останавливается, покачивается с пяток на носки. Резко разворачивается. От Яна бьет жестким нервным излучением — будь тут соответствующий счетчик Гейгера, шкалило бы.

— А приказал убить Гапона еще один незаурядный человек. Евно Фишелевич Азеф. Глава Боевой организации партии социалистов-революционеров. Эсэров. Организатор самых громких политических терактов. И при этом — как раз настоящий провокатор, агент Департамента полиции аж с тыща восемьсот девяносто второго года. И даже нельзя сказать, на кого он работал — на революцию или на охранку. Он просто и за черных, и за белых в шашки играл. В Чапаева... — Ян, имитируя звук удара, раз-другой щелкает пальцами по воображаемым шашкам на воображаемой доске. — Трупы только так отлетали. Вот и Гапона он велел... — еще один щелчок, чпок губами. — Чисто как предателя, которым Гапон не был, — Ян усмехается. — Самого Азефа разоблачат через пару лет. Но он благополучно сбежит. И умрет уже в восемнадцатом году, в Берлине. Отсидев в тюрьме Моабит — в качестве русского шпиона. И зароют его на кладбище Вильмерсдорф в безымянной могиле номер четыреста сорок шесть...

Ян вновь приостанавливается, трет переносицу. Потерял нить? Нет, не потерял:

— А у нас ниточка тянется к третьему незаурядному персонажу. Сергей Владимирович Зубатов. В юности грешил социализмом, даже из гимназии его за это вышибли. Он все понял, исправился, дослужился до самых верхов Охранного отделения. Сеть политического сыска по всей России — это во многом личная Зубатова заслуга. И широкое использование провокаторов — тоже. Но и увлечений юности Зубатов не забыл. Изобрел концепцию «полицейского социализма». Он же — «зубатовщина». Смысл в том, что раз нельзя победить рабочее движение — надо его возглавить. Сделать управляемым. Отобрать инициативу у революционеров. Была создана широкая сеть рабочих кружков, подконтрольных Охранному отделению. Но в девятьсот третьем году Зубатова вышибли в отставку. Нюх потерял Сергей Владимыч, начал интриговать против министра внутренних дел фон Плеве, человека всесильного. Ну и всё, пинка под зад. А роль мирного посредника между рабочими и властью... под отеческим оком спецслужб... роль, придуманная фактически именно Зубатовым... досталась фактически именно Гапону. Знало бы начальство, как все повернется, — Ян постукивает пальцами о чью-то парту на ходу. — Ах да. Министра фон Плеве еще летом девятьсот четвертого взорвали нафиг. И организовал теракт — кто?.. — мажет взглядом по лицам слушателей. — Правильно, Евно Азеф.

Ян оказывается возле своего стола. Снова присаживается на край. Выглядит усталым.

— Зубатова Азеф, кстати, тоже пережил — на год. Зубатов в марте семнадцатого застрелился. Узнал про отречение государя императора, встал из-за обеденного стола, вышел в соседнюю комнату — и бабах из револьвера...

Ян постукивает себя по правому виску.

— Обиваныч, на себе не показывай! — чревоверещит углом рта Петрик-затейник. Но в основном лица подростков тревожно-серьезны: бинарный эффект странного состояния препода — и его ораторского слалома от рэпа Оксимирона к непонятному покуда выводу. Взгляд Яна перескакивает с одного лица на другое — несколько раз возвращаясь к Ваньке.

— Вы сейчас думаете: к чему он это всё? — Ян распрямляется. Смыкает ладони, сплетает пальцы. — Вот к чему. Всё переплетено. От человека к человеку, от события к событию — миллионы нитей. Можно их из нашего пятого года в прошлое протянуть. К народовольцам, к народникам, к декабристам... к Радищеву, Пушкину, Герцену. И в будущее можно... К убийству Столыпина. К семнадцатому и гражданской. К красному террору и репрессиям... Вот прямо досюда... — потрясает сцепленными в замок кистями, словно в гротескной имитации мольбы. — До новостной ленты, фэйсбука, до статьи двести восемьдесят второй... До нас с вами. Всё переплетено, — Ян напрягает ладони, хрустит костяшками, криво усмехается. — Нити сплетаются в узор. В орнамент. У каждой цивилизации, у каждой культуры, нации — этот орнамент свой, неповторимый.

Яна слушают внимательно, почти зачарованно: не столько ход его мысли (довольно смутный) подчиняет — сколько тревожная, неправильная, безошибочно ощутимая энергия, прущая от него, незримо прошивающая аудиторию.

— ...Но сам орнамент всегда состоит из повторяющихся элементов. В нем есть ритм. Бит, — Ян, разлепив пальцы, отбивает короткую серию указательным по краю стола. — Если угодно — матрица. Сейчас же модно говорить про «русскую матрицу». Где ее только не ищут. Можем поискать и мы. В этих ниточках, в этом... — Ян показывает пальцами, как рыбак калибр пойманного окуня, — ...кусочке орнамента вокруг пятого года. Тем более что матрица там действительно есть. Реальная триада русской общественно-политической жизни: маргинализация, провокация, террор...

— Биип! Русофобия детектед! — неутомимый Петрик голосом мультяшного робота. Ванька ухмыляется.

— Объясняю... — Ян наставляет на Петрика палец, как красноармеец с плаката. И осекается: у Ваньки звонит телефон.

ЭНСК, ЛИЦЕЙ. УТРО

— ...фавелы, притоны, горсовет, политтехнологи, кредиторы, синод... Вся картина мира тех, кто вашей давно противится как секта... ведь у всего — не единый архитектор...

Голос Оксимирона — в наушниках человека, резво идущего через двор к дверям Энского лицея: мы смотрим его глазами. Баннер про 1 СЕНТЯБРЯ ДЕНЬ ЗНАНИЙ с иконостасом ролевых моделей — на месте...

— ...Всё переплетено, мне суждено тут помереть еретиком... ваша картина мира — сетка...

Вот визитер уже вплотную к двери, рука извлекает из кармана красный прямоугольник...

— ...Полотно, текстильная салфетка, будто работала ткачиха или швейка, и там все перепле...

Дверь распахивается — выстреливает рослого юношу: попадание в плечо визитеру — по касательной, но чувствительное. Рэп затыкается. Юноша, сломя голову, несется к калитке на улицу. Это Ванька.

— Эу!..

Визитер поднимает с крыльца выбитый из руки красный прямоугольник — ксиву ФСБ; подхватывает выпавший из уха наушник на тонком проводке. Визитер — МАКСИМ: хороший серый костюм, пижонистый, но со вкусом подобранный галстук. Глядит вслед Ваньке (тот выскакивает за калитку), фыркает, с чувством:

— Лемминги.

Качнув головой, вправляет наушник в ухо.

...Музыку больше не слышно. Только Максим насвистывает, шагая по пустому школьному коридору. На мгновение замедляется возле стенда с фотографиями — цепляется взглядом за фото:

ЯН НЕВЕРОВ...

Останавливается у одной из дверей: элегантный силуэт в белом свете, бьющем вдоль коридора из дальнего окна...

Входит.

ЭНСК — ИЗОЛЯТОР. СЕРЕДИНА СЕНТЯБРЯ. РАННЕЕ УТРО

В полутьме — хрип, хрусь, хрясь, оторванные — «ссу!.. кка!..» — и брошенные слоги: драка. В «тройнике» — маломестной камере Энского СИЗО — Мел бьется с двумя кавказцами.

«Тройник» на девять шконок — три по три яруса; в реальности в него закатано штук пятнадцать человеческих шпрот. И все шпроты делают вид, что ничего не видят, не слышат, вообще спят. Руконогий бугристый ком из трех потных тел, мата, летающих туда-сюда разбитых кулаков и грязных кроссачей рикошетит по тесному блевотному желобу камеры, херачится об углы и закуклившихся граждан подследственных, сметает чью-то запрещенную правилами распорядка эмалированную миску — она тут же оказывается в руке Мела, с маху рассекает ребром надбровье одному из горцев; треск рвущейся ткани — на мускулистой спине второго джигита оголяется густая корявая синь тюремной тыкухи; миска снова гремит по полу...

ТИТР: Две недели спустя

Бойцы влетают на одну из шконок — по-бильярдному вышибают с нее, как из лузы, шипящего котом владельца.

Мела сзади душит один противник — зажав шею локтевым сгибом, шаря волосатыми пальцами по лицу: порвать рот, выдавить глаз. Второй наскакивает спереди, месит.

Мел, отчаянно сократившись, встречает второго ударом обеих ног, сшибает на пол. Вслепую гвоздит кулаком правой назад — нащупывает табло первого горца, левой старается отодрать от горла его руку.

Пыточное мычание, мучительные позы, слюни, выпученные зенки, кривые пасти, юха: не рукопашная, а «Предчувствие гражданской...» Сальвадора Дали. Второй джигит — с блатным татуажем в полспины, в мокрых лоскутах футболки — собирается с пола, напрыгивает опять, рвотно хэкая: метелит Мела — в живот, в бока:

— За-арою нах, петух сука!.. Щпыс!

Лязгает и распахивается дверь, в «тройник», как впрыснутые под давлением, влетают и раздуваются трое, нет, четверо ментов. Машут дубиналами, как крестьяне на обмолоте. Татуированный корчится на полу в позе эмбриона — его гасят сразу двое. Мел — в крови, судорожно дышащий — сползает со шконки на пол, еле-еле поднимая разбитые руки, чтобы по-боксерски прикрыть голову (Мела, впрочем, не бьют). Его душитель, перетянутый поперек морды пару раз, пытается рыпнуться-встать. Молодой мент от души, с оттягом пробивает ему берцем в грудак, вбивает обратно на шконку:

— Лежать нах!.. Ваххабит убит!.. — переводит веселый взгляд на Мела. — Чё, урус, очканул? — подмигивает. — Айда очко мыть.

ЭНСК — КВАРТИРА ЛЕХИ МАШКАНЦЕВА. РАННЕЕ УТРО

Комната Егора Машканцева. Мощный — «яблочный»? — ноут на столе, ворох распечаток-эскизов (мускулы, торсы, мечи, героические позы), хороший цветной принтер, разлохмаченная обертка от гематогена, колонки, обильные заплаты плакатов на стенах: в основном — с персонажами культовых аниме. «Призрак в доспехах»,

«Бездомный бог», «Полулюди». Сисястые тяжеловооруженные амазонки на грани хентайного порно, большеокие фитнесс-эльфы с байроническими челками, титанические боевые роботы, фурри...

Школьная форма брошена поверх застеленной кровати. Егор в одних трусах-боксерах стоит перед зеркальной дверцей шкафа. Но смотрит не на себя — внутрь себя: приотвисшая челюсть, сосредоточенно-отсутствующий вид. Правая рука — в труханах. Егор, кажется, тщательно и осторожно ощупывает там что-то.

— Эу, сын, ну скока можно уже?! — зычный голос Лёхи из соседней комнаты.

Егор вздрагивает, выдергивает руку из трусов, наводится на резкость.

— Иду! — глядит наконец на своего зеркального доппельгангера. Мешковидный, каплеватый. Тюленьи жировые покатости. Алая складка на пузе. Егор нюхает руку, раздраженно отворачивается, начинает натягивать майку.

...В обширной кухне-гостиной — простор, размах, вид, окна в пол и щедрые рабочие плоскости столов, полный комплект хромовой кулинарной робототехники, фото в рамках, магнитики на царь-холодильнике... — Лёха энергично, с деловитой индустриальной мрачностью закидывает в себя остатки омлета, вливает кофе. Грузный, мощный, телесный — тяжелый сгусток дремлющей энергии — в почти стерильной дизайнерской квартире майор выглядит не хозяином: посторонним.

Через стол — Галя, его жена: неожиданно миловидная, сухощавая женщина в элегантной бизнес-пижаме; сконцентрирована на своем смартфоне. Вот она тут на месте.

Бормотание радио:

— К местным политическим новостям. Губернское отделение партии «Единая Россия» в преддверии выборов подтвердило выдвижение на новый срок действующего губернатора области Платона Губарева. «Платон Михайлович делом доказал, что...

Хлопает дверь: Егор — одетый и с рюкзаком. Приваливается боком к стене, на которой — фото моложавого Лёхи в компании кряжистого пожилого мужика: оба в полицейской форме, только Лёха — в капитанской, а приобнимающий его за плечо мужик, тесть, — в генеральской.

— Ну слава те... — Лёха отодвигает от себя тарелку и кружку, встает и идет в прихожую.

— Ма? — Егор остается на месте. Галя поднимает от смартфона зрачки, по которым в первый миг еще снуют призрачные мурашки матрицы. — Я свинкой же не болел в детстве?

— Нет... — Галя удивленно откладывает смартфон. — А что, у тебя... Ты чувствуешь себя плохо?

— Нене, я окей вообще. Просто интересно.

Лёха — уже в накинутой куртке — вопросительно заглядывает из прихожей. Егор послушно идет туда. Галя как будто собирается сказать ему что-то вслед — не говорит, смотрит на Леху. Сухо, с едва различимым сарказмом не в интонации даже, а где-то за ее подкладкой:

— Когда тебя ждать?

— Без понятия, — Лёха сдвигается, чтобы пропустить Егора. Дергает плечами, — Поздно.

— Мм. Что так?

— У меня убийство, Галь.

— Мм. Опять убийство? Кошмар.

— Почему опять? То же самое, — Лёха поворачивается уходить. Егор, ссутулившись, равнодушно громоздится в дальнем конце обширного холла, перед выходом.

— Этот... Алиев? С рынка?

— Ну, — Лёха нетерпеливо постукивает пальцами по ребру двери.

— Так у тебя же... — Галя берет смартфон, — ...это дело забрали.

— В смысле?.. — большое, мощное тело Лёхи цепенеет от неожиданности.

— А тебе что, товарищ генерал еще не сказал? — Галя с легким сожалеющим осуждением цокает языком и переводит взгляд в телефон. Лицо она по-прежнему держит безупречно.

ЭНСК — НАБЕРЕЖНАЯ. РАННЕЕ УТРО

Звонит мобильный: физрук Ярослав пробегает по инерции еще несколько шагов, на ходу доставая трубку из кармана. Останавливается, подносит ко рту (в ушах — заклепки блютуса), переводя дыхание:

— Але?

Ярослав — в плотно облегающем его завидные рельефы красном спорткостюме с эмблемой Сочи-2014, в футуристических беговых кроссовках. На запястье — электронный браслет-пульсомер или недорогие китайские «умные часы». Ярослав стоит посреди утренней Энской набережной. Несколько заколдованных рыбаков-кащеев в плащ-палатках да знакомая нам пара йогов-подсолнухов (по-прежнему в тонких трико, на парапете, развернуты спиной к воде — лицами в сторону подразумеваемого восхода). Больше — никого. Пятьдесят оттенков серого: Большая Вода загрунтована шаровой краской, прихлопнута сверху большим небом оттенка «грязный бетон», силуэт города — как мазутные потеки...

Ярослав в своих алых олимпийских боско-шмотках выглядит тут нарочито: живописный мазок, визуальный акцент.

— Приходи сейчас, — женский голос: хрипловатый, томный.

— Я тут... бегаю.

— А я тут вся голая. Вся мокрая.

Ярослав смотрит на йогов-подсолнухов — словно те могут слышать его собеседницу.

— Ярик?

— Да.

— Я выбросила ключик.

Лицо у Ярослава странное — на нем скорее усталое смирение, чем возбуждение.

— Иду.

ЭНСК — ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА, КВАРТИРА. РАНЕЕ УТРО

...Ярослав быстро, через две ступеньки, поднимается по лестнице многоквартирного дома (в сетчатой шахте встречным — вниз — курсом проплывает лифт, издавая склочный собачий лай).

Останавливается перед дверью квартиры. Совсем не запыхался, атлет.

Поворачивает ручку, толкает. Не заперто.

Изнутри — из темной квартиры — масала-музыка: медитативная, сладко-пряная субтропическая этника. Ярослав идет через прихожую в комнату. Останавливается на пороге.

В подсвеченной карамельным светом спальне — обширная пустая кровать, как надгробие: на черной простыне — россыпь инструментов из набора юного садиста: плетка-семихвостка, изящный фаллоимитатор, какие-то прищепки... Возле кровати на полу сидит евразийская красавица Нина Тимуровна. На ней черное латексное белье. Глаза наглухо завязаны черной лентой, на нервной великолепной шее — что-то вроде ошейника с грубой пряжкой. Грудь взволнованно вздымается, черешневые губы приоткрыты. Одна рука Нины Тимуровны за запястье пристегнута новенькими блестящими наручниками к грубой чугунной батарее.

— Ярик? Ты?..

Ярослав мгновение медлит — все с теми же сложными щами. Потом, не разуваясь, шагает к Нине.

— Кто это?

Ярослав запускает правую пятерню в волосы Нины. Та замирает под его ладонью, сладострастно-испуганно раздувая ноздри. Ярослав резко сжимает кулак, стягивая гриву Нины, дергает ее голову вбок. Та еле слышно ахает.

— Да...

Ярослав левой хлещет Нину по щеке — очень, впрочем, аккуратно.

— Да!..

Ярослав бьет еще раз, резче; тут же ухватывает свободный конец, свисающий из пряжки ошейника на горле Нины. Тянет за него. Возбужденно засипев, Нина неприкованной рукой цепляет Ярослава за свисающие завязки спортивных штанов, дергает к себе и тащит алые портки с олимпийской эмблемой вниз.

ЭНСК — ЭЛИТНАЯ ЗАСТРОЙКА, ПОДЗЕМНЫЙ ГАРАЖ. РАННЕЕ УТРО

Фасетчатый — из дюжины ч/б экранчиков убогого разрешения — монитор охранного видеонаблюдения элитного ЖК.

Через несколько экранчиков сразу — снятый разными камерами с разных углов — быстро проходит в разных направлениях Лёха Машканцев.

Охранник, не глядя на монитор, жрет бутерброд с докторской колбасой.

...Лёха, бегло поглядывая на камеры, шагает по затхлым пещерам подземного гаража под своим домом. Автомобили, пустые гнезда разметки, лужи, следы протекторов, неровные бетонные стены, неряшливо намалеванные синей краской стрелки-указатели.

Лёха бодрым деловым шагом заходит за джип — здоровенный, густо замызганный ниже ватерлинии. Щелкает выкидухой (выпрастывается тонкий язычок змеиного лезвия). Несколько раз ковырнув в замочке, откидывает инсультно-багровую дверцу пожарного шкафчика. Шарит там, извлекает плотный треугольный целлофановый сверток, перехваченный бурым скотчем.

...Падает за руль «форестера», кидает сверток на соседнее сиденье. Глядит на сверток, поворачивая ключ. Вдруг резко спихивает его с сиденья на пол.

...Ползет вверх шлагбаум — «форестер» выныривает из гаража, выруливает на улочку меж скребущих низкое матовое небо жилых зиккуратов, газует.

ЭНСК — КВАРТИРА НИНЫ. УТРО

Нина на полу, пристегнутая одной рукой к батарее. Только теперь она совсем голая (эротические латексные детали раскиданы по паркету вперемешку с одеждой Ярослава) и курит тонкую сигарету. Ярослав, тоже голый, — рядом, на краю кровати, в напряженной (локти — в колени, челюсть — в ладони; роденовский мыслитель думает о неприятном) позе.

— Тут когда вообще топить начинают? — Нина трогает чугунный баллон батареи ладошкой пристегнутой руки. Ярослав, вздрогнув (от неожиданности вопроса?), смотрит на Нину. После паузы:

— Может, нам в следующий раз, ну... как-то по-простому попробовать? А то меня этот... экстрим... понимаешь, заводит как бы слишком... сразу кончаю...

Нина равнодушно пожимает красивыми плечами.

— Ты же... — осторожно, — не успела, да?

Нина с ленцой переводит взгляд на Ярослава; тот быстро отдергивает свой — и утыкается им прямо в фаллоимитатор, валяющийся на кровати; снова отдергивает...

— Ну... извини.

Нина фыркает, пальцами красивой ноги подтягивает пепельницу-ракушку, давит бычок. Деловито, шевельнув-звякнув прикованной рукой:

— Дай ключ.

— Ага. А где он?

— Ну я не знаю. Я ж его выбросила.

— Куда выбросила?.. — Ярослав привстает, озирается.

— Ну откуда я знаю куда. На пол.

— Ну хоть в какую сторону?

— Да я не знаю! — Нина раздраженно встряхивает свободной узкой ладонью. — В любую.

Мускулистый, литой Ярослав семенит вокруг кровати, как вынюхивающая легавая. Нина смотрит на него. Мрачнеет.

— Нин, чё-то я не вижу его нигде.

— Под кроватью посмотри.

Ярослав послушно рушится на колени, распластывается, заглядывает. Кряхтя, метет рукой.

— Нашел? — Нина, с надеждой.

— Слуш, ну его нет тут нигде.

— Что значит — нет?

— Ну нет и всё.

— Он что, по-твоему, — ножки отрастил и убежал? Как в «Гарри Поттере»? — Нина снова дергает прикованной кистью, лязгает браслетом о трубу конвектора, смотрит на наручники как-то по-новому, оценивающе. Смотрит на разогнувшегося Ярослава. — Ярик?.. Я так опоздаю вообще.

Ярослав облизывает губы.

— Нин, ну это ж не я его бросил...

— Фак! — Нина нервно лязгает браслетом. Ярослав с сомнением разглядывает никелированную восьмерку:

— Может, у тебя кусачки есть какие-нибудь? Не знаю, клещи... кузнечные?..

Нина смотрит на атлета уничижительно. Нежным ядовитым голосом:

— Зажимы для сосков тебя устроят?

ЭНСК — КВАРТИРА И ДОМ ЯНА. УТРО

Заводная — в обоих смыслах: бодрая — и механическая, как из шарманки, — мелодия. Раскручивается, самоподзаводится...

Ян открывает глаза. Белый потолок. Если долго глядеть, становятся видны тонкие трещинки.

Но Ян не глядит долго. Рывком садится, сбрасывает одеяло. Он в одних трусах. На торсе — бросовый бисер пота. Сидит на диване — не разложенном, не освобожденном даже от чехла, небрежно застеленном поверх.

В комнате нежилая мебель в светлых коконах. Только на столе — ворох бумаг, ноутбук, эквилибр наваленных башней книг и альбомов; да на полу — пара-тройка картонных ящиков, катушки скотча, одинокий хипстерский кед; да на подоконнике — кривая пирамида снятых со стен картин и фото в рамках.

Ян тычет пальцем в телефон, пресекает будильник. Встает. Глядит на свою левую, в кулак сжатую руку. Не без труда размыкает скрюченные пальцы.

На ладони — крошечный гипсовый слоник. Ян подносит его — к лицу...

...Подносит ко рту дымящуюся кружку. Ян — на том же месте, в той же позе, только одет — и в левой кружка черного крепкого кофе. На столе, помимо бумаг — ополовиненный литровый френч-пресс, еще кружка. Ян делает глоток. Вокруг кипит жизнь. Хмуро-деловитые грузчики, человек пять, покряхтывая и перекидываясь скомканными междометиями, освобождают квартиру от зачехленной мебели.

Волокут диван. Ян отхлебывает. Тащат шкаф. Ян садится за стол...

— Это тоже? — бригадир грузчиков стоит над Яном, постукивает по столу.

— Да, конечно, — Ян быстро встает, рефлекторно ставит кружку на столешницу, тут же — под снисходительным взглядом бригадира — хватает обратно, и еще вторую кружку, и френч-пресс... быстро шагает к подоконнику, ставит кружки и кофейник... к столу — сметает, торопясь, со столешницы стопку альбомов в пододвинутый

ногой картонный ящик... один альбом ударяется о край ящика, падает на пол, раскрывается — черно-белые фото советских застойных лет, какие-то молодые мужчины и женщины...

...Разъезжаются створки лифта. Красавица Нина Тимуровна (плащик, газовый шарфик, сложно заколотые пряди тяжелых иссиня-черных волос) шагает на лестничную клетку. Там — физкультурной пирамидой — стулья, ящики. Из приоткрытой двери квартиры слева тяжелым кошачьим взглядом глядит пожилая тетка в халате. Встретив взгляд Нины, сплевывает и захлопывает дверь. Поведя бровью, Нина шагает к двери справа. Стукнув разок в дверь, толкает, ступает внутрь. Тут же уворачивается от пары грузчиков, со страшной натугой волокущих через прихожую старинное трюмо с кривыми артрозными лапами. Перешагивая через валяющиеся предметы, Нина входит в гостиную. В гостиной из обстановки — только зачехленное пианино с шеренгой слоников на крышке. Ян сидит на подоконнике, листает альбом. Улыбается подходящей Нине.

— Вы что, переезжаете?

— Просто партийная чистка, — Ян делает глоток из кружки.

— Скорее уж — репрессии, — Нина озирается, скидывая плащик; под ним обтягивающее темное платье чуть выше колена. — Большой террор.

— Кофе? — ответный кивок; Ян наливает. Переняв кружку, изгибая долгую шею, Нина заглядывает в альбом: парное фото м/ж, видный брутальный М — и интересная, фигуристая Ж, оба в полевом «тропическом» прикиде с рюкзаками.

— А это?..

— Мои родители, — Ян перелистывает страницу: те же М и Ж — с мальчиком лет семи в костюмчике-матроске. — Вот еще — плюс я. Они погибли. В восемьдесят седьмом. Разбились на вертолете... Они археологи... были... — Ян вертит в руках кружку... дергается на звук дробного падения: грузчики ухватили за бока пианино (со снятым уже чехлом), сместили — на пол хлынули гипсовые слоники: — Э!.. Это не надо, нет!..

— Сказали же всё выносить, — грузчик, недовольно.

— Всё кроме этого.

Грузчики неохотно, словно Ян обидел их или расстроил, отступаются от пианино. Ян, присев на корточки, собирает рассеянных слоников — будто черничник ощипывает. Нина неслышно подходит сзади. Смотрит на пианино, на привинченную к его боку латунную табличку.

— Стэйнвей энд санз... Тыща девятьсот тринадцатый... Ничего себе. Настоящее?

— Вероятно, — Ян, снизу.

— Так оно ж, наверно, кучу денег стоит? — Нина откидывает крышку пианино. — А вы тогда, Ян, получаетесь завидный жених. Миллионщик...

Проводит тонким пальцем по клавишам, извлекая нарастающий звук.

— От-т черти! — Ян распрямляется с пригоршней слоников; выцепляет одного, скорей, половинку; бок у слоника отколот, отсутствует.

Шарит глазами по полу.

В дверях — бригадир грузчиков:

— Ну мы всё, свободны тогда?

— Конечно, — Ян, не глядя на бригадира.

Нина вдруг шагает вбок, нагибается (платье готовно-бесстыдно облегает фигуру — очень тонкая талия, контрастно-округлые бедра, тяжело мотнувшаяся грудь). Протягивает Яну отколотый бок слоника:

— Вот.

— Ну вы зоркая, — Ян не берет осколок из пальцев Нины, а придержав ее кисть, стыкует к осколку остальную гипсовую тушку.

— Можно склеить. Сейчас такой клей делают — всё берет намертво... — Нина

улыбается Яну, он — ей, ответно... Видит красно-сиреневую полоску на запястье Нины.

— Это что? — касается пальцем.

— След от наручников, — улыбка Нины становится шире.

— Вас что, сегодня арестовывали?

Нина, склонившись к Яну, доверительно:

— Нет, я просто иногда практикую БДСМ.

Полсекунды Ян оторопело смотрит на Нину. Потом оба ржут.

ЭНСК — СТОЯНКА У ДОМА ПРАВИТЕЛЬСТВА. УТРО

Валентин Зельцер, высокий, черногривый, красивый — легчайшее, тонкорунное пальто, безупречные костюм-галстук-сорочка-ботинки, кожаный бювар под мышкой, — быстро выходит из боковой, служебной двери энского Дома Правительства (монументально-гранитный советский дзот: наверняка бывший обком, ныне цитадель Реальной Власти, Губернатора & Ко).

Быстро ссыпается по ступенькам к опушенной голубыми елями ведомственной стоянке. Быстро шагает вдоль черного лакового строя представительских супергробов. На ходу тянет руку с брелоком-ключом, жмет на мерседесовскую трехпалую звезду. Ойкает сигнализация...

Валентин замедляет шаг.

Выезд его черному «гелендвагену» перекрыл «субару-форестер». Хозяин «форестера» привычно примостился на капоте своей тачки, смачно трескает семки из газетного треугольного кулька, далеко, с форсом сплевывая шелуху.

— Будешь? — щурится, протягивает кулек Валентину.

— Убери свою маслобойку.

— Нет уж, ты угостись, — Машканцев настойчиво встряхивает кульком.

— Ну все, Муха, ты монстр психологии, — Зельцер приваливается к капоту своего «гелика», бювар кидает на капот, вскидывает ладони — «сдаюсь!». — Мой внутренний маменькин сынок уже обоссался прямо от ужаса перед твоим внутренним гопником. Давай теперь к делу, я реально тороплюсь.

— Кул, — Лёха, не вставая, упирает в капот кулаки, перекидывает свою тушу поближе к Валентину. Сплевывает черные скорлупки в район оксфордских ботинок визави, кидает в пасть еще. — С убийства Алиева нахуя меня дернули?

— Спроси тестя.

— Уже спросил.

— И?..

— И товарищ генерал сказамши мне, что ихняя дочь... и законная моя супружница Галина Юрьна... уже неоднократно им жаловались на дефицит меня у домашнего очага. И стало быть, в награду за образцовое раскрытие по горячим следам они, товарищ генерал, настоятельно мне указывают взять две недели отпуску и следовать нахер в Крым... покуда на полуострове русской славы бархатный сезон... — Лёха, вещавший несколько невнятно, расстреливает целую очередь семечных зарядов в квадрат базирования ботинок собеседника.

— Золотые его слова, — Валентин чуть отодвигает ногу; доброжелателен и непроницаем.

— ...Но поскоку, ты же знаешь, я сука упертый, — теперь уже Лёха приподнимает со значением свой корявый, жесткий перст, сует его Валентину почти под нос, — то товарищ генерал также сознамшись буквально под пытками, что пожелание убедительное меня снять с дела им спустили с самого губернского верху, — Лёха, потыкав перстом в указанном направлении, лезет в кулек, выгребает еще семок, лущит. — Прикинь, да?..

— Засада со стариками, — Валентин, задумчиво. — Язык за вставными зубами херово держится.

— Зельц, ты мне мои не заговаривай, они настоящие у меня, — бросает Лёха вдруг резко; скалится, демонстрируя крупные желтоватые резцы; смотрит на Валентина прямо и жестко, вовсе даже без юмора.

— Муха, чего ты лично от меня хочешь?

— Не трахай мне мозг.

— Окей, — Валентин хлопает по капоту «гелика». — У губер-губера, как ты знаешь, выборы через три дня.

— И чё ему — избиратели предъявят, если у меня дело не отобрать?

— Избиратель у нас, — Валентин, усмехнувшись (мол, шутку юмора оценил), повторяет Лёхин тычок кверху указательным пальцем, — любит, чтоб к выборам все было четко. Под полным контролем.

— Зельц, сука, у меня когда-то было не под контролем?

Валентин медлит, барабанит по капоту музыкальными длинными пальцами.

— Муха, у тебя по делу главный фигурант — Фасолькин сын.

— Почему главный...

— Вот! — Валентин театрально хлопает в ладоши. — Видишь? Уже началось.

— Ни хрена не началось, я просто букву закона чту.

— А в администрации, — Валентин отталкивается задом от капота, — сейчас, напротив, очень озабочены духом... — разглядывает набыченного Лёху; кладет ему руку на плечо — мягче, доверительней: — Слушай, Лёшк, ну я понимаю тебя. Все нормально с пацаном будет, просто папа страхуется, ему щас сюрпризы не нужны... Если пацан сам залупаться не начнет — получит ниже нижнего, выйдет через год. Выводы сделает.

— И где гарантии?

Секунду Валентин разглядывает Лёху, потом начинает ржать.

— Тебе, может, расписку накатать, а? — тычет Машканцева в плечо кулаком.

— Зельц, мне это всё не нравится ни хуя, — Лёха, упрямо.

Валентин обрывает смех.

— Серьезно? — пожимает плечами. — Учи английский.

Обходит капот «гелика», берется за ручку.

— Заболтался я с тобой, Муха.

Лёха мрачно глядит на Валентина. Нехотя сползает с капота, падает за руль «субару». Заводится. Валентин, возложив локоть на крышу «гелендвагена», наблюдает за его действиями. Боковое стекло «форестера» с водительской стороны ползет вниз. Лёха высовывает руку с кульком, глядя на Валентина, поворачивает ее: семечки сыплются на асфальт, рикошетят, как черные блохи.

— Ну и чё намусорил?

— Захотелось, — Лёха смотрит на Валентина с вызовом.

— Вот, блин, все вы, герои, такие, — Валентин распахивает дверцу. — Круто папе поднасрал, да? — садится за руль, чуть высовывается. — А подтирать — таджику! — тычет рукой вбок, где по краю стоянки бредет вялый гастер в оранжевой робе.

....«Форестер» сдает назад. «Гелендваген», ускоряясь, выворачивает из ряда.

ЭНСК — ЛИЦЕЙ, ТУАЛЕТ. УТРО

Ванька Мельник — в дальнем конце школьного сортира: спиной к двери, лицом в приотворенное высокое (на уровне подбородка) оконце: задумчиво смолит, глубоко затягиваясь. Какой-то среднеклассник, опасливо косясь на широкую Ванькину спину, отливает в писсуар.

Дверь распахивается, шарахает ручкой о кафель (там, разумеется, вмятина с разбегающимися радиальными щупальцами трещин). Ванька не реагирует (только

среднеклассник дергается и принимается нервно заправлять хозяйство в штаны). В сортир влетает довольный Петрик. Не один: с ним Аслан Тамилмирзоев. Шея рыжего хоббита небрежно зажата у Петрика под мышкой; низенькому Аслану при этом даже не приходится нагибаться — кабы не наоборот, кабы не на цыпочках семенить; хоббит беспорядочно взмахивает руками, пытаясь освободиться; Петрик не обращает на эти дерганья ни малейшего внимания.

— Вано, цени, я чё притаранил... Кыш! — это среднеклассснику, тот порскает вдоль стенки и в дверь; Петрик ловко захлопывает дверь пяткой, приваливается, блокируя вход, без усилия мечет из-под мышки навстречу обернувшемуся Ваньке Аслана: — Полумуж не нужен? Недорого!

Аслан еле тормозит, чтоб не воткнуться в Ваньку, часто дышит, таращится дико и с опаской. Ванька разглядывает его, тушит бычок о кафель, не глядя, выкидывает за плечо — метко в оконную щель.

— Ты... говорил вчера... что правильно брата посадили? А надо было ваще завалить?..

Аслан молчит, облизывает губы.

— Э, мля, пехотинец Путина! — Петрик, оттолкнувшись спиной от двери, делает ленивое движение; хоббиту прилетает несильный — чисто взбодрить, — поджопник.

— Слушай, Вань...

— Говорил или нет? — у Ваньки вид почти сонный.

— Слушай, — хоббит решается, набычившись: — Твой брат вапще человека замочил!

Ванька без паузы, стремительно и сильно, пробивает Аслану правой в низ живота. Хоббит, хэкнув и задохнувшись, съеживается, прихватывает ушибленное, сдувается внутрь себя, оседает на колени. Кашляет. Ванька, не глядя, огибает его, шагает к двери — Петрик отстраняется — выходит. Петрик, поглядев вслед Ваньке в легкой растерянности, затворяет дверь. Скептически глядит на Аслана. Тот покачивается, сипит. Снова кашляет.

— Вдох-выдох, вдох-выдох! — Петрик, лыбясь, обходит хоббита, любуется.

— Убью... тварь...

— Так держать! — Петрик треплет Аслана по щечке. — Ланнистеры всегда платят свои долги! — вдруг нагибается, доверительно. — Слышь, а правда что у карликов болт... — резко хлопает себя ладонью по локтевому сгибу эрегированной левой, — от такой? Проверим?.. — не дождавшись быстрого ответа, вдруг лезет скукоженному Аслану в боковой карман штанов. — Ну-ка, ну-ка... ого!.. — хоббит слабо дергается, но Петрик без труда извлекает из его штанины мобильник; с клоунским разочарованием: — Ууу... не ого, а ключ от собора... — давит кнопку, снимая блок, дергает пальцем поперек экрана, тычет в него, радостно гримасничая. Разворачивается, поднимает телефон в вытянутой руке — камера включена в режиме селфи, на экранчике — сверху вниз — сам Петрик и Аслан на коленях: — Полумуж, мазафака, смайл мля! — хватает хоббита за волосы и заставляет поднять перекошенную физиономию; щелкает камерой раз, другой. Отпускает Аслана, с брезгливой гримасой обтирает ладонь об его пиджак, разглядывает в телефоне результат, ухмыляясь.

— ...И тебя... убью... — сипит хоббит снизу, глядит с ненавистью.

— То, что мертво, умереть не может! — Петрик подмигивает, ржет. И демонстративно роняет телефон. От удара о плитку пола тот брызжет в разные стороны, разъявшись на составные части. — Иншалла!

Аслан подрагивающими руками собирает фрагменты мобильного. Петрик, насвистывая, выходит.

ЭНСК — ЛИЦЕЙ, КОРИДОР. УТРО

Яна Левашова — с толстой книжкой на подоконнике. В паре метров Лиза Тимакова — прохаживается журавликом, красиво ставя красивые ножки, что-то тихо бормочет в мобильный. Яна вскидывает ладошку: Ян Неверов, приветственно помахивая рукой, быстро проходит по перпендикулярному коридору. Яна чуть улыбается.

— Левашова, бабла дай.

Яна вздрагивает: Кристина Цой, девочка-ртуть. Жует жвачку, висит на плече довольного могучего Петрика, глазки живые, искрящиеся, смешливые, наглые.

— Сколько нужно?

— Тыщ двести? — Кристина лыбится, раскачивается, используя Петрика как ось, опору и скрепу.

Яна смотрит на одноклассницу непонимающе.

— Ну хоть стописят!

— Кристи, тебе чё, голову надуло?

Цой весело фыркает:

— Да чё ты жидишься, золушка, мля. У тебя ж тринадцать лямов зелени на счетах.

— Чего?..

Кристина ржет, закладывает пируэт вокруг Петрика, увлекая того за собой. Осклабленный Петрик, разворачиваясь, успевает развести в сторону Яны руками, — мол, я-то чё, я ничё. Кристина, прихватив Петрика за талию, уводит. Яна оторопело глядит им вслед, захлопнув книгу: «Петли истории» Яна Неверова. Переводит взгляд на Лизу — та как раз закончила трындеть, деловито похлопывает смартфоном по ладони.

— Ли-ис... Чего с ней?

Лиза секунду разглядывает Яну.

— Ты чё, не смотрела?

— Что — не смотрела? — Яна хмурится.

Лиза скептически морщится.

— Янк, забей. Ну нах...

— Стоп, — Яна спрыгивает с подоконника. — Колись давай.

ЭНСК — ЛИЦЕЙ, БАЛКОН НАД СПОРТЗАЛОМ. УТРО

Балкон над спортзалом — импровизированный склад; пыль запуталась в редких белесых прядях света; маты, как жухлые оладьи, — масленичной грудой; волосатые канатные бухты; боксерские груши с ватными грыжами; черный стрелковый фас, располосованный концентрически и продырявленный во многих местах...

Глухо — из другого мира — трезвонит школьный звонок.

На балкон входит Яна. Осунувшаяся, строгая, целеустремленная. В руке смартфон. Зыркает: никого. Подходит к широким перилам, зыркает еще: желтушные лакированные доски пола, разметка, футбольные ворота, баскетбольные щиты, свисают с потолка к кожистым козлам ворсистые лианы-канаты, посреди зала одинокий борцовский манекен раскинул короткие ласты, как застреленный пингвин.

Малокровные лучи осеннего утра нехотя вливаются в высокие окна. Гулкий пустой спортзал странно похож на храм.

Яна падает на стопку матов, скрещивает по-турецки ноги. Нажимает стрелку-play на экране телефона, в другой руке у Яны — наушники. Что там, в смартфоне, — не видно, он лишь отбрасывает цветные блики на лицо Яны: то голубой, то алый, то желтый... — то вдруг глубокая синяя тень. Зато голос слышно хорошо — мужской, нарочито-нахрапистый, с турбонаддувом; словно говорящий попутно борется с мощной отрыжкой.

— Путь Левши! Из авторитетных предпринимателей лихих девяностых — в политики губернского масштаба! Из единороссов — в оппозиционеры! Из мэров — в

постояльцы Лефортово!.. Сегодня ровно год, как Евгений Левашов сменил кресло демократически избранного городского головы на нары в столичном следственном изоляторе. По версии следствия, бывший мэр Левашов виновен в вымогательстве взяток, отмывании денег, создании коррупционных схем и прямом воровстве из городского бюджета. Работа правоохранительных органов привычно осложняется тем, что региональный олигарх Левашов, влиятельный делец по прозвищу Левша, политик и меценат, на поверку оказался формально нищим. Все основные его бизнес-активы, такие, как сеть дисконт-маркетов «Полушка», записаны — кто б сомневался! — на супругу, домохозяйку Александру Левашову-Лифшиц. А кое-что из имущества, в обход законов, и вовсе на несовершеннолетнюю старшую дочь Яну. Недаром она даже в школу ездит на джипе в сопровождении телохранителей... Однако нам, похоже, удалось приоткрыть завесу тайны над коммерческими схемами опального мэра и его семейства. Далее в программе «Чертова дюжина»: хранители общака! Эксклюзивное расследование — как тринадцать миллионов уе бесследно канули в городе Энске, чтобы всплыть в карибских офшорах и осесть на счетах лондонских банков!..

Лицо Яны — обычно такое живое, ярко-изменчивое — застыло; кажется сейчас почти одутловатым, очищенным от эмоций. Яна, будто только сейчас вспомнив, очень аккуратно сует в разъем телефона металлическую тычинку провода, в уши — поролоновые соцветия динамиков.

Смотрит с равнодушно-сонным видом.

Игра света и тени на ее лице продолжается — теперь беззвучно.

ЭНСК — РЕСТОРАН. УТРО

Пустой ресторанный зал — некрашеное дерево, связки сушеных трав и канатные морские узлы в простенках, просторные дачные окна — и кипение чуть подзолоченных лиственных волн вовне, на ветру; тишина, сине-белая клетка полотняных скатертей, средиземноморский вольный дух.

За столиком у окна — Александра Ефимовна Левашова-Лифшиц, Ася: коротко стриженная спортивная блондинка 30+ почти мальчикового узкобедрого кроя, но с отчетливым бюстом, очень французское лицо — ноль косметики, натуральная цветущая нежность, тоже немного ретро, немного шестидесятые, хотя и чуть погрубее, пожестче, чем у дочки Яны.

Перед Асей — тощая картонная папочка, большая глубокая тарелка, средняя плоская тарелка, крохотная плошка. Ася неторопливо, с наслаждением ест мидий: пальчиками берет черную похабную раковину (иногда — с лобковой волосней водорослей) из груды в большой тарелке, абортирует рыжего моллюска крохотной вилочкой, макает в плошку с соусом, кидает выхолощенные створки на среднюю тарелку, проникновенно жует тварь. Кубический телохранитель скучает за стойкой на табурете. Больше никого — но появляется Валентин: падает на стул напротив Аси.

— Альсанн Ефимовна.

— Валентин Петрович.

Материализуется девочка-официантка; Валентин отвергает комплект разноформатных меню вежливым котовьим жестом:

— Пожалста, двойной эспрессо, и поскорей.

— Спеш*и*те? — Ася отправляет в нежный жемчужно-розовый рот новую мидию.

— Дважды спешу, — Валентин демонстрирует улыбку. Ждет немножко... — Вы изучили предложение моих партнеров?

Ася тщательно жует, глотает, приспустив веки.

— Нет.

— В смысле — не изучали?

— В смысле — ответ отрицательный.

Официантка приносит чашечку, ставит у локтя Валентина. Тот берет ее, нюхает.

— Можно узнать — почему?

Пробует кофе.

— Не вижу повода продавать растущий бизнес. Особенно — за... — Ася приподнимает взгляд и вилочку, дирижирует ей возле уха, словно считает в уме, — примерно одну девятую реальной стоимости.

Валентин опрокидывает эспрессо в себя. Помолчав, глядя на Асю (та уже занимается очередной мидией):

— Телевизор вы не включали сегодня? Вторую кнопку?

— Включала.

— И как?

— Уморительно.

Валентин постукивает пустой фарфоровой скорлупкой о блюдечко. Проникновенно:

— Асенька... Ты правда, что ли, не понимаешь, что тебе де-факто уже, по сути, нечего продавать? А де-юре — это просто вопрос небольшого времени? И хорошо, если у тебя... и у детей... просто всё заберут... А не упекут тебя... к Женьке. Знаешь, я даже прямо поражен благородством... моих партнеров. Которые буквально час назад, на фоне этих вот... сюжетов... на федеральном канале... подтвердили по деньгам свое предложение.

— Благородство, да, — мелодично отзывается Ася. — Прямо поражает.

Пауза. Валентин вздыхает.

— Ну — я поеду, наверное.

Обозначает зародыш движения — встать.

— Конечно. Только глянь секундочку, — Ася пододвигает картонную папочку к Валентину. Тот берет, раскрывает. Секунду смотрит — непонимающе. Потом хмурится. Лицо каменеет. Ася орудует вилочкой. Протягивает ее — с насаженной оранжевой непристойностью — Валентину:

— Точно не хочешь? Свежие, с Иль-де-Ре. Говорят, на потенцию прямо волшебно влияют.

— Спасибо, — Валентин мрачно листает содержимое папки. — У меня и так... — поднимает взгляд на Асю: — И где ты это взяла? Эту... грязную ложь?

— Ну как хочешь, — Асины губы нежно снимают мидию с вилочки.

— Ась?

— Я думаю, — Ася мелодично постукивает вилочкой по тарелке, вдумчиво жует, — твоим партнерам стоит внимательно изучить эту грязную ложь. Мне кажется, она может серьезно скорректировать их предложение по цене. Может быть, раз даже в... девять? — делает гримаску — будто ее прямо сейчас посетила интересная мысль: — Слушай, мне даже кажется, эта грязная ложь — она и Женьке может помочь, ну, как минимум... не знаю... изменить меру пресечения?..

— Давай разводить темы как-то, — Валентин мрачно захлопывает папку. — Как-то чтобы реалистично. Мои партнеры, знаешь, они... не могут давить на следственные органы.

— Ага, — Ася лучезарно улыбается, тянется за новой мидией. — Только на причинные.

ЭНСК — СИЗО. УТРО

Плоское, на элементарную камеру снятое видео — прибитые цвета, глухой звук, таймер в углу экрана. В кадре — Вадим Мельник, Мел: заплывший глаз, царапины, разводы йода. Приторможенность — несколько секунд насупленный Мел просто смотрит куда-то чуть вбок от объектива, потом вздрагивает, начинает говорить:

— Я, Мельник Вадим Робертович, девятьсот девяносто пятого года рождения, хочу сделать заявление...

Мужской голос:

— Пипец, ты чё — ТАСС, что ли? Давай заново.

Мгновенная судорога кадра. Отсчет опять с нуля. Тот же Мел — тем же казенным голосом, глядя чуть вбок и вверх:

— Я, Мельник Вадим, тыща девятьсот девяносто пятого года, хочу дать признательные показания, явку с повинной. А именно, что я в ночь с тридцать первого ноль восьмого на ноль первого ноль девятого... в ночном клубе «Кошкин дом»... стрелял в бизнесмена азербайджанца Саяфа Алиева из револьвера системы наган. Произвел два выстрела... боевыми патронами...

Теткинский, климактерически-недовольный, голос:

— То есть это было умышленное убийство?

— Нет, я... — Мел чуть запинается, морщится. — Я действовал сознательно. Однако будучи под принуждением... как жертва шантажа.

— Шантажа с чьей стороны?

— Со стороны человека, который оказал на меня давление с целью... чтоб я произвел выстрелы в Саяфа Алиева на поражение... В ходе нашей акции, которая с точки зрения моих товарищей имела политические цели, за патриотизм, а не для причинения смертельного вреда... В противном случае этот человек угрожал посадить меня в тюрьму по обвинению.... ложному... в сбыте наркотиков, а также угрожал жизни и здоровью моей семьи... матери и несовершеннолетнего брата.

— Что это за человек?

— Он мне назвался как Сергей Сергеевич.

— То есть вы его не знали до этого?

— Нет... — взгляд Мела перемещается на другой фланг, минуя зрачок камеры. — Этот человек раньше мне не был знаком.

— И что — вот он вам просто стал угрожать? А вы ему поверили?

— Нет, не просто. Он свои угрозы также обосновал.

— Как именно обосновал?

— Он представился как представитель Левши. Как бы доверенное лицо.

— Подследственный, выражайтесь яснее. Чей представитель?

— Левашова Евгения Тихоновича.

— Бывшего мэра?

— Ну да.

— Вы смогли бы опознать этого человека? Сергей Сергеича?

Мел, будто глубоко задумавшись и не слыша, отворачивает голову в сторону.

— Гражданин Мельник?

Не реагирует.

Мужской голос:

— В камеру смотри!

— Тут везде камера, — Мел наконец прямо и тяжело глядит в объектив.

— Подследственный, вы сможете опознать этого человека? — женский голос, механически-раздраженно.

— Так точно... — Мел морщится; после паузы. — Позвонить уже дайте, а!..

ЭНСК — НАПРОТИВ МАГАЗИНА «НОТКА». УТРО

«Субару форестер» останавливается у бровки тротуара.

Лёха Машканцев вырубает движок. Смотрит в окно: напротив, через улицу — стеклянная витрина: что-то изящно-клавишное, пузатый буржуазный контрабас, скрипка с приделанными стрекозьими крыльями, вьющиеся вокруг нее скрипичные ключи...

Магазин музыкальных товаров «Нотка»; разумеется, вывеска — на фоне нотной линейки, и меж толстых букв кузнечиками скачут по строчкам колченогие си-бемоли и до-мажоры.

За витриной, в загроможденной пианино и синтезаторами, аквариумно подсиненной глубине, проходит Оля Мельник, Фасолька: что-то втирает, жестикулируя, посетителю — мужчине в алой штормовке. Лёха с неподвижным лицом глядит на Фасольку. Вынимает из рюкзака термос, отвинчивает, наливает. Пьет.

Играет русский рэп: то ли 25/17, то ли Гуф, то ли Баста, то ли Каста...

Лёха резко садится, встрепенувшись. Фасолька выходит из двери магазина.

...Фасолька — темный плащ, кедики, роскошная грива перетянута в конский хвост, странная задумчивая полуулыбка на лице — запирает дверь (с внутренней стороны стекла — картонка с фломастерным «Перерыв 15 минут»). В пробеле меж быстро едущими тачками перебегает дорогу — к киоску с хотдогами не то модной азиатской лапшой...

— Оля!

Замирает на краю тротуара: к ней от «субару» идет Леха — огромный, как-то одновременно решительный, почти пугающий, и робкий, почти опасливый.

— Фасолька... Я тебе звоню — ты трубку не берешь...

— Алёша, я же тебя просила, — устало, почти равнодушно.

— Нам надо поговорить.

— Не надо.

— Фасоль. Меня сняли с дела!

— Ты все уже сделал, — тон не меняется. Лёха останавливается, даже чуть подается назад — будто пропустил удар в грудак.

— Фасоль... Да пойми же ты, это же... машина! — Лёха сжимает кулачище, встряхивает им: наглядная метафора. — Если б не я — Вадьку другой бы взял...

— Вот пусть и взял бы... другой.

— Ты чего, не понимаешь?.. — Лёха вдруг резко начинает заводиться: от этого ровного, лишенного эмоций тона, от такого же — чужого, отстраненного — лица любовницы. — Другой его бы, может, просто по ходу... завалил... — трясет кулаком. — Убил бы... Понимаешь, нет?.. — вдруг, потрясая кувалдой, оглушительно орет — оборачиваются прохожие, истерически лает такса на поводке у девочки. — Убил, понимаешь ты, дура?!.

ЭНСК — ЛИЦЕЙ, БАЛКОН НАД СПОРТЗАЛОМ. УТРО

Яна с отсутствующим видом сидит на широком квадратном брусе балконных перил — свесив ноги вниз, в пяти-, как минимум, метровую пустоту спортзала. Смотрит туда же невидящим взглядом. В ушах — затычки наушников, проводок тянется к зажатому меж ладоней смартфону. В наушниках — пульс музыки, громкий, частый.

Дверь на балкон за спиной Яны чуть приотворяется.

Мы теперь видим спину сидящей Яны глазами входящего. Медленно, крадучись он подбирается к ней...

— Яна? — голос Яна. И сам Ян: спокойно-напряженный. Девушка его не слышит. Ян, щурясь, видит наушники, догоняет. Осторожно, огибая Яну по дуге, перешагивая через складированный спортинвентарь, движется к перилам. Приподнимает на ходу руки... Он уже возле перил сбоку от Яны, когда она боковым зрением замечает движение. Резко оборачивается — Ян вскидывает руки в успокаивающем жесте, издает умиротворяющее «чшшшш!..». Яна выдергивает наушники из ушей. Смотрит на препода.

— Как вы меня нашли? — ровно.

— Да я сам сто раз тут отсиживался. Кое-что и за тридцать лет не меняется... — кладет ладонь на лакированную и процарапанную поверхность перил. — Можно?..

Яна пару секунд разглядывает его. Убирает телефон с наушниками в карман. Чуть пожимает плечами.

— Перила в публичном доступе.

Это явно Яна номер два — та, что умеет вымораживать воздух вокруг себя.

Ян возлагает на брус вторую ладонь, примеряется — и, сокрушенно выдохнув «эххх!», толкнувшись ногами, опершись на руки, — ловко вскидывает свое тело. Зависает на краткий миг в опасной неопределенности над пустотой — Яна вздрагивает: сейчас ухнет вниз! — но нет, приземляется задом на перила, утверждается, вид довольный. Яна чуть усмехается — но с облегчением. Сидят, как птахи на ветке. Молчат.

— Я думала, — Яна, наконец, — вы щас поближе подберетесь и как кинетесь... меня спасать...

— Вы ж не дура, чтоб прыгнуть.

— По-вашему, только дураки прыгают? — быстро, почти неприязненно.

— Нет. Еще те, у кого не осталось других путей. Но это... — Ян полуоборачивается к тезке, — пока не ваш случай.

Снова несколько секунд молчания: Яна зримо решает, считает что-то для себя, Ян, напротив, имеет безмятежный, умиротворенный вид.

— Вы правда дружили с моим отцом? — посчитала, решила, перешла к делу.

— Неправда, — недоумение во взгляде Яны; Ян поясняет: — Жека был на пять лет старше... ну, в смысле, он и сейчас... но в том возрасте... в вашем... — иронически-галантный кивок, — это для дружбы почти непреодолимая разница.

— Но вы же его знали? Лично?

— Конечно. Он у нас, пацанов, был в большом авторитете. Можно сказать — герой.

Яна медлит... решительно:

— Он был бандит?

— Нет, — без промедления, точно готовился и репетировал.

— Значит, законопослушный гражданин? — горькая ирония; глаза Яны шарят по лицу препода; на сей раз тот тянет с ответом... Яна — качнув головой:

— Зачем вы мне врете, Ян Иваныч? Я так на дуру похожа?

— Не вру. Он не был бандит. Преступник — да, был... какое-то время.

— Типа есть разница.

— Конечно, есть. Бандит грабит, убивает, насилует. Преступник — всего лишь преступает законы.

— Всего лишь, — сарказм в голосе. — Да вы профессией ошиблись. Вам бы в адвокаты...

— Всего лишь, — повторяет Ян твердо. Ловит своим взглядом ускользающий, болезненный Янин. — Вы «Темную башню» читали? Стивена Кинга?

— Нет.

— Почитайте, очень, кстати, увлекательно... Так вот там у него всё такое... — чуть улыбнувшись, по слогам: — Пост-а-по-ка-лип-тичссское... Всё в руинах, магия и прочий беспредел... И люди про это говорят: «мир сдвинулся с места». Понимаете? Законы вроде все остались... И те, что в уголовном кодексе, и те, что в учебниках... физики там, химии... Только реальность им больше не подчиняется. То ли вовсе в ней не стало законов, то ли новые теперь какие-то — которых еще никто не знает... — Яна слушает его, чуть склонив голову. Ян слегка разводит ладонями. — Вот в моей стране... в нашей с Жекой... в ЭсЭсЭсЭр... ровно это и случилось. Мир сдвинулся. Всё иначе. Свобода — страшная. Законы — просто мертвые буквы в книгах. А как реально жить — не понятно ни фига. Трусливые... и слабые... сделали вот так, — втягивает голову в плечи, вскидывает согнутые в локтях руки — как боксер, закрывающийся от града ударов. — Стали ждать, пока придут и про новые законы скомандуют. Ничего,

кстати, многие дождались. А сильные, смелые, амбициозные... вот как ваш, Яна, отец... ставили себе цели — и к ним шли. И часто преступали, конечно, закон, вот все эти... линии... — делает правой движение, словно пальцем энергично чертит на песке, — ...двойные сплошные. С нашей, сегодняшней точки зрения. Только надо иметь в виду, что в том мире... в тот момент... никаких линий просто не было. Ну или никто их не видел практически.

— Ага. Только вы-то сами от этого не стали преступником.

— А кто это вам сказал? — Ян картинно подбоченивается. — Я в девяносто третьем поступил на истфак. А по ночам торговал в ларьке. Не, ну чё — провинциал в столице, общага, все дела, папы-мамы нет, — а жрать хочется, и девицу в кабак сводить... и вообще... Так в ларьке у нас и спирт был самопальный, и бухло черт знает какое крученое, и курево — ну в лучшем случае контрабандное... Валюту тока так меняли... из-под прилавка... А под прилавком у меня, между прочим, лежал обрез, дробовик. Я знаете сколько статей ука каждый день нарушал?

— Это другое, — Яна упрямо качает головой. — Вы же не... крышевали... никого... не кидали, не разводили, не заказывали... Это другое вообще.

— Ну так у меня и амбиция другая. Я ж кто? — книжный червь, архивная крыса. Ни тебе всех денег заработать, ни бизнес-империю отгрохать, ни президентом стать — ну вот ни разу не собирался. Не планировал мир изменить...

— Не планировали? — Яна слабо улыбается. Ян, похоже, добился-таки своего: что-то ее отпустило, что-то расслабилось — в осанке и в лице.

— Не-а! — Ян решительно мотает головой.

— Странно. В книжке у вас только про это и...

Глухо звенит звонок. Яна осекается. Ян вздыхает, крутнувшись, соскакивает с перил назад на балкон. Протягивает ладонь:

— Тезка — понеслись.

Яна — опираясь на руку, спрыгивает тоже:

— А то что? Превратитесь в тыкву?

— Хуже. Гораздо... — Ян подозрительно оглядывается (заглядывает и за перила — вдруг там висит вражеский Карлсон?), драматическим шепотом сообщает: — Оп*и*саюсь!..

ЭНСК — ВОЗЛЕ ЗАБРОШЕННОЙ ЛОДОЧНОЙ СТАНЦИИ. ДЕНЬ

...Еловая ветка с оттягом хлещет по лобовухе. «Форестер», подскакивая на ухабах, подвывая движком в заполненных грязью впадинах, на хорошей скорости выскакивает на лужок у берега: халупа лодочной станции, причал, на причале и возле — люди, несколько автомобилей (полицейский «каблук», дорогой джип, грузовик с открытой платформой), в воде болтается бьющий по глазам черно-красный «зодиак». «Субару» Машканцева резко тормозит метрах в десяти от береговой линии.

...Майор (рюкзак опять на плече) подходит к скуластому парню в гидрокостюме — тот как раз вылезает из воды, в руке баллоны акваланга, на грудь свисает маска с редуктором. Сваливает баллоны на песок, стягивает с башки плотный неопреновый капюшон. Топорщатся светлые вихры.

— Салют ихтиандрам, — Лёха тычет лапу.

— Товарищ майор! — ихтиандр крепко жмет.

От дальнего конца причала торопится полноватый типчик в костюме.

— Ну чё, встретил чё-нить интересное? — Леха кивает на акваторию.

— Ага. Угря встретил. От такого, — парень хлопает себя по плечу и вскидывает выпрямленную мускулистую руку. — Его б, сука, за жабры, да под пивко с дымком...

Леха коротко хмыкает.

— В курсе, что угри — падальщики?

— Чё, правда?

— Ну. Трупы жрут.

Парень выдает озадаченную гримасу; тут же ухмыляется весело:

— По ходу — мы-то сами чё?

Типчик в костюме (черты лица с азиатчинкой, на лацкане пиджака — мелкий значок-флажок, не то партийный, не то ведомственный), приближаясь, — с иронией, не слишком маскирующей неприязнь:

— Майор! Ты мне снишься же тут, правда?

— Ага, — Лёха свое презрение и вовсе не маскирует. — Иди проспись.

— Вот хамить тока не надо!

Лёха — ихтиандру, игнорируя коллегу-недруга:

— Так чё, нет ствола?

Ихтиандр фыркает.

— Лексей Викторыч, тут же не дно, а помойка...

Типчик — остановившись, однако, метрах в пяти, зло:

— Лейтенант Симиндей, отставить детали следствия тереть с посторонним!

Ихтиандр чуть возводит очи горе: достал, мол; спокойно заканчивает:

— ...Одних покрышек — на таксопарк. Так что...

Красноречиво машет рукой.

Тип в костюме — вытаскивая мобильный:

— Ну все, майор, я звоню начальству.

Лёха подмигивает ихтиандру, чуть приподнимает кулак — венсаремос, мол; разворачивается, на ходу бросает типу в костюме:

— Мозгам своим позвони. Тока они явно у тебя вне зоны.

...Лёха грузно падает на водительское сиденье «субару», рюкзак тяжело бухает себе на колени. Секунду-другую сидит молча, неподвижно — только постукивает пальцами по баранке руля. Потом быстро лезет в рюкзак. Извлекает треугольный целлофановый сверток, перетянутый бурыми лентами скотча. Запихивает под соседнее сиденье. Поворачивает ключ зажигания.

ЭНСК — ДОДЗЁ В ДК «РЕЧНИК». ВЕЧЕР

Ванька Мельник (потный, встрепанный, в кимоно с желтым поясом) быстро делает шаг вперед; ложный выпад — вцепляется в противника, дюжего белобрысого парня, пытается бросить; безуспешно — парень подается назад, сопротивляется; сопя, качаются оба-два, возятся, силятся взять друг дружку на прием...

— Ямэ.

Тренер, о-сэмпай Рудольф Наумович — чернявый, черное кимоно, похож на краба: низенький, широкий, закрепленные на затылке резинкой очки в мощной роговой оправе и с мощными явно диоптриями. Прохаживается между разбитых на пары учеников по тесному полуподвальному (уровень асфальта делит вечерние окна надвое — на черный и синевато-золотой) зальчику, превращенному в подобие японского додзё. Циновка-татами на полу, вертикальные свитки с иероглифами на стенах, черно-белые фото японских кайсо и о-сэнсеев — патриархов, мэтров — в рамках, цветное фото Путина в кимоно и с черным поясом.

...Противники расцепляются.

— Наоре.

Отступают друг от друга, тяжело дыша, поправляя сбившиеся кимоно. Коротко, будто стыдясь, кланяются.

— Смена партнера.

Цепочки смещаются относительно друг друга. Напротив Ваньки теперь — Егор

Машканцев. Толстый, мокрый насквозь, мятый, мягкий, жалкий — как вдрызг размоченный ливнем стог. Глаза бессмысленные. Ванька плющит Егора черным мрачным взглядом. У Егора в лице что-то дрябло вздрагивает.

— Ёи.

Ванька становится в стойку. Егор тоже пытается.

— Хаджиме!

Пары кидаются в схватку. Ванька, мускулистый и быстрый, как бультерьер, теребит Егора; тот закрывается, вырывается, отмахивается — он пассивен и неуклюж, но — больше и куда тяжелей. Захват, дестабилизирующий рывок, ложный выпад, еще рывок — Ванька добился своего: бросок — толстые ноги Егора взмывают в воздух, миг балансируют там, уууух — тяжелая мягкая туша хлещет о татами. Ванька падает сверху. Рука Егора, взятая на излом, — в его жилистых руках. Ванька давит на рычаг, гнет — Егор лупит ладонью по циновке, признавая поражение. Сипит:

— Всё! Всё!..

Ванька то ли не замечает и не слышит, то ли делает вид: продолжает ломать противника, оскаленный, с упавшей ширмой...

— Яме!

Ванька нехотя отпускает руку Егора: сэмпай стоит прямо над ним. Ванька быстро встает. Егор копошится у ног, сгребает трясущимися ладонями себя, раздавленного.

— Иван, проблемы со слухом?

— Всё нормуль, — угрюмо и глядя мимо.

Сэмпай разглядывает Ваньку. Громко, для всех:

— Работаем не с мешком картошки. Работаем с реальным противником. Показываю еще раз правильную технику. Иван?..

Отступает, делает Ваньке приглашающий жест ладошкой. Тот становится в стойку. Помедлив — сэмпай неподвижен, отдает инициативу, — кидается вперед. Все происходит мгновенно и почти непонятно глазу: ноги Ваньки описывают широкую дугу, он с плоским хлопком впечатывается в татами. Сэмпай — сверху: лицо безмятежно, руки без видимого усилия берут на излом напрягшуюся конечность бьющегося Ваньки.

Все стоят вокруг, глазеют — все, кроме Егора: он трет физиономию, шмыгает носом, косит в сторону.

Сэмпай, чуть склонив голову — заглядывая в прижатое к полу наливающееся багровым Ванькино лицо, — продолжает выламывать ученику локтевой сустав. Ванька, сжимая зубы, толчками выталкивает из себя воздух; не орет; терпит.

— Хватит? — голос сэмпая участлив.

— Нор... муль...

— Хватит, — сэмпай, утвердительно. Выпускает Ваньку, отскакивает от татами каучуково. Обводит всех спокойным взглядом: приземистый, аккуратный, с ровным дыханием, пучеглазый в своих телескопах краб. Ванька собирает себя с досок с усилием — почти как Егор недавно.

— Смена партнера.

Легкая суматоха, хаотичное всеобщее смещение на такт.

— Ёи.

Напротив Ваньки — коренастая девушка, кровь с молоком... Таня Наговицына! Румянец во всю щеку: смущена и взволнована. Сбитое набок кимоно демонстрирует край скромного бюстгальтера — и болтающийся на цепочке серебряный православный крестик. Ванька смотрит на Таню, будто не видя.

Напротив Егора — Толя Петрик. Ухмыляется, вытягивает губы трубочкой. Цокает.

— Хаджиме!

Пары кидаются в схватку.

ЭНСК — ДОДЗЁ В ДК «РЕЧНИК», РАЗДЕВАЛКА. ВЕЧЕР

Скрипит металлическая дверца шкафчика — Егор (в одних труханах-семейках-боксерах, весь в подсыхающем поту, с торчащими в разные стороны волосами) кидает мокрый ком кимоно на длинную скамью, идущую вдоль всей раздевалки, лезет в шкафчик, тащит наружу другой неопрятный ком — сменный, уличный, сухой. Вокруг галдят, переодеваются.

— С-с-свинкааа!..

Торжествующий дикарский вопль — сзади; две сильные руки споро вцепляются в трусы Егора, сдергивают вниз, оголяя обвислые ягодицы. Егор разворачивается, роняет шмотки (джинсы в одну сторону, заношенные носки с блестящей пяткой, — в другую), хватается за трусы — все одновременно. Ржание — с разных сторон. Егор судорожно дергает резинку трусов кверху. Петрик — это был он, конечно, — весело гримасничает, растопырив ладони. За его спиной Ванька Мельник — вполоборота, надевает свою бундесверовскую камуфляжную куртку: мрачная, но одобрительная усмешка.

— Хрю-хрю-хрюууу! — вопит Петрик. — Хаджиме!..

Делает резкий выпад обеими руками, хлопает Егора по отвислой груди — руки Егора ответно и запоздало взлетают: защититься, — а ловкач Петрик уже, сделав финт, снова ухватывает труханы Егора, снова рвет их книзу; Егор перехватывает запястья Петрика, когда испуганно скукоженная пиписька в курчавой опушке уже предъявлена миру; борется с хохочущим Толяном; вокруг ржут, кто-то пронзительно свищет; Ванька, презрительно и с усмешечкой, не глядя, вжикает молнией...

— Свинка, ямэ! Пухлые яйки — к а-а-асмотру!..

Егор выпускает вдруг руки Петрика (тот от неожиданности проваливается книзу с зажатыми в кулаках и уже, кажется, лопнувшими по шву трусами) — и с силой пихает его обеими ладонями в грудь. Треск ткани, Петрик отшатывается — в кулаке зажат клок трусов Егора — едва удерживается на ногах. Выражение беспредельного веселья на миг покидает его физиономию, уступая чистой злости: он распрямляется, так же сдвоенно — но куда мощней — ответно пихает Егора. Тот влипает спиной в шкафчики — и обваливается вниз, на скамью, комом сырого теста. Но вновь прикрывших срамоту трусов не отпускает. Петрик — снова шут, паяц, ничего личного — размахивает лоскутом трусняка, как трофейным стягом, верещит электронным голосом:

— Ахтунг-ахтунг!.. Бешеная швайне!.. Все в укрытие!..

Смех, ажитация кругом. Из глаз Егора текут слезы. Взгляд Егора опять — не в первый раз — прыгает над могучим плечом Петрика, за него — к лицу Ваньки. Ванька — одет, рюкзак на плече — стоит со странной застывшей ухмылкой: Егор явно ему неприятен — но, кажется, неприятно и происходящее.

Егор вдруг орет, срывая голос:

— Гады!.. Чё вам надо от меня, гады?!

Петрик ухмыляется. Но Егор все так же смотрит не на него — на Ваньку; взгляды их — впервые тут — сталкиваются.

— Это мой батя — мент!.. А я — не мент!!! Я вас не трогал!.. Я вам не сделал ничего!..

Ржание вокруг как-то затихает.

Егор, продолжая смотреть на Ваньку, вдруг отпускает свои рваные труханы, поднимается — жирный, багровый, мокрый и с мокрыми дорожками по щекам, оглушительно некрасивый:

— Мне вообще насрать, ясно вам, гады?!.

— Свинка охренела? — Петрик шагает к Егору, занося руку.

Резкий голос Ваньки:

— Отстань от него.

Петрик — разворачивается, возмущенно:

— Ты его ваще слышал?.. Он же...

Ванька стоит неестественно прямой, бледный. Застывшее лицо, черные — выгоревшие — глаза.

— Я сказал — отстань.

Петрик затыкается. По лицу проходит быстрая тень — но он переключается мгновенно, и вот уже с ухмылочкой клоунски кланяется — будто шляпой пол метет. Ванька вдруг шагает вперед — и Петрик чуть отшатывается, и Егор подается к шкафчикам: на лице мелькает испуг.

— Извини.

— Что?.. — голос у Егора разом сдувшийся, тонкий, потерянный; глаза застыли на полувыкате.

— Извини, — без выражения повторяет Ванька.

Поворачивается. Под взглядами Егора, Петрика, двух десятков в разной степени одетых учеников — выходит.

ЭНСК — СПОРТКОМПЛЕКС «ДИНАМО», БАССЕЙН. ВЕЧЕР

...Лиза подставляет лицо под колкие спицы душа — одна в кафельной нише. Поводя плечами, высвобождает верхнюю часть торса из купальника. Ладонь скользит по груди, к набухшему соску, ниже...

— Тимакова, ты чё тут — дрочишь?

Лиза дергается, разворачивается на гоповатый вокал, резко запаковываясь в купальник: крупная, раза в полтора шире и тяжелей ее, девка из Лизиной группы радостно и нагло скалится, закупорила собой проход.

— Растворись, овца, — голос у Лизы ровный, усталый.

— Тимакова, сучка, ты охерела ваще? — девка шагает вперед, зло и небрежно пихает Лизу обеими широкими ладонями. Лиза стукается спиной о кафель. И — взрывается. Оскаленной ведьмой ныряет вперед; когти левой хватают девку за пах (девка испускает ультразвуковой изумленный писк), локоть правой с размаху врубается в девкино горло, вбивает ее в кафельную стенку (писк переходит в паническое сипение). Кажется, сейчас Лиза вцепится девке в перепуганную харю зубами...

Детский гомон: в сторону бассейна через душевую семенит стайка девочек 7+ в одинаковых резиновых колпачках и очках, у одной, серьезной, в руках — надувная утка. Лиза отталкивает девку — отталкивается от нее. Отворачивается.

— Больная, юмор не понимаешь! — испуга больше, чем злости.

Лиза не отвечает, резко шагает из ниши...

...И выходит (яично-желтая штормовка, трикотажная шапочка) из стеклянных дверей спорткомплекса — на автостоянку, отороченную утлым сквером. Смазанное сиреневое зерно гуашных сумерек; нахрапистый норд-ост приминает, прогибает к асфальту синеватую, с потеками желтизны, лиственную массу.

Лиза поплотней натягивает шапочку на влажные волосы.

— Девушка?.. — отшатывается инстинктивно. Парень — худи, кроссовки «нью бэланс», синий рубчатый пуховичок, грубые штаны-непорывайки со множеством поместительных карманов; тот самый парень, что прыгал с вышки; в обеих руках — по пенопластовому, для горячего, стаканчику; протягивает один; щурится, покаянно. — Простите, я не хотел вас напугать.

Этот парень — Максим. Теперь — в образе «городского спортсмена-экстремала». Скейтер, бейсер, стритрейсер.

Лиза уже восстановила защитный контур: на месте промелькнувшей было крошки-гензель, потерянной в жуткой ночной дубраве — снова городская хайтек-принцесса, стерва-звезда.

— Мне маменька запрещает пить с рук у незнакомых мальчиков.

— Дабл эспрессо. С кофеином, без клофелина, — Максим улыбается, улыбка обаятельная, открытая. — С*а*хара, правда, две с горкой... — опять почти виновато: — Организму после нагрузок нужна глюкоза.

Лиза, демонстративно изучая визави, принимает стаканчик. Вминает клапан на пластиковой крышечке, делает глоток.

— Гена, — Максим, спохватившись, протягивает ладонь. Лиза дает свою. Максим без колебаний пожимает — аккуратно, но по-мужски.

— Лиза.

— Нежное имя.

— Спасибо, что сразу не вопишь — «о, бедная!...» — Лиза отпивает еще кофе.

— Ну ты ж не завопила — «о, крокодил»!

Смеются оба.

— А ты не крокодил? — Лиза, подхихикивая.

Максим удрученно разводит руками.

— Дай угадаю, — Лиза резко обрывает смех; с издевательским серьезным пафосом: — Ты — модный режиссер, так?

Максим с некоторой оторопью качает головой.

— Значит, телепродюсер. На федеральном канале.

— Я летчик вообще-то, — голос звучит слегка даже сконфуженно.

— А! Истребитель. На неделю в отпуск, а потом — назад в Сирию, долбить игил. Правильно?

— Зачем, — Максим, склонив голову, глядит на Лизу. — Я гражданский летчик. Транспортная авиация...

— А как же риск? Адреналин?

— Ну видишь вот — с вышки прыгаю... — Максим пожимает плечами.

Лиза чуть смущена. Набросилась зачем-то на парня...

— У тебя в целом прямо отличная техника, — сообщает Максим.

— У тебя тоже ничего, — с нажимом. — Но?..

— На развороте ты немножко времени зря теряешь. Может, четверть секунды... — Максим задумчиво трет нос. — Я тебе могу более правильное движение показать... Ну, если захочешь, конечно...

Прерывистый гудок автомобиля; из глубины стоянки через сгустившийся, темно-синий вечер бьет желтый свет фар; фары подмаргивают раз, еще раз.

— Это за мной, — Лиза шагает от Максима, салютует стаканчиком. — Не-крокодил... Спасибо за кофе!

«Гена» покорно улыбается, кивает.

...Лиза садится в машину — это скромный новенький кореец. За рулем — Фёдор, студент-старшекурсник, симпатичный, спортивный, неглупый, децл мажористый, парень лет двадцати двух; повадкой барственного мачо старается компенсировать некую понятную неуверенность в себе. Лиза быстро — на опережение — чмокает его в щеку.

— И кто это у нас был? — Фёдор, тревожно, как бы небрежно, следя за Максимом, — тот скрывается в чаще припаркованных автомобилей.

— Дядь-Федь. Ты что, ревнуешь?

— А надо? — Фёдор переводит взгляд на Лизин точеный профиль.

— Конечно, — легкая улыбочка. — Это летчик-космонавт. Тренируется тут перед полетом.

Фёдор недоверчиво фыркает, тянет руку, отодвигает локон, ведет пальцами по Лизиной щеке... сопит с вожделением...

Вздрагивает: вечер взрывается жестким музлом. Выруливает из-за стоящих тачек сверкающий, кричаще-яркий болид Максима. Грохочет фрезерным техно:

— Хундертвассер, ты прекрасен!.. Хунта вассервага!... Мне итог предельно ясен!.. Трибунал, Гаага!..

(*Группы «Вагоновожатые», «Хундертвассер хунта».*)

Расписной спорткар с победно торчащей серебристой фигуркой на остром носу притормаживает на траверзе «корейца»; прибалдевший Федор, глядящая с юмористическим изумлением Лиза; «Гена-летчик», бесхитростно улыбаясь, машет рукой (Лиза приподнимает в ответ ладошку); рявкнув движком, хрипнув резиной, лязгнув музоном, болид прыгает прочь. И раз — пропал, как в нуль-пространство канул. Фёдор и Лиза секунду сидят молча.

— Ну мы едем? — Лиза потягивается. — Или как пиндосские тинейджеры — будем в тачке трахаться?

— А что, — Фёдор улыбается малость через силу. — Крутая идея. Меня заводит...

Снова тянется к Лизе. Та, ровно:

— Тачку сначала нормальную купи.

ЭНСК — ПУСТЫРЬ. ВЕЧЕР

Сумерки, синюшно-багровое гематомное небо. Тот странный тусклый свет, в котором всё еще видно четко — даже преувеличенно четко — но будто бы покрыто зыбким слоем глицерина: и далекие мертвые корпуса фабрик с вбитыми в них штыками труб, и плотная лиственная оплетка руин несбывшегося торпедного завода, и глыбы бетона, и мельчайшая сорная дребедень, невостребованные осколки погибшей цивилизации.

Звяк прибывшей эсэмэски. И еще один.

Мерное пластмассовое пустотелое пощелкивание.

Егор Машканцев, сутулясь, сидит на крупном обломке. Рюкзак валяется рядом. В руке у Егора железная труба — то ли та самая, которой он пытался ударить отца, то ли ее сестра-близнец. Трубой Егор постукивает по пустой пивной таре — полуторалитровой, зеленого пластика. Гоняет ее туда-сюда у ног. Едва ли сознательно — взгляд развернут внутрь.

Звонит телефон. Егор вздрагивает, вынимает, смотрит. «Мама». Егор медлит. И еще. Звонок обрывается. Егор сует телефон в карман, озирается — с видом человека, не очень понимающего, как тут очутился. Смотрит на трубу в своей руке. На пивную бутыль. Вдруг размахивается и с силой засаживает трубой по бутыли. И еще. Встает. Перехватывает трубу уже обеими. Еще, и еще. Оскаленный, лупит крякающий, ускользающий пластиковый цилиндр, пока не изламывает его, не рассекает и не деформирует. Стоит с трубой в руках, тяжело дышащий, бесформенный, с обвисшим лицом.

Нарастающий шум движка. Егор поднимает взгляд. Промельк фар, и снова. Переваливаясь и вихляя, походя слепя дальним светом — по пустырю к Егору быстро приближается автомобиль.

ЭНСК — ПУСТЫРЬ. ВЕЧЕР

«Форестер» встает, чуть накренившись. Лёха вылезает, не глушит мотор: из салона бурчит и крякает русский рэп. Брутальный Наггано — на полпустыря:

— Роле-роле-ролексы... у каждого своя роль, свои комиксы... вот тебе от бати на память часы, сын... помни и носи...

В одной руке у Лёхи треугольный сверток — во много слоев намотанный целлофан, бурые полосы скотча. В другой — термос со свинченной пробкой. Оставив дверцу открытой, Лёха обходит «субару», на ходу запрокидывает термос, выливает в себя остатки. Отпирает багажник. Кидает туда термос, вынимает саперную лопатку. Не закрывая багажника, идет прочь от машины. Глухое рэп-бормотание. Сверток, лопатка. Шарит взглядом по мусорным долинам и взгорьям. Останавливается в ложбинке меж двух неравнозначных бугров. Озирается. Кладет сверток на бетонный обломок.

Вгоняет штык лопатки в землю....

...Трамбует им же — плашмя — рыхлую разрытую почву. Взявшись за здоровый шишковатый кусок железобетона, пристраивается — руки не проткнуть ржавыми арматурными иглами; крякает, берет вес (из-под камня ломятся несколько крупных сороконожек); аккуратно разворачивается и придавливает глыбой могилу свертка.

Пошатав туда-сюда — чуть хлюздает, но в целом устойчиво, гут, — вынимает из кармана баллончик-пульверизатор, метит каменюку загогулиной алой краски. Вытаскивает смартфон. Включает джипиэс. Получив свои точные координаты, парой касаний вбивает в память. На экранчике — карта города Энска — появляется алая точка.

Лёха идет обратно к «субару»: с распахнутой дверцей, раззявленным багажником, ярко лучащаяся изнутри, сурово и уютно бухтящая пацанским музлом, — посреди пустыря тачка кажется то ли волшебной шкатулкой, то ли инопланетным кораблем-разведчиком.

Лёха кидает лопатку в багажник, хлопает, подходит к дверце...

Сквозь суконный баритон наговаривающего на себя и родину рэпера — всхлип чужого мобильника. Короткий, тут же оборвавшийся — да и не почудился ли?.. Лёха вырубает движок (музыка и фары умирают). Пригнувшись, делает шаг-другой в темноту. Напрягает слух и зрение...

Никого, ничего.

Возвращается и падает за руль.

ЭНСК — ПУСТЫРЬ. ВЕЧЕР

Шкрябая по ухабам твердыми сверкающими щупами дальнего света, тлея угольками габаритов, автомобиль удаляется. Егор (железная труба в руке) выдирается из кустов. Дышит часто. Глядит машине вслед. Глядит на экранчик мобильного: последний звонок — «Мама», продолжительность...

Телефон оживает: «Мама» снова звонит. Но теперь звук выключен.

Егор сует мобильник в карман и ковыляет туда же, куда ходил Лёха.

...Встает над глыбой, меченой алым зигзагом.

...Пробует поднять... свернуть... толкает, надсаживается... всё безуспешно.

...Отдышавшись, вбивает под край каменюки конец трубы.

...Налегает на рычаг... давит, жмет...

...Смещает...

— Ыыыыыы!.. — хрипит на одной злой тяжелой ноте.

...Сковыривает: глыба переваливается на бок.

...Егор грязными — земля набилась под ногти — руками вынимает из разрытого тайника сверток.

...Крошечным лезвием потешного перочинного ножичка пилит многослойную целлофановую кожуру.

...Раздирает неровные краешки разреза. Зажав включенный в режиме фонарика телефон между челюстью и плечом, пропихивает внутрь свертка пальцы.

...Вытягивает за ствол револьвер системы «наган». Пара патронов падают при этом наземь, на гильзе у одного — синий крестик.

Подсвечивая мобильным-фонариком, Егор смотрит на револьвер в своей руке.

ЭНСК — ЦЕНТР, ДВОР, ПОДВАЛЬНЫЙ КЛУБ. ВЕЧЕР

Ванькин чоппер-самопал с тарахтеньем въезжает во двор-колодец. Булимические мусорные контейнеры, коты-архаты. Ванька вырубает агрегат. Слезает с седла.

Звонит в звонок на железной двери. Дверь отворяется, изнутри поверх плеча амбала-вышибалы (сегодня он в футболке с черепами и лейблом Slayer) Ваньке сразу прилетает быстрая и мощная барабанная серия в голову: тяжелый технометаллический музон, как обычно.

Амбал некоторое время разглядывает Ваньку. Отодвигается, наконец.

Ванька спешит по кабаку-лабиринту, еще полупустому: звук — как в камнедробилке, свет — как в сварочном цеху. Высматривает, щурясь от вспышек, корешей; бинго — племя наголо бритых, мускулисто-расписных в жилетках и камуфляже, пьет из тяжелых кружек пивас, оккупировав пару столов в закутке. Ванька двигает к ним, на ходу приветственно поднимая ладонь. Его видят — на взгляд первого заметившего оборачиваются и другие. Ванька широко улыбается... улыбка сползает. Племя, пиная табуреты, дружно встает и снимается — от Ваньки прочь.

— Парни?.. — недоуменно. В спины: уходят, как бы не замечая. Ванька, ошарашенный, дергается следом — последний, знакомый подзаплывший крепыш в рунической росписи, заступает дорогу.

— Лось?.. — Ванька все еще рвется туда, вслед за племенем. Крепыш Лось предостерегающе растопыривает пятерню: стоп! — дергает вбок зенками и башкой: пошли перетрем.

...Сортир — весь из ржавого металла в заклепках, как в постъядерной трэш-фантастике. Лось притворяет за собой и Ванькой дверь, сбавляя прямую точечную бомбежку до далекой канонады. Ванька — вштыренный, пузырящийся — шагает к нему:

— Лось, я не понял, чё за...

— Чшшш, — Лось прижимает палец к губам. Ванька осекается. Лось двусмысленно улыбается, разглядывает Ваньку. — Вань, ты хороший пацан. Наш. Но брательник твой — по уши в говно влез. Реально говно непонятное, но воняет... — Лось подносит пальцы щепотью к ноздрям, втягивает, смачно: — ...как говно. И про мэра еще эти слухи...

— Про какого мэра?

— Про крайнего, про какого. Про Левашова. Что братец твой на него малость припахивал...

— Лось, чё за лажа? Где Мел — а где Левша?.. — голос Ваньки против воли дает сбой, звучит чуть фальшиво.

— Да оба в СИЗО ваще-т, — ухмыляется Лось. Резко топырит пятерню, затыкая опять раскрывшего рот Ваньку; подается к нему, с напором. — За дебила меня не держи, я обижусь. Типа никто не в курсе, чё за чиксу ты сюда таскал? И чья она дочурка? — Ванька закрывает рот, взгляд его виляет от наглого, давящего взгляда Лося.

Лось удовлетворенно усмехается, постукивает Ваньку указательным в грудь. — Вань, у ребят геморроя и так хватает, чужого говна непонятного им не надо щас, сечешь? Разберемся... вонь эту мутную проветрим... — помахивает ладошкой, — сядем-поговорим... а пока просто держись подальше, да?

Еще пару секунд, ухмыляясь, сканирует Ванькино потемневшее, убитое лицо, потом как бы дружески тычет его в плечо кулаком, разворачивается, шагает к двери сортира, берется за ручку:

— Отдохни, расслабься.

...Ванька, сутулясь, фамильной развалкой идет через грохот и сполохи по зальчику. Племя теперь бух*а*ет в углу: Ванька глядит на них исподлобья — братья его полностью игнорируют. Ванька подваливает к стойке; развернувшись к племени спиной, наваливается локтями, орет мрачному бармену:

— Водки! Двести! Какая подешевле у вас!

— А паспорт у тебя с собой? — орет в ответ бармен. Ванька дергает щекой:

— Да блин — всегда в кабак с ксивой хожу!.. — бармен с недовольным видом делает движение — отвернуться. Ванька, резко перегнувшись через стойку, хватает его за рукав, второй рукой шлепает пятисотрублевую купюру. — Ну ты чё! Давай вот — без сдачи!..

Бармен, поглядев на него, как солдат на вошь, высвобождает рукав — но склевывает купюру, выдергивает из толпящейся стеклотары пузырь бюджетной водяры, с презрительным шиком, струйкой с высоты, вбивает двести в граненый стакан. Толкает к Ваньке по стойке. Ванька берет, нюхает, морщится. Высаживает залпом. Выдыхает, кашляет, утирает слезы кулаком. Сыграв скулами, разворачивается — и быстрым моряцким аллюром двигает к выпивающему племени.

Тут уж его замечают. Лось — дубль два — оборачивается, недовольно кривясь, поднимается навстречу Ваньке с табурета, разводя крепкие ладони:

— Я думал, Мельник, — ты понятли...

С воплем «ха!», еле различимым в железном потоке звука, Ванька с ходу простецким бурлацким махом сносит Лося с копыт.

ЭНСК — ЛИЦЕЙ, КАБИНЕТ. ВЕЧЕР

Ян (джинсы, полосатая рубаха навыпуск) в пустом кабинете, за учительским столом. За окном — уже обесточенный, но еще не выработавший весь ресурс закат, плотная синь и немного фальшивого золота над траченой прерывистым городским контуром линией горизонта. На столе — ноутбук, веера бумаг, телефон...

Бряк эсэмэски в телефоне, озаряется бледным светом экран. «Нина Тимуровна» — Ян касается пальцем.

«Кофе стынет...» — и троица грустно-вопросительных эмодзи.

Ян усмехается. Захлопывает ноутбук, поднимается из-за стола, тут же нагибается за рюкзаком — одной рукой что-то быстро набирая на телефоне в ответ.

ЭНСК — ЛИЦЕЙ, ВОЗЛЕ ЛИЦЕЯ. ВЕЧЕР

Яна Левашова (джинсы, тонкая кофточка) быстрым шагом проходит — почти пробегает — по коридору на первом этаже Энского лицея. Синеватый полумрак, лампы в коридоре выключены, за окнами темнеет; Яна минует расширение коридора с «уголком отдыха» и иконостасом лучших выпускников, не замечая парня в темной одежде, сидящего на корточках на подоконнике.

Парень — Глеб Янсма — провожает Яну взглядом, толкает массивную створку уже отворенного окна — и аккуратно выпрыгивает наружу.

...Яна вылетает из калитки в ограде на тротуар (позади нее виден фасад Лицея — там вместо дрим-тима Идеальных Выпускников красуется алый баннер «Все на

выборы! Избирательный участок № ...») — и сразу видит Ваньку: на той стороне улицы, наискосок — под уличным рекламным щитом с чьим-то длинным изречением, возле кучи песка и щебня (ремонт дороги!), огороженной красно-белым заборчиком с хэллоуинскими шарами-фонариками, от которых на асфальте — багрово лоснящиеся световые потеки. Не столько сидя на своем мотоцикле, сколько привалившись к седлу, спиной к Яне, Ванька курит; сигарету держит в левой.

Яна быстро идет к нему.

— Вань?.. Что случилось?..

Ванька, не меняя диспозиции, лишь странно полуоборачивается — в левый профиль, косит на Яну яростным черным глазом. Сипло:

— Поехали.

Затягивается.

— Куда?.. — Яна хмурится, разглядывает Ваньку: что-то же явно не так.

— Да все равно, — отбрасывает сигарету. — Куда хочешь.

Выпускает дым. Яна вдруг идет влево — огибая мотоцикл:

— Ты же знаешь, я не могу сегодня... меня... — Ванька замечает ее маневр, рыпается было — но не успевает. — Ванечка?.. Что у тебя с лицом?!

Вся правая половина физиономии у Ваньки — сплошной фингал и ссадина: глаз заплыл (точно как у брата в СИЗО), губа разбита, на лбу и челюсти багровые борозды. И правую руку он держит на весу осторожно: костяшки размозжены, кисть припухла...

— Ничё... — бодрая ухмылка победителя. — У этого козла хуже...

Яна шагает к Ваньке, осторожно трогает его лицо кончиками пальцев.

— У... кого?... Кто тебя избил?..

— Я ему, суке, челюсть сломал, зуб даю... — Ванька отстраняется вдруг, выдает широкую кривую улыбку (улыбаться явно больно). — Да ну никто меня не бил, Янк! Просто поспорили... друзья и едино...мыш-ш-ш...ленники... — вдруг нервно, глуповато хихикает.

Яна глядит на него с жалостью и ужасом.

— Ваня, ты... пьян?

— От любви, — широко взмахивает руками — К р-родине, нах. К л-людям...

— От тебя водкой пахнет. И кровью.

— Эт' потому что я одно... отчищал... другим... и внутрь немножко... для дезинфекции... Эт' русский по ходу запах... не нравится, да?.. — снова вскидывает руки, паясничая, будто Петрик. — Шучу-шучу-шучу!..

— Ванечка, тебе в больницу надо, — голос Яны неожиданно тверд. — В травмпункт.

Ванька шагает к ней от мотоцикла — движения его неуловимо неверны. Яна подается назад. Где-то поодаль негромко рокочет автомобильный движок.

— Да ну Янк, ну какой трав...пункт. На мне ж как на собаке... — хватает Яну за руку. — Ну давай, слуш, просто поехали уже.

Яна тянет руку — Ванька не пускает:

— Вань...

Отдаленный рокот движка мигом раздувается в грохот, слепое пятно галогенового света накрывает разом обернувшихся Яну и Ваньку, обжигает глаза, заставляя вскинуть к лицу ладонь. Визжат шины, свет и звук прыгают к Яне и Ваньке, вдруг оказываются близко, рядом, вплотную. Ослепленные, оглушенные, они шарахаются вбок — на голом инстинкте. Окатив обоих воздушной волной, темный, назойливо затюнингованный, «заделанный» БМВ неновой модели врубается в Ванькин чоппер, опрокидывает его и сносит. Дребезг, скрежет, искры, дробный стук — как от раскатившихся бусин; летит в сторону, подпрыгивая и азартно вращаясь, что-то сверкающее, хромированное...

ЭНСК — САЛОН БМВ, МОСТОВАЯ ВОЗЛЕ ЛИЦЕЯ. ВЕЧЕР

В салоне срубившего Ванькин мотоцикл и резко затормозившего БМВ мяукает мусульманская музыка, раскачиваются под зеркалом хвостатые четки. Двое молодых, лет по 20, парней на передних сиденьях, сзади — еще один (бородка, спортивная фигура)... и низенький рыжий пацан — Аслан Тамилмирзоев. Через лобовуху видны замершие в снопе света Ванька и Яна.

Парни на передних сиденьях, распахнув дверцы, резко вылезают — в руках у одного дубинка, у водителя — кастет. Парень на заднем тоже распахивает дверцу — в руке у него бита; Аслан хватает парня за рукав:

— Дамир, может, не надо?.. — на гортанном, горском языке; аварском?

Дамир ошпаривает Аслана взглядом:

— Если ты овца, а не мужчина, то конечно не надо. Ну?

Аслан нерешительно глядит на Дамира — тот выдергивает рукав.

— Давай, младший, — вылезает.

...Ванька, щурясь и прикрываясь рукой, видит, как шагают к нему, подсвеченные с тыла, трое парней. Четвертый — на разбитом лице Ваньки мелькает удивление и понимание — Аслан; рыжий хоббит мнется сзади — явно уже не рад, что инициировал эту месть.

— О, шакал, тебе хлебало подправили уже? — восхищается Дамир на ходу, разглядев Ванькину физиономию. — Так я добавлю — за брата...

Ванька, не тратя времени на полемику, разворачивается к Яне: у Яны — неожиданно собранное, жесткое лицо, она как раз вынимает из кармана телефон. Во взгляде и мимике Ваньки проскакивает мгновенное недоумение, — кажется, он ожидал увидеть свою девушку какой-то другой; но осмыслить это нет времени — Ванька слегка толкает, отпихивает Яну, гаркает:

— Беги! Быстро!..

Яна не обращает на Ванькин толчок и слова внимания. Быстро шагает вперед и вбок — будто шахматным конем ходит, огибая Ваньку. Кричит, поднимая руку с телефоном — экранчиком к нападающим, виден номер 112 и символ производимого набора:

— А ну пошли отсюда! Я в полицию звоню!..

— Держи сучку! — по-русски бросает Дамир корешу с дубинкой. Тот подается к Яне — она шарахается. — Дамир прыгает на Ваньку с воплем, занося биту, — кореш-два, с кастетом, набегает сбоку. — Ванька уворачивается от биты, хватает сегмент красно-белого заборчика, страшно и слитно орет:

— Уроюсукавсеховцедрочеры!..

Делает ответный выпад — треугольными остриями досок. Дамир отмахивается, херачит по доскам битой. Кореш-один настигает и толкает Яну — она летит на асфальт, светящийся смартфон падает из ладони в кучу земли, гравия и асфальтовых фрагментов — дзенькает, разбрызгивает стекло и пластик, рикошетит в ремонтную яму. Кореш-два сбоку налетает на Ваньку, рубит кастетом — Ванька кидает в него заборчик, тут же догоняет отшатнувшегося противника длинным ударом левой. Но с другой стороны уже наседает Дамир — перетягивает Ваньку битой поперек корпуса, Ванька глухо, жутко вскрикивает и падает на колени. Дамир замахивается снова, мочит битой изо всех сил...

Снаружи, извне — застывший за пределами хаоса и бессмыслицы драки — с ужасом глядит приоткрывший рот Аслан.

...Кореш-один прижимает Яну к асфальту — та отчаянно отбивается, вырвав руку, полосует его когтями по роже — парень яростно взвизгивает, замахивается рукой с дубиналом: перетянуть строптивую девку уже не сдерживаясь... И вдруг его будто

грузовик сшибает: кореш-один катится по асфальту, дубинал отдельно. Яна смотрит снизу вверх — там, вверху, обнаруживается учитель истории Ян Иванович Неверов. Бросает быстрый взгляд — и тут же, вместо чтоб протянуть руку, — исчезает из поля зрения. Яна приподнимает голову: Ян уже возле Дамира и кореша-два. Те увлеченно избивали упавшего Ваньку — и не успевают перестроиться, Ян же действует удивительно быстро и эффективно для интеллигента-ботаника. Ударом ноги в бедро опрокидывает на асфальт Дамира с битой, уклоняется от выпада кореша с кастетом — и сшибает его крепким хуком...

Секундная пауза повисает, как капля, и тут же, на глазах, набухает новым действием. Яна, сжимая и разжимая ладони, поднимается с асфальта; копошатся избитый Ванька и оглушенный Яном кореш-два; подбирается сбоку кореш-один — боком, по-крабьи, без дубинала, но злой; вскакивает на пружинках и широко заводит для удара биту оскаленный Дамир... — и вдруг на нем повисает Аслан, оплетает по-обезьяньи, цепляется за биту, вопит отчаянно:

— Дамир, нет! Это учитель наш! Учитель!..

ЭНСК — КВАРТИРА ФАСОЛЬКИ. ВЕЧЕР

С трудом, по-стариковски гудит холодильник. Захлебывается — становится слышно тиканье настенных часов. Сглатывает и снова гудит.

Яна и Ян — на тесной кухоньке, втиснутые на стулья возле откидного — от подоконника, от облупившейся батареи — стола. Молчат: Яна нервничает, Ян — на вид спокоен. Косится на Яну. На холодильник. К дверце прилеплен буквами-магнитиками пожелтевший ватман формата А3, на нем — рисунок гуашью не то пастелью: черноглазый брутальный парень в черной флотской форме и бескозырке. Отдает честь, ленточки бескозырки взвиты ветром, синие полосы тельняшки рифмуются с синей условной разметкой акватории за спиной парня — в ней громоздится серый супермегагиперлинкор, проштампованный триколором и красной звездой, ощетиненный жалами орудий, паутинными локаторами, пакетами ПКР и ПЗРК. Называется полотно — «Брат». Подписано — «Мельник Иван, 6-й А».

Распахивается дверь, входит Фасолька — еще тоньше и бледнее обычного. В руках подтекающий красным влажный марлевый ком, одноразовый шприц, сломанная пустая ампула, жестяной тюбик мази, металлическая миска с розовой водой — всё ловко, в охапке. Фасолька прикрывает дверь за собой движением локтя — но кухню успевает сбрызнуть едкой пеной музыкальной волны на излете — что-то агрессивное, кажется, «Кровосток».

Яна вскидывается, Ян спрашивает быстро:

— Ну как он?

Фасолька уже у раковины — быстро запихивает мусор в мусорник, миску в раковину, пускает воду.

— Я повязки с вишневским сделала, анальгин вколола... — споро отмывая миску, оглядывается, видит напряжение на лице Яна, убедительно: — Янчик, ну я все-таки год сестрой отпахала — в Гудермесе причем... Всё у него важное цело... — болезненно улыбается. — Ему поспать, а он не хочет... Музыку врубил...

— Оль, я бы все же вызвал скорую. От греха.

— Он не хочет, — повторяет Фасолька слегка беспомощно. Перекрывает кран, вытирает ладони полотенцем, врубает электрочайник. Вообще как-то хлопочет руками, будто не знает, куда их деть.

— Ольга Тарасовна, можно мне к нему? — громко говорит Яна, глядя прямо на Фасольку.

— Упертый — жуть, — Фасолька словно бы не слышит Яну. — Они... оба у меня

такие... в отца. Роберт, знаешь — все время повторял, что он настоящий десантник... Безбашенный и безмозговый... — Фасолька криво усмехается, вдруг смахивает тыльной стороной ладони навернувшуюся слезу. — Ох, Янчик, прости пожалста...

— Оль, ну как минимум — если его тошнить начнет... или температура вверх полезет... вызывай скорую сразу. Не тупи. Ванька — пацан, круче только яйца, ты-то чего на подростковые понты ведешься...

— Да конечно я вызову, — Фасолька берет себя в руки. — Прости, Янчик, это... всё вместе просто. Я не такая идиотка, как-то же двоих вырастила.

— Да отлично вырастила.

Фасолька морщится, коротко машет рукой: брось. Ян смотрит на нее исподлобья.

— Оль. Я бы и ментов вызвал.

— Нет, — голос и лицо Фасольки вдруг становятся предельно жесткими.

— Оль, это другая история. Не Вадькина. И у нее может быть продолже...

— Никаких ментов! — таким взглядом стакан воды можно вскипятить. Ян секунду-другую выдерживает его своим встречным, потом пожимает плечами:

— Что у Вадима слышно?

— Я не хочу об этом.

Ян вскидывает ладонь: мол, хозяин — барин. Фасолька, спохватившись, смягчается:

— Прости, Янчик...

— Я понимаю.

Электрочайник, достигнув пика, вырубается.

— Я хочу зайти к Ване, — вдруг говорит Яна очень спокойно и четко. Ян смотрит на нее, на Фасольку.

Но Фасолька будто бы опять ее не слышит — обращается к Яну:

— Нет, правда — это нервы всё... Может, ты хоть чаю попьешь?

— Да не ст*о*ит, — Ян смотрит на Фасольку озадаченно; переводит непонимающий взгляд на Яну — у той резко очертились скулы, а из глаз невидимо, но ощутимо заструились вымораживающие воздух змейки.

Фасолька лезет в дээспешный шкафчик.

— И водки немного есть, — информирует, добывая ополовиненную флягу беленькой. Ян молчит, морщась и хмурясь.

— Ольга Тарасовна, — голос Яны на грани срыва или взрыва. — Я вас чем-то обидела?

— Не хочешь? А я немножко выпью. И к Ванечке пойду, — Фасолька опять обращается к Яну, Яне — не отвечая и даже на нее не глядя. Набулькивает себе водки в стаканчик; видно, что рука ее дрожит. — Спасибо тебе, Янчик, ты вообще просто заходи в любое время, поговорим хоть нормально, не как щас...

Вливает в себя водку.

Ян встает.

— Оля... — ровно. — Почему ты делаешь вид, что Яны здесь нет?

— Кого? — голос Фасольки тоже ровен. Она ставит стаканчик в раковину.

— Яны. Левашовой, — Ян, терпеливо. — Это дочь твоей одноклассницы. Подруга твоего сына. Между прочим, она за него только что дралась, не убежала — я сам видел... Вот она сидит, — указывает пальцем на побледневшую, помертвевшую Яну. — Почему ты себя ведешь, как будто ее не существует?

Фасолька так и не поворачивает к Яне головы, не касается ее взглядом. После короткой паузы, без выражения:

— Для меня, Янчик, всей их семьи прокл*я*той больше не существует.

ЭНСК — СКВЕР, НАБЕРЕЖНАЯ, УЛИЦА ВОЗЛЕ ЛИЦЕЯ. ВЕЧЕР

...Набухает, лоснится капля — оформляется в крупный, чистый страз. Два страза, синхронно — на густых ресницах Яны. Веки ее крепко сведены, и все равно просачивается предательская влага, наливается, округляется, теряет форму, скатывается по проторенным влажным дорожкам — вниз по лишенному выражения, обесточенному красивому лицу. Просачивается снова...

— Тезка, вы в порядке? — голос Яна.

Яна быстро отирает лицо тыльной стороной ладони, распахивает влажные глаза, оборачивается, наскоро улыбается:

— Ага.

Яна стоит на набережной Большой Воды, крепко-крепко вцепившись в перила. Желтоватый, мутноватый, будто плексигласовый колпак света накрывает ее сверху — брошенный одним из фонарей, что стоят цепочкой вдоль набережной. На плечи Яны накинута куртка Яна. Сам Ян, в рубашке, быстро подходит: в одной руке пластиковый стаканчик, обмотанный салфетками, в другой — початая крохотная, стограммовая бутылочка с карей жидкостью. Стаканчик он протягивает Яне:

— Пейте.

— Что это? — перенимает стаканчик, нюхает.

— Тут, — Ян демонстрирует пузырек, — коньяк. Тут... — показывает на стаканчик, — горячее молоко с сахаром. Вместе называется чай по-архиерейски.

— Вообще я... не пью...

— Вообще правильно делаете. Но конкретно сейчас — пейте.

Яна смотрит на Яна с сомнением. Потом осторожно пробует. И еще.

— Вкусно.

— Еще бы не вкусно. Миллионы монахов не могут ошибаться.

Яна делает еще глоток.

— Давайте залпом, — Ян, свинтивший крышечку пузырька, сам делает микроглоток чистого коньяку. Яна вливает в себя теплое хмельное пойло. Ян странным — болезненно-нежным, будто у вампира-толстовца — взглядом смотрит на ее тонкую длинную шею под запрокинутым подбородком. Яна допивает, прислушивается к себе.

— Ну что? Отпустило немножко? — Ян, снова корректный, старший, застегнутый на все виртуальные пуговицы.

— Да... Наверное... — Яна, быстро улыбнувшись, косится на учителя, переводит взгляд на Большую Воду; замирает; впитывает вид молча, как впервые.

Вид — уже вполне ночной — темен, темнота ворует у мира размер, делая его разом непроглядным и необозримым. На черную, латексную воду брошены, раскатаны от Того Берега до Этого зыбкие штрихованные рулоны разноцветного света — и когда налетает быстрый сумбурный ветер и треплет белесые вихры акватории, кажется, что это не электрические огни намазаны на зыбь гавани — а изнутри ее, из глубин, сияет тайный свет залегшего на дно Китежа. Ветер разогнал дневные слоистые облака, метет остатки — меж редких ватных ошметьев зудит мелкая и частая, пубертатная звездная сыпь. От труб ТЭЦ тянется за облаками и не успевает косой желтушный дым. Над трубами НПЗ стоят, как башни, призрачные факелы. Колеблется, сокращаясь и растягиваясь, ожерелье огней Того Берега, скупо и функционально высвечен порт, переливается брошь бизнес-центра (несколько претенциозных стеклянных кубиков), меж двух тусклых фабричных термитников — черный-пречерный пробел пустыря, так и не ставшего кузницей атомных суперторпед.

— Как красиво, оказывается, — Яна, совсем тихо.

Ян — глядевший на Яну сбоку — пожимает плечами:

— Красиво, — шагает к перилам рядом с Яной.

— Знаете... у меня за этот последний год... как папу... посадили... такое чувство, что половина людей вокруг... не просто изменились — а... Как будто из них жерди какие-то полезли... как в фильме ужасов... как будто они, не знаю... оборотни. Вот был только что человек — а тут бац, и башка волчья... и слюни с клыков капают... — вдруг нервно хихикает. — Ну или это типа я оборотень. Перекинулась — а они меня от испуга вилами фигачат. Или убегают с воплями. Типа я прокаженная... — снова хихикает. — Зашквар чебурашки... — поднимает странно мерцающий взгляд на Яна. — Вы, наверно, не понимаете вообще, про что я...

Ян грустно кривит рот.

— Ян Иваныч, люди разве меняются... ну, вот так вот — вдруг?

Ян — после паузы, не глядя на Яну:

— Я вообще не думаю, что люди меняются.

— Тогда что — они все раньше притворялись? Сейчас притворяются?..

Несколько секунд идут молча.

— Яна, вы же термин «темная материя», наверное, слышали? — Ян, вдруг, почти деловито.

— Ну да.

— Физики вот доносят — Вселенная из нее состоит то ли на две трети, то ли на три четверти. Только мы ее не видим — ни глазами, ни... — Ян прищелкивает пальцами: ищет слово: — ...локаторами... никакими. В принципе не воспринимаем. Как бы ее нет. А она есть. Ее тут...— обводит окрестности руками, — ...вообще большинство... — смотрит на Яну искоса. — Люди — такие же. Состоят из темной материи в основном. Что в нормальных обстоятельствах — никак не проявляется. А потом... — взмахивает руками, — бабах. Большой взрыв. Экстремальная ситуация. Человек оказывается под высоким давлением. Вдруг. И вся эта темная, неведомая масса — тут-то из него и вылезает... — умолкает; после паузы: — Короче, не берите в голову.

— Почему вылезает одно дерьмо? — Яна, стеклянным голосом. — Почему не хорошее что-нибудь?

— Хорошее тоже, — Ян устало пожимает плечами; из него словно пар вышел; становится видно, что ему в рубашке холодно. — Просто редко. Хорошее, Ян, как правило, не прячут... Так что — это нормально.

— Вас послушаешь — вообще всё нормально. Вот по человеку же вообще невозможно заранее понять, что из него вылезет... Это тоже нормально?..

Ян — тускло:

— Да человек ведь обычно и сам не знает.

Опять шагают молча — в ближней перспективе аллеи уже видна освещенная улица, большие дома...

— Как-то у вас жутко выходит, — говорит вдруг Яна. — Из кого угодно может вылезти что угодно. А он типа даже не виноват.

— Почему — жутко? По-моему, наоборот... обнадеживает... Настоящих прирожденных злодеев — ничтожное меньшинство. Не больше, чем настоящих святых. А остальных просто не надо ставить в экстремальную ситуацию. Под давление. И будут люди как люди.

Анастасия Кинаш

Рыбачь, пока живой

* * *

И любили тоже, как умели: неуклюже, жертвенно, не впрок.

Вдоль дороги наклонялись ели да тянулись в небе еле-еле облака обоймой на восток.
Куталась в платок, дрожала мама, дед глядел на голые поля, и звенела
ледяным тамтамом
(так на кухне дребезжала рама) — мартом не согретая земля.

Жаль, любили только зря, украдкой, неживое пряча в закрома.
Видеокассеты и тетрадки, запах храма приторный и сладкий, горе не от сердца — от ума.

Так живу, пытаюсь громче плакать, целовать не в щеки — сразу в лоб.
Пришиваю тщательно заплаты, берегу умов свои палаты и с тупой тоской гляжу на гроб.
Каждый раз беспомощней тревога, каждый час безропотней тоска...

Ёлки и сугробы вдоль дороги, звон над головой протяжно-строгий,
мамина озябшая рука.

Это всё любви напев неясный, необъятной жуткой нелюбви.
Чтобы сильно было и напрасно, чтобы таял дымом в небе ясном шёпот заговорный:
оживи

Итого

Остаётся немного
И на смех, и на плач.
Я смешна и убога,
Пустотела, как мяч.

Пустомеля, и надо
Мне забросить слова.
Что замерзшему саду
Под сугробом трава?

Что зеленые звёзды
Побирушке зимой?

Жизнь отходит бесслёзно,
Смерть приходит домой

И садится без спроса
На потёртый диван.
Всё не так, по откосу,
Вкось, куда-то в туман...

Остаётся так мало...
Небо смотрит в окно.
Оно тоже устало,
Ему тоже темно.

Кинаш Анастасия Александровна родилась в 1995 году в Белгороде. Студентка филологического факультета НИУ БелГУ. Лауреат VI Международного литературного конкурса К.М.Симонова. Живет в Белгороде. В журнале «Дружба народов» печатается впервые.

* * *

Внутри у рыбы темнота
И божие слова
Лови их,
Скупо бормоча:
Не та,
Не та,
Не та.
Бросай их на песок,
Бросай.
Курганы строй из рыб.
Внутри у каждой — рыбий рай
Болит,
Болит,
Болит.

Лови их, глупых, и калечь,
Крючком
Ломай
Хребты.
Внутри у рыбы — божья речь
И море
Темноты.

Учись душить их рыбий плач,
Тяни
Наверх,
Наверх.
Рыбачь, пока живой, рыбачь.
Заставь
Звучать
Их всех.

* * *

Счастье, оно такое — не спрячешь в ящик,
Даже не зарисуешь карандашом.
Милая мама, зря ты так горько плачешь,
Мне хорошо,
Правда же,
Хорошо.

Видно, сегодня шторм протаранит море.
Тихо. И солоно, солоно,
Соль,
Соль,
Соль.
Счастье, оно такое — почти как горе,
Та же в гортани боль.

Мама, смотри, смотри, я почти привыкла,
К этому телу, делу, морской воде.
Чайка смеётся в южном закате хрипло.
Хуже уже нигде.

Счастье, оно такое — без дна и края,
Но у тебя крупица, кусок на раз...
Милая мама, счастье не умирает.
Просто оно не в нас.

Юрий Серебрянский

Алтыншаш

Повесть

1

Генка выбежала на крыльцо в одном платье. Посмотреть, как лошадь приведут из конюшни и та станет думать, зачем ее подняли так рано, а когда она думает, смотрит бешеным глазом, испуганным. Это очень смешно. Как только дедушка начнет крепить оглобли, лошадь сразу все поймет и успокоится. Генка успела. Лошадь стоит у самого крыльца и фыркает росой, наверное, она гораздо больше любит есть сухую траву. Зимой только сухая трава. Странная зимняя лошадь. Генка поскользнулась на влажном деревянном полу, чуть не упала. Посмотрев на бешеный глаз, вернулась в дом, чтобы успеть одеться.

— Геня, — позвал дедушка с улицы.

Он помог ей забраться в телегу. Просто взял и поднял ее в телегу. Никто уже этого не делал, кроме дедушки. Как маленькую, хотя она давно уже была большая и не только помогала, а и работала вовсю по дому. Другие были маленькими. В деревне необычайно короткое детство. Для мальчиков оно заканчивается первой зарубленной курицей, для девочек — заботами по дому, после которых играть нет сил. Но с дедушкой можно быть маленькой. Телега едет по самому краю дороги, дедушка старается не попадать в колею, где жидкая грязь, чтобы не застрять. Но телега то и дело пытается сползти в колею. Лошадь тянет бодро. Утром нет слепней, они налетают ближе к полудню, когда становится жарко. Высокие стебли жесткой травы хлещут телегу по бокам, а вьющиеся стараются уцепиться, словно щупальца зеленых чудовищ, но Генка сидит посередине и слышит только этот звук, и еще мучает приторный запах сока стеблей. Грустные старые бани, похожие на сгорбленные дома-старички, за которыми огороды спускаются в лог, и там уже начало леса. Реки отсюда еще не видно. Она за полем.

Дед руку никак не выпускает из своей. Генка елозит ладошкой, разминая глину его руки, как будто это ямка в обрыве берега. Там, где играли: прокапываешь немного, потом глубже и расширяешь. И за каждым разом к речке спускаешься смачивать пальцы. Наконец Генка выдергивает ладонь и бросается обратно к опушке леса.

Юрий Серебрянский — прозаик, поэт. Родился в 1975 году в Алма-Ате. Окончил Казахский государственный национальный университет, получил диплом химика-эколога. Постоянный автор «ДН». Дважды — за повести «Destination» («ДН», 2010, № 8) и «Пражаки» («ДН», 2014, № 9) — лауреат «Русской премии» в жанре «Малая проза». Живет в Казахстане. Предыдущая публикация в «ДН» — «Казахстанские сказки» (2016, № 8).

* Алтыншаш — в переводе с казахского языка «золотые волосы», характерное для казахов составное женское имя.

Оборачиваясь, видит спину дедовой рубашки, и блестящую от утреннего солнца поверхность реки внизу, и лес, деревья на той стороне. В лицо бьет щедрый запах травы и собственные волосы, в шесть лет нестриженные.

Дед не обернулся. Знает, что ничего не произойдет, и знает все, что произойдет. Вот она сядет играть на опушке, вот она идет по тропинке, слушая, как с треском падают где-то в кронах ветки. Вот она осторожно нюхает муравейник. Вот и тропа выходит мимо бань и кривого забора к деревне. Дом с крыльцом и палисадником, в котором растет вишня и все время жужжат пчелы, хотя цветов там нет. Вот она молотит босиком по ступеням, заходит на кухню и намазывает мед на кусок белого хлеба. Садится за стол на самый край стула, неудобно, но ей удобно. Наклоняет голову и золотистые волосы липнут к меду.

2

Состав останавливали часто, но будет ли остановка долгой или короткой, понять невозможно. Никто не сообщает. На второй день пути пассажиры начинают прикидывать, стоит ли попробовать успеть развести огонь и что-нибудь приготовить или выстирать пеленки?

Вагон, в котором едет семья Генки, большой, деревянный, но для людей мало приспособленный. Когда только сели в него, папа подсадил Генку и Романа, Генкиного младшего брата, на второй ярус нар. Воздух заполнен запахом коровника. Высоко. «Зато через эту щель в стенке можно будет и наружу выглянуть и воздухом подышать», — подумала Генка.

В вагоне полутьма. Сколько ехать?

Если станция — стоять долго. Если на путях — никто сказать не возьмется. На долгой остановке можно успеть сварить полевку — похлебку. Генке похлебка и даже килбаска не важны совсем, на долгих остановках она пробегает расстояние в пять вагонов за две минуты, ловко огибая солдат в защитного цвета форме и людей, выпрыгнувших из вагонов на насыпь. Добежав до вагона, в котором едут дедушка вместе с коровой Малиной, снаружи точно такого же, она заглядывает внутрь, туда, где невыносимо воняет скотиной, и дедушка говорит ей ласково и тихо: «Геня». Дед стал совсем на себя не похож. Дома он командовал всем, чем можно было командовать. Папой и мамой, курами, коровой, соседями и поросенком, который прижимал уши и щурился от своей глупости. Однажды, когда поросенок бушевал, оставшись один, и мешал Генке спать, дед пошел и наорал на него, но не просто наорал, он рассказал поросенку подробности того, что стало с его маткой, свиньей. Вот таким был дед. Раньше.

«Раз корову разрешили взять, значит насовсем нас гонят». Мама ругалась на дедушку за то, что он сказал это. Плакала. Она почему-то поняла, что дедушка теперь другой и можно кричать на него, и она на него кричала.

Иногда дедушка протягивает ладонь в щель между досок загородки вагона, и Генка трогает его ладонь и потом смотрит на морду Малины, но ее черных глаз в темноте вагона не разглядеть.

Потом Генка, развернувшись, бежит по щебню, или пыли, или траве обратно, к своему вагону, под взглядами военных, которые обращают внимание, но молчат. Постоять там на свежем воздухе. Запах сразу же стал не таким, как дома, хотя часто поезд стоит на разъездах в лесу, так похожем на тот, домашний.

На десятый день пути, когда Генка прибежала к дедушке, состав стоял на какой-то станции с кирпичным домом в форме маленького дворца. У крыльца, в саду, аккуратно, в два ряда росли деревья, покрашенные так, как будто это были школьницы в белых гетрах, торжественно встречавшие поезда. Генка увидела печальные глаза Малины сквозь щели и поняла, что дедушка переселился в нее, чтобы не мучиться голодом и вонью. Корова и дедушка стали теперь единым целым.

Когда все слезали с вагонов на насыпь, чтобы постоять вместе с поездом, а папа говорил — «лес какой-то, станции нет, короткая остановка» и протягивал руки для того, чтобы снять ее с нар, Генка самостоятельно спрыгивала на пол вагона, потом ловко, уже при помощи папы, спускалась на насыпь и заглядывала под вагон. По той стороне идут ноги солдат — патрулей. Их сапоги. Грязные огромные голенища. Иногда они останавливаются и курят. Хочется забраться под вагон, как она делала на долгих стоянках, туда, где никто не видит и можно представить себе тишину. Только здесь тихо и не страшно. Потому что шум означает тревогу и страх. Даже когда люди в вагоне молчат, тишины там нет никакой. В вагоне едет не только Генкина семья. Людей много, и Генка многих знает. Часто представляет себе тишину. Скучает по той, домашней. На стене комнаты остались тикать часы.

3

Иногда мама залезает к ним на верхние нары, и приходится пускать ее к щели-окну, потому что маму укачивает в поезде и ей становится дурно. Тогда Генка ложится с ней спина к спине и считает дырки в крыше вагона, сквозь которые падают лучи света, стараясь не думать о запахе. Пахнет уже не коровником. Так пахнет, когда много людей долго едут в закрытом вагоне и щели слишком маленькие, чтобы проветривать помещение. «Банка номер двадцать два. Ужасная вонь», — думает Генка, мысленно складывая этот запах в одну из банок в своей голове. Думает о том, как пахнут эти лучи в щелях. Неужели только эта танцующая пыль?

Дело в том, что все запахи в мире уже существуют, бывает, что они смешиваются и появляется какой-то новый, но он хиленький, неестественный. Запахи должны оставаться в тех местах, которым они принадлежат. Все увиденное и услышанное Генка сохраняет в голове в виде запахов. Так проще всего, и можно вспомнить любую картинку в голове, вспомнив запах, и невозможно ничего потерять. Яблоко могут отобрать, а запах яблока никто не отберет. Баночки с запахами располагаются в ее голове в большом помещении с открытым окном и колышущейся на ветру белой занавеской. Здесь ничем не пахнет. Можно взять с полочки любой из запахов, закрыть глаза и почувствовать, что угодно. В любой из баночек есть какой угодно запах. Это секрет. Генка и сама не знает, что где лежит. Но у этой точно номер двадцать два. Не открывать банку!

Закрыть глаза и сделать так, что возникнет любимый запах подушки утром. Или пирожков на столе. Или холодной воды в ведре, принесенной из колодца. Запах, как будто краска, которой Генка моментально рисует картину в голове, и если бы были под рукой настоящие краски, она нарисовала бы все и по-настоящему.

4

У тети Терезы и дяди Бронислава зимой родился малыш, мальчик. Дом у них был с синим забором. Мальчика назвали Эдуардом, и он родился через полтора года после Романа, младшего брата Гени. Эдик больше всех не хотел ехать в этом поезде. Он плакал часто и ночью. Он вообще не различал день и ночь. Хотел вернуться в дом с синим забором. И еще он хотел ехать в чистых пеленках, и ему не нравились этот вагон и много незнакомых людей вокруг. У дяди Бронислава слишком времени уходит на то, чтобы набрать воды в ведро в вагоне-цистерне на станции, очередь большая. Он все время не успевал ее принести и уж тем более согреть на костре. Пеленки оставались грязными до следующей станции. Но в этот раз успел, и пока Генка бегала проведать вагон-коровник, дядя Бронислав развел огонь и поставил ведро сразу с пеленками. Генке доверили держать на руках Эдика. Он молчал и наблюдал за всем довольно равнодушно и мирно. Тетя Тереза стала стирать пеленки прямо в ведре над костром. Генка почувствовала на плечах руки папы, подхватившего ее, отдала Эдика дяде, и все

оказались в вагоне и тотчас же покатились. Солдат крикнул что-то тете Терезе, она начала вытаскивать пеленки, словно большую разварившуюся серую лапшу, но солдат тянул ее в поезд, и она упала, опрокинув ведро и уронив все пеленки, поднялась и побежала, зажав в руках только одну, с которой капала на землю вода все время, пока тетя Тереза догоняла поезд.

Следующей ночью Эдик подслушал, как она тихо плачет, и решил дальше не ехать. Он решил насовсем остаться на опушке рощи, где росли кусты и закрывали его от поездов. Вот застучали стыки вагонов и снова качнуло, а Генка смотрит и пытается запомнить это место. Мелькнул столб, еще один, еще, быстрее, и остался в голове тонкий и кислый запах раскопанной сырой земли.

5

С самого утра поезд едет по этому открытому пространству. Боковой ветер продувает вагон, иногда налетая вихрем, свистящим в щелях. Время от времени по сторонам попадаются белые грязноватые пятна, издалека похожие на ледяные поля. Мосты через какие-то мелкие речушки, и столбы, бесконечные и одинаковые. Всё, кроме этих столбов, уже поменялось вокруг. Тайком отодвинув мамину свернутую кофту, закрывавшую на ночь щель — окно, Генка, от нечего делать, считает столбы. Они напоминают великанов с одной, выставленной в сторону ногой или танцоров, ожидающих музыку. Иногда дорога делает такой изгиб, что становится видно то хвост, то передние вагоны. На остановках, когда можно слезть с вагона, люди оглядываются вокруг. Незнакомая трава в степи пахнет дикостью и тревогой, какая бывает перед самым заходом солнца, в сгущающихся сумерках. В темноте степь оживает. Крики птиц и треск цикад как будто на другом языке. Костер, разведенный у полотна в самом конце поезда солдатами, днем угадывается по мареву, а по мере того, как сгущается темнота, становится похож на петушиный хвост. Наступает момент, когда костер и закат одинаково бордовые, и непонятно, где солнце — там, у этих солдат, или оно уходит. Генка стоит на насыпи рядом с мамой, и ей страшно за солнце, которое могут потушить. Только бы поезд не тронулся именно сейчас. Она сжимает мамину руку изо всех сил. Наверное, мама чувствует то же самое. Поезд отъезжает глубокой ночью, а к обеду следующего дня уже стали появляться небольшие лесочки то с одной, то с другой стороны. Они были похожи на пролетающие облака, если представить, что степь — небо. Можно смотреть так на них целый день, но поезд вдруг останавливается. Ветра нет. Маленькая станция. Покосившийся забор. Несколько строений. Солдаты дают сигнал всем выходить из вагонов. Пробрасывают настилы для того, чтобы спустить скотину. Поезд стоит полукругом, он длинный, и видно, как из вагонов выпрыгивают люди, и одни подают, а другие принимают вещи, связки с вещами, какие-то крынки, детскую коляску с белыми колесиками, мятый чемодан. Папа говорит, что всё. Приехали. Вокруг шум голосов. Какая-то женщина зовет Франца. Дети держатся взрослых. «Почему у нас так мало вещей», — Генка разглядывает соседей, чей мальчик оставлен держаться за ручку большого чемодана.

Как и все остальные, родители собирают все вещи в кучу недалеко от барака.

— Есть у твоего отца закурить? — какой-то мужчина подошел.

— Сейчас посмотрю, — отвечает папа и развязывает дедушкин вещевой мешок.

На горизонте над степью миражи. Здесь очень сухая жара. Мама боится змей и подняла ноги от земли, забравшись на вязанки вещей, лежащие на пыльной земле. На небе ни облака. Оно очень высокое и прозрачное. Ночевать придется прямо здесь. На станции. Под небом. Утром обещают всех отвезти в новые поселки. Нужно будет расселяться в дома. Так сказали. Кто сказал?

Котелок со шкварками так и стоял, заваленный вещами в вагоне. Или мама специально его забыла? Вкус и запах дома. Вечером сильно холодает, и пищат комары кругом.

В тракторной повозке уместилась и еще одна семья, родители о чем-то перекинулись парой слов с теми взрослыми. Генка сидит рядом с мальчишкой, чуть младше себя. Он смотрит на нее все время боковым зрением и молчит насупленно. Генка отвернулась и увидела, как поезд становится маленьким, превращаясь в змею, лежащую на самом краю горизонта. Мальчишка спит, и голова его облокотилась на Генкино плечо, а когда повозку трясет, он во сне хватает ее больно за локоть. Но будить не стала. Стерпела. Рука отца служит опорой ее спине, и от напряженной руки идет тепло и спокойствие. Хочется спать и выспаться в новом доме, до которого еще час ехать.

6

Почему именно здесь? Тот же самый вчерашний вопрос. Интересно, где границы поселка, если границ никаких нет и видно очень далеко вокруг? Мальчишка давно проснулся и даже не понял, отчего ему было удобно. Земля покрыта низкой травой, и сухой, и зеленой вперемешку. Дикий степной запах. Ходят солдаты и собирают мужчин ставить палатки из белой и темно-зеленой ткани. Белые — небольшие, а зеленые — огромные. Генке раньше не приходилось видеть палатки. Это очень забавно. Дом появляется из каких-то свертков.

Папа сказал, что нужно идти в ту белую палатку. Страшная тайна раскрыта — эти палатки и есть дома. Люди молчат и едят вечернюю похлебку у маленьких костров между палаток.

Ткань палатки пропускает только свет костра, возле которого — театр теней. Что-то обсуждают. Руки и кепки похожи на клювы гусей и шеи жирафов.

Паук перед самыми глазами. «Хорошо бы, если это был бы наш паук, который в одежде прятался». Дедушка не позволял маме ловить и гонять их. Даже паутину не трогал, на что мама уже согласиться никак не могла. Кажется, Генка узнала этого паука. Он домашний.

Вчера она видела, как выводят коров и что Малина шла с другими. И дедушка с ней. Завтра пойдет поздороваться. В палатке надышали и тепло. Роман давно спит. Папа на улице.

7

— Папа, зачем они так тепло одеты?

Генка дергает отца за рукав, чтобы он обратил внимание на группу людей, державшихся в стороне и от приехавших и от солдат. Уже потом Генка видела таких людей на фотографиях, на черно-белых снимках. Но они были какого-то своего, серо-коричневого цвета. Ничего яркого. Молча смотрят, сощурившись, держа плетки с длинной деревянной рукояткой и помахивая ими. То ли нервничая, то ли собираясь вот-вот уехать. Непонятно, как они относятся к приехавшим. Да и к солдатам, и вообще ко всему вокруг. Говорят что-то друг другу, наклонившись, вполголоса.

— Ночью здесь холодно, а они там живут, — отец показал в сторону горизонта.

— А мы как будем здесь жить? — Генка схватилась за грубый борт повозки, оторвав резко руку, когда почувствовала под ладонью занозу. Так, чтобы не заметил отец.

— Будем жить, — сказал отец, — там же жили, и здесь не хуже будет.

— А когда мы поедем назад? — этот вопрос Генка придумала не сама, она услышала его от мальчишки, которого принимал на руки его отец из вагона.

Все прибывшие оглядывались на этих людей из степи, вытаскивая вещи из повозок. Пятеро. Один из них — старик с седой длинной бородой клином, а шапка у него кожаная — конусом. Отороченная мехом. Он спрыгнул на землю и, держа топтавшегося коня под узцы, что-то резко скомандовал. Двое солдат нервно оглянулись.

8

Раньше дядя Антон приходил к нам каждое каждое утро. Жил он по-соседству. Это надо было видеть! Почему-то его очень не любили гуси, возможно, как-то по-своему передавали из поколение в поколение тайны торжественных ужинов дяди, на которые он их приглашал в качестве почетных гостей, отводя середину стола. Что поделать, дядя любил гусей. Или за то, что приходил рано, еще по туману. Стучал громко, и всегда сразу же открывал калитку сам. Дядя кашлял, тяжело поднимал ноги по скрипучим ступенькам и уже оказывался в доме, открывая дверь не резко, но решительно. Дедушка всегда говорил на это одно и то же:

— Антон, ты голодный?

Мама рассказывала, что первые годы что-то дядя отвечал. Потом перестал и, разувшись, молча садился за стол. Он смущенно смотрел в окно на гусей, головы которых выплывали из рассеивающегося тумана. Мы слушали, как стенные часы тикают на весь дом, стараясь обратить на себя все внимание. Часы были простые и старые, их сделал какой-то краковский мастер, во что верилось с трудом, но все верили и прощали им звонкий голос механизма.

9

Дети играли в догонялки среди пирамид, составленных из саманных, смеси глины и травы, кирпичей — некоторые кирпичи уже высохли, некоторые были еще влажными. Они быстро сохли, и пирамида, простояв пару дней, разбиралась для строительства домов. Здесь разрешали играть, а бегать вокруг ям, которые выкопаны для того, чтобы дома вросли в землю и меньше нужно было кирпичей, нельзя, за это ругали. Во-первых, мешали строительству, во-вторых, можно было свалиться под лопату. Ходить туда, где из земли вынимали глину и дождь набрал в эти ямы большие то ли лужи, то ли уже озера, тоже запрещалось.

Дом получился с влажным запахом подземелья внутри, вместо окон — проемы, завешанные мешками. Крыша из соломы. Посуду мама привезла с собой, но Генка увидела у соседей стаканы, сделанные из бутылок, и очень хотела такой же. Когда подсохло внутри, пол намазали красной глиной для красоты. Красота получилась липкой, и Роман упал, выпачкавшись, за что Генке сперва влетело, а потом мама обняла ее и заплакала, усевшись на лежанку из досок, которые откуда-то принес дядя Антон. Его дом через улицу, которую еще никак никто не назвал. Да и поселок никак не назывался. Потому что не все дома были готовы, а вместо нескольких стояли палатки. Но строительство шло быстро, комендант Фурсенко сказал на собрании, что зима будет суровой, нужно быть к этому готовыми. Но где брать стекла? Будет ли школа? Генка очень хотела в школу. Мечтала научиться писать, и читать, и рисовать. Почему-то представлялось, что в школе будет именно учительница, а не учитель.

Папа и мама спали на лежанке у окошка, а Генка с Романом за шторой, тоже вместе. Весь дом — одна комната. Еще печь, стол и вещи, сложенные в углу. Утром — тишина.

Вдруг в дверь постучали.

— Кто там? — мама не спала.

— Это я, — ответил голос дяди Антона из-за двери.

Мама помолчала. Она одевалась. Генке не видно было из-за шторы, но она слышала шорохи.

— Ты голодный? — спросила мама.

На пороге стоял дядя Антон и держал в руках что-то большое, завернутое белой тряпкой. Дом проснулся, и мама поставила кипятиться воду.

Минут через пятнадцать разговоров и возни сели пить чай. За столом не уместились. Генка и Роман — на коленях у взрослых.

Первым заметил папа, вернувшись с улицы.

Он подошел к стене за печкой и сказал: — Ладно, потом перевешаем.

На стене висели часы. Но не просто часы. Теперь уже не оставалось сомнений, что сделаны они именно краковским мастером!

— Зегар, — сказал Роман, указывая пальцем.

— Спасибо, — просто сказала мама.

— Нет, я не понял, как вам мой сюрприз?

— Спасибо, — снова сказала мама по-другому.

10

Все это время коров где-то держали, и Генка не виделась с дедушкой. Когда, наконец, появилась возможность забрать Малину и держать у себя в небольшом сарае, — иногда корова была корова, а иногда дедушка. Он велел ей не рассказывать об этой тайне никому больше. Генка просто заглядывает в глубину черных глаз-шаров и все там видит и понимает.

Корова лижет Генкину щеку своим шершавым языком, как большая собака.

— О чем же мне тебя спросить? — Генка смотрела в глаз корове, которая повернулась одной стороной головы, она так делала, и можно сказать, что у Малины это было привычкой.

— Я не успел начать с тобой разговаривать. Я думал — маленькая. Что ты помнишь обо мне больше всего?

— Помню, как пахнет твоя рубашка. Помню, как держать тебя за руку, какая она теплая. А кто была бабушка? — Генка уселась на сколоченный отцом табурет с домашней стороны и тоже повернулась к корове одним ухом. Она теперь не видела дедушку, а только слышала, как там, в загоне, шевелится корова, как она языком лижет доски загородки.

— Бабушка умерла, когда твоя мама была еще маленькая. Маме было столько же, сколько тебе. Спроси, помнит ли она ее. Она была очень высокая. Ей бы в этой комнате было тесно. Однажды мы поехали за город за солью, а она любила ходить по траве. Наступила на гвоздь. Мы привезли соль. Много привезли. А у нее заражение раны началось. Так и умерла. Быстро. Ничего сделать нельзя было.

— А почему ты сказал — за город? Ты раньше где жил?

— В Варшаве. Город большой. Каменицы, рестораны, войска.

— Театр, наверное, даже был там! — Геня даже привстала с табурета.

— Даже и несколько! — Малина слегка толкнула загородку, склонив голову. Рога чесала.

— Как звали ее?

— Бабушку? Нина ее звали. Нина.

— Почему ты снова не женился, дедушка, когда Нина умерла? Так странно было называть собственную бабушку «Нина», но ведь ее даже представить невозможно. Почему-то с зонтиком. Подумала Генка.

— Не все просто, Генечка. Бог одну жену дает.

— Но он же ее забрал?

— Ты, Генка, молоко пей.

— Дедушка, я должна идти.

— До свидания, Нина. Геня...

— Кто назвал меня, дедушка?

— Бог.

— Все у вас Бог!

— А как же!

11

Неизвестно, почему все называли это растение на окне цветком. Оно не цвело и, возможно, вообще не имело свойства цвести. Может быть, просто принадлежало к другому семейству растений или цветки были настолько мелкими или непохожими на цветы, что их не замечали. А скорее всего, оно не цвело без опыления. Окно всегда закрыто, и у пчел не было шанса добраться туда. Ему не было никакого смысла цвести.

Женя учится в четвертом. Ирина Владимировна стала называть ее так с первого же класса. Некоторых детей привозят из соседнего села, а ей повезло. Хотя школа — две комнаты. Зато есть окна и цветок.

Когда в классе появляется новая учительница, все нервничают. Вот она осматривает всех, и вы видите друг друга ее глазами, замечая детали, которые замылились. В первую очередь становится заметно, как все повзрослели и изменились. Вот она начинает называть фамилии и имена, вызывая смех своими ошибками. Учительница явно не полька. Старается всех запомнить с первого раза. Классный журнал — старая тетрадь.

— Валасевич Ян.

— Это я, — Ян сидит рядом с Женей, значит уже сейчас. Каждый волнуется.

— Белецкая Женя.

— Я, — сказала Женя.

— Тогда Евгения — я исправлю на полное имя в журнале. Не дети уже.

— Мое полное имя Геновефа.

Некоторые захихикали. Вышло неожиданно. Не обидно.

— Ой, как прекрасно. Да ты у нас принцесса.

Женя вспыхнула. При всех. Оглянулась. В классе начался настоящий смех.

— А что, имя у тебя прямо-таки королевское. Ты знаешь его французский аналог?

— Мы же не изучаем французский, извините. Я — полька. Это польское имя. Зовите меня Женей.

— Все в порядке. Во Франции твое имя будет звучать как Женевьева. Женевьева, без пяти минут королева.

Жене даже показалось, что кое-кто с завистью смотрит на перешитое платье с лишними глупыми пуговицами. Имя звучало загадочно. Женя даже почувствовала что-то. Такое, что появлялось теперь каждый раз, когда она, разговаривая, встречала во взгляде Аделии Францевны, учительницы математики. Непонятно как, то самое «что-то» появлялось в ее глазах и во время разговора с некоторыми одноклассниками. А для тех, с кем бегали когда-то вокруг глиняного озера, там где родители строго-настрого запрещали, она осталась Генкой.

12

Так пахли только люди. Женя проснулась и вспомнила. Этот запах уже есть в ее голове. В одной из тех колбочек, пробирок, как она знала, они точно называются. Запахи — ее богатство, которое никто не может отнять. Они заменяют Жене фотоснимки, грампластинки и даже живых людей. Таких вот, как эти, стоявшие на пороге. Она вздрогнула, потому что запах шел из полузабытого детства. Такие люди уже приходили сюда в прошлой жизни. Так же стучались, так же объявляли что-то родителям, так же ночью. Женя делала вид, что спит. Вот они, прямо здесь, вставать с постели на полу сейчас не время. Отец разберется. Ответит им, что и так ничего нет и терять нечего, а значит мы не боимся, и ничего они нам не сделают. Жене очень бы хотелось выбросить из памяти этот запах, но колбочки внутри головы не бились.

Братик не проснулся. Еще одна причина не подниматься с постели — он. Теплый, лежит под боком, всегда у стенки. Это участь старших — становиться взрослее в такие

моменты. Даже не становиться. Уже быть взрослыми. Тут же стремительно соображая, как это делать правильно. Быть взрослым. Родителям некогда. Родители говорили тихо, но больше слушали. Было все слышно и все понятно. В школе об этом старались не говорить, не произносили «увезли», а только «уехал». «Уехал» предполагает «вернется». Женя увидела на стене в сеточке трещин черное пятно, осторожно вытянула руку из-под шкуры, служившей им с братом одеялом, и начала давить это пятно пальцем и водить по нему туда-сюда, пытаясь стереть. Оно никак не стиралось, и Женя начала ногтем указательного пальца пытаться его отскрести. Папа отодвинул занавеску, наклонился и поцеловал ее, потом брата, он замер, потому что понял, что Женя не спит. Помедлил. Снова поцеловал ее выше уха, прямо в волосы, и закрыл занавеску. У мамы, Жени и Романа появилось новое слово — «трудармия». Труд — значит доверие. К папе и к ним. Но армия значит смерть. Доверие и смерть. Не сочетается никак. Но она где-то есть как надежда на светлое будущее. Именно трудармия построит его. Одно только Жене было непонятно: если отцу и остальным доверяют трудиться для того, для чего живут и работают все другие, то почему они делают это под охраной? Вернется и объяснит. Запах его похож на запах деда и особенно сильно чувствуется не от самого папы, а от братика, после того как папа с ним играет и борется. Он как-будто пропитывает его волосы своим запахом, или, может быть, запах передался по наследству. Женя понюхала макушку братика. Сейчас она папой не пахла.

13

У этих людей возможности бога, но обязанности дьявола. Они читают все эти лагерные письма, словно молитвы тех, чьи жизни наполнены надеждой, или отчаянием, или беспокойством за родных, которым сейчас лучше. Бывают и письма по делу, по мелочам, деньги, вещи, но это тоже так похоже на молитвы. Самым громким голосам эти люди не дадут быть услышанными. Иногда, наверное, они отрывают одно письмо, читают его и понимают, что оно написано именно для них, безо всякой надежды и даже без другого адресата. Тогда они эти письма получают. Но остальные добираются по нужному адресу, несмотря на войну, страшные холода и перебои с транспортом. Принося надежду, *зачеркнутую цензором аккуратно* или неаккуратно.

Третье письмо отца мама открыла только на следующий день, не сразу. У нее было предчувствие, и она плакала ночью. Женя тоже плакала и переживала. Хотелось узнать о том, что его скоро отпустят. Но отец почти ничего о себе не писал, мама прочла, что есть рядом кто-то, кто помогает ему с духом святым, с силами, и отец просит жить и ждать.

— Слава Богу, есть кто-то с ним рядом, кто помогает молиться, — мама положила письмо на колени.

— Он, наверное, совсем другой вернется, — Женя перебирала нитки на рукаве, потом посмотрела в окно, на ватное серое небо. Потом они с мамой помолились.

Роман забрался на колени к Жене, чтобы тоже посмотреть в окно.

14

— Вот холера! Ты чего делаешь? — мама почти плакала, это была очень неожиданная реакция.

— Да это же картина просто, никто же не запрещает картины рисовать.

— Сюжет! — дядя Антон держал доску на вытянутых руках, разглядывая с расстояния.

— Где-то был у меня гвоздь, где-то тут он. Длинный такой. Вот вернется твой мужик, а тут подарок от дочурки. Картина. Да еще какая! И... нет, не образ. Если бы у нас был ксендз, даже не знаю, что бы он тебе сказал, Геня. Но ксендза у нас нет, и я скажу тебе, что мне нравится.

— Бог накажет тебя, Антон, что ты говоришь! — мама повернулась к Жене: — И тебя накажет, обязательно! Немедленно! Страшно за такое накажет! И за то, что улыбаешься тут!

— Да где же был гвоздь такой длинный? Ты не видела, Генка? — дядя Антон откровенно веселился, глядя на то, как из мамы выходит какой-то страх и спадает ее оцепенение. Живая, она живая! Пол в доме посыпан красной глиной, которая утаптывается плотно, а мусор можно отковырять любой, и подметать такой пол удобно. Стены — побелены мамой совершенно героически. Неровности, торцы досок, во все углы залезла ее щетка, и темные закутки, темные только от отсутствия освещения, они все белые внутри. Потолок тоже белый, от этого кажется немного выше, чем есть. Один Бог знает, сколько сил уходит у мамы на то, чтобы в доме было так чисто. Там, за штукатуркой, в саманных кирпичах, построили свой мир мыши. Иногда слышно, как они там перемещаются. Дом становится как будто живой.

— Нет, я не видела у нас тут гвоздей, — Женя не может уже держать улыбку, глядя на маму.

— А, вот же он, — дядя действительно поднял с пола длинный гвоздь, держа при этом доску в правой вытянутой руке, как будто он держится за нее, как за центр мироздания, чтобы не свалиться в какую-то бездну.

— Забьешь тут гвоздь в саманный дом, как же. Вот вернется муж твой, слышишь, требуй хату деревянную. И картину не забудьте, я серьезно говорю. Проверю! Чтоб висела! Она с верой написана. Это видно. Генка, ты молодец. Талант!

15

Даже возле берега небольшой реки, если отойти от зарослей камыша или осоки в сторону, туда, где на глине или песке чаще всего можно увидеть следы копыт скота, шедшего утром в стадо, если перейти и это пространство и приблизиться совсем вплотную к миру лужиц и родников, закрытых кустами, то там стоит закрыть глаза. Сесть на корточки и раздвинуть кусты или заглянуть поверх, если позволяет рост. Заглянуть в маленький идеальный мир прозрачного озерца, образованного родником. С прогретой водой цвета белого вина, часть поверхности которого заросла ряской, и не просто ряской, можно разглядывать и любоваться каждым отдельным растением ряски. Два овальных непромокаемых листка, вниз спускаются черные усики корней. Расстояние от берега до берега легко и быстро преодолевает водомерка, а под кустом может настороженно сидеть лягушка, которая давно за вами наблюдает. Мир, в который невозможно попасть, его можно только разглядывать и наслаждаться дыханием его спокойствия и идеальности. Еще иногда у основания веток осоки можно видеть больших черных улиток конической формы, ленивых, цепляющихся за лист и предпочитающих находиться наполовину в воде, где, несомненно, теряется вес тяжелого конуса. Улитки эти блестящие от воды или слизи и напоминают озеру о том, что оно однажды может превратиться в болотце, когда армия ряски полностью закроет собой поверхность, а конусы с налипшими на них листьями будут время от времени подниматься, раздвигая темную прорубь, словно динозавры в тот период, когда земля была покрыта болотами. Такое идеальное озерцо не живет долго. Его судьба — превратиться в болотце, или же коровы выпопчут безжалостно и даже не заметив этого мира, и посреди озера будет черный некрасивый след, похожий на воронку от взорвавшегося авиационного снаряда. Ряска будет разметана ошметками и высохнет до желтизны, прилипшая к веткам осоки, а улитки исчезнут.

Когда ветер перестал, белая поверхность показалась нетронутой до самого куста, торчащего в метре веником из снега. Плотного, уже окрепшего, с замерзшей корочкой льда. Если бы она упала лицом, было бы больно и холодно. Но нос остановился буквально в каких-нибудь десяти сантиметрах от белой поверхности. Руки больно обожглись, продавив замерзшую поверхность. Пленка метели, которая так мешала

разглядеть дорогу, спала, и снег стал виден в деталях, до искрящихся граней снежинок, вмерзших в корку. Но было что-то лишнее на этом белом. Женя с удивлением поняла, что это две черные улитки. Ракушки не были покрыты слизью и казались матовыми, сухими. Они втянулись от испуга в тот момент, когда что-то большое и темное чуть не упало на них сверху. Но очень быстро улитки начали выпускать ногу и ощупывать снег. Осторожно дотрагиваясь до непривычных холодных граней, исследовали мир вокруг. Хотя, возможно, улитки не чувствуют изменения температуры, холода или жары. Женя смотрела на них, забыв о погруженных в снег руках без варежек, и не думала ни о чем, кроме того, как они могли здесь оказаться и как она могла здесь оказаться? И где дорога? И где комендатура, и где мама, и где Роман? И почему маму не отпускают из комендатуры уже весь день, и почему она сказала тетке Терезе, что не пойдет за мамой в снег, а сама пошла, и о том, как там, дома, чувствует себя Роман. Тетка Тереза обязательно зайдет проверить, как он. Пощупает лоб. Возможно, она не разуется, а может, и разуется.

Комендатура не так далеко, и даже если замело дорогу и колея под снегом не прощупывается ногами, то строение с зажженными окнами должно быть заметно и в метель.

Обязательно существует какая-то возможность объяснить им, что мама сейчас должна быть дома с Романом, что за ним нужен уход, что несмотря на то, что мальчик не жалуется, он и не ест. Что временами он горячий, а это плохой признак.

Лучше бы он плакал и жаловался.

Она посмотрела на улиток, которые совершенно осмелели. Настолько, что начали двигаться. Держать свои конические панцири на весу им явно было нелегко. Но они начали ощупывать ногами поверхность и двигаться.

Вдруг одна из улиток резко втянулась внутрь ракушки, а за ней и вторая. Вот они снова повылезали и ползут. Рядом. Судорожно ощупывая ледяную корку, понемногу двигаются вперед. Женя заметила, что за одной потянулась тоненькая розовая ниточка, потом вторая параллельная. За другой улиткой тоже потянулась такая, стала толще и стала красной. Видно было настолько четко и подробно, что Женя увидела даже красные точки на кончиках льдинок. Преодолев всего сантиметров пятнадцать, улитки изранили себе всю поверхность ног, и полосок крови стало больше, а у одной они сливались в красную полосу, как будто кто-то вел розовый карандаш по чистому листу.

От их дома до дома тетки Терезы протянута веревка, по ней тетка и пришла проведать детей. По ней Жене удалось добраться сначала до угла дома, а потом сделать шаг в белое поле и нащупать колею дороги под ногами, по которой, казалось, могла ходить с закрытыми глазами. Потом колея потерялась, оставив только белое поле, туман стелющегося снега от завирухи, о которой так яростно говорила тетка. Верхушки кустов торчали над белым тут и там ложными маяками.

Вон тот самый холм. Или вот этот? Или это в глаза лепит снегом и это сугроб? Есть ли здесь сугробы, в степи? Если ли здесь волки, в степи?

Как там Роман? Пришла ли тетка Тереза? Она сказала, что не придет, если Женя выйдет на улицу, но она обязательно придет проведать Романа. Может быть, мама вернулась?

Сжав веки, Женя открыла глаза и стала смотреть на улиток. Они явно ползли к тому кусту, до которого остается сантиметров тридцать всего. Они доберутся. Откуда в улитках столько силы и столько крови? Красные следы превращались в розовые льдинки, которые белели и, если не приглядываться, то сливались с поверхностью. Улитки больше не делали судорожных движений, ощупывая с удивлением острые края льдинок. Они ползли, теряя кровь. Женя почувствовала руки и села, выдернув руки из снега. Принялась растирать ладони. Посмотрела в ватное темное небо. Поднялась на ноги и пошла дальше. Еще не хватает. Аккуратно обошла улиток, побоялась их перешагнуть.

16

Неужели это то кладбище? Но ведь оно за речкой. Когда я ее успела пересечь? Женя не увидела ничего страшного внутри склепа, а это был именно склеп, и рядом были и другие. Она выглянула, чтобы убедиться. Были. Снег заметало внутрь через широкий проем, но она сидела глубже, там,куда он не долетал. Света было мало, да и разглядывать здесь было нечего. Какая-то горка обломков глиняных кирпичей посредине. Никаких мертвецов. Умершие покоились под землей. «Хозяйкой склепа была женщина», — подумала Женя. Он построен в форме конуса, простой и белый, он похож на шапку немолодой казашки, какие они надевали по праздникам. Женю всегда это удивляло. На первый взгляд, казахские одежды, казавшиеся всегда слишком теплыми, а носили они их даже летом, были темными. Казались грязноватыми. У детей — неопрятными. Абы как надетыми. Но если праздник, девушки доставали необычные нарядные платья зеленого или красного цвета, стеганые, бывали даже отороченные мехом, а женщины надевали белоснежные шапки — из содержимого сундуков в юртах. Шапки эти повязаны на голове так, что образуют белый конус. Похожий на этот занесенный снегом склеп.

Но не страшно. Лишь бы только волки не шастали или одичавшие собаки. Никого, вроде. С мертвыми у Жени отношения складывались впопыхах и на живых примерах. Да и все эти люди живы, как говорит Бог. Все ждут. Зал ожидания все наполняется и наполняется. Провожающих не пускают на перрон. У мусульман принято хоронить до захода солнца. Женя запомнила эту картину очень хорошо. Чеченцам, которых поселили той весной в поселке, запрещали хоронить своих на казахском кладбище. Тем летом у них умер старик. Заворачивали тело в ткань внутри дома, и вынесли шестеро на плечах. При жизни старик был сгорбленным, он вообще почти не ходил, все время сидел у дома, но можно было догадаться, что он высокого роста. Просто никто внимания не обращал. До самой смерти этот дед злобно глядел на все вокруг, но никому никогда зла не делал. Ограничивался взглядами. Люди стали обходить угол деда. Война. И без него тяжело. Он, наверное, даже не понимал, где находится. Сидел, ждал Лермонтова.

А когда умер — распрямился. Свертка с его телом хватило на шестерых. Солнце шло к закату, и эти шестеро так и вошли в речку по колено, держа свернутого деда на плечах. С другого берега к ним подошли шестеро казахов и приняли тело на свои плечи. В полном молчании забрали деда и унесли хоронить на это самое кладбище.

Умереть в склепе нельзя. «Никакой логики, — думала Женя. — Место занято. Идти дальше, или ждать здесь?»

Сюда никто не придет зимой. Холодно. Кладбище далеко от поселков. Темнеет. Но метель заканчивается. Завирухе конец. Надо идти. Люди недалеко. Пусть уже и не комендатура. Просто кто-нибудь, кто укажет дорогу. Не хотелось подумать — кто-нибудь взрослый. Но именно так и подумалось.

17

Ночь в юрте Женя помнит сквозь красные огоньки тлеющих углей в очаге. Это чудо — оказаться на теплых одеялах в заметенной снегом юрте среди ночи. Отогреться чьими-то руками, чьими-то голосами. Мужчина, женщина и мальчик. Младше Романа. Темненький. Женщина гладит ее по волосам, говорит свое — «Алтыншаш», Женя уже привыкла и, выпив что-то кислое, но согревающее, засыпает, лежа на боку и согнувшись в калач. Никак не согреться до конца. Но дошла. Рассказать все некому, никто не понимает. Ночь. Пурга прекратилась. Ногам тепло.

Снится, что маму отпустил комендант, что они разминулись на дороге всего в каких-то десяти минутах, что Роман так ей рад, что прошла температура и он сидит

у ее ног, играет. Вот уже какой-то взрослый парень за столом напротив и смотрит улыбающимися глазами. Стол крутится в комнате, а на другом конце сидит она и говорит почему-то, что отец погиб, но при этом улыбается, как будто это хорошо. Тревога охватывает во сне. Крик. Опять красные угольки очага перед слипающимися глазами. Кто этот парень со светлыми волосами?

Маме некогда переживать за нее. Сама же виновата. Ушла из дома. Нужно за Романа переживать. Но уже поздно. В доме пусто, и даже мыши за стенами понимают что-то важное и непоправимое. Не пищат, затихли. Никто ничего не изменит. Как теперь писать отцу? Надо ли сейчас?

Вся переписка односторонняя — никаких ответов на вопросы, только привет с того края жизни. На каком краю легче?

Писать о том, что комендант держал два дня невесть за что? Страной правят сложные обстоятельства. Все решения принимаются без поправки на судьбы. Никаких мелких решений не принимается.

18

Однажды она услышала, как дядя Антон сказал про степь: «непаханое поле». Так многие из жителей нового села и отнеслись к этой земле. Мол, земля везде земля. Трудно пришлось в первый год. Понять, когда дождь, когда солнце, когда заканчивается совсем короткое лето и уже ничего с этой землей не успеть. Стоило обжиться, как нашлись дрова и пригнали, наконец, в колхоз два трактора. С ними было гораздо проще. А что касается коменданта, то коменданта касается все. Казахи стали приезжать в село часто. Как-то узнали, что обувщик есть хороший. О таких вещах всегда становится известно. Кожаные мягкие сапоги выглядят так, как будто их достали из средневекового сундука. Вообще много казахи хранят в своих сундуках в юртах, да и сами сундуки чудесные, для сокровищ предназначенные. Глаза у казахов всегда печальные. Иметь возможность собрать дом и уехать хоть завтра, но не уезжать, а жить вот так вот, не на чемоданах, а вообще безо всякого чемодана в буквальном смысле. С одним только сундуком. Они приезжают, откуда-то знают все последние новости о происходящем в поселке. Привозят кобылье молоко, лепешки, сухой соленый сыр маленькими кусочками и отдают, иногда просто так, иногда больше, чем нужно при обмене. Сами тоже бедствуют, но всем делятся. Ни у кого сейчас нет ничего хорошего. Но у них есть неизмеримо больше, чем у людей в поселках. Под копытами их коней даже не свобода — воля.

19

Перемены были еще хуже уроков. «Я больше никогда не смогу любить зиму», — подумала Женя и отвернулась от окна. Шла следующая зима за той, когда все случилось. Она наступила так же монотонно, как всегда. Без сюрпризов. Полетел снег за окном, и всем все вспомнилось.

Ольга подошла и встала рядом. Полненькая, в том возрасте, когда пухлые румяные щеки готовы или превратиться спустя год-другой в фарфоровую красоту, розовеющую изнутри от прямого взгляда парня, или округлить лицо окончательно, превратив хозяйку в бойкую смешную толстушку, прячущую тоску по женственности за грубовато-отчаянными шутками.

Пока это был еще ребенок. По-детски, не зная как и что сказать, Ольга опустила глаза.

— Очень жаль твоего братца.

— Да, — ответила Женя.

20

Темнело, и ветер гнал запах цветущей пыли, смешанный с запахом овец. Можно было просто закрыть глаза и представить этот вид уходящих вдаль просторов и холмов на горизонте и опушки обманного леса, всего в несколько рядов деревьев при ближайшем рассмотрении. Позднее лето — такое. Здесь, между домами, уже почти темно, стены отбрасывают тени на грязь колеи. Лучи заката отражаются на редких стеклах, превращая их в красные зеркала. Звук лошади, тянущей телегу, совершенно особенный и состоит из десятков деталей, его ни с чем не спутать. Колесо телеги бьет сухие комья земли, скрипят подпруги, копыта ступают, каждое по-своему, лошадь фыркает время от времени. Оркестр. Сама телега тоже поет. Она как живая. Скрип частей, дерево рассохшееся, железо. Если те, кто сидит в ней, — разговаривают, то не громко, тихо говорят. Тем более, в это время, против наступающей темноты, громко говорить и не получается. Голоса сливаются со звуками телеги, лошади, колеи, и все это вместе едет, приближаясь, показываясь между домами неспешно. На пороге дома уже кто-то появился. Тетка Тереза. Два или три человека спрыгивают с телеги и заходят в ее дом. Стекла окон уже не красные. Закатное солнце забрало свои лучи обратно.

По двое, по трое тени людей собираются к дому тетки Терезы. Дом большой, «сталинка». Взрослые и детские тени почти одинаковой длины. Женя и мама одни из последних. Стол развернут и накрыт длинной материей, и здесь же двое незнакомцев в черной одежде — мужчины, один с седыми бакенбардами необычной формы, а другой — коротко стриженный. Но есть в нем что-то, отделяющее его от обычных коротко стриженных мужчин. Движения его знают, что делают, а сам он о чем-то думает. Не смотрит ни на кого.

Достает на стол две иконы, черную книгу, сразу раскрывает ее и смотрит на страницы, потирая руки. Другой достает из мятого портфеля, лоснящегося, почти до баклажанного блеска стертого, что-то завернутое в тряпичные чехлы. Передает коротко стриженному в обе руки, и тот, даже не глядя, снимает тряпки, обнажая утопленный в металле, вишнево-золотой блеск чаши и кубка. Стол немедленно становится другим. Кубок на высокой, резной ноге, чаша, откуда-то чьи-то руки подали вино и хлебные лепешки.

Быстро подводили детей и взрослых. Одного за другим. Женя смотрела и ждала очереди читать Библию. Полутемная комната, душная от такого количества людей, наполненная ангельским запахом, непонятно даже, откуда взявшегося. Никто не разговаривает без дела. Каждый знает, зачем пришел, и сосредоточенно ждет своей очереди, Женя пробежалась по глазам. Печаль. Но спокойствие. Скорбь, говорят священники. Не у всех. У некоторых в глазах торжество.

Крестят детей. Женя смотрела сначала на лица и то, как эти лица изменились, меняются, становятся суровыми. Свет такой, что тени падают, оставляя некоторые лица неузнанными. Или просто здесь они другие? Женя стала смотреть на потолок, углы, прокопченные сажей ламп. В верхнем углу напротив нее сетка трещинок. Она снова посмотрела туда, в угол, когда подошла очередь причастия. Сложила руки на груди крестом и поклонилась. Дом тетки Терезы, лепешка, покрытый материей стол. Церковь. Алтарь. Причастие.

21

Женя сошла с поезда ночью. Проводник, полный парень с грустным бессонным лицом испугался. Он разбудил ее, дернув за плечо, и сразу смутился от того, как резко она повернула голову, вздрогнув. Вышел из служебного купе на шаг. За спиной — красная пасть печки-кипятильника. Женя села и посмотрела в окно, похожее на поверхность противня чернотой и каким-то потеками черного жира по краям. Ни

одного огня. Она поднялась и собралась достать чемодан, лежавший в ногах, закинутый сверху коричневым одеялом в рыжую клетку.

— Через полчаса выходить... я тебя высажу. Будет не город еще. В городе проверка состава — проводник зашептал в дверь купе, но все было отлично слышно. Женя села, потом пересела. Подвинулась. Парень так и остался в дверях. Хотелось погасить эту неприятную лампу над входом. Желтоватую, высвечивающую детали. Грязь по углам, гору чьего-то мятого белья, которым забито пространство под столиком. Газету на столике и недопитый чай. Все это могло бы не бросаться в глаза, думала Женя, убавь освещения или перенеси его куда-нибудь в другое место.

Молчать в поезде легко даже с чужим человеком. Не только много звуков вокруг, но и картинка меняется, и к тому же все время покачивает, какое-то движение всегда есть, которое не дает застыть мышцам до состояния неловкости. Читать газету, которой застелен стол. Самое трудное молчание — перед выходом. Нужно держаться, чтобы не оказаться среди нетерпеливых и сожалеющих о покинутом купе в тамбуре. Там можно курить, и все курят, там время от времени возникает невыносимый звук открытого межвагонного пространства, врывающийся в дверь, когда кого-то несет пройти. Есть такие, кто бесконечно ходит по вагонам. Целый мир карточных шулеров, воришек и людей с колючими глазами. Они воспринимают сидящих по своим местам хорошими возможностями и делят только на типажи. Ходят и обычные люди. Успевшие догнать на короткой остановке и разыскивающие свой вагон. С детьми. Военные, которые не могут сидеть на месте долго. Именно в тамбуре понимаешь, что есть единая страна, и она огромная и неустроенная. Которой нужно равновесие и покой, и все эти люди по-своему пытаются его искать, переезжая куда-то. Остановка — три минуты. Женя была единственной, кто сошел с поезда здесь. Ну, и хвала Иисусу, подумала она. Зашла в маленькое деревянное здание станции, сразу в зал ожидания. Хотя какое может быть ожидание, когда все поезда останавливаются по три минуты, подумала она, и решила, что это так нелогично и глупо. Можно ждать смерти всю жизнь, а она длится секунду.

Была скамейка.

Вспомнилось, как белая рубаха проводника все время выбивалась из ремня, и когда поезд двинулся, лица его не было видно в темноте, только рубаху, как флаг, и ей и пришлось крикнуть спасибо. Женя села на скамейку и поставила чемодан рядом. Запах купе все еще был на ней. Но в зале пахло сосной, деревом. Все спали. Когда стук поезда исчез, стало очень тихо и спокойно. И свет совсем тусклый, от фонаря за окном у парадного входа. Прохладно, но не бодрит. Женя закинула ноги на скамью, голову положила на чемодан и сжалась в комочек. Два поезда помчались, предварительно предупредив ее гудками, чтобы она смогла приготовиться, выйти из сна и не испугаться. Она не помнила, с какими промежутками они проезжали и сколько еще было составов перед тем, как наступил рассвет.

Хлопнула входная дверь, и Женя увидела утро, резко сев, как она умела делать. Это был обходчик, немолодой, в гимнастерке и с запахом одеколона и перегара. Он с извиняющимся видом поздоровался, вежливо глядя мелкими глазами, скрывающимися в складках лица.

— Через полчаса электричка. Я достучусь до Машки, она билет продаст, — было сказано вместо здравствуйте, для сбережения голосовых связок.

— Доброе утро, спасибо, — Женя подумала, что хорошо, что она, оказывается, не одна ночевала в здании станции.

— Машка, открывай кассу, клиент ждет!

Женя смотрела, как мужчина стучит в дверь кассы, потом дергает закрытую ручку, потом переходит к активным действиям у окошка за углом. Окошко открывается, чтобы громче слышались торжественные проклятия, будто текст роли в любительском театре из будки суфлера.

— Дай билет на электричку.

Прозвучало что-то вроде пожеланий о вечном невозвращении покупателю, потом голос вдруг стал мягким, но все равно толком ничего не было слышно со скамейки. Мужик тоже стал вежливым, поглаживал себя рукой по щекам. Услышав гудок электрички, Женя поднялась с места. С чемоданом направилась к кассе. Мужчина протянул билет — на вот, уезжай.

— А деньги?

— Так уезжай.

Жене стало неловко, но нужно было принять подарок обязательно, и она спросила, забирая картонку билета: — Как называется эта станция?

— Какая тебе, на хрен, разница, — мужчина повернулся к окошку.

— Спасибо, — сказала Женя

— Электричка, — напомнили из окошка.

22

Городская железнодорожная станция отличалась от той, на которой Женя сошла ночью, только тем, что в городе поезд подъезжал вровень с дощатым настилом и не приходилось спрыгивать с высокой ступеньки. Оказалось, правда, что ее вагон не доехал до опрятного небольшого строения — здания вокзала, а тот деревянный дом, который она увидела перед собой, прибыв, служит для каких-то милицейских целей. Она прошла через просторный белый зал со скамейками, заполненными ожидающими с тюками вместо чемоданов и сумок, и спустилась по высоким ступенькам. Там, где они заканчивались, были грязь и большая веселая лужа, отражающая крышу вокзала и флаг. Слева к ступенькам были проложены доски — мостки, которые покачивались под тяжестью ног двух мужиков, тащивших на спинах тюки. Как будто они поднимались на корабль, а Женя стояла на палубе. Замечательный город, большой. Вокзальную площадь окружали деревья, и лучами от нее расходились три грунтовые дороги, идущие вдоль кварталов двухэтажек. Она пропустила мужиков и воспользовалась мостками, чтобы попасть на ту сторону лужи. Выбрала дорогу, ту что была посредине, и пошла вдоль дома с надписью *«Совет по делам железнодорожников»*. Дальше, за пустырем, заросшим густой крапивой, началась новая двухэтажка, а потом начались заборы. За которыми ухоженные, явно старые побеленные дома-избы. Дорога сузилась до тропинки, а вместо тротуаров росла трава, которую щипали недовольные гуси. У колонки с водой разговаривали две женщины, поставив наполненные эмалированные ведра рядом.

— Здравствуйте, скажите, а где тут художественное училище находится? — Женя поставила чемодан рядом с ведрами.

— Художественное? Живопись? Это вам, девушка, надо в центр. Там все у нас, — одна из женщин, в зеленом платье, ответила с непривычными ударениями в словах, которые Женя уже слышала в электричке.

— Вы лучше сейчас идите к вокзалу и от него направо. Там будет и комендатура бывшая, и училище.

Зацепило слово «комендатура».

Другая женщина только кивала, потом подняла ведро, сказав: — «Ладно, пойду я, домой пора». Это было так по-домашнему и мягко, как будто здесь, в этом городе, сто лет ничего не происходило, кроме вот таких походов по воду ближе к полудню, чтобы поставить на этой воде вариться борщ или уху, или приготовить чай. Так спокойно и вдали от всего, и гуси, и запах травы с навозом.

В столовой у вокзала — полстакана сметаны, яйцо вкрутую и макароны с колбасой и киселем. Яйцо Женя оставила в чемодане. В газету завернула. Но соль забыла. На выходе из столовой придержала дверь троим рабочим с масляными черными руками по локоть. Один в в шутку потянулся погладить. Женя зажмурилась и расхохоталась.

Вдоль той, левой, улицы, резко уводившей в сторону, сперва шли такие же двухэтажки — то больница, то еще что-то, потом встретился железный мост над путями, потом дорога покрылась асфальтом и, бросив под ноги деревянный тротуар, вывела к нескольким нарядным большим домам за железным забором из прутьев. Ворота не заперты. Белый фасад, купол и два полукругом расходящихся крыла здания художественного училища понравились. Аллея и три скамейки. Выметено и клумбы. Деревянный стенд с листом бумаги, приглашающим на выставку студенческих работ, начавшуюся вчера. Все так серьезно, что Жене стало страшно. План сослаться на потерю документов, казалось теперь, мог провалиться. Она уселась на скамейку и поставила перед собой чемодан. У ног. Все могло закончиться очень быстро. Кабинет. Приемная. Вызов милиции по случаю задержания гражданки без документов. Как вы сюда приехали, Женя?

Поездом? Никто не поверит. Из другой республики? Никто не поверит тем более.

Художники — люди творческие, но документы у них есть.

Человек в длинном сером халате, в каких ходят мясники, прошел мимо с метлой, грозно глянув на Женин чемодан. Как будто чемодан пачкает дорожку. Шаркал ногами и нес метлу странно, перед собой, держа двумя руками, как будто та хотела вырваться из рук. Исчез, завернув за угол здания.

«Прогонит дворник, этим тоже может закончиться, даже проще», — подумала Женя. Достала яйцо, завернутое в газету, развернула и, расстелив ее на скамейке рядом, стала медленно счищать скорлупу.

— Христос воскресе, — хриплый голос неожиданно подкрался сзади.

Женя вздрогнула и повернула голову в ту сторону, насколько получилось.

— Что? Здравствуйте!

— Газету куда планируете выбросить, барышня? — голос, казалось, был отравлен и удушен, а на вытянутом бледном лице не было эмоций. Ни сарказма, ни чего-то серьезного, вроде любопытства. Просто лицо.

23

— Садитесь, не надо стоять, — человек этот не был похож на художника, белый слишком просторный костюм, короткая, по-военному, стрижка.

Женя села на стул у письменного стола. Напротив большого окна на втором этаже, того самого, на которое она смотрела все это время с улицы.

— Пишете картины? От такого человека можно было ожидать «рисуете», но никак не «пишите».

— Нет, я как раз этому учиться приехала, — Женя опустила голову, старалась говорить только то, что важно, чтобы не унесло в сторону, в какую-нибудь глупость.

— Никогда не видел людей, которые ничего не рисуют. Тем более среди тех, кто приехал поступать в художественное училище. Вы странный экземпляр, девушка. Единственный в своем роде, — без тени иронии, нараспев. Без акцента, с которым говорили в этом городе.

— У меня все это в голове, но надо уметь, — Женя посмотрела в его глаза, серьезные и глубокие.

— Скажите, вы ведь немка или полячка?

Жене мешал думать запах табака в комнате, он делал все таким официальным, хотя все и было официальным. Она опустила голову и думала. Думала-думала и ответила: полька.

Тихо. Он тоже помолчал.

— Про учиться и «все в голове» свое или дворник напел?

— У нас там не густо с холстами и красками. Я однажды на доске нарисовала богоматерь.

— А, так вы еще и иконами занимаетесь?

— Разрешите мне попробовать, — голос Жени сполз в непозволительную просьбу.

— Вы же понимаете, что из этого получится, — он вздохнул тяжело и положил на стол обе ладони, — ладно, я помогу вам.

Женя вскинула голову совершенно удивленно. Потому что понимала, что из этого получится.

— Я помогу вам достать справку, чтобы на обратном пути с поезда не сняли. А пока поживете в общежитии у нас. Несколько дней.

Закрыв дверь кабинета, Женя перешагнула коридор, встала у окна и, не видя, смотрела в стекло на аллею. Там никого не было. Облегчение и боль. Сама виновата. В чем? Поможет. Обратно. Не звонил в милицию. Позвонит в милицию. Без милиции никак не обойдется.

24

Женя держала в руках письмо отца. То самое, которое ни мама, ни она не открыли. Увезла его с собой именно для такого вот момента. А может, он потому и наступил, этот момент?

Так бывает, но может быть, сам человек к этому ведет. Моя вина, моя вина, моя вина. Зачем увезла письмо у мамы? Мало того, что сама сбежала. Выдохнула. Письмо написано почерком отца.

Про Романа опять спрашивает. Как же больно каждый раз. Как игла в голову. Вернется ли?

Как он напишет об этом?

«Без конца размышляй о последних вещах и не погибнешь никогда», — в этих словах и надежда, и отчаяние. Женя свернула письмо по тем же самым сгибам, по которым оно было сложено им. Маме бы понравилось это письмо.

25

— Что это? — Женя стояла и смотрела на холст. Неуклюжие персонажи какой-то библейской сцены.

Дворник, подождав пару минут, отодвинул холст, за которым был следующий, с каким-то натюрмортом, что-то было в этой простоте и неестественно ярких красках.

— Что это? — имея в виду и все холсты, и именно этот, спросила Женя.

— Картины, не видишь, — бог таланта не дал.

— А вот, смотри, чистый. — Четвертый или пятый из показанных дворником холстов оказался пустым, — ну, это тебе подарок. Рисуй свое. Как и хотела. В стенах, так сказать, художественного училища, — голос не выдержал такой длинной фразы и в конце совсем перешел на сип. Вон там краски. Давай. Что будешь рисовать?

Женя поглядела на свой холст и все там увидела. Настолько четко и ясно, что даже рисовать не стала.

— Улиток. Однажды я была в снегу. Видела, как ползли черные блестящие улитки. Они о края льдинок резались, и за ними тянулись полоски крови.

Лежать на одной кровати с дворником было некомфортно. Он ворочался, спал беспокойно, а перед тем, как уснуть, по его телу проходила судорога. Кроме кровати в узком коридоре не умещалось ничего, оставался только узенький проход к помещению полтора на полтора, в котором стояли холсты у стены и метла с ведром и совком. На полу лежали палитры с намалеванными красками. Целыми слоями. Где-то среди них кисти. Все холсты начатые. Один, о котором Женя думала, лежа у стенки, белый, хотя серый от пыли. Она испытывала к этому холсту страх. Ничего так в жизни не боялась, как этого квадрата. По нему ползли улитки. Сколько лет уйдет на то, чтобы они поползли по холсту? И пройдет ли? И есть ли вообще талант перенести из головы? Так она уснула. Этих ночей до переезда в общежитие было две. Дворник спал в рубахе и брюках. Женя — в платье. Никакой возможности выстирать одежду в таких условиях.

26

С Георгием они познакомились в очереди в столовой общежития. С ним и с Катей. Ели отдельно, Жене неловко было разрушать компанию, хотя и видела, что к ним подсела какая-то студентка со стаканом компота. Подумала, что недолгим получилось знакомство, но Георгий сам заговорил на скамейке. Для того чтобы отвлечься от ожидании вызова в кабинет, подходили любые занятия, и простое сидение на скамейке было худшим из возможных.

— Дворник у нас — глыба, — Георгий наверняка заметил, что Женя бывала в его комнате.

— Несчастный человек, — такая ситуация, что и секретами делиться нельзя, и поговорить не о чем.

На это предпочла промолчать.

— Он вам уже рассказывал свою историю о том, как картины спасал в Дрезденской галерее из огня, я надеюсь?

— Оказывается, вы знаете, — Женя даже улыбнулась, и это не вышло нервно.

— Каждому уже рассказал, но есть разные версии. Мы все храним этот секрет. И вы храните, Женя, не выдавайте.

— А родные у него есть здесь?

— Никогда не видел, чтобы он отсюда хоть куда-то уезжал. Мы думаем, что он абсолютно счастливый человек, и даже более того. Он абсолютно счастливый художник!

Женя не говорила на таком уровне раскрепощенности и чувствовала неловкость и свою ущербность в этом, но четко осознавала причины. Можно нагнать, постаравшись, если осознаешь.

— Каждый из нас когда-нибудь выучится и, выучившись, создаст картину своей мечты, и у кого-то это будет бездарная безликая работа, у кого-то, тут я себя имею в виду, — шедевр. Но муки творчества ожидают каждого вне зависимости от результата и следа в истории. А дворник — счастливый человек.

Манера строить фразы и тянуть слова оправдывала его многословность. Георгия хотелось слушать.

— Я не заметила...

— Но ведь он вам рассказывал или еще нет? Он оказался в горящей Дрезденской галерее, там много чего погибло при бомбежке. И людей, и шедевров. Вот он людей не вытаскивал, а картины. А когда не смог вытащить, он их запомнил. Ну, как мог, конечно. А теперь восстанавливает утраченное наследие.

— Вас ведь Женя зовут?

— Женя, да, но Геновефа, если точно.

— Ух ты, Женевьева... Поздравляю, — Георгий улыбнулся отвлеченно, — красивое имя.

27

Едва Женя успела выстирать и высушить вещи, как все решилось. Потребовалось всего два дня. Ей пришлось вернуться в кабинет. К запаху табака и казенной одежды она испытывала отвращение. Отец курил дома, и ее детские воспоминания были окутаны дымом. Но обошлось. Директор сидел один. Никаких сцен или морали, которых она тоже опасалась.

— Вот бумага, ждали по вам запрос. Возвращайтесь. Не знаю, что там с этим всем дальше, ну, да вы сами это заварили. В общежитии живите еще... он поднял глаза на Женю, — сутки. Потом прощайте и удачи. Захотите писать картины — будете, никуда это от вас не денется.

— Извините, спасибо, конечно. Во-первых, очень благодарна вам. А как надо? Я гляжу на холст и все уже вижу... я...

— А это как раз и есть признак непрофессионала. О, Господи, когда вы видите свое произведение «глазами собственной души», оно герметично. Вы меня не пускаете в него. Я смотрю и не в силах преодолеть ощущения, что вы требуете от меня чего-то невозможного. Хочу, чтобы вы меня правильно поняли, я здесь не убеждаю художников отказываться от себя.

28

Во второй раз в жизни она ехала в Казахскую Республику насовсем и на этот раз не могла разобраться, по собственной ли воле или из-за того, что есть обратный билет. Причина, по которой она бежала от этого места, все колола тревожной иглой внутри, ползущей по пластинке памяти кругами. Круг за кругом. Так много людей Женя никогда раньше не встречала. Теперь она тоже была одной из них. Мир больше не делится на тех, кто в поселке, и тех, кто делает что-то важное и интересное. Пересадка на вторую ночь пути перебила мысли, и в другом поезде Женя уже думала о том, что будет в той реальности, которая приближалась стуком колес по стрелкам.

29

Чтобы почувствовать себя где-либо по настоящему дома, нужно уехать надолго и вернуться, по возможности, ночью. Пусть даже тебя встретят, но ночные лица растают и проявятся в людей только утром, когда все, казавшееся до отъезда унылым и надоевшим, окажется совсем родным и наполненным другим смыслом.

Проснувшись укутанной домашними запахами, Женя отправилась в школу, как и решили.

В кабинете директора она пару раз бывала, школа маленькая. Кабинет — одно название, тут же книги — библиотека.

— Здравствуйте, Аделия Францевна.

— Женя, хочешь учиться?

— Выучилась уже...

Директор тоже выдержала паузу.

— Нам нужна учительница. Русский язык и литература, готова?

— А, как?

— Не обещаю, конечно, но попробую. Если готова....

— Да, я готова.

Константин Комаров

И — заново азы

* * *

Я музыки мозаику собрал
в сюжет простой — отдельный, отдалённый.
Его ты прочитаешь, мой собрат,
купивши мой томишко уценённый.

Теперь, когда центоны не в цене
и образ свежий не упрёшь с базара,
всё четче и яснее видно мне
мерцание межстрочного квазара.

Лежит листа чистейший аналой
и дремлет в белизне своей сакральной,
пока в душе горит огонь гнилой,
что разродится строчкой гениальной.

* * *

Полон незнакомых шорохов
мой проштрафившийся дом.
За стеною новый шолохов
тихо пишет «Громкий Дон».

Слишком зябко, слишком ветрено
и тревожно, и темно,
куст прядёт руками-ветками
воздуха веретено.

Падает вода нечастая
на земли сырой скелет...
Но ведь это — сопричастие.
Не соперничество, нет...

Комаров Константин Маркович — поэт, литературный критик, литературовед. Родился в 1988 году в Свердловске. Окончил филологический факультет Уральского федерального университета им.Б.Н.Ельцина. Кандидат филологических наук. Автор нескольких книг стихов, в том числе «Невесёлая личность» (Екатеринбург-Москва, 2016), и литературно-критического сборника «Быть при тексте» (Ridero, 2017). Лауреат многочисленных литературных премий. Участник Форума молодых писателей России и стран СНГ в Липках (2010—2018). Живет и работает в Екатеринбурге.

* * *

Горел костёр — огля-
нешься — и только дым.
На тезисы огня
есть выводы воды.

Дословен дословес-
ный сон, хотящий спать.
За кущею древес —
небесная тетрадь.

Да будет звук довер-
чивый, доречевой.
И распахнётся дверь
во двор с большой травой,

что зеленей тоски
и восковей виска.

Плывёт в поднёбный скит
глухого слова скат.

Закат внутри пруда
гореньем огорчён,
и ватная вода
не помнит ни о чём.

Но лепета полёт
прополет тело тьмы
и возникают — вот —
холодные холмы.

И выгнулся дугой
беспомощный язык.
И ты — уже другой.
И — заново азы...

* * *

Проснёшься в полночь и полночи
страдаешь на постели плоской,
а дух летает, где не хочет,
по клетке неизбывно плотской.

В неутолённости телесной
он мечется, как стадо белок,
а не пронзает облак белый
в победоносной поднебесной.

Что было светлого — пропили
(да ты и тёмное всё выпил),
и лишь терпенья терапия —
оглоблей тормозит погибель.

Так маешься от недосыпа,
стишки кропаешь некорректно,
но богу говоришь спасибо,
что в мире чисто
и конкретно.

* * *

Прозябает мелос,
и в грудине — грусть.
Если я осмелюсь —
крайним отсмеюсь.

Заведённых кукол
страшен шаг ночной
и летит под купол
огонёк свечной.

Ты не спишь, я знаю,
сон твой не зашит,
в нём дыра сквозная
воздух ворошит.

Но не потому ли,
что совсем не те,
мы не потонули
в этой пустоте.

* * *

Я свет гашу, в ночи топя
свои слова, не городя их.
Я не хочу, чтобы тебя
разглядывали разгильдяи,

чтоб ты ни взгляду, ни уму
чужому не смогла отдаться,
хоть про тебя и самому
мне никогда не догадаться.

Я тихо сяду в стороне
смотреть, как в сумраке из жести
сменяются в пугливом сне
твои загадочные жесты.

И ничего не уяснив,
потом тихонько рядом лягу —
смотреть твои большие сны
и заносить их на бумагу.

* * *

За эту откровенную халтуру
меня Анна Андреевна простит...

Когда б вы знали, из какого сюру
растут стихи, которым ведом стыд.

Когда б вы знали слёз сухую мякоть
и тишины многоголосый ад.
Когда б вы знали, как хреново плакать,
когда ты — нарисованный плакат.

Когда б вы знали, как трясёт поджилки
поэзия — уютная сперва —
и — как теплолюбивые таджики —
дрожат на чистом холоде слова.

Когда б вы знали, как паскудно слабы
рифмованные нюни по трубе
(тем более, что равнодушны бабы
к такой мобильной траурной мольбе).

Когда б вы знали, как горит заветно
строка среди разбавленного сна —
огнями, что лишь затемно заметны,
когда тоской душа заметена.

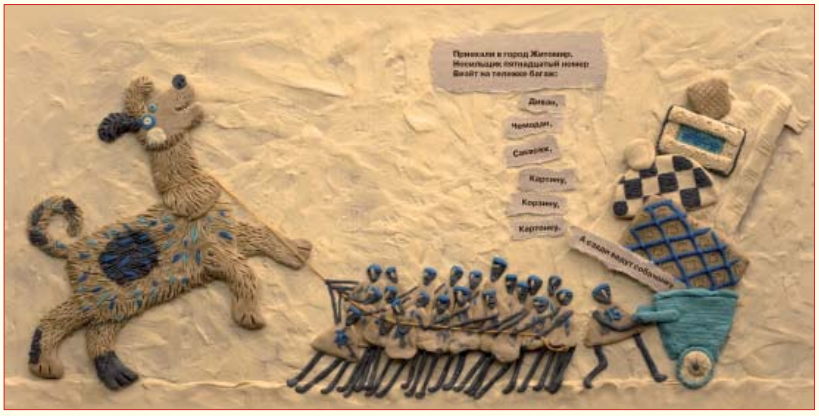
Когда б вы знали, как на вкус невкусна
метафор злых блескучая фольга.

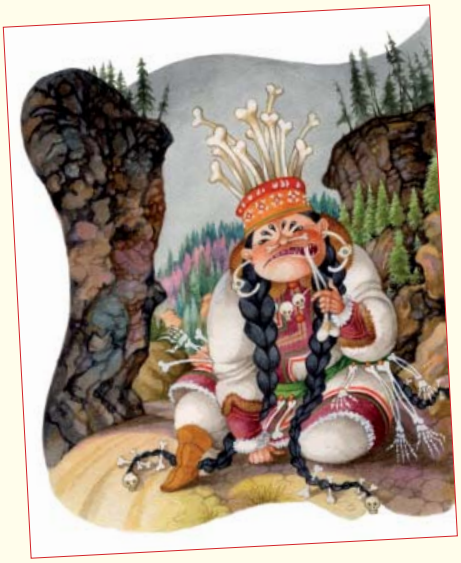
Когда б вы знали...

Да ведь вы же в курсе.

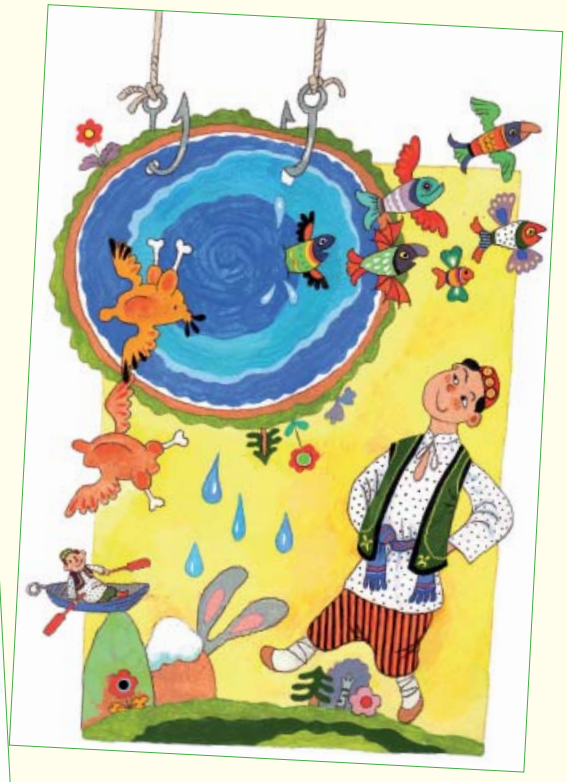
И это
не меняет
ни фига.

Художник Светлана Короткова.
Самуил Маршак «Багаж»

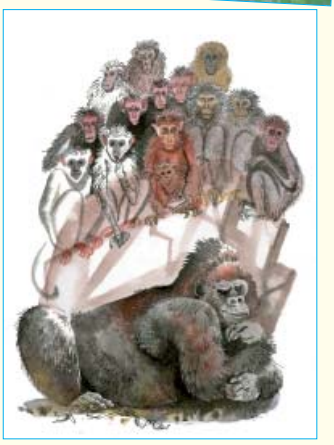




Художник Ольга Ионайтис.
Алтайские сказки в пересказе И. Богатырёвой

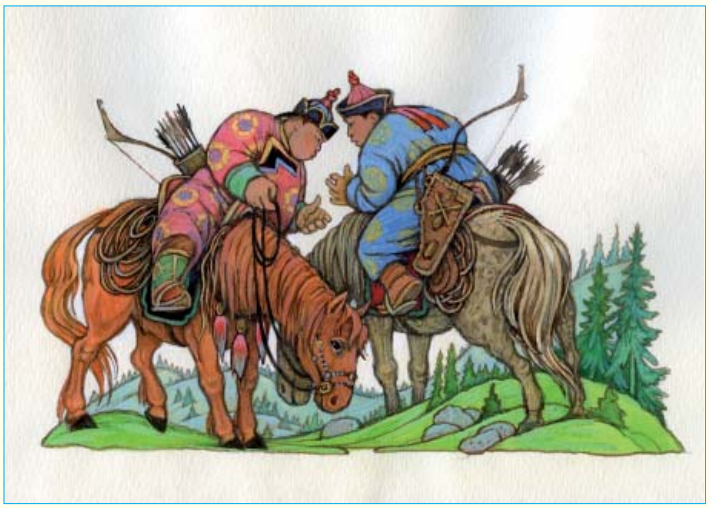


Художник Наталья Демидова.
Татарская сказка «Белый дракон»

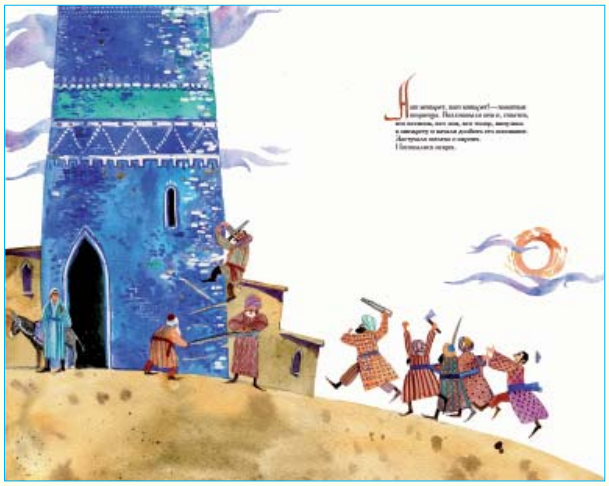


Художник Вера Цепилова:
Станислав Востоков «Кум Королю» ▲
Станислав Востоков «Не кормить и не дразнить!»►

Художник Татьяна Никитина.
Андрей Усачёв «Крокодил, который плакал»



Художник Ольга Монина:
Тувинские сказки ►
Узбекские сказки ▼

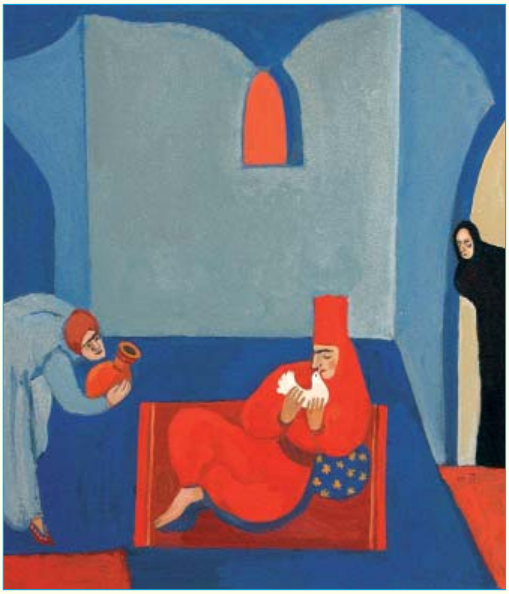


Художник Тамара Мартынова.
Узбекская сказка «Проигранный минарет»

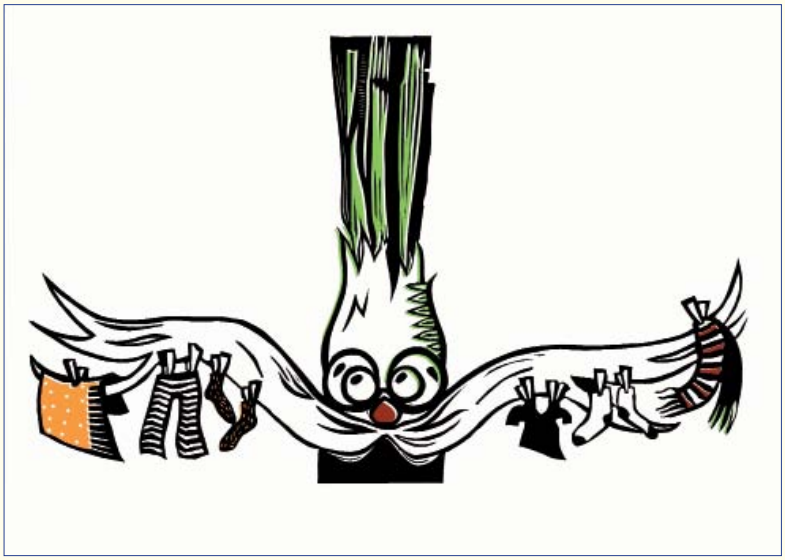
Художник Екатерина Голованова:

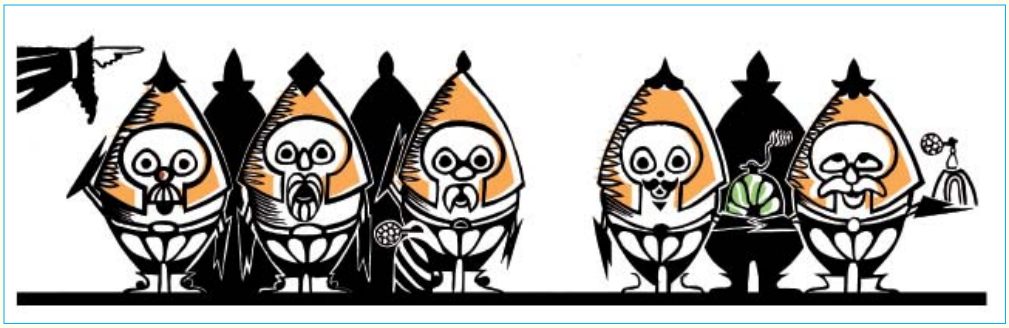
М. Лермонтов «Ашик-Кериб» ►

Русская сказка «Крошечка-Хаврошечка» ▼



Художник Анна Маркина:
Английская сказка «Мистер Уксус»





Художник Екатерина Юмашева:
Джанни Родари «Приключения Чипполино»

Игорь Корниенко

Алаведерчи

Петрушкина азбука

Герои

Смерти нет. Она для слабаков. Нацарапал гвоздем на трухлявой доске в туалете. Туалет был на улице. Доживал свои последние вонючие деньки.

Каждые лет так десять копали яму для нового домика биологических нужд. Это было целое событие для семьи. Похлеще всех дней рождений, вместе взятых, и всеми любимого Нового года. На моем веку это было первое такое событие. Если точнее, второе, но то рытье, что случилось, когда мне было три годика, я не помню. Хотя отец по пьяни любит рассказывать, как я навалил кучу в свежую, по колено, ямку, я, честно, не верю ему. Любит он сочинять, привирать да преувеличивать. Из мухи слона — это про него. Мама считает, я в отца, такой фантазер, и почему-то это сравнение меня жуть как огорчает. Наверное, все пацаны в двенадцать лет не хотят быть похожими на своих отцов — с их слабостями, промашками, вредными привычками. Косяками. И так далее.

Кто там придумал, что у мальчиков отец — это герой?!

Возьмем моих друзей. У Языка нет отца, и герой у него мама. Мамы — всегда герои в отличие от пап. Отец Тимура Пельменя неходячий. Ходит только под себя. У Мухи папа — на воскресенья и праздники. Дядя Коля, отец Лёши Чемпеля, конченый алкаш, так говорят все в поселке, все, кроме Лёхи, у него на тему отцовского злоупотребления наложено табу. А мой родитель — герой на словах. Говорить, как вы поняли, он любит, особенно когда накатит.

Раньше, помню, мы тихо завидовали Серёге Мухе, у него каждую неделю какое-то разнообразие, и в родителях, и из поселка выезжает, отец в городе живет с другой семьей, и подарки всякие. Сейчас Муха ненавидит воскресенья, и отца с матерью ненавидит за то, что развелись. Курит, не боясь быть застуканным, никуда не выезжает, не разговаривает с предками, было дело, раз, пил пиво вместе с городскими знакомыми.

— Это моя жизнь, что хочу, делаю, — ответил тетке-соседке, она в ответ только рот раскрыла шире.

Игорь Корниенко — прозаик, драматург, художник. Родился в 1978 году в Баку. Лауреат премии В.П.Астафьева (2006), премии «Золотое перо Руси» (2005), специального приза жюри международного драматургического конкурса «Премьера 2010», лауреат литературного конкурса им.Игнатия Рождественского (2016). Живет в Ангарске Иркутской области. Предыдущая публикация в «ДН» — Рассказы (2018, № 6).

Мог бы, конечно, послать куда подальше, Муха грубил и выбирал позапрещеннее слова, чтобы быть услышанным кем-то из родителей. Он и шоколадку стащил из магазина только ради того, чтобы мать с отцом встретились в полицейском участке. Закон подлости срабатывал, в отличие от планов Мухи. За ним не приехал ни один из родителей, тетка-соседка, та самая, оказалась родственницей поселкового участкового, она и забрала Муху, а на свободе, не сходя с крыльца отделения полиции, он закричал ей в лицо:

— Я вас ненавижу!

Ненависти этой его научили родаки. И почему-то, когда по телевизору говорят, что где-то в Штатах школьник расстрелял весь класс или забил до смерти своих родителей молотком, я вижу лицо Серёжи Мухина — рыжеволосого, в ржавчинках-конопушках, совсем не улыбчивого, злого.

И мне ужасно хочется сказать его матери и отцу, что я о них думаю. А думаю вот что, если убрать все, что уже не раз им наговорил Муха, и с чем я согласен на девяносто девять процентов, я бы сказал: ради сотворенной вами двоими жизни стоит пожертвовать своими удовольствиями, принципами и что там еще вы придумали, чтобы забыть о существовании Мухи, Мушки.

Из безобидной мушки может вырасти разъяренный слон, тот, что громит и топчет все на своем пути в далекой Индии.

Мухи по осени кусаются, кусают больно, до крови.

Я позвал Серёгу помочь рыть, и он мне сказал так, походя, между делом:

— Пойду могильщиком на кладбище работать. Руку сейчас набью и пойду. Нах эту школу и предков нах... Буду могилы рыть всем ненавистным людишкам. Первому отцу вырою. Я ему без лома и лопаты ее вырою, руками и зубами, копать и грызть...

С нами был тогда еще Яша Язык. Яшка не рыл, а развлекал бесконечной болтовней ни о чем, это он может делать лучше, чем работать руками, ну еще может достать языком кончик носа и сворачивать язык трубочкой.

— Спорим, не пойдешь?! — выдал он вдруг серьезно. — Не пойдешь ты в могильщики, в бандиты, скорей.

Я сказал:

— Мы уже банда, какие тебе еще нужны бандиты?!

Муха вытер пот со лба, сощурился, солнце в конце сентября жгло и слепило беспощадно, сплюнул:

— На че спорим?

Серая от проглоченной пыли слюна мрачной улиткой жадно впиталась в сухую землю, Муха проследил за ней, наступил на мокрое пятно — все что осталось от улитки:

— Проигравший нырнет на дно Петрушкиного сортира. Спорим?!

Живой!

Петрушкой меня звала бабушка, как я ни противился, сколько ни обижался. Она и настояла на имени Пётр, тогда как мама с отцом уже решили, что меня будут звать Мишей.

В пятом классе писали сочинение — описание куклы-игрушки, я и написал, как вы думаете про кого?.. И ведь сроду не было такой игрушки — Петрушки. Ванька-встанька был, пара разнокалиберных Матрёшек...

Бабуля сшила за ночь. Тряпичный Петрушка в красной рубахе и колпаке с желтой кисточкой перчаткой надевался на руку. Указательный палец отвечал за картонную голову куклы: с длинным грузинским носом, глазами пуговицами синего и зеленого цвета и огромным ртом до ушей-лоскутков.

Большой и мизинец просовывал в рукава рубахи Петрушки, и он оживал, вертелся, кривлялся и говорил моим голосом, хотя я и старался говорить пискляво, неестественно.

«Петрушка» закрепилось за мной на всю жизнь — смирился, и стоило мне с этой мыслью сдружиться, как тут же захотелось закричать, объявить всему миру, что вот он я — Петрушка! Самый настоящий и единственный! Не кукольный! Живой!

Шишка от Достоевского

С тобою спорить — равносильно с акулой целоваться: это про меня.

Когда ты прав, почему и не поспорить.

А спорить мы любили. Было время, в том же пятом классе, спорили по любому поводу и на все, что вздумается.

Доходило до смешного, абсурдного, дикого.

Не вспомнить точно, как, кто и с чего начал спор, но точно дело было в учебнике по литературе, ну и кто-то из класса или даже банды бросил клич:

— Толстой Пушкина порвет!

Вызов подхватили:

— У Пушкина пистолет, он бы Толстого застрелил.

— Лермонтов тоже стрелялся на дуэли, он бы Пушкина уложил...

Спорили на математике и на английском... До конца уроков спорили. Надрывая голосовые связки, яростно жестикулируя, плюясь, матерясь, кидаясь друг на дружку с кулаками... Спор перебрался за пределы школы, прокатился кубарем по парку, проскакал через скамейки, клумбы, посидел в беседке и, наконец, обосновался в библиотеке нашего поселкового дворца культуры, между стеллажами с русской классикой. Командовал экспериментом Лёха Чемпель. Откуда эта кличка? Подозреваю, после школьной олимпиады по физкультуре, в которой он взял высший балл в двух практических испытаниях и одном теоретико-методическом задании. Всю неделю после соревнований Лёху звали только так: Чемпион. А время трансформировало в Чемпель.

Книги авторов-дуэлянтов спорщики проверяли на себе. Первым «стрелялись» Чехов Антон Палыч и баснописец Крылов. Чемпель сделал серьезное, как подобает строгому, непредвзятому судье, лицо, по очереди сбросил на головы участников спора с высоты вытянутой вверх руки пыльные труды мировых классиков.

Силу удара оценивали по пятибалльной шкале. Кто больней, тот и победил.

Дальше очередь Некрасова и Фета, «Черная курица» Погорельского против «Муму» Тургенева, шли мы пройденной программой учебника по литературе за пятый класс. Гоголь шарахнул щелчком меня прямо по темечку, Языку досталось сказками Пушкина.

Я поставил Гоголю твердую «пятерку». Потрепанные мертвая царевна и семь богатырей по сравнению с кирпичным томом Николая Васильевича были шутливым, дружеским шлепком и вытянули «троечку».

Доспорились до шишки, ее мне поставил Достоевский, потому как закончились писатели из учебника, азарт же только разгорелся и в ход пошли классики наугад. Те, что попадались на глаза.

«Братья Карамазовы» заслуженно получили пять с плюсом, и я вышел из игры. «Улисс» Джойса вырубил нокаутом Кафку и Пельменя, у него разболелась голова, он сдался. Яшка прикусил язык до крови, получив мощный удар от внушительной книги с яркой, загадочной обложкой «Тысяча и одна ночь».

— Плавда, на всю тыщу тянет, — еле ворочал раненым органом он, — поунуха кака-то. Ни жизь не пикаснусь к ней.

Кровь положила конец спорам, которые могли продолжаться бесконечно.

— До смерти бы спорили, — подвел итог Чемпель. — Ничья.

Так Федор Достоевский набил мне шишку со своей бандой Карамазовых.

Спорщики мы те еще, поэтому, когда Муха протянул Языку испачканную в грязи ладонь, Язык принял вызов:

— Спорим, — сказал и подмигнул мне: — Давай, Петруша, разбивай. Ты за свидетеля-секунданта.

— Проигравший нырнет с головой в тот туалет, — показал на деревянный домик с обитой железным листом крышей Муха.

— Заметано, — кивнул и тряхнул руку друга, а теперь и соперника: — Ты уходишь в могильщики, я окунаюсь в говнояму. Ты продолжаешь учиться, в яму солдатиком прыгаешь ты.

Обоюдный кивок как сигнал, я разбил ладони.

На следующий день место Мухи за партой заняла Лиза Борода, и на всех уроках Мухину Сергею проставили «н» в школьном журнале.

Курорт и некоторые его обитатели

Кладбище возвышалось над поселком. Мертвые сторожили живых. У нас его называли курортом, не все, но многие. Бабушка говорила: им, — имея в виду мертвых, — там, как на курорте, тишина, лежат себе, покоем наслаждаются, вдали от проблем житейских и будней быта.

Для нас, мальчишек, походы на могилы родных тоже сродни поездке на курорт. Я обожал ходить с бабушкой по выходным на могилу к деду и остальным. Мы уходили на целый день, и не было ничего прекрасней вареного яйца, очищенного грубыми от непрекращающийся работы, мозолистыми руками бабушки, съеденного за столом в тени кладбищенских, ой, курортных, кипарисов. Вкусней яйца я не пробовал. Здесь все менялось: вкус, запах, цвет, ощущения... Наверное, отправься в другую, далекую страну, скажем, в Бирму или Гренландию, чувствуешь то же самое.

Уже у подножия курортной горы понимаешь, что тропинка вверх уводит тебя от реальности в другое место. Из зеленой травы стреляют кузнечики и красные маки вспышками-кляксами. Маки здесь кровавей, а кипарисы печальней. Во время цветения ветер стряхивает серо-желтую пыльцу с хвои, и вот тогда ты попадаешь в призрачный мир жителей курорта. Оживают тени, сильней слышны шорохи невидимого присутствия...

На курорте всегда много работы, в номере деда, ушедшего отдыхать еще до моего рождения, работ невпроворот всегда, говорит бабуля: покрасить оградку, столик с двумя скамейками, повыдергивать колючки с сорняками, побелить...

Бегал, петляя узкими дорожками между могилами-номерами, в начало курорта к бочке с водой, громко стуча алюминиевыми ведрами. Не потому, что боялся тех, кто теперь уже ничего не боится, тех, кто таится, кто невидим... Так я ощущал себя живым, гремел ведрами, отмечая свое присутствие. Живое присутствие. Пугал сонных птиц, бродячих собак и кошек.

Черная, ни пятнышка кроме черноты, кошка — частый гость в номере деда. Как и странный туман-облако, что не раз приходилось наблюдать. Она появлялась из воздуха, обходила обязательный круг вокруг сонного ложа дедушки, забиралась на ограду. Следила глазами молчаливых обитателей за тем, как мы суетимся.

Отец утверждает, это хозяйка кладбища. Он не говорит «курорт», он нарочито подчеркивает смерть. У него: могилы, покойники, трупные дела, мертвая вода... Бабушка крестит его. Ничто не уходит бесследно, — говорит, — и камни своей жизнью живут, и почившие...

Черная надзирательша исчезала, как и странный туман, незаметно, была и нет. А к гостинцам дедушки прибавлялось блюдце с молоком.

Первого гостя увидел под вечер, вернувшись проверить калитку (бабушка строго наказывала оставлять оградку открытой). Серебристая змея свернулась кольцами вокруг блюдца, пила. Замер не от испуга, остановила с открытым ртом неожиданная раскраска змеи. В лучах закатного солнца, пробившихся сквозь мохнатые ветки курортных кипарисов и елей (лучи можно пересчитать, если задаться целью), шкура переливалась, искрилась, гипнотизировала. Да, да, именно так, кольца пришелицы, как нефтяное пятно, извивались радужными пятнами — вихрями, заманивая в свой круговорот, обездвиживая, путая мысли...

Кошка спрыгнула, словно с неба, разбила змеиные чары. Невидимыми мягкими кошачьими лапами она толкнула меня в грудь, убегая, успел краем глаза увидеть, как змея раскрученной пружиной отлетела за ограду, в неизвестность. А догнав бабушку возле бочки с водой у ворот, решил, что все это привиделось, разноцветные кольца хула-хупа скакали перед глазами, я никому о странной встрече-поединке не рассказал.

Много лет спустя я встречу эту змейку, застывшую браслетом, но узнаваемую, на тонком белом запястье одноклассницы, и в этот раз не будет кошки-спасительницы рядом. Змеиные чары увлекут, лишат рассудка, лишат воли, силы... сделают сентиментальным дураком. Это будет самая настоящая любовь на букву «з».

Буду я беззащитным, обезоруженным, зависимым... Зачарованным...

Будущее возможно увидеть, главное — знать, куда и как смотреть. Разглядеть в гипнотических кольцах змеи, в трещинах на асфальте, в облаках... в счастливом вечном времени детства...

Пятая звезда

Детство — это, бесспорно, буква «В». Вечность. Время здесь не властно. День может длиться сто лет, тысячелетие, а может пронестись падающей звездой в мгновенье...

Мы обожали смотреть на звезды. Считали падающие, лежа с Мухой на крыше дома. Моя была правая половина неба, у Серёги — левая.

Он часто оставался у нас на ночь после случая с шоколадкой и побега.

Муха не раз сбегал от матери и всегда возвращался. В этот раз его вернули через трое суток полицейские. Избитого, грязного, изменившегося... Муха не сказал ни что произошло, ни где пропадал эти дни. Не разговорили его ни слезы матери, ни крики отца. Муха молчал.

«Пропадал» — самое верное слово: не скитался, не бродяжничал...

Муха пропал из этой доставшей его, половинчатой, неполноценной жизни. Выпал бы и исчез, быть может, на веки вечные, если бы...

Я повторил:

— Если бы?..

— Если бы не мальчик на рельсах.

На этот час у меня были две упавшие звезды в копилке, у друга четыре. Небо опухло от звезд, готовое в любой момент прорваться и обрушиться на нас звездопадом.

— Он бегал наперегонки с поездами. Придурок ждал поезда и пытался его перегнать. Снова, и снова, и снова. Я до ночи смотрел на него, как он не сдается, не обращая внимания на солнце, на ветер, на дождь... На меня. Упорно к цели, пускай и такой несерьезной, сумасшедшей...

Сказал:

— Так он, наверно, и был того, с приветом.

Муха засмеялся:

— Так, а кто без привета? Мы-то чем лучше: звезды ловим на крыше в полночь. А он в догонялки с поездами играет, и знаешь, — Муха повернулся ко мне, лицом к лицу, и серьезно так, — я поверил в него. Я уверен, он добьется своего, обгонит поезд, рано или поздно, но сделает это. Веришь?..

Упала с Серёгиной половины неба пятая звезда, я кивнул:

— Верю!

Детство — это когда безумие не страшно, сумасшествие в награду, весело и загадочно. Собирать упавшие звезды — собирать души мертвых. Бегать наперегонки с поездами, ветром, биться на дуэли вместо Пушкина и Лермонтова и получать затрещины от Чехова, спорить о невозможном и верить, что землю вертишь именно ты, скользя босиком по утренней мокрой траве, и зажигаешь солнце одним щелчком пальцев, на раз.

Раз.

Задание

По школе пронесся слух, в парке объявился человек с гусиной лапой.

Опоздавший школьник, из первоклашек, видел, как он прыгал по елям.

— Будете на уроки вовремя приходить. — наша классная руководительница временами была действительно классной, — Мухин, случаем, не с ним за одно в ловитки играет, школу прогуливает?..

Я знал, что Серёга договорился о встрече с директором кладбища, а еще, что он не может не выиграть спор.

— Алтаев, тебе поручение, даже задание, двойное. До завтра узнать все о человеке с куриной лапой, — класс взорвался хохотом. — Что такое? Что я не так сказала? — класс поправил. — Гусиной, куриной, да хоть павлиньей лапой, — стараясь сохранить строгий тон, продолжала Светлана Александровна. — Итак, Пётр, твоя задача выяснить, что это за пугало и не замешан ли в этом безобразии твой друг Мухин.

6-й «а» класс снова превратился в палату номер 6.

— И ты смотри, Петя, не поддайся их влиянию, а то знаю я вас, чуть что, так давай с радости по деревьям скакать...

Тут она была права, наше последнее изобретение в сфере игр и развлечений — ловитки на дереве, хит летне-осеннего сезона.

Ловитки

Треугольник — место в нашем дворе, где происходили основные события жизни. Местами асфальтированная дорожка, в метра полтора длиной, четко очерчивала границы детства. По тропинке после сумерек прогуливались парочки, готовящиеся нарушить границу, бежать, перейти на сторону врага. А что есть взросление, если не противник детства?..

Неизбежно враг подступал, отвоевывая территории и лучших бойцов...

Лёха Чемпель станет первой жертвой из нашей банды. Будет долго метаться между двух сторон границы, наконец сдастся. Как-то вечером вместо ловиток отправится гулять по треугольнику под ручку с Олей Рожковой.

— Тяжелый я для ловиток на дереве, — скажет в оправдание. — Сколько можно падать? — напомнит о своей руке в гипсе трехмесячной давности и недавнем удачном падении на гору из ранцев. Впрочем, для ловиток с мячом он тоже оказался вдруг негодным:

— Крупный шибко, в меня легче попасть, да и бегать с мячом, что Рожок скажет?.. — Это он так Ольгу называл ласково, ага.

Слово «предатель» повисло на ветках деревьев, как будто специально высаженных для игры в ловитки в ряд по периметру треугольника.

«Перебежчик» — протрещали ласточки. «Взрослый» — шуршал ветер в кронах и высокой траве.

Взрослый — это не страшно, ну что такое, все становятся рано или поздно... Но так не хочется так скоро расстаться с Вечностью...

Двенадцать лет, тринадцать, ну еще годик, а задержаться в мире, где ты бессмертен и счастлив. Где ты бог.

— У меня другие ловитки, — грустно отшучивался Чемпель, кличку эту он унесет с собой за границу треугольника и дальше до самого курорта. Воспоминания — в точности, как гипс со сломанной руки, исписанный пожеланиями скорейшего выздоровлениями, в рожицах и черепах, — снимутся, переберутся сначала под кровать, потом в чулан. Выбросятся со временем. Забудутся. Сотрутся из памяти, сотрутся в пыль.

Другие ловитки — гонка за деньгами, удовольствием, работой, уважением, любовью, счастьем...

Мы отправились на деревья играть, где одно из условий, самое главное — ни в коем случае не касаться земли. Прикоснулся — пропал. Выбыл. Чемпель коснулся, Чемпион проиграл в соревновании с названием жизнь. Вечность больше не для него. Он стал простым смертным. Как многие, как все, за границей 14+.

Кто последний!

Треугольник — недостроенная детская площадка с непонятными железными конструкциями с одной стороны, с другой — пустырем, колючками и камнями. Интересного мало, интерес туда вносили мы, придумывая, что невозможно придумать.

Особенно на пустыре у костра, рассказывая убийственные истории.

Повторяя заученные всем известные байки про черную руку и гроб на колесиках, разбавляя новыми услышанными и всегда правдивыми, даже если и придуманными пару минут назад, пока собирал дрова или бегал за картошкой, чтобы запечь ее на углях.

История о человеке с гусиной лапой вспоминалась периодически, но сейчас она обросла новыми подробностями, деталями.

— Он вернулся. Он ищет свою оторванную ногу... Ищет того, кто это с ним сделал, чтобы отомстить, наказать. Это случилось с ним в парке, поэтому у него там пристанище, логово...

Если второй пункт задания Сансаны был мне ясен, как то, что Муха, несмотря на кличку, не может летать и что он не в школе, потому как с утра и до темна караулит директора кладбища. С первым заданием все сложней, за вечер с ним не справиться.

— И одному трудно выследить Лапу, — сидели у меня почти всей бандой, Муха задерживался.

— Прогуливаться тупо по парку?

— Первоклашка видел его прямо на центральной дороге...

— Устроить засаду?

Вопросы остались вопросами.

— Да это калека, ясно же, а что по елкам прыгает, — художественное преувеличение, для красного словца, — вынес вердикт Чемпель, — я пас. У меня свиданки по вечерам. Петруш, не в обиду, придумай что-нибудь класснухе, она ведь тоже не серьезно это.

Тимур разглядел что-то наиинтереснейшее у себя под ногами, промямлил:

— Мне за отцом так-то надо бы... Но один ты точняк не потянешь...

Язык надул и лопнул пузырь, до одурения пахнущий клубникой жвачки:

— Поймаем засранца.

В парке в тот вечер была вся пятерка. Чемпель, расстроенный, что не пошел на свидание, и Муха, ежесекундно заворачивавший голову в сторону курорта в надежде, что директор материализуется на его фоне прямо перед Серегой. Закон подлости работал: ни намека на хромающего мужчину, да и женщину прихрамывающую никто из нас не засек.

— Может, не время? — предположил Яша.

— Может, повзрослеете? — огрызнулся Чемпель.

Муха докурил до фильтра сигарету:

— Блин, кто-нибудь да найдется, — стрельнул окурком в сумерки, сползающие с возвышающейся над поселком горной гряды.

Пельмень молчал, щеки его горели, он то и дело вздыхал и сплевывал.

Я сменил тему, спросил Муху, собирается ли он в школу и что завтра сказать классной?

— Новая яма готова, еще пару дней, дней пять, и...

Язык высунул язык, помахал им:

— Успевай, Мухин.

Мухин кивнул:

— Успею.

— Кто последний, тот засранец, — вскочил Язык. «Засранец» — новое слово-паразит в его лексиконе, — на счет «три». И, три!..

Мы побежали со скоростью света, обгоняя птиц, обгоняя ветер.

Догнала нас только ночь.

Сокровище и карта

Гигантские светляки уличных фонарей возвещали приход темного времени суток. В парке между школой и двором фонари жили своей жизнью, горели, когда вздумается. Могли начать мигать, переговариваться друг с другом и звездами, посылая в космос шифрованные сигналы. Могли гореть через один и разными цветами...

Муха остался у меня с ночевкой, и за туалетной темой — как это погрузиться в море дерьма — взялись рисовать карту сокровищ. Сокровищем, кладом, конечно, стал доживающий последние деньки домик с железной крышей.

— Карту надо хорошенько спрятать, — щерились, потому что смеяться больше не могли, болели щеки, и животы вот-вот взорвутся. — Умора будет, когда лет так через пятьдесят, сто, кто-то ее найдет и отправится искать сокровища.

— Бабушка, кстати, говорит, что это удобрение — самое настоящее сокровище.

Я умолчал о том, как сокровище черпается ковшом с длинной ручкой и входит в состав бабушкиного чудо-удобрения, на котором пышет зеленью и плодами весь сад.

— Так я и не отрицаю, что говно — то еще золото, — хрюкал, обняв живот, Муха. — Всем кладам клад.

— Надо туда взаправду что-то дорогое бросить, — пищал я, чтоб не лопнуть. — Искателям не так обидно будет, когда отроют клад...

Две старые закопанные ямы превратились на карте в заманки-обманки.

— Два лжеклада, — сказал, и это нас разорвало в клочья.

Давно не видел, чтобы Серёга так смеялся, и это доставляло необыкновенную радость. Наш смех долетел до курорта, его услышали небо и звезды... Наше сокровище, наше богатство — вот оно — звонкое заразительное, зажигающее...

Муха смеялся, как в последний раз, — червоточиной неприятная мысль, и от нее не избавиться. Уже в постели, переговариваясь шепотом, я спросил:

— Ты же не собираешься сдаваться?..

После минуты тишины услышал:

— Я обгоню этот поезд.

Карта сокровищ разрасталась подробностями. Утром, когда Муха отправился на долгожданную встречу с директором, я в школу, на карте добавилась железная дорога, что слева от поселка. Полоса с курортом в самом верху карты, правее и ниже парк разрезала дорожка, помеченная штрих-пунктиром, она шла мимо дворца культуры к школе и исчезала за обрывом альбомного листа...

Сентябрь — это летнее эхо, еще не спал загар и не доиграна куча игр, те же самые ловитки и ночные прятки, учишься вполсилы в надежде, что за сентябрем не будет проливных дождей с мокрым снегом, а снова наступит июнь.

Тяпка

Отчитался Светлане Александровне:

— Мухин появится с запиской от родителей в понедельник.

Мама его готова, не спрашивая, написать все, что угодно, только бы Серёга не выступал. У матери Мухи все, что он делает, — выступления. Будто не жизнь у них, а сплошной спектакль, концерт.

— С Лапой за выходные постараемся разобраться.

Она кивала, слегка улыбаясь, когда закончил, сказала:

— Теперь давай между нами, Петя, у Серёжи опять проблемы?..

Я сделал лицо тяпкой «ну, началось»:

— Никаких, говорю же, приболел, мама его напишет за три дня отсутствия записку...

— Мне сказали, он на кладбище все эти дни пропадает.

Лицо тяпестей некуда:

— Чушь, что ему там делать на курорте?

— Это я у тебя хотела спросить, по-дружески. На курорте... И вы уже мальчики большие, Алтаев, взрослые, понимать должны, что кладбище — не курорт. Там опасно.

— Мертвецы что ль опасны? — тупеет тяпка.

Мы в кабинете географии на втором этаже в самом углу, у окна, из него, если постараться, можно увидеть одну из немногих дорог на курортную гору.

— Не мертвецов, Алтаев. Живых надо бояться! Опасны живые, мертвые ничего уже не сделают. И что это за игры на кладбище, не понимаю?! Мест больше не нашли или опять спор какой-то затеяли?!

Тут тяпка чуть было не слетела с лица.

— Болеет он, что вы в натуре, Сансанна.

— В натуре, Петя, вы умные мальчики, не секрет, что мир — не курорт, кладбище тем более, есть вещи пострашней мертвецов. Поэтому держитесь вместе, если что-то пойдет не так и вы это заметите, увидите что-то, услышите... смело говорите мне, не мне, так тому, кому больше доверяете. Вот это в натуре будет правильно, по-взрослому.

Лицо тяпкой сменила улыбка до ушей, мне по чесноку понравилась забота в голосе учительницы, неподдельная, теплая:

— Хорошо. Обещаю, — сказал и не удивился протянутой руке Сансанны.

— Вот и замечательно, — она крепко сжала мою ладонь. — А сделай еще такое лицо, — улыбнулась. — Как вы его называете, прием этот? Тяпкой?..

Я закатил глаза и втянул щеки. Тяпка собственной персоной.

Чёрный час

Конечно, школа не менее опасна, чем курорт, просто не все учителя знают историю про госпиталь. Может, Сансанна в их числе.

Во время войны в школе размещался военный госпиталь, раненые умирали, тела хоронили в рощице за школой, а неупокоенные души остались в стенах заведения. И дают о себе знать время от времени.

В кабинете литературы, например, раз были перевернуты все портреты классиков лицом к стене. А это, как минимум, три метра высоты.

Или, было дело, ночной сторож дядя Саша рассказывал, как услышал, чего вовек не забудет. Он каждую ночь что-нибудь да слышал.

— Но в этот раз, — крестился пенсионер, — я и с чекушки пригубить не успел, а со стороны черного входа, там лестница в подвал, стон долгий, протяжный. У-у-у... Два круга секундная стрелка на часах в холле сделала, пока стон не оборвался, и тут же крик, явно мужчина, а в крике слова разобрать и прислушиваться не надо. Где моя голова?! Пришейте голову назад! Отдайте мою голову! Где голова?! И все в таком духе. Я уже сбился со счету, сколько кругов стрелка секундная намотала, от крика оглох, сплошным эхом стенанья обратились. Крестился, молился, успокоительное все с чекушки выпил, видно, под ним и уснул. А проснулся ни свет ни заря, и в подвал, страшно до жути, но обязанность вынуждает. Спустился, а там все стены и потолок в крови, это я сначала подумал, чуть сердце в руки не выскочило. Краска то была, эмульсионка, половина банок раскурочена, будто взорвались сами по себе. После этого попа и пригласили освятить школу, только по секрету, время было такое...

Была еще история о пропавшем мальчике-хулигане, курившем на чердаке. Будто забрался как-то в неподходящее время, в черный час, и сгинул, исчез бесследно.

Вывод — курение опасно. Можешь пропасть без вести.

Я еще не отошел от разговора с классной, как по школе пронесся слух: в парке по дороге в школу пропал мальчик.

Подобные слухи не новы, и я не очень-то и внимание обратил, пошутил:

— Может, докурился пацан?..

Напряжение — это не ток в проводах, оно в голосах учителей, старающихся скрыть тревогу. Волнение не в море — в учительской, за запертой дверью.

На большой перемене шушукались: мальчика нашли в старой части парка в туалете, в тяжелом состоянии увезли в больницу. Мальчик будто сам выполз на дорогу с перебитыми ногами и переломанными ребрами.

— Лапа начал охоту, — говорили.

Старшеклассники своими предположениями не делились, но сестра Чемпеля, ни в жизнь с нами не разговаривавшая, вдруг подошла, мы сидели под лестницей у спортзала, сказала, чтобы не вздумали шляться в парке, лучше обходите парк дорогой, и где ваш рыжий? По одному не ходите, не бродите. Одиночка — потенциальная жертва маньяка.

Вот оно — маньяк. Молча переглянулись, типа вот и ответ.

— Я Муху предупрежу,— сказал я. — Рыжего, — добавил.

Сестра Чемпеля кивнула, отошла.

Как всегда не вовремя, прозвенел звонок. И обсудить тему маньяка мы не успели, а в конце дня все говорили про чудовище и комендантский час.

Черный час — это даже не час, некий промежуток времени, не подчиненный этому самому земному времени, когда происходит что-то из ряда вон. Разрез между миром живых и миром потусторонних в черный час приоткрывается, как сковырнуть зажившую рану, и вытекает нечто, что не поддается разумному объяснению...

Комендантский час был всегда, негласно, сегодня же его озвучило радио и

телевидение. С наступлением темноты несовершеннолетним запрещено появляться на улице без сопровождения взрослого. Черный час стал реальностью. Проявился, выпустил чудовище...

После ужина смотрели телевизор, из-за поднявшегося ветра антенну штормило, и отец злился, потому что закон подлости срабатывал, изображение пропадало в самый интересный момент. Смотрели фильм про войну. Смотрел, впрочем, один папа, мама убирала со стола, я на ковре делал вид, что читаю энциклопедию, на самом деле ждал звонка от Мухи.

Кино прервал спецвыпуск местных новостей. Я стал одним большим ухом.

Сообщение диктора о введении часа бодро комментировал папа и корректировали помехи.

...Пострадавший третьеклассник в состоянии... реанимации... Не первый случай в городе... С 21 часа... Чудовище... окрестили средства массовой...

— Наш поселок — лакомое место для таких вот извращенцев, — горланил, чтобы и мама слышала, отец, запивая все это пивом. — Я сколько лет говорю, дети с пеленок шляются без присмотра. Раздолье маньячное. Сам бы стал таким от такого соблазна. Слышь, Петь?.. Как тебе — батя-маньяк, а? — стукнул меня ногой по плечу: — Ты, поди, сразу сдал бы меня, Павлик Морозов наш, — развалился на диване, снова попытался достать меня ногой, я отодвинулся.

— Какой из тебя маньяк, — усмехнулся.

— Так ты бы и не знал, думаешь, у этих психов нет семей? Да все они семейные, вот и крыша съезжает от бытовухи.

Мама вернулась недовольная, видно по лицу и голосу:

— Что, совсем оба уже?.. Тему для разговора больше не нашли... У людей горе. Не дай Бог никому.

Телефонный звонок, и в один миг меня нет в зале. Я уже держу трубку телефона и сквозь страшный треск и помехи слышу голос друга.

Муха сказал:

— Завтра.

Связь оборвалась.

Третий глаз

Есть сны, их не запоминаешь. Проснулся и, как ни мучайся, не вспомнить, что снилось. Белый экран. Есть сны, которые помнишь долго, очень долго. Всю жизнь.

Мне достался кошмар, и, может, видел я его всего раз много лет назад, но кажется, он снится каждую ночь. Беспрерывно.

Я тону. Я нырнул с надеждой проплыть под чертовой кирпичной плитой и потерялся. Не понять, где верх? Где дно? Куда плыть? Вокруг серо-зеленая мгла. Паникуя, я размахиваю руками, пузыри щекочут, обжигают. Глотаю горькую воду, сквозь толщу пытаясь разглядеть бледное подобие солнца. Нет солнца. Пытаюсь опуститься глубже, нащупать дно. Дна нет. Бездна, и я где-то посредине. Бесконечность.

Мечусь. Кричу. Захлебываюсь. Слезы проливаются в море. Последняя попытка признать действительность — умереть или проснуться. Кусаю ладонь. Вода окрашивается красным. Кусаю еще и снова. Кусаю и проглатываю. Я жру себя. Большими кусками отрываю свою плоть... Сначала проглотил левую руку, потом очередь второй, и ноги... Зубы впиваются и вырывают из меня меня же всюду, где достают. Я хочу выгрызть сердце и умереть, только бы не эта круговерть в мутной, отдающей солью и полынью субстанции.

И будто в диафильме кто-то прокрутил картинку, и вот я снова кусаю себя за ладонь в надежде проснуться, и вновь начинаю есть себя. И снова. И снова. На пленке

диафильма лишь одно это — бесконечно повторяющееся. Круговорот поедания самого себя в природе.

Потом кто-то из банды принес альбом стереокартинок «Третий глаз», и мы все дружно пучили глаза на яркие глянцевые рисунки.

У Пельменя никак не получалось, он психовал, почти хрюкал. Муха курил и смеялся. Я научился попадать в трехмерное пространство зашифрованной картинки и в одной из них увидел себя. Да-да, картинка задрожала, и раздвинулись зеленые стены, в центре фигурка человека, он явно застрял там и болтается в морской бездне вечность, если не больше. Страхом не назвать то, что обволокло меня тогда, — липкие ладони и холодный пот — это в книжках, меня обездвижила неизвестность, парализовала, ни мысли, ни дыхания... Клянусь, я чувствовал едкий запах растертой полыни и покалывания всей кожи... Глаза впились в фигурку, что не моргнув, загипнотизированный, как той радугой-змеей, я поднял ладонь и укусил. До крови. И укусил бы еще, если бы Пельмень не перевернул лист.

Все смотрели на меня с раскрытыми ртами, на кровоточащую руку, а я не чувствовал боли, лишь странные ледяные иголочки по всему телу, и пустота в голове, и в теле пустота...

— Я пустой, — прошептал.

А Муха уже перебинтовывает ладонь, говорит:

— Тогда кровища откуда, пустой ты наш?.. Кого это было? Глюк словил?..

— Говорю же, сатанинские эти картинки, могут и с ума свести, если глубоко заглянуть, — обрадовался подтверждению своей теории Язык. — Кто знает, что там на самом дне?.. Может, ад самый настоящий. Или вон, пустота, как у Петрушки.

— Там была пустота? — затянул больно бинтом узел Серёга. — Ты что увидел-то там?..

Мотнул плечами я:

— Потерю.

Больше стереокартинки я не смотрел. Пробовал, начинала болеть голова, стоило мне напрячь глаза, как говорил отец, «собрать в кучу». Где-то в центре черепной коробки происходил ядерный взрыв. Закрывал, чтоб не выскочили из орбит от ударной волны глаза, и видел повисшую в красной пустоте фигурку тонущего и никак не могущего утонуть человечка.

Может, сон выбирался из того мира в тот самый черный час вместе с чудовищем и стал явью? Моей реальностью?..

Утро

Самый лучший день недели в учебное время — это суббота. Без разговоров. Пятница с воскресеньем на втором месте.

Проснулся и долго сидел в постели, с ногами, пытаясь припомнить сон. Ветер за ночь нагнал тучи, моросил дождь, добивая последнюю листву и шлепая по натянутой над ямой клеенке. Бабушке в срочном порядке пришлось уехать к подруге в деревню без названия, и поэтому открытие нового туалета отложили на неделю. А значит, и у Мухи есть время для новых вариантов и возможностей выиграть в споре. Так ему и сказал, когда он появился в дверях сразу после завтрака.

— Неделей позже или раньше, я готов, — весело сказал Сергей. — Все равно я обгоню этот поезд.

Он отказался проходить, не захотел разуваться, сел тут же на пороге.

— Директрису могут под суд отдать, если она позволит мне взмахнуть хоть раз лопатой. Клевая тетка, пообещала, как паспорт получу, она меня сразу в работники

возьмет. Так что давай отыщем Лапу, грохнем чудовище, и я смело нырну в говняму с чувством выполненного долга. Победителем.

Я был готов зааплодировать ему.

— Че, вот так нырнешь и глазом не моргнешь?!

Муха моргнул.

Место преступления

В парке нашим излюбленным местом было болотце, недалеко от танцплощадки. Летом оно иссыхало, осенью наполнялось дождями, весной расцветало осокой, водяными лилиями, головастиками.

Считалось, это конец парка, если же идти с нашего двора, то самое начало.

— Самое место для чудовищ, — закурил Муха, — но не для маньяков, те больные на всю голову, возле туалетов за мальчиками промышляют.

— А с Лапой что?..

Мы прошли рощу, скрывающую болото, направляясь в сторону бетонного квадрата с двумя проходами, обозначенными красными отметками «М» и «Ж».

— Лапа, могу поспорить, одинокий старичок-боровичок с больной ногой. За ним никто не ухаживает, не смотрит, вот он и бродит по парку в надежде, что кто-нибудь с ним поговорит, скрасит одиночество.

Я с Мухой согласился. А потом сказал:

— Наверное, одиночество и маньяков толкает на всякие делишки. Когда долго один, сходишь с ума и готов на все, только не быть одному...

Муха дымил:

— Да мож, и это тож, мож, и рождаются такими. Но скорей, все равно становятся.

— Затюкатые, всеми обиженные, маменькины сынки, — мыслил вслух.

— Точно, но не обязательно маменькины, папы не меньше виноваты в том, что сын маньяк, если не больше, — Серега говорил без намека на улыбку, со знанием дела, — сначала папы распускают языки и руки, потом сыночки, сперва повторяют, потом мстят. Месть отцам движет маньяками.

Я сглотнул:

— Ты прямо как в маньяки собрался, говоришь.

Дождь в парке всегда другой, спокойный, шуршит тихо сам себе над головами, наши голоса отзываются эхом в пустом туалете. Пахнет какой-то химией.

Сердце застучало сильней, ладони вспотели. Все-таки это было место преступления. Где каждая травинка и камень — свидетель...

Я не успел спросить Муху, будем ли мы заходить внутрь, из туалета вышел, заправляясь, толстый полицейский. Осмотрел нас. Мы продолжили идти, как ни в чем не бывало, Муха бросил бычок в урну.

— Телефон полиции знаете? — прокричал вслед полицейский.

— Ноль два, — не растерялся Серёга.

Я успел схватить его за локоть и дернуть, прежде чем Муха отмочил что-то из своего репертуара. Прежде чем выступил, сказала б его мать.

— Ты че, я закурить всего лишь хотел спросить, — скорчил недовольную мину Муха, — терпеть не могу этих ментов. Что маньяки, что они. Туда же идут люди с определенным складом ума, в полицию работать.

Я обернулся, полицейского след простыл.

— Странно, но на секунду я подумал, что он и есть маньяк. Переодетый в форму. Он так смотрел на нас...

— Да они на всех так смотрят, как на преступников.

— По-звериному.

Теперь Муха схватил меня за локоть, сказал:

— Убийцы возвращаются на место преступления, ты в курсе? Это у них фишка такая, ритуал.

Мы остановились, на широкой алее дождь настойчиво застучал по козырькам наших кепок.

— Он же не мог отливать на месте преступления? — Муха протянул кулак.

— А он заправлялся, — продолжил я.

Пальцы, мокрые от дождя, дрожали. Возбуждение нарастало. Наши кулаки встретились, костяшки стукнулись, мы обменялись теплотой и силой.

— Давай сделаем круг и пройдем мимо, будто возвращаемся, — предложил Муха.

— Его там нет, можем смело идти назад, — уверенно сказал.

Серёга присел на корточки, так удобно следить: видно всех и даже кто прячется за голыми стволами хвойных.

— Ни души, — поднялся, — не удивлюсь, если они не будут никого искать. Замнут.

— Да не...

В отличие от друга я верил в справедливость, возмездие и в полицию.

— Не все же продажное дерьмо.

— Но почти, — Муха пошел первым.

Его бесстрашие было сродни безумию. Он точно обгонит поезд, каким бы скоростным поезд не был...

Мы не поверили глазам. На дверях туалета, железных, выкрашенных в грязно-красный цвет, висели здоровенные замки. Никаких желтых сигнальных лент, как в кино, обозначающих место преступления. Две бумажные пломбы с неразборчивыми буквами и смытыми дождем печатями.

Прикоснулся к замку, чтобы убедиться в реальности. Реальность на ощупь мокрая, твердая, почти ледяная. Вдобавок замарала пальцы ржавчиной, как ни мылил, а исчез оранжевый цвет лишь под вечер.

Не рассказал Мухе, что, прикоснувшись к замку, увидел себя внутри туалета, как внутри стереокартинки. Капало отовсюду, вода текла по стенам, и на полу вода.

«Смерти нет. Она для слабаков», — заметил выцарапанную надпись, и, конечно, это моих рук дело, но как? Я сказал это вслух, и Муха ответил:

— А вот так! — шлепая по плечу. — Мир сходит с ума, и мы вместе с ним!

Ау!

Я думал об этом частенько, как это сойти с ума. Выжить из ума. У нас в поселке было немало сумасшедших, если верить папе. У него каждый второй с приветом. На самом деле я знал одну, ее дразнили Надька Ау! По легенде, она лишилась рассудка, узнав, что ее любимого убили на войне. О какой войне речь, неизвестно, мы дружно решили, что это Афган.

У такого рода людей нет возраста. Время не справляется с ними, они его не ощущают, ни во что не ставят... Живут по своим правилам, в своем часовом поясе. Рано поутру и на закате Надька Ау бредет по обочине центральной дороги в сторону города и тихо зовет любимого, потерянного. Заунывно так зовет, аукая... Говорят, если она его дождется, отыщет, то снова обретет разум и станет нормальной. Но, по мне так, она сама не хочет возвращаться в наши ряды так называемых нормальных, обычных людей. На ней яркий красный бант и белое платье со стразами, переливающееся, искрящее, зеленые тени на глазах и морковная помада. Ей наплевать, что о ней думают, как она выглядит. Она была бы счастлива, если бы не несчастье с ее суженым. А может, в том несчастье, что стало причиной безумия, ее счастье?! Ау не прячет взгляд, смотрит в глаза и всегда с гордо поднятой головой.

Мне бы хотелось в чем-то походить на Ау. В том, как она уверенно смотрит и говорит в лицо все, что думает. Честная, неподдельная... Муха, он тоже ляпает все не думая, потом, может, и жалеет, но не подает виду. Пельмень разбалованный, и во всем всегда его хата с краю. Лёша, как положено всем спортсменам-чемпионам, говорит что хотят от него услышать, он должен нравиться всем. Я, я прячу глаза, отвожу взгляд, будто мне есть, что скрывать. Стеснительность с возрастом пройдет, считает мама. А мне кажется, что пройдет она в том случае, если я стану, как Ау, чуточку сумасшедшим...

Еще кажется, что это во мне из прошлых жизней. Я сотворил, видно, что-то невозможное и поэтому не могу смотреть людям в глаза, чтобы они не смогли узнать о содеянном... Но что такого я мог сделать? Как бы разузнать, заглянуть за время... Может, я кого-то убил, и вина за содеянное сидит во мне из жизни в жизнь, пока я не покаюсь, не признаюсь, не буду наказан...

Эхом из прошлой жизни отвожу глаза в сторону и вниз.

Муха протянул мне сигарету:

— Пыхни, на. Расслабит. Все равно мы ничего сделать не сможем. Если только сами его не выследим и не завалим.

Дождь

Драки в поселке редки, старшие забивали стрелки и решали свои вопросы далеко от дома. Мы, еще совсем зеленые, любили подубасить друг дружку или таких же, как мы, сорванцов из соседнего двора. Но все было не серьезно, без чрезмерного кровопролития и затаенной злобы. Уже на следующий день здоровались как ни в чем не бывало...

Завалить — звучало намного серьезней, чем надрать задницу и надавать по тыкве...

Дождь после обеда лил беспощадно, стеной. Сидели у меня в комнате, Муха курил в открытое окно, я рисовал по памяти полицейского, выходили одни глаза, не человеческие.

— Блин, ну хоть какой нос у него был?

Муха не помнил ничего.

— Он же был по-настоящему, — посмотрел на друга, — реально живым?

Стало не по себе, разболелась голова, шум наполнил комнату. Я провалился внутрь стереокартинки, оказался в центре дождя, дождь поливал в комнате, рядом никого, Муха исчез, вместо него сплошная гладь воды. Вытянул руку, ладонь исчезла в дожде, стертая невидимым суперластиком. Отдернул руку — культю, ощущаю, как перебираю пальцами, но не вижу их...

«Что я скажу маме?» — мысль, и сразу вторая: — «Как покажусь в школе?..»

Дождь, прочитав мысли, ожил, двинулся на меня. Исчез альбом с глазастым рисунком, разбросанные карандаши растворились один за другим...

Встал, пятиться некуда, я окружен водой, втянул живот, чтобы подольше оставаться видимым.

Надо что-то сделать. Как-то остановить дождь? Сказать кодовое слово? Пароль-заклинание?..

На глазах исчезли кончики носков, я в шортах, и острые выпирающие коленки исчезают следом...

— Смерти нет. Она для слабаков, — тараторю, не действует, дождь наступает. — Замри! — кричу уверенный, что должно помочь, и движение действительно прекращается, дождь замер. Указательным пальцем уцелевшей левой руки легонько касаюсь дождя и сразу отдергиваю. Дождь на ощупь стал стеклом. Постучал по нему

кулаком, ни звука. Я замурован в стекле. Как букашка в янтаре... Воздуха надолго не хватит, это конец. Смерть для слабаков. Смотрю вниз и вижу пальцы правой руки, и черные концы носков вернулись, и коленки, поднимаю глаза, а вместо мутной глади стекла лицо друга Серёги. Муха трогает мой лоб, говорит:

— Ты что, уснул вот так, с открытыми глазами?!

Мама с бабулей говорили, что я луначу иногда, правда с годами это случается все реже, но чтоб заснуть, вот так, да еще с открытыми глазами...

— Из-за дождя, — промямлил.

— Мать у меня раз тоже прямо на ходу заснула, шла и грохнулась на пол, — как-то безучастно рассказывал Муха. — Лежит, спит, а из носа кровь на ковер бежит, давно это было, до их развода, уже даже кажется, что не со мной, или приснилось все, нафантазировал.

Окно прикрыто, дождь прилип к стеклу и, кажется, не кончится никогда.

Дождь стирает реальность, когда он такой сильный и бесконечный.

— Надо это сделать в дождь, ни следов, ни сочувствия... Просто дождь, холодный и беспощадный, — сказал друг, и я кивнул:

— Просто дождь.

Лунатикам вход воспрещен!

Чтобы не разгуливал лунатиком по ночам, мама у кровати одно время приспосабливала обильно смоченную половую тряпку. Срабатывало, босые пятки касались холодной ткани и шустро возвращали меня в кровать под теплое одеяло.

— А-то ведь уйдешь так, куда живым хода нет, — стращала бабушка. — А во сне ты наполовину там. В призрачном мире.

В это нетрудно поверить, лунатики на грани реальности и мира снов. И явно, если они бродят, не боясь упасть по конькам, по краям крыш, лавируют, балансируют над пропастями, то рано или поздно находят дверь, проход в тот свет.

— Ведь маньяк может быть и лунатиком, — думаю вслух. — Сделает во сне что-то ужасное и забудет, проснувшись.

— Ага, и его невозможно поймать, потому что он невидим для бодрствующих. А мы с тобой лунатики, вот и разглядели убийцу. Чушь все это киношная, — Муха ходил кругами по комнате. — Лунатик у нас один, и это не я, а все эти чудовища — простые люди и не лунатят даже. Им по кайфу причинять боль, вот и все. Лунатики другие, у них крылья есть, такие муху не обидят.

— Забыл, как головастиков на пару давили?

И тут Муха не растерялся, у него на все словно приготовлены были ответы:

— Так то в первом классе было, — отмахнулся, — не страшно и несчитово. Вы же, лунатики, явно избранные, для чего-то нужны, для поддержания какого-нибудь вселенского балласта... Проводники, может, в иные пространства...

Засмеялся, а что еще оставалось, я в свою особенность не то что бы не верил, близко не предполагал, что могу чем-то отличаться... Хотя все мы чем-то да отличаемся. Чемпел — спортсмен, и штангу тягать, и бегать мастер, Муха — справедливый бунтарь, бравый Робин Гуд, Язык искусно владеет языком, Пельмень — ответственный, с детства за отцом ухаживает, а я рисую, сочиняю, наверное, в этом моя отличительная способность. Могу нарисовать даже с закрытыми глазами все, что угодно.

— Почему вот только не получается этого ссыкуна-полицейского портрет, — смял лист. — Призрак какой-то.

— Не призрак он никакой, тварь божья.

Звезданутость (Эхо)

Ближе к вечеру собрались все в гараже у Чемпеля. Место машины давно заняли самодельные тренажеры, подвесные гири, скамейки со штангами, две боксерские груши...

— Батя собирался новую иномарку покупать, — как бы оправдывал появление собственноручно собранных качалок Лёха, — да все никак, а старую «Волгу» продал, — вздыхал, терзая эспандер, Чемпель.

Он рассказал, услышал от сестры, что старшеклассники с родителями собрали отряд добровольцев, патрулируют вокруг школы и парк. А еще, что задержаны подозреваемые.

Про утреннюю встречу в парке мы промолчали, не сговариваясь.

Настроение по погоде, веселье на нуле, лишь дождь бомбит, не уставая, и одно на всех желание — забраться поскорей под одеяло...

Сегодня ночевка у Мухи, его мать позвонила моей, сказала, что это единственный способ нормально пообщаться с сыном.

Они жили возле треугольника, на втором этаже двухэтажного дома, в трехкомнатной квартире. Комната Серёги была соединена с застекленной лоджией, и летом мы проводили все время там, у распахнутых окон перед бесконечным звездным небом. У самого начала Вселенной — так мы считали.

Мы давали свои названия созвездиям и звездам, а на следующую ночевку, конечно, не могли их вспомнить и придумывали новые.

Как и полагается, у каждого было по нескольку собственных созвездий с нашими именами и фамилиями. Созвездие Мухи Бессмертного, например, или Петрушкин Клык. А уж над названиями звезд как мы изгалялись...

Смеялись, бывало, до слез, и небо становилось ближе. Оно проникало в нас всей своей громадиной, опрокидывалось, заполняло. Хотелось прыгнуть с лоджии в полной уверенности, что не разобьешься, что ты — часть неба... Звезданутость оставалась в нас надолго, и во сне, где летать в порядке вещей, и наутро еще ощущалось ее присутствие больным, как после занятий на пресс, животом, и легкостью в походке: подпрыгни и взлетишь к потолку. Думаю, звезданутость остается в нас до конца. Потом мы отправляемся на небо и сами становимся звездами, а на Земле остается эхо нас. Наше эхо.

Люстра

Звонок в квартире Мухиных громыхал на весь подъезд пулеметом-органом, — мама Мухи тетя Кристина привезла его откуда-то из заграницы. Правда, она просит называть ее просто Кристиной:

— Тетя Кристина как-то неблагозвучно, — считает она.

Я стараюсь избегать прямого обращения, всячески увиливая, но сидя за столом лицом к лицу, это трудновато.

Стол накрыт в зале перед телевизором с выключенным звуком. Прячусь от пристального взгляда тети Кристины за вазой с фруктами.

Успели съесть суп с яблоками и курицей, доедали сладкий рис, тут мама Мухи начала вспоминать детство сына:

— Вот он не любит, когда я сравниваю, но как без этого?! Люди привыкли воспринимать мир через сравнения, — она налила из бутылки белое вино в пузатый стакан. — Это проще, согласись, чем вдаваться в долгие объяснения.

Киваю, искоса смотрю, как бегают желваки на Мухиных скулах.

— Сегодня с утра специально достала из «тещиной» коробку, я оставила на память старую люстру. Такую, с пластиковыми канделябрами-висюльками в три ряда. Сержик обожал это дело, он тогда в детский сад ходил, так вот для него мыть эти самые висюльки было праздником. Наберу в таз воды, снимем туда эти сосульки, как он их называл, и Сержика целый день не видно, не слышно. Ну, а потом вдевать назад, это целая комедия, — рассмеялась она. Муха встал, взвизгнули по полу ножки стула:

— Пойду, подышу, — пробурчал, не открывая рта.

Тетя Кристина вспыхнула в лице, взмахнула руками:

— Что?! Что я такое сказала?! — проводила взглядом сына до балкона, тут же пронзила меня: — Подышать, как же, — зашептала, нагибаясь ко мне через стол. — Вот как не сравнивать, когда весь в отца? Тот тоже хвастался всем, что курит с семи лет. А я как запрещу, против что скажу, сразу в позу, сразу выступает.

Жую молча, разглядываю рисинки в тарелке.

— Я и с люстрой этой канитель затеяла, только чтоб приблизить его. Мне она сто лет не уперлась. Даже гречку ему сегодня сама собиралась пожарить... Это он придумал, как-то прихожу, а Сержик кулинарит, гречка, как кукуруза, распускается попкорном в горячем масле и на вкус съедобно... — выпила остаток вина одним глотком, всхлипнула: — А его не пронять. Упертый, как баран-отец. Тут и параллели проводить не надо, все налицо. А я устала от его неучастия! От непонимания! Кто-то должен объяснить, вбить ему в голову, что такое случается и люди разводятся. Расходятся, как в море корабли!

Я кивнул. Она налила себе вино, протянула бутылку:

— Будешь? Хорошее вино для здоровья полезно, сосуды очищает.

Не успел согласиться, тетя Кристина бахнула в стакан с компотом белое полусладкое, согласно этикетке.

— Алкоголиком становятся не от вина, поверь, да и не от водки, жизнь делает из людей пропащих, никчемных пьяниц, — отхлебнула, я взял стакан, пригубил, компот на вкус был даже ничего, кисло-сладкий, аромат заполнил рот и голову. Заговорил, казалось, пахнущими словами:

— Все очень вкусно, спасибо, — я собирался с этими словами выбраться к другу, не вышло.

— Он и не посмотрел, глазом не повел в сторону финтифлюшек, замоченных в ванной. Это же не дело. Все, что бы я ни делала, в штыки, и глухой игнор на любое проявление участия в жизни.

А я сделал еще глоток, и еще два, увидел дно стакана и, переполненный виноградными испарениями, сказал, что собирался сказать давно. Зазубренный текст выплеснулся из меня благоуханием через край, тетя Кристина от неожиданности раскрыла рот и начала икать.

Пожалел ли я о том, что сделал? Ни капельки.

Вышел из-за стола, сказал: «Спасибо» и что помою посуду, если вы не против, тетя Кристина.

Тетя Кристина икнула.

Не против.

В ванной, в тазу, сосульки из мутного серо-желтого плексигласа, замоченные в стиральном порошке, похожи на разбитые мечты — изогнутые, побитые, ненужные.

— Пусть отмокают всю ночь, — сказал Муха тихо, утробно. — Завтра с утра повешу вместе с мамкой. Отдам дань прошлому.

А от Серёги уже и не веет детством: запах сигарет и крепкого пота, голос с легкой хрипотцой и серьезность зашкаливает.

— Раньше мне чудилось, что это драгоценные трофеи из сказочного королевства. Я был причастен к чему-то таинственному, вечному, — хрустел канделябрами Муха,

перебирая в тазу обеими руками. — Чистые, они сверкали, как настоящий хрусталь, от зажженной лампочки, и я мог часами любоваться вымытой люстрой. Мечтать.

Переломив с надрывным треском несколько сосулек, Муха молча вышел, вытирая о себя мыльные руки.

Осколки исчезли на дне, а я увидел люстру с торчащими клыками вместо канделябров на потолке в центре зала, где сейчас убирает со стола грязную посуду тетя Кристина, на острие каждой сломанной сосули застывшие капли крови.

Моргнул, люстра схлынула кровавым водопадом.

Сигналы

Жареная гречка хрустела поломанными плексигласовыми висюльками, но несмотря на это, была хороша. Закидывали горстями прямо с горячей сковороды, обжигая язык и нёбо, перебрались на лоджию. К этому времени тетя Кристина успокоилась, не икала, лишь изредка вздыхала, глядя на нас:

— Не спешите взрослеть, мальчишки, в этом нет ничего хорошего.

Мне стало жалко маму Мухи, и я отругал себя за все, что наговорил, мог бы помягче, она ведь женщина, ей и так от сына достается. Успокаивало решение Серёги утро посвятить маме.

Из распахнутых окон виден угол треугольника, там по обыкновению мы жгли костры. А когда не было звезд, как сейчас, поджигали длинные прутья и поднимали над головами крохотные светильники. Творили свои звезды. Оранжевые, голубые светлячки прожигали ночь, рисовали на темном холсте крученые параболы и тайные знаки... Хотелось больше звезд, много, секстиллион секстиллионов, тогда в руках вспыхивали факелы. Разрезая тьму, мы грозили пламенем бесконечному космосу, ощущая себя властелинами планеты, победителями мрака.

— Помнишь, ты сказал, что факелами мы подаем сигнал инопланетянам? — задумчиво сказал Муха, перегибаясь через подоконник в ночь и выпуская из себя спрессованные колечки тумана. Огонек сигареты тоже ведь одинокий сигнал. Что-то вроде SOS, — вспыхнул кончик «Винстона», поблек и вновь затрещал бордовым цветом.

— Думаю, они видят, как мы им сигналим, — взял зажигалку друга, щелчком сотворил крохотное пламя. — Если бы они прилетели и решили забрать тебя с собой, ты бы согласился?..

Я посмотрел на Муху, профиль серьезный, строгий, взрослый.

— Не прилетят, — профиль обернулся анфас. — Да и не нужен я им. Тут никому толком не нужен, на Земле, а на небе тем более. Космос не для нас. Не для меня точно.

Погас маячок Мухи, нет сигнала, бычок растворился мгновенно в темноте.

— Буду сигналы под землю посылать. С мертвецами, в гробах, записки с вопросами всякими, о том свете, о жизни там и тут, про черные дыры спрошу обязательно, и эликсир бессмертия... Они ведь там все уже знают, вот пусть поделятся со мной. Засыплю их записками-сигналами и рано или поздно, — Сергей подмигнул мне, — и рано или поздно кто-нибудь ответит.

И ясной четкой картинкой в проеме открытого окна — Муха, бегущий и обгоняющий поезд.

На человеческом языке

Ощущение, что это последняя наша ночевка, не покидало с той минуты, как переступил порог квартиры, оно было и раньше днем, и утром. Оно поселилась с того момента, как мама сказала про звонок тети Кристины:

— И чего вам, мальчишкам, не жить дружно с родителями? — мама сделала что-то с голосом, он зазвучал тверже, настойчивей: — Ведь все ради вас и делается. Столько сил и нервов, столько всего... Серёжа рано столкнулся с реальностью. Развод, суды, обвинения, то папа плохой, то мама злоупотребляет чрезмерной заботой... Мне честно жалко вашего Муху и радостно, что ты на его стороне. Завтра отправляйся на ночевку, но обещай не курить.

Вот за это я обожаю маму! И за много чего еще!

Поэтому, переполненный тоской, лег к Мухе с тетрадкой, исписанной каракулями, моим новым рассказом-ужастиком про то, как в одном, конечно же, американском городке, у нас бы сроду ничего такого не случилось, заговорили домашние животные.

Муха слушал, заложив руки за голову, уставившись в потолок, и не дышал, пока пожилая пара убивала друг друга после прослушивания сообщений, оставленных на автоответчике их шестнадцатилетним котом. Кот поведал об обоюдных изменах стариков, рассказал в деталях, где, когда, как и с кем.

История заканчивалась хэппи эндом для всех животных. Люди уничтожили друг друга, и в городе остались одни кошаки да собаки с курами.

— Хороший рассказ, — вынес вердикт благодарный слушатель. — И название «На человеческом языке» отличное, одно но.

Я привстал, выкатив на друга глаза, это у нас называлась «словить мину».

— Заграничные имена, Петруш, ну к чему они?.. Чем наши Маньки и Васьки хуже?..

Где-то внутри я давно ожидал подобного, поэтому кивнул:

— Да, мне тоже Джулии эти и Сэмы не по вкусу, честное слово, — признался, и легче стало от этого, будто сам заговорил на своем, человечьем. — сочиняю и долго мучаюсь с выбором имени, с фамилиями нерусскими так совсем завал. Фу, — выдохнул и вдохнул себя нового.

— Кот Барсик отомстит покруче каких-то там Тома и Джерри, — Муха вытащил из-под меня одеяло, укрылся. — и станешь ты самым классным писателем и художником, и будет у тебя жена какая-нибудь актриса или модель, дом, домов у вас будет по всему миру куча, но жить вы будете на берегу океана...

Завалившись на спину, вытянулся в сплошную, бесконечную улыбку. Улыбка самого-пресамого счастливого человека на Земле.

— Про меня разрешаю не писать, хотя могильщик — тот еще персонаж, — Муха вздохнул с надрывом. — только я буду грустным могильщиком, никакого экшена со мной не получится, одна скукотища.

— В скукоте свои ужасы, — ляпнул, не задумываясь.

— Да, — согласился резво Серега, — вот тебе и название готовое «Убийственная скукота».

— И в конце все умрут.

— От скуки.

— Могильной.

Мы посмеялись, лежали рядом друг с другом, уставившись в потолок, а на самом деле смотрели сквозь него, сквозь шифер крыши и темную толщу ночного неба, туда, где один язык на всех. Язык звезд.

Предчувствие

Будто врезался в стену холода. Открыл глаза, внутренне сгруппировался в ожидании, что окажусь замкнутым внутри стереокартинки. Первое, что пришло в голову, — я в том самом туалете в парке и сейчас произойдет что-то ужасное. Отблеск стекла, и вот передо мной вереница окон, за стеклами ночь, и лишь далекий уличный

фонарь на повороте к треугольнику стойко борется с мраком пульсирующим мечом бледного света, отражаясь в темных стеклах домов. Не успеваю моргнуть, как стекла начинают дрожать в оконных рамах, будто решили, что им в них тесно и сейчас они вырвутся на свободу. Загудело все: и небо, и земля слились в один протяжный утробный гул, я попятился, наткнулся на что-то спиной, обернулся, это был Муха, он стоял в одних плавках, белая кожа светилась, из открытого рта шел этот режущий звук, а из глаз его текла кровь.

— У тебя кровь, — все, что сказал я.

— Это твоя кровь, — донеслось сзади, я обернулся и... гул исчез.

— Пётр, — испуганный голос Сергея, — все нормально, Петя, проснись же...

Я на лоджии у разбитого окна. Стекла под босыми ногами, на ладони правой руки порез ярко прочерчен выступившими бусинками крови.

— Ты ходил во сне, лунатил, — у Мухи глаза, как два тазика, — и порезался...

Открытая фрамуга с оскалившимися осколками стекла захлопнулась очередным порывом ветра, я сказал:

— Что-то большое и темное, слышишь, Муха?.. Приблизилось, и оно все сломает. Разрушит.

Муха мотает головой:

— Это ветер поднялся, в крыше шумит.

Говорю ему — нет, не ветер, и начинаю стучать зубами, но говорю еще:

— Похоже, что это конец, Муха.

— Конец будет нам, если ты сляжешь с температурой, — хватает за неповрежденную руку и тянет к себе, решаю, что надо сопротивляться, толкаю его, окровавленной ладонью бью по лицу:

— Это конец, — шипит змея в моем горле. — Отпусти, ничего больше не будет!..

Сергей умело перебрасывает меня через порожек прямо на кровать в еще теплое нутро простыней и одеяла. Я плачу (да я ли это?) в объятьях друга навзрыд и знаю, предчувствие меня не обманывает.

Захватчики

— Будто всех, и тебя, и маму, и мальчика того, что от маньяка пострадал, оплакивал, — смотрел в глаза другу, перебарывая дикое желание ослепнуть или провалиться сквозь этажи в подвал.

Муха намотал на кончик спички вату, смочил ее йодом и легонько обработал порезы, не переставая дуть мне в ладонь. Щипало терпимо, нетерпимо было рассказывать причину слез, тем более, когда она тебе самому непонятна.

В понедельник, еще ощущая неловкость и покалывания в перебинтованной ладони, я ждал на перекрестке ребзю, когда загрохотало все и загудело. Два бульдозера и два самосвала — источники шума. Покрытые коркой многолетней грязи, похожие на пришельцев из космоса, они двигались, распугивая дворовых собак и кошек. Птицы в ужасе оставили гнезда, скворечники... Стекла, я видел, как в доме напротив, задрожали все стекла в окнах. Непривыкший асфальт центральной улицы крошился под громадинами, грязь летела в стороны на аккуратные пестрые кучи осенней листвы вдоль обочины и на побеленные заборы, стены, прохожих...

Могу поклясться, в кабинах за баранками сидели самые настоящие чудища — чумазые, с гнилыми зубами и свирепым взглядом мертвых глаз. Монстры скалились, дымили огрызками папирос и плевались на пол кабины.

Я не заметил, как друзья собрались вокруг меня — ошалевшего и обездвиженного. Оглохшего. Поэтому я не слышал ничего, что они говорили, какие ругательства выкрикивали вслед незваным гостям, захватчикам. Лёха прокричал в ухо:

— Ты-то что как истукан?! Матюгнулся бы для приличия.

И я заорал, как никогда до сегодняшнего утра, а потом крик стал набором страшных слов, от которых, как скажет позже Муха, у всех, кто слышал, заворот кишок случился.

— Такие маты сроду не слышал, — похлопал Чемпель по плечу. — И не повторю ни в жизнь.

Яшка высунул язык, помахал им, промычал:

— Ты — мой герой.

Ну, а у Тимура взаправду, с перепуга или, как он утверждает, из-за яйца на завтрак, скрутило живот, и понос на весь день был обеспечен.

Неужели правда, и треугольник, мир нашего дворового детства, будет стерт с лица земли зверомашинами?..

Исчеркал черными фигурами-квадратами, треугольниками, крестами последний лист в каждой тетради, пока дождался конца занятий. Не думал ни о маньяке, рыщущем в поисках новой жертвы, ни о гусиной лапе... Даже приезд бабушки не был в радость. Хотелось забраться под одеяло и проснуться в мире без бульдозеров и самосвалов... Говорить об этом с бандой было невыносимо, и я убежал с последнего урока, с географии. Как любят повторять в американских фильмах — мне надо было побыть одному.

Увильнув от дежурной и завуча на дверях, не раздумывая — в парк. Слева осталось серое двухэтажное здание безымянного дворца культуры, на афишах после дождей радужные кляксы вперемешку с тарабарщиной, похожей на ту, что несли мы в начальной школе — вставляя перед каждым слогом слова частицу «та». А на тропинке, параллельно страшному месту преступления, кто-то дернул меня за подол куртки-ветровки. Сердце оборвалось и бухнулось в карман школьных брюк.

Вот он, конец.

Конец сказал вдруг голосом Мухи:

— В окно тебя увидел и сиганул следом. Ты что это, один на маньяка собрался охотиться?!

— Ну, ты... — не договорил, так как сердце подскочило из кармана к горлу и вернулось на место.

Муха прикурил:

— Из-за треугольника расстроился? — выпустил через ноздри драконьи сизо-белые струйки. — Ты это почувствовал, так ведь?.. Предвидел?..

Что-то большое и темное. Оно все сломает. Разрушит.

Сергей произнес это, и мой следующий шаг уносит меня в сон, полуявь, другую реальность, заключив со всех сторон бетонными стенами, где один только звук — раздражающий, сводящий с ума звук равномерно капающей воды.

Подписи

Не знаю, что я имел в виду тогда, в предрассветный час у разбитого окна лоджии, но то, что предстало нашим глазам, было из разряда фантастики, запредельного, как черный час и чудовища...

Забор, железные листы грязно-зеленого цвета метра два высотой вокруг треугольника. За ограждением орудуют машины, за несколько часов вырыли огромный котлован и продолжают копать...

— Деревья... — вырвалось у меня.

Муха затушил о забор недокуренную сигарету:

— Накрылись ловитки на дереве, — пнул железный лист. — Да все накрылось.

Я говорю:

— Нет.

Он говорит:

— Да.

И это его «да» — аксиома, не требующая доказательств.

Чемпель бы сказал — я же говорил. Детство кончилось.

Муха добавляет:

— И с этим мы ничего не можем поделать, разве что это, — расстегивает ширинку и мочится шумно на забор. — Давай оставим им свои подписи на долгую память, — выводит он буквы на ржавой зелени.

Я присоединяюсь, нисколечко не стесняясь, не боюсь быть увиденным, пойманным, наказанным.

Это станет нашим ритуалом, и мы при любом позыве и возможности будем его выполнять. Еще разукрасим забор, живого места не оставим, лозунгами — «Вечность за нами!», «Убирайтесь назад в ад!», «Этот мир наш!», разбавляя надписи звездами, солнцами, бесконечными улыбками...

Четыре Конца Света

Последняя неделя сентября — раскаленное добела солнце, асфальт— мягкий пластилин, горячий, так и хочется взять и начать лепить вместо осени лето.

На субботу назначен перенос и открытие нового туалета.

Яшка Язык всю неделю потирает демонстративно ладони. Муха проиграл спор и нырнет на дно старого сортира.

Серёга Муха в ответ повторяет жест победителя. Порой, чтобы победить, надо проиграть.

У Чемпеля депрессия, он подозревает Олю Рожкову в измене.

Тимур решил всерьез похудеть и запретил называть его даже в шутку «Пельменем».

Мне же каждую ночь снятся кошмары с ожившими машинами-монстрами, превращающими поселок в руины.

— Они стерли с лица земли наше детство, — говорю я.

«Они» — это взрослые, конечно же. Те, кто так или иначе причастен к уничтожению треугольника, к появлению забора, и ничего не предпринявшие, мирно смотревшие на катастрофу взрослые.

Это больше, чем просто катастрофа, это Конец одной второй части Света! И все виновны в этом! — пишу в тетради, где начал неделю назад новый рассказ. У героев рассказа с черновым названием «Четыре Конца Света» наши русские имена и фамилии.

По задумке некая высшая сила предлагает четырем разным непохожим людям с разных концов Земли (но все будут русскими по чистой случайности, а может, по задумке высшего разума) придумать свой собственный сценарий Конца Света.

Ну, те и рады стараться, разносят Землю всеми невероятными и невозможными способами...

Один из способов уничтожения — машины, все без исключения виды транспорта и даже игрушки, по сценарию, стали громить все вокруг, а выведенные из строя взрывались самым настоящим ядерным взрывом.

— А прикинь, если все, что бы ты ни написал, сбывалось?! — Муха присвистнул, я раскрыл рот, а он выдал: — А давай, попробуй написать что-нибудь про нас, и проверим.

Я пролистал тетрадь с четырьмя Концами Света.

— Напиши, скажем, про то, как у Яшки язык стал жить собственной жизнью. И прикольно, и поглядим, сбудется, нет.

И хоть какая-никакая, а месть за проигранный спор, — хотел, но не сказал Муха, подумал я и ответил:

— Запросто. Напишу за ночь.

Друг поднял ладонь, и я ударил по ней.

— Если все получится, — бросило меня в пот, — мы и маньяка поймаем, и треугольник вернем.

У меня загорелось в груди, будто глотнул кипяток, ладони зачесались в точности как тогда, после стекловаты. Ноги понесли по дышащему от распалившегося солнца асфальту к дому номер два по улице Дворцовой.

Очередной Конец Света вновь откладывался на неопределенный срок.

Смерть языка, или три тысячи и одна ночь

Итак, у Яши Гончарова ожил язык после того, как он прикусил его за ужином. Язык долго кровоточил, распух так, что еле во рту помещался. Мальчику удалось заснуть после второй таблетки обезболивающего, и снилось ему, язык зацвел большими фиолетовыми цветами...

Проснулся Яша ранним, еще темным утром от собственного голоса.

Автономия языка, вероятно, распространялась и на голосовые связки, потому что из горла Яши, не обращая внимания на сигналы мозга, выскакивали незнакомые мальчику слова. Яша попытался закрыть рот, не смог. Зажал его ладонями, рот болезненно растянулся, и Яша услышал череду матерных слов в свой адрес, — и если он попытается сделать так еще раз, — грозно прохрипел незнакомый голос, — он, то есть язык, сделает плохо всем.

Писал до часу ночи, пока мама не заговорила не своим голосом и не начала угрожать подобно придуманному мной языку:

— Или выключай свет и в кровать, или никаких выходных со своей бандой.

Мама победила, мамы всегда побеждают. Остановившись на том, как Яша задумывается об объявлении войны своему языку, забрался, недовольно ворча, под одеяло.

— Думаю, этого достаточно для проверки, — успокоил себя, огонь внутри погас, руки не чесались, я закрыл глаза и открыл их под трель будильника из спальни родителей в семь утра. Я обожал такой сон, молниеносный сон-вспышка.

До того как оживет мой будильник, еще час, и я бы поспал еще, но руки тянутся к тетради с рассказами, хотя в голове ни мысли о том, чем же закончится война героя с собственным органом речи.

Всю дорогу к школе пересказываю Мухе историю, пока он не останавливает меня, дернув за локоть.

Яшка идет навстречу нам, выделывая языком крученые параболы.

— Не сработало, — говорит, не открывая рта, Муха.

— Ага.

Но на большой перемене я делюсь с друзьями яблоками, что привезла бабушка с безымянной деревни, Яшка выбрал самое зеленое, тут же откусил больше половины и... прикусил язык.

Красный червячок выполз из белой мякоти плода и сполз на подбородок, глаза у Яши заполнились слезами, он выплюнул окровавленный кусок и промычал, стараясь меньше ворочать раненым языком:

— Тьи тыши и одна ночь.

Я сразу вспомнил спор годичной давности и книгу сказок, выведшую Яшку из игры мощнейшим ударом по голове, мне тогда поставил шишку Достоевский с братьями Карамазовыми.

Муха смотрел то на хрипящего, плюющего кровью во дворе школы Яшку, то на меня:

— К-к-как название рассказа? — спросил вдруг.

Я растерянно прошептал:

— Смерть языка.

И мы набросились на друга, в четыре руки тарабаня его по спине.

Бабушка, а за ней и отец, часто повторяют — Бог отвел. Вот и с Языком, после того как он умылся и приложил к ранке чистый платок, я предположил то же самое — Бог отвел. К медсестре Яша идти отказался, люто жестикулируя. Муха шепнул мне на ухо:

— Пиши, как мы поймали маньяка.

Кивнул ему, а после школы, не обедая, сел и написал коротенькую историю о том, как мальчику по имени Серёжа удалось избежать малоприятную участь исследования дна выгребной ямы.

Роза-огнемёт

За забором детства и в выходные шумит работа. По слухам — треугольник, землю, на которой он находился, выкупил какой-то миллионер-предприниматель, и здесь теперь будет автостоянка с подземными гаражами. Или супермаркет, — говорит бабушка, ей кто-то из соседей шепнул, и будто у этого богатея денег столько, что весь поселок купить может.

— Весь да не всех, — буквально дрожу всем телом от злости. — Эх, узнать бы, кто это, мы бы ему устроили вырубку деревьев...

Бабушка мотает головой, на ней платок, расписанный ярко-зелеными листьями и алыми розами, маленьким я любил расстилать этот платок у себя на коленках и любоваться близостью такого совершенного произведения искусства. Я водил по краям лепестков и срисовывал цветы на альбомный лист. Включал фантазию, и у моих роз появлялись глаза. Розы меняли цвета, были прозрачные розы, черные и голубые. Розы с ртами-пастями, полными острых зубов, розы с ангельскими крыльями. Друзьям больше нравилась роза-пистолет — длинные черные дула револьверов вместо лепестков, смотрелась роза угрожающе и этим была привлекательна для мальчишек. Именно эту розу представлял я, разговаривая с бабушкой о миллионере. У нас у каждого такая, мы крепко сжимаем рукоятки, стволы роз, и нажимаем на спусковые курки-лепестки, когда видим противника-разрушителя. Красные пули, похожие на зерна граната, бьют точно в цель.

— Для такого дела, — говорю сам себе, — я бы нарисовал розу-пулемет.

Улыбка на моем лице, улыбка всех мультяшно-киношных злодеев, вместе взятых, растягивается под щелками глаз.

— Роза-огнемет...

Безликий маньяк исчезает в огненном вихре следом за миллионером-предпринимателем. Я отчетливо слышу, как трескается раскаленный воздух, ощущаю горячую волну на лице, и капельки пота на лбу, и жар...

Волшебное слово

Потерялся во времени. Растворился где-то между сном и явью. Потерялся, как в самом страшном своем кошмаре, где нет ориентиров. Нет дна, нет солнца...

Будто весь мир — это стереокартинка, и я завис в ней, в этой неизвестности, и выход один... Я его знаю, помню. Круговорот поедания самого себя в природе. Только я не могу пошевелиться, я застывшая крупинка в окаменелой массе и, чтобы спастись,

я должен произнести слово. Волшебное слово. Все всегда решает одно слово. Секретное слово. Как ключ от всех дверей. От Вечности...

— Отомри, — пароль в игре «море волнуется раз», в остальных случаях не срабатывает — проверено. Как не помогают и другие пароли — «пожалуйста», «клянусь мамой», «ради бога»...

Я пробую, произношу сначала про себя — «смерти нет», потом вслух добавляя:

— Смерть — она для слабаков.

И вижу себя царапающим ржавым гвоздем этот пароль, слово в слово, на гнилой доске туалета. Трухлявая доска крошится, я протягиваю ладонь, пытаюсь поймать чешуйки и хватаю себя за нос.

В том, что это нос, убеждаются и глаза, сперва веки приоткрываю чуток, смотрю сквозь ресницы, по всем ощущениям, я в своей комнате, лежу в кровати, схватив себя за самую выпирающую часть лица, ресницы распахиваются.

На прикроватной тумбочке бумажно-картонные упаковки лекарств, стакан с водой наполовину пустой, две ложки — одна чайная и столовая с белесыми следами от растолченных в них мамой таблеток. Градусник, я присмотрелся, серебряная стрелка ртути на отметке 38. Откусанное зеленое яблоко пялится поржавевшей, сморщенной раной.

За окном, не понять, серое утро или вечернее угасание?..

Тяжесть в затылке, напоминание о прошедшей головной боли. Боль никогда полностью не проходит, она прячется, как все эти чудовища из черного часа, как маньяк, которого никак не поймают...

Во рту вяжет, как после съеденной хурмы, ни слюнки, горький привкус отрыжки таблетками...

Утро или вечер? Поднимаюсь из жаркого, липкого нутра постели. Словно сам стал жертвой своего оружия — огнеметной розы, теперь вот восстаю из пепла... В подтверждение хрустят коленки.

Хруст как шифр к коду, как пароль к старту воспоминаний.

Хруст и крик

Хруст — это Муха оторвал доску, расширяя отверстие в деревянном полу, а внизу вонючая до рези в глазах и легких яма (метра два глубиной), полная экскрементов.

Жижа, темно коричневая, живая, она дышит копошащимися в ней червями и мухами. Тимур отворачивается, с трудом сдерживаясь, чтобы не сблевать.

Яша поспешно спрятал язык, им он все утро снова и снова касался кончика носа, скривил лицо. Чемпеля не было, у него примирение с подружкой или очередная тренировка, — взрослая жизнь, двумя словами.

— Сокровища, — выдохнул весь воздух я, стараясь не дышать поднявшимся вместе с тучами мух ароматом.

— Жизнь — дерьмо, — сказал, ни капли не сконфузившись, Серёга, даже носом не повел, — отметил я, Муха говорит: — Если всю жизнь в дерьме, значит и замараться не страшно, не замараюсь, — хихикнул, надел водолазную маску.

На нем, кроме маски, еще темно-синие плавки. Солнце, несмотря на раннее утро, жарит вовсю. Последние дни сентября.

Кот Васька опасливо обошел разобранную коробку туалета, пять лет назад он был первооткрывателем этой территории: с Мухой решили проверить, выберется ли кот из моря фекалий. Васька выбрался и отомстил, забравшись на выстиранные бабушкой простыни.

Васька забрался на вишню от греха подальше. Я перевел взгляд с кота на Муху,

перед глазами белые простыни в грязных коричневых кляксах и тазики, в них до ночи мы перестирываем всю грязную одежду в доме, включая кота Ваську.

Глаза Мухи за мутным стеклом кажутся большими и круглыми, под стать маске. Он подмигнул мне:

— Я перегоню этот поезд, — сказал чуть слышно.

Я кивнул, посмотрел на Яшку, «может, хватит?» должен был прочесть он в моих глазах, Язык не прочел, подмигнул и довольно потер ладони.

Тимур ушел на безопасное расстояние, под вишню с Васькой, там, видимо, уже не чадило.

Серёга сказал что-то еще, я не расслышал и, прежде чем успел спросить что, он плюхнулся в густую зловонную субстанцию.

— Срань, — Язык отвернулся и сплюнул. Я не видел Тимура, но по донесшемуся звуку за спиной его стошнило.

Сморщившись похлеще «перекособоченной тяпки», смотрел на колышущуюся толщу дерьма.

Смерти нет.

Прошла минута или около того.

Она для слабаков.

Я вдруг понял, что Муха не собирается выныривать, и закричал.

Аз Буки Веди

С кровати, на карачках по полу, дотянулся до тетради с рассказами. Сердце в горле — ни вздохнуть, ни закричать.

Каша мыслей, не каша — жижа, та самая, вязкая, как трясина, с клочками туалетной бумаги...

— Я же написал, — бормочу, — Муха не должен был нырять.

Листаю все, что написал за последний месяц. Рассказы, мысли, сны... Петрушкина азбука, — говорит бабушка.

Ищу историю про Серёгу и не могу найти.

— Быть этого не может! — страница за страницей мелкого подчерка. И в мельтешении этом обрывки слов: ловитки, звезды, детство, пустота...

В затылок вернулась боль, постучалась, без приглашения прошла по спине, вернулась назад с разбега прямиком в мозг.

Закипели мозги, теперь я знаю, как это. Перед глазами все потекло, размазались обои, книжные полки, тетрадь...

Пошел дождь, я смотрел сквозь стену воды. Дождь на ощупь теплый, маслянистый...

— Муха, — позвал, — ты вынырнул?.. Или я прыгнул следом за тобой?..

Прислушался, — шум дождя.

— Нас спасли?..

В раскрытой тетради на листе в клетку слово. Я знаю — это то последнее слово, что произнес друг, но не могу прочитать его. Лист промок, буквы расплылись... На свете масса нужных, главных слов — мама, счастье, радость, дом, боженька, ... Это, должно быть, одно из них.

Я переберу все и найду то самое слово. Слово, которое вернет мне друга. Вернет треугольник детства, вернет лучшие времена!.. Вернет меня!..

Начинаю с самого начала. С буквы «а».

Евгения Джен Баранова

Цветные семена

* * *

Слова текут, как очередь в музей.
Возьми билет, на статуи глазей.
Нащупай шаг, привыкни, пристыдись.
Не жалуйся смотрителю *на жисть*.
По леднику ступай, по леднику.
Посверкивая ножичком в боку.
Поигрывая в салочки с людьми.
Слова растут — ты с ложечки корми.
Молчанием, болезнью, суетой,
бескормицей и комнатой пустой.
И завистью без толку/без вины.
Слова не для тебя тебе даны.

* * *

Что будет, если я тебе скажу,
мол, катится сентябрь по этажу,
в капрон скрывая ласточки лодыжек?
Тепло уходит, мало ли нам бед,
зато приходит маленький сосед,
раскутывает маленькие лыжи.

Консьержка заменяет сухостой
на астры, в их строении простом
присутствует желание пробиться.
А я, скорее, бархатец. В дожди
я погибаю с легкостью в груди
подобно миллионам чернобривцев.

Отставить меланхолию зовут
день города, день выборов, салют.
Оставим их для грусти разрешённой.
Что будет, если я тебе солгу,
мол, солнце не останется в долгу
и вытеплит ложбинку для влюблённых?

Евгения Джен Баранова — родилась в 1987 году в Херсоне. Окончила СевНТУ в 2011 году. Публиковалась в журналах «Дружба народов», «Homo Legens», «Юность» и др. Автор книги стихов «Рыбное место» (СПб., 2017). Лауреат литературного конкурса «Эмигрантская лира» (2017, 2018). Участница арт-группы *#белкавкедах*. Жила в Крыму, сейчас — в Москве.

Пещера Мангуп-Кале

Где стряхивает лес учётчик-воробей,
где мечутся холмы, а под холмами — мамонт,
где уходили сны, где падалось темней,
где спорила роса с тесёмками вьетнамок,

где каменным столбом, приклеенным к спине,
проржавленный июнь пытал феодоритов,
где люди из Москвы, невинные вполне,
дремали на груди невидимых убитых,

где тихий караван небесных верблюжат
соскальзывал во тьму и двигался в потёмках,
меня там больше нет. И некому сажать
цветные семена.

* * *

Когда был маленьким,
то всё казалось длинным.
Фонарь, линейка, мусоропровод.
Теперь всё коротко:
летит июль пчелиный,
колючий март царапает живот.

Сиди себя тихохонько да слушай,
как пух пылинки городу сдаёт.
Когда был маленьким,
хотелось лампу-грушу.
Теперь не хочется,
теперь не до неё.

Ни вафельки, ни жареного хлеба,
ни белого мороженого литр.
Когда был маленьким...
А разве я им не был?
А разве я с ошибкой не делил?

Ни контурная карта Ленинграда,
ни Майн, ни Рид, ни Витя Коробков
не помогают выжившим пиратам,
хозяевам цветных грузовиков.

* * *

Она произносит: лес.

Сергей Шестаков

Он произносит, и происходит шум.
Цапелька-искра роется в облаках.
Капли туристов перетекают в ГУМ.
Лобного места вспыхивает рукав.

Он произносит, и наступает жар.
Влажными пальцами не оставляя след,
сны собирает — или приносит в дар
чабер, лаванду, клевер и бересклет.

Он произносит, и вызревает день.
Это ведь просто — дни пришивать ко дням.
Выгладить реку, пересадить сирень,
клипсы акаций в мелкий ручей ронять.

Он понимает, мало в тебе огня.
Ходишь вдоль клетки, разыскиваешь ключи.
Вдруг выдыхаешь: «Отче, помилуй мя»,
но никакого звука не различить.

Анна Козлова

Улитка

Рассказ

— Мне, пожалуйста, салат с крабом и... — Аня посмотрела на официанта с тревогой, — может быть, еще крабовый суп... Если он не жирный.

Официант заверил, что, конечно, нет. Зоя выбрала гамбургер и коктейль «Ванильное небо». Иван собирался сообщить о желаемой степени прожарки рибая, когда зазвонил телефон.

Иван встал из-за стола и прошел к гардеробу, чтобы никому не мешать.

— Але.

Надя сказала, что Рому сбила машина. Он в реанимации. Иван спросил, в какой больнице?

— Всемистпервой.

Он вернулся за стол, Зоя раскрашивала семейство обедающих зайцев, сильно нажимая на серый карандаш.

— Что-то случилось? — спросила Аня.

— Рома... в больнице.

— О, Господи!

— Рома? — Зоя посмотрела на Ивана, потом на Аню, взяла красный карандаш и начала раскрашивать фартук мамы-зайчихи, подававшей суп.

— Его сбила машина.

— Какой кошмар! Ты поедешь?..

Иван неопределенно пожал плечами.

— Хочешь, я с тобой?..

— Нет, — сказал Иван.

Он поцеловал Зою и, провожаемый горестным взглядом Ани, которой трагедия испортила аппетит, вышел из ресторана.

В приемном отделении сидела Надя. Несмотря на осень, на ней было платье с коротким рукавом, застегнутое посередине на круглые золотые пуговицы, из-под платья вылезали толстые белые икры. Надя была похожа на сердитую школьную уборщицу.

Анна Козлова родилась в 1981 году в Москве. Автор семи книг и многочисленных кино- и телесценариев. Лауреат премии «Национальный бестселлер-2017» за роман «F20», опубликованный в журнале «Дружба народов» (2016, № 10). Предыдущая публикация в «ДН» — сценарий для чтения «Чёрная дыра» (2018, № 6).

— Ну что? Как он? — спросил Иван, опускаясь на стул, стоявший через стул от Нади.

— Его оперируют! — громко, с надрывом ответила она.

Взглянув на Ивана, она добавила так же громко:

— Больница просто отвратительная! В «скорой» мне намекали, что могут отвезти его в *нормальное* место, но, естественно, за деньги! У меня нет денег! Я ращу сына одна!

Иван молчал.

Операция длилась четыре часа. Вышедший к Ивану и Наде врач сказал, что, к сожалению, ходить Рома не будет.

— К нему можно? — спросила Надя.

Врач сказал, что нет.

Когда Иван приехал домой, Зоя уже спала. Он рассказал Ане, как прошел его день, и она заплакала. Иван предложил ей сходить за вином. Они дошли до винотеки в соседнем переулке, где персонал проявлял неуемную любезность. Но попросить их отвалить было невежливо, они просто делали свою работу и не обязаны были знать, что старший сын Ивана сегодня стал инвалидом. Аня выбрала тосканский верментино (маслянистый, с отчетливыми нотками дыни), дома она порезала к нему козий сыр и положила в вазочку миндаль. Они пили вино и обсуждали случившееся. Аня считала, что слова врача не приговор. Существуют другие клиники и другие врачи. Можно поехать за границу, все, в конечном счете, упирается в деньги. Иван любил Аню за удивительную способность находить надежду там, где ее не было. От вина и разговоров с ней он успокоился.

В полвторого ночи позвонила Надя. Иван оцепенел — ему казалось, сейчас она скажет, что Рома умер, но она сказала:

— Когда завтра поедешь в больницу, купи туалетной бумаги.

— Хорошо, — сказал Иван.

— И кстати! Ты можешь купить зарядку для телефона? У него сломалась зарядка.

— Какой у него телефон сейчас? — спросил Иван.

Надя презрительно фыркнула.

— Ху-а-вэй!

— Что? — взволнованно спросила Аня.

— Надя просит туалетной бумаги, — сказал он.

Аня шумно вздохнула. Иван привычно задал себе вопрос, который много раз задавал: как он мог связаться с этой женщиной?

Обычно, оправдываясь перед самим собой, он, как старый маразматик перед сельской дурочкой, разводил перспективу. Было другое время, другие ценности, другие стандарты женской привлекательности — словно начинал обстоятельный рассказ. В девяносто восьмом году Надя работала на телеканале, о существовании которого никто уже не помнит, — вела новости. Ее эфир начинался в шесть утра. Надя носила длинные платья в русском стиле, у нее была коса цвета белого хлеба, казалось, древняя славянская богиня пришла в эфир, чтобы рассказать про ночные бои в Грозном или перестрелку в Солнцево. Она была странной, но сквозь эту странность к тебе как будто присматривался большой талант, пускай болезненный, тяжелый, мрачный, но разве большой талант бывает другим? Разве бывает рядом с ним легко? Разве он греет? Разве веселит?

Их познакомила общая подруга на вечеринке, где сначала так громко играл транс, что говорить не имело никакого смысла, а потом музыку выключили, и все почему-то стали играть в игру «три вопроса», первый вопрос звучал: какое ты животное?

Потом были две недели, мнение насчет которых у Ивана впоследствии колебалось от одного до десяти по шкале счастья. 10 — очень счастливые четырнадцать дней. 8 — просто много секса. 6 — на самом деле, два дня было хорошо, потом началась херня. 4 — хорошо было один день, тринадцать дней было стыдно. 2 — откровенно говоря, это был совместный запой. 1 — лучше бы этого никогда не было.

Но все эти оценки, приступы вины и стыда, ужас от содеянного пришли потом. Две недели Иван был с Надей, он исследовал ее, они пили вино, трахались, обсуждали предложение, поступившее ей от телеканала: вести новости уже не в шесть утра, а в девять.

Расстался он с ней дружелюбно и не окончательно, как бы потом ни убеждал себя в обратном. Напротив, он определил ее как женщину, к которой можно время от времени захаживать, и тот факт, что теперь она будет вести новости не в шесть, а в девять, вполне возможно, заставил бы его навещать чаще. Но спустя месяц она позвонила:

— Слушай, кажется, я беременна.

Иван знал, сколько стоит аборт, и приготовил деньги.

И все же, пока он ехал к ней по пробкам, пока думал, что купить — цветов или вина, пока поднимался по лестнице ее пятиэтажки, где на батареях сидели похожие на меховые шапки коты, в нем зрела и наливалась жизнью надежда. Она была неясной, как природа Надиного таланта, сбивчивой, как первые кинохроники, но он видел черно-белые кадры будущего, в котором был его ребенок и в котором он сам был счастлив.

— Ваня! — шептала Надя, сжимая его руку. — Я понимаю, что мы не думали... не планировали стать родителями, но что же делать, раз так получилось? Это судьба.

Ивану разрешили пройти к Роме. Он остановился перед койкой и неловко улыбнулся.

— Привет, — сказал он.

— Привет, — ответила Рома.

— Как ты... тебе что-нибудь нужно?..

— Пап, — сказал Рома, — тут делать вообще нечего. Купи мне книгу по авиамоделированию.

На обратном пути из Дома книги Иван встретился с водителем той машины. Водителем оказалась женщина, Кудимова Татьяна Ивановна, 1968 года рождения, мать двоих детей и бабушка одной внучки. Татьяна Ивановна за месяц до трагедии кое-как сдала на права, чтобы возить внучку, как она выразилась, «на развивалки».

Также она обстоятельно рассказала, как взяла в кредит с тридцатипроцентным первоначальным взносом двухлетний «рено-логан» на ручной коробке, какой был ужасный перекресток, как занесло логан и как она сигналила и кричала, но Рома не слышал, потому что был в наушниках.

Наступила зима. Аня приезжала в больницу, напрягала своего папу, который переводил заключение на немецкий, а потом часами за свой счет беседовал с немецкими врачами. Немецкие врачи собирали консилиум и проводили его в скайпе, педантично объясняя Аниному папе, что речь может идти о том, чтобы Рома сидел, но никак не о том, чтобы ходил. И даже в этом случае цена вопроса превышала двести тысяч евро.

Тогда Аня позвонила своей подруге Риве, уехавшей в Израиль, и уже Рива переводила заключение врачей с немецкого на иврит, и уже израильские врачи рассматривали случай Ромы, но и они не могли поставить его на ноги.

Иван получил рекомендации по уходу за Ромой, в специализированном магазине

купил кровать для парализованных людей. В квартире Нади, которую он некогда купил, пахло мертвой кошкой.

Он не любил туда приходить, это место было физическим, неумолимым подтверждением совершенной им ошибки. Особенно кухня, которую они долго вместе выбирали. Надя хотела, чтобы был массив дерева и натуральный мрамор, это было важно. Наконец они с Иваном остановились на итальянской кухне из тиса, фасады шкафчиков и столешница были выдержаны в светло-бежевой гамме. Кухню установили за день до рождения Ромы. Потом, в заботах «о малыше», Надя полностью утратила интерес к интерьерам. На мраморной столешнице прочно обосновались следы отрыжки и овощного пюре. Позже к ним добавились темные кружки от винных бутылок, которые логично привели квартиру к запустению. Столешница из мрамора оказалась расколота в нескольких местах, а купольную вытяжку из нержавейки Надя вырвала из стены и выкинула на балкон.

Иван с помощью присланного из фирмы рабочего установил кровать, уложил на нее Рому и вышел из комнаты. В коридоре стояла Надя. Она ждала его, чтобы отвергнуть предложение поехать в Израиль.

— Там идет война! — а также попросила Ивана перестать подсылать к ней «эту суку, которая желает смерти ей и ее сыну».

В машине Иван вспомнил, как после рождения Ромы умолял ее взять няню и вернуться на работу.

— Ты знаешь, — говорила она, — беременность и роды что-то пробудили во мне... какую-то мощную энергию, которая раньше как будто дремала, а теперь я так ярко вижу цвет... я так хочу писать...

Спустя год Надя показала Ивану холст, в который вложила всю пробужденную материнством энергию.

Иван смотрел на желтый блин солнца на однообразном синем фоне, под солнцем располагалась фигура с поднятыми руками. Он мучительно размышлял, что сказать, но Наде оказалось достаточно и его молчания.

— Я не думаю, что заслужила твое презрение! — воскликнула она.

Пока Иван завязывал шнурки на ботинках, она говорила, что он обманул ее, предал, заставил родить сына, которого она теперь растит одна. Что он использует людей, которые ему доверились, что он не поддерживает ее, что другой мужчина на его месте предложил бы сделать выставку за свой счет, а он может только обесценивать.

— Ты разрушаешь все, к чему прикасаешься! — с этими словами Надя выбросила холст на лестницу.

Дома Ивана ждала Аня.

— Как ты думаешь, а в Германию она согласится? — спросила она.

В Германию Надя согласилась.

Татьяна Ивановна Кудимова не унималась. Она продала свой «рено-логан» и отдала Наде все деньги. Рома переходил в неположенном месте, и учитывая все обстоятельства, уголовной ответственности Татьяна Ивановна избежала, но сердце у нее было не на месте.

Спустя два месяца после инцидента и месяц после возвращения из Германии, когда уже стало понятно, что никакие врачи ничем не помогут, она вдруг позвонила Ивану и, запинаясь, попросила «на пять минут увидеться». Аня предложила позвать ее в гости.

Татьяна Ивановна совершенно серьезно сказала, что есть одна «бабушка», много чего «умеющая», она лично знает людей, которым та помогла. Она положила на стол клетчатый листок, на нем был написан адрес: Смоленская область, д. Чертково, Денисова Ангелина.

— Хорошая в принципе тетка, но сумасшедшая, — сказал Иван, когда Татьяна Ивановна, трагически перекрестившись, ушла.

Аня промолчала.

И только ночью, в постели, она стала говорить, что она просто хочет быть счастливой, хочет, чтобы счастливой была Зоя, но не получается, ни у кого из них не получается.

— Ты хочешь, чтобы я отвез его... к бабушке? — изумленно уточнил Иван.

— А что нам терять, Ваня? — резонно спросила она. — Может быть, это шанс.

За дверью послышалось сопение, и в комнату вошла, топая, Зоя. Она залезла в кровать, обняла Ивана и заплакала.

Она так и заснула, обнимая Ивана, и ночью он отнес ее в детскую. А потом лежал рядом со спящей Аней и думал, что свое счастье с ними он оценивает на 9 по десятибалльной шкале. Единственным, что омрачало это счастье, был Рома.

Весь следующий день Иван с Ромой ехали.

Несмотря на Анины попытки привадить его к дому и сделать своего рода «приходящим» членом семьи, он оставался чужим, он не вписывался в жизнь и говорить с ним было не о чем.

Низкая оценка ее творчества Иваном отбила у Нади всякую охоту к живописи, но жить было надо, и она требовала денег. Когда родилась Зоя, Надины ставки повысились. Если Иван приносил не так много, как она хотела, она бросалась в него купюрами.

Он перестал давать ей деньги. Надя тем не менее умудрялась добывать телефоны, по которым Рома звонил и после долгой паузы сообщал:

— Папочка... мне нечего есть.

Чтобы хоть как-то сократить пропасть между братом и сестрой, Аня покупала Роме вещи (наушники и телефоны он терял или ломал), водила в «приличную» парикмахерскую (обычно он сам стриг себе челку маникюрными ножницами), а когда у него начались подростковые прыщи, отвела к косметологу, который выписал рецепт на десять тысяч. Аня купила лосьоны, присыпки, притирки, таблетки и микстуры, а также написала Роме подробную инструкцию, как все это использовать. Через несколько дней Иван заехал к Наде и увидел лежащий на дне грязной ванной открытый тюбик трехтысячного геля для умывания — гель почти полностью вытек, образовав засохшее желтое пятно, чем-то напоминавшее солнце с Надиного холста.

В деревню Чертково они добрались к вечеру. Точного адреса не было, не было людей, чтобы спросить. Иван уже хотел развернуться и уехать, когда Рома показал на дом, около которого стояла толпа человек в сорок. Иван вышел из машины. На него с неприязнью смотрели замотанные в платки старухи, дети, которых держали на руках неопределенного возраста расплывшиеся женщины.

— Здесь живет Ангелина Денисова? — в полной тишине спросил Иван.

И тут же раздались голоса. Они кричали про очередь, что надо записываться, что сегодня никого не принимают. Вдруг дверь дома открылась, на крыльцо вышла невысокого роста, крепко сбитая женщина лет пятидесяти. Голоса замолкли. Женщина водила по толпе глазами, и каждый с надеждой поворачивался к ней, но ее взгляд остановился на Иване, и она кивнула ему.

— Я думал, вы старше, — сказал Иван, когда она провела его в дом и уселась на диван под ковром с бегущими оленями.

— Ты по какому вопросу? — спросила она, оставив его слова без внимания.

— У меня сына сбила машина, врачи сказали, он не будет ходить.

Она неопределенно пожала плечами.

— И мне дали ваши... контакты... И вот... я здесь. Мы здесь.

Она молчала очень долго, уставившись на фикус, который рос в кадке около низкого деревенского окна. Все так же молча она достала из кармана гладкий речной камушек и протянула его Ивану. Он взял его и держал в руке, пока она не сказала:

— Отдай мне.

Иван протянул ей камушек, она осторожно, двумя пальцами, взяла его и положила в рот. С камнем во рту она сидела еще минут пять, после чего выплюнула его на ладонь и снова сунула в карман.

— Судьба у него плохая, — она заговорила быстро, как будто боялась забыть что-то важное. — Ты ему не поможешь, лучше ты ему место хорошее подыщи, чтоб не на глазах он был...

Ивана переполняло бешенство. Он вскочил с дивана и направился к двери.

— Стой! — крикнула она.

Иван остановился. Когда он обернулся, она стояла в сантиметре от него. От неожиданности он вздрогнул.

— Я смогу ему помочь.

Она вздохнула:

— Если ты действительно хочешь.

— В каком смысле?

— В том смысле, что я бы этого не делала.

— Сколько? — спросил Иван.

— А ты много готов отдать за него? — спросила она.

— Все, что угодно, — ответил Иван.

— Ну, ты сам решил, — она грустно улыбнулась. — И ерунду какую-нибудь: тыщ триста на сберонлайн кинь.

Пока Ангелина Денисова осматривала Рому в комнате на первом этаже, Иван, матерясь на долгий деревенский интернет, переводил ей деньги. Им с Ромой выделили холодную комнату под крышей, в которой стояли две узенькие кровати и замерзали стекла в окне. Осмотр длился долго, Иван задремал. Он проснулся ночью: Ангелина без стука зашла в мансарду и сказала, что Рому можно унести.

Когда Иван, преодолев лестницу с сыном на руках, наконец уложил его в кровать и упал на соседнюю, Рома сказал, что хочет уехать. Это не слишком удивило Ивана: к тому, что Рома все делает назло, он привык, — скорее, что-то настораживало в его интонации.

— Папа, я лежал на животе, там, у нее в комнате, она сказала, что нужно пригласить других... тех, кто знает... я думал, она не в себе, а потом... Папа... кто-то еще пришел, двое, я их не видел... я не мог повернуть голову... они сидели у меня на спине... И она их спрашивала, могут они мне помочь или нет... Они были холодные... они трогали мою спину... я чувствовал их... лапы.

Иван молчал. В нем закипало привычное раздражение, бешенство, которое он наловчился за четырнадцать лет скрывать: не открывать рта, не обращать внимания. Он вдруг вспомнил желтое пятно геля для умывания на дне ванной, расколотую столешницу из натурального мрамора, сломанную зарядку к телефону (Ху-а-вей!) и голос из собственного телефона (Папочка, мне нечего есть). На несколько минут, о которых он потом пожалеет, он прекратил быть человеком, мужчиной, отцом: предохранитель, сделанный из свинцового чувства вины, слетел с резьбы, и злоба, ярость, ненависть, зревшие четырнадцать лет, выплеснулись из него.

Утром Иван попытался завести разговор с Ангелиной Денисовой, когда она явилась за Ромой.

— Послушайте, — сказал он, нелепо загораживая сына, которому вчера орал, что проклинает день его рождения, — вы... вообще уверены, что не нанесете ему... вреда?

— Ему — да, — сказала она.

Следующие дни прошли словно в бреду. Утром Ангелина требовала спустить Рому вниз и запиралась с ним в комнате. Она предупредила Ивана, чтобы он ни в коем случае не заходил туда. Иван сидел наверху, около ледяного окна, слушая нечеловеческие крики сына. Он не знал, что происходило с ним, он не хотел знать. Несколько раз звонила Аня, Иван пытался привычно уцепиться за нее, припасть к той счастливой, настоящей жизни, которую она для него олицетворяла, но ничего не получалось. Аня таяла, ее слова казались фальшивкой, ее беспокойство — ложью, ему хотелось заорать на нее, спросить, как она может рассказывать про успехи Зои на рисовании, когда он здесь?..

Рома больше не разговаривал с ним. Иван извинился перед ним за свои слова, но извинение было такой же фальшивкой, как то, что говорила Аня про рисование. Как он мог извиниться, если не раскаялся? Как извиниться за то, что думаешь на самом деле? Как извиниться за то, что не любишь?

Каждую ночь Ивану снилось, что дверь открывается без стука и в комнату входит голая Ангелина Денисова с распущенными волосами. Во сне она подходила к его кровати, и ее бедро, с мраморными прожилками вен, оказывалось перед его лицом. Он протягивал руку, чтобы коснуться, а потом она взгромождалась на него верхом и скакала на нем, как будто скрывалась от погони. В этом мучительном повторявшемся сне Иван был мокрой простыней, которую она скручивала, выжимая до последнего, высасывая из него жизнь и бережно слизывая языком пролившиеся капли.

Он просыпался разбитым, подолгу не мог встать, потому что кружилась голова. Никакой Ангелины рядом, конечно, не было. Она приходила утром, одетая, и теперь уже сама таскала Рому по лестнице. Ему стало очевидно лучше, теперь он мог сидеть и поворачиваться. После слов, которые Иван сказал в глаза парализованному сыну, чувство вины странным образом испарилось. Его перестали мучить воспоминания о мерзостях Нади, и пришли другие воспоминания. Все чаще он думал о черно-белой надежде, которая вела его к Наде через пробки с деньгами на аборт. Он привык думать, что она была фальшивкой, что она обманула его, но в ледяной комнате, в деревне Чертково выходило, что она одна и была истинной. Он думал о вопросе, который задала ему Ангелина Денисова: что он готов отдать за Рому? — и вполне трезво, хоть и без особого удовольствия отвечал сам себе, что она имела в виду не деньги.

В один из дней он спустился по лестнице и подошел к двери в комнату на первом этаже. Он стоял под дверью, малодушно не решаясь войти, и прислушивался к стонам Ромы. Когда стон затихал, становилась слышна песенка, напеваемая каким-то надтреснутым, разорванным голосом.

— Лунная ночь, лунная ночь, — пел голос, — нагишом воздушную ванну принимает улитка...

Спустя неделю Иван мог надеть свои брюки, не расстегивая. Он мог бы поместиться в них два раза. Он почти не вставал — лежал в брюках на кровати, телефон разрядился, но у него не было сил поставить его на зарядку. Однажды в комнату вошла Надя. Она села на краешек его кровати, долго молчала, а потом стала плакать и благодарить его за то, что он ради нее делает.

— Ты тут не при чем, — сказал ей Иван.

Надя исчезла, и он стал мучительно вспоминать, кто она такая, и вдруг увидел комнату, в которой секунду назад затихла музыка, но воздух словно еще дрожал, увидел Надю, сидевшую на подоконнике, и других людей, задававших друг другу вопрос: какое ты животное?

И когда очередь дошла до Нади, она тихо сказала:

— Я — улитка.

— Если ты улитка, то где твой панцирь? — поинтересовался какой-то мужчина.

— Я улитка без панциря, — прошептала Надя, глядя Ивану в глаза.

В этот момент он с абсолютной ясностью понял, что умрет. Это не испугало его, не возмутило, не вызвало сожалений. Единственное, что он почувствовал в связи с этим, было острое желание увидеть, почему он согласился это сделать. Иван свалился с кровати на пол и, подтаскивая ноги, которые больше его не держали, как улитка, пополз вниз. Туда, где за закрытой дверью кричал его сын.

Путь по лестнице занял вечность, Иван совсем выбился из сил. Руки Ивана были слишком слабы, ноги тоже, он двигался грудью и животом, подтягивая себя и проталкивая вперед. Его прошиб пот, пот сочился из него, и казалось, он оставляет за собой липкий скользкий след.

Наконец он приблизился к двери в комнату на первом этаже, преодолевая себя, делая нечеловеческое усилие, приподнялся, чтобы схватиться за ручку, и распахнул дверь.

Он увидел Рому на деревянном столе, лицом вниз. Кожа вдоль его позвоночника была разрезана и вывернута, как будто он был не мальчиком, а мясным пирогом. Возле Ромы на столе сидели двое: один был серым, с надутым, бугристым животом, с желтыми клыками, другой — коричневый, с иссушенной, пергаментной кожей и загнутыми назад рогами, которые росли из сплющенной, как будто истоптанной копытами головы. Серый вытаскивал из раскрытого позвоночника Ромы прозрачные нити нервов, распутывал своими длинными пальцами узелки, а коричневый сшивал их заново изогнутой, как месяц, иголкой. Он хрипло напевал:

— ... как твоя тень ползет за тобой, как твоя тень ползет за тобой...

Рядом, в кресле, сидела Ангелина Денисова, она смотрела на Ивана. Серый и коричневый тоже уставились на него. Вместо ужаса, который он должен был испытывать, Иван почему-то ощутил восторг от того, что видит таких необыкновенных существ. Он смотрел в раскосые, как у лаек, глаза серого и коричневого, как будто задавал им вопрос, ответ на который уже знал. Серый отвернулся, как будто ему стало неловко за Ивана, а коричневый задумчиво ковырял в клыках своей изогнутой иглой. Зрачки у него были вытянуты, как у козы, и в их угрюмой черноте заключалась истина, которую Иван и так знал.

За секунду до смерти Иван понял, почему совсем не боится серого и коричневого, он понял, что несмотря на устрашающий вид, они ничего не могут ему сделать. Потому что делается лишь то, что делается добровольно, берется лишь то, что отдают.

Глаза Ивана зачесались, как будто в них накапали шампуня, а потом начали вылезать из черепа, и он испугался, что они вывалятся на пол, но оказалось, что под ними были ножки, эти ножки распрямились, и теперь Иван мог видеть комнату панорамно, со всех углов. Он сделал шаг, хотя у него не было ног, он чувствовал ладонями холодный пол, несмотря на то, что рук у него тоже не было, у него не было голоса, но он сказал, что готов.

Тогда Ангелина Денисова встала из своего кресла и пошла к нему. Чем ближе она подходила, тем больше становилась. Ее ноги в бархатных истертых тапочках уносились ввысь, росли подошвы тапочек, приставшие к ним комочки пыли становились деревьями, от шагов сотрясалась земля. Она наклонилась к нему и забрала его панцирь. Говорить с Ромой ей не хотелось, поэтому она написала ему записку: как пройти от ее дома на станцию.

Вадим Месяц

Рассказы

Второклассник Петров

Второклассник Петров угнал автомобиль у директора школы. Тот пошел ответить на телефонный звонок, а ключи оставил в замке зажигания. Второклассник Петров проходил мимо и тут же воспользовался случаем. Через двадцать минут он мчался по ул.Горького в новой «Волге ГАЗ-24», не нарушая правил дорожного движения. Из-за низкого роста видно его не было. «Волга» управлялась человеком-невидимкой или сама собой. Милиция не обращала на него внимания, потому что он правильно останавливался у светофоров, показывал знак поворота, не превышал скорости. У ГАИ к Петрову претензий не было.

Претензий к Петрову не было и у директора школы. Директор был уверен, что автомобиль угнал Михаил Фишман, муж его любовницы. Михаил неоднократно обещал это сделать, если директор не оставит Нелку, а Нелку директор оставлять не хотел. Директор не звонил в милицию, а обдумывал стратегию обмена. На весах его расстроенного воображения покачивались нежная шатенка с родинкой на щеке и блестящее черное авто. Торг был уместен. Фишман в случае неповиновения обещал утопить «ГАЗ-24» в Москва-реке. Директору было о чем подумать. Он думал изо всех сил. Второклассник Петров жил одним днем. Он ни о чем не думал. Он давил на педали и слушал песню «Ландыши», доносящуюся из радиоприемника.

Водить машину его научил старший брат. Они тренировались в поле, на пересеченной местности, в деревнях и городках. По Москве Петров уже катался несколько раз, ночью. Теперь он ехал один по весенней столице куда глаза глядят. Облака торжественно плыли над ним. По обочинам покачивались наливающиеся соком тополя. Мир был свеж, словно новенькая «Волга», выезжающая с автомойки.

Первым делом он сходил в Третьяковскую галерею, чтобы посмотреть на картину «Три богатыря». Он давно уже хотел посетить это место: учительница рисования собиралась сводить в Третьяковку весь класс, но второклассник Петров торопил события. Он выпил в буфете на первом этаже газированной воды и направился осматривать экспозицию.

В галерее ему понравился художник Шишкин, который рисовал обертки для конфет. Петров тоже хотел рисовать. Как обертки, так и монументальные композиции о покорителях космоса. Ему пришлось по душе «Явление Христа народу» из-за обилия

Вадим Месяц родился в 1964 году в Томске. Окончил физический факультет Томского государственного университета, кандидат физико-математических наук. Печатал стихи и прозу в журналах «Знамя», «НЛО», «Новый мир», «Интерпоэзия», «Дружба народов» и др. Автор более пятнадцати книг стихов и прозы. Лауреат ряда литературных премий. Организатор «Центра современной литературы» в Москве и руководитель издательского проекта «Русский Гулливер». Живет в Москве.

людей на картине. Люди толпились на берегу реки в полуголом виде для принятия водных процедур. К ним вкрадчивой походкой приближался загадочный человек в красно-синей одежде. Понравились Петрову портреты царей и цариц, изображения мещан, крестьян и бурлаков. «Три богатыря» тоже понравились. Именно так он себе их и представлял. Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алеша Попович стояли на развилке трех дорог, не зная куда направить своих коней. Петров тоже не знал, куда направиться далее.

— Молодой человек, — обратился к нему пожилой мужчина в вельветовом пиджаке. — Не знаете, чем заняться? Могу помочь. Я люблю проводить время в обществе детей.

— Я тоже люблю проводить время в обществе детей, — симметрично ответил второклассник Петров. — А что вы можете предложить? Мороженого я не хочу.

— Планетарий, — уверенно сказал мужчина. — Мы познаем тайны вселенной. Мы вдвоем с вами познаем тайны вселенной.

Мужчина взмахнул руками, словно он эти тайны уже познал, и повел Петрова к выходу из музея.

— Постойте, — строго сказал второклассник Петров. — Мне надо взглянуть еще раз на «Ивана Царевича на сером волке». Мне очень понравилась принцесса, которую он держит на руках. Вы не знаете, куда он ее везет?

— В планетарий! Конечно же, в планетарий, — воскликнул мужчина. — Мы встретим там всю веселую компанию. — Он на секунду перевел дыхание. — Зовите меня Аркадием Витальевичем.

Второклассник Петров недоверчиво посмотрел на балабола, подумав, что тот не очень нормален, но в мире взрослых, по его мнению, такие особи преобладали. Они сходили к Ивану-царевичу, в задумчивости постояли перед полотном.

— Ну что, на троллейбус? — спросил мужчина веселым голосом. — Или вы предпочитаете метро?

Вместо ответа Петров подвел Аркадия Витальевича к «Газ-24» и, щелкнув ключом, открыл переднюю дверь для пассажира.

— Садитесь, — сказал он. — Надоели мне эти троллейбусы.

Аркадий Витальевич с опаской проник в салон автомобиля, заглянул на задние сиденья.

Тем временем второклассник Петров мастерски развернулся и покатил по Большой Ордынке в направлении Садового кольца. Где находится планетарий, он знал. Видел как-то из окна автобуса его купол, похожий на цирковой. Петров хотел послушать лекции Юрия Гагарина или хотя бы Тура Хейердала, но не знал их расписания.

Аркадий Витальевич долгое время молчал, наблюдая исподтишка за юным водителем. Верхний обод руля располагался на уровне глаз ребенка, что давало возможность смотреть как вперед, так и в боковые зеркала. Машину второклассник Петров вел уверенно и плавно, словно водитель-профессионал. Вновь поймав на себе подозрительный взгляд мужчины, объяснил:

— Макулатуру собирал. Скопил денег...

Директор школы часто назначал свидания с любовницей в планетарии. Романтический тип — здесь они когда-то с ней познакомились. Мест для настоящих встреч было мало. Иногда друзья подбрасывали ключи от своих квартир, несколько раз ездили на дачу Фишмана якобы по хозяйственным делам. Сейчас директор держал Нелку за колено, теребил его влажной рукой и рассказывал.

— Конечно, я могу обратиться в милицию, — говорил он, — но ведь тогда его посадят.

Нелке нравилось, что днем у нее в постели — один мужчина, а ночью — другой. Она была бы не против иметь третьего — утром. Поэтому идея посадки «ночного» Миши ее не прельщала.

— Мурзик, придумай что-нибудь. У тебя же есть второй ключ от этой «Волги». Найди ее — и забери.

— Нела, — шептал директор. — Он будет ее прятать. Он уже ее спрятал. Он вернет ее лишь в том случае, если я подпишу какую-то кровавую клятву.

— А ты подпиши — и нарушь, — хихикала она. — Ведь все так просто. Главное, чтобы мы были вместе. Даже Галилей солгал перед инквизицией, чтоб сохранить себя для науки, — Нела поднимала глаза к звездному небу.

— Вот! — в довершение всего сказала она, подняв в маленькой ручке блестящий английский ключ. — У Роднянских квартира свободна три дня, а ты мне рассказываешь про какие-то автомобили.

Аркадий Витальевич с второклассником Петровым на лекцию опоздали и сидели теперь на заднем ряду. Тема была любопытной. «Алмазы неба и земли». Долгое время считалось, что эти самые твердые в мире камни образуются только в недрах Земли при больших температурах и давлении. На самом деле происхождение алмазов связано с эволюцией звезд и космических тел во Вселенной. Возраст космических алмазов выходит далеко за рамки земных представлений о них, достигая 11 миллиардов лет. Более того, на свете существуют целые алмазные планеты.

Второклассник Петров слушал лектора, затаив дыхание. Аркадий Витальевич нежно поглаживал его шею и плечо, тихо шептал на ухо пересохшими от волнения губами:

— Вы бывали в Алмазном фонде?

Он пообещал ребенку показать настоящий телескоп, который хранится у него дома. Может быть, даже подарить.

— Сейчас светло, — удивлялся второклассник Петров. — Как мы увидим звезды?

Они двигались по направлению к машине, припаркованной на обочине Садового кольца.

— Дай-ка мне ключи, — сказал Аркадий Витальевич, неожиданно перейдя на ты. — Водительских прав у тебя нет и быть не может. Зачем нам нужны проблемы перед изучением звездного неба?

Петров нехотя передал ключ мужчине, но когда тот начал заводить автомобиль, кто-то открыл дверь и вытащил его за шкирку вельветового пиджака на улицу. Мужчины начали разборку, мгновенно перешедшую в мордобой.

Второклассник Петров перелез на водительское сиденье и дал по газам.

Вечером он был в дачном поселке Усово на Рублево-Успенском шоссе. Здесь с дядькой Валентином жил его старший брат — Серёга. Они скрутили номера с пыльных «Жигулей» со спущенными шинами, припаркованных на заброшенной станции, поставили их на «Волгу».

— Покатайся пока, — сказал Серёга. — Они тебя все равно когда-нибудь поймают, но ничего сделать не смогут.

Второклассник Петров попрощался с братом и выехал на сельскую дорогу. В районе партийных дач, объезжая большую лужу, он услышал странный звук. Кто-то лег на его машину всем телом и царапался в стекло. У машины стояла невысокого роста женщина. Негритянка с ярко накрашенными губами. Когда Петров остановился, она ворвалась в машину с криком «спасьите, они менья убьют», но поначалу не обнаружила водителя. Второклассник Петров от страха и удивления вжался в кресло и стал абсолютно невидим.

Когда они различили друг друга, привыкнув к темноте, долго молчали. Петров увидел, что юбка и блузка женщины разорваны, а на губах, кроме помады, проступает кровь. А женщина увидела, что за рулем — второклассник Петров, маленький, как гном.

— Отвезьи меня на станцию, — сказала негритянка. — Я хорошо заплачью.

Петров продолжал смотреть на диковинное существо и не двигался с места.

— Ну чьего непоньятного? Менья позвали сьюда и выгнали. Я не хочью делать, что все они хотьят. Я с Кубы. Остров Свободьи.

Услышав знакомое слово, второклассник Петров выжал сцепление и тронулся. Проститутка вскоре успокоилась и запела на испанском.

— Это о чем? — спросил второклассник Петров.

— Это про любовь, — улыбнулась девушка.

И они помчались по неосвещенным шоссе: маленький невидимый шофер и женщина, черная как ночь. Второклассник Петров думал о планетах, полностью состоящих из алмазов, а его пассажирка думала про любовь. И местные леса, стоящие по обочинам, шарахались от них, потому что никогда такого не видели.

Лондонские симфонии

Музыку я слушал с закрытыми глазами, потому что смотреть на оркестр было противно. Мне не нравились однообразная одежда музыкантов и гримасы, которые они строили при исполнении. Их внешность никак не была связана с красотой музыки, а только отвлекала.

На концерт меня пригласила Таня, славная девочка из хорошей семьи. В нашем поселке была их дача. Ее отец, академик Сперанский, был известным в стране человеком. Медик, представитель «нервизма», лауреат Сталинской премии. Сперанский знал все о патологиях нервной системы. К нему в гости приезжали Буденный, Ворошилов, Михоэлс, Зощенко. Я видел автомобили, которые привозили высоких гостей. Машины были чистыми и блестящими.

Мой отец был животноводом, председателем колхоза «Борьба за коммуну». Сперанский часто обращался к отцу по хозяйственным делам. Родители познакомили нас с Таней потому, что мы были ровесниками. Мы вместе читали книги и качались на качелях у них в саду.

— Кем ты хочешь стать, когда вырастешь? — спросил я Таню однажды. Это был скучный взрослый вопрос, но мне действительно было интересно, кем хочет стать такая продвинутая девочка.

— Пианистом, — отвечала она. — Я не вижу будущей жизни вне музыки.

Каждый день она по несколько часов сидела за фортепьяно. Я слышал звуки ее гамм и этюдов и не беспокоил Таню в часы учебы. Я подходил к их дому, садился на лавочку и слушал музыку, доносящуюся из окна. Мне очень хотелось спросить, о чем эта музыка, но я боялся показаться глупым.

— Сегодня мы с Алексеем едем на концерт, — сказала Таня, когда мы возвращались из деревенского магазина, затарившись леденцами. — Папа сказал, что я могу пригласить тебя с нами.

Я немного испугался, но в глубине души возликовал. Пойти с городской девочкой на концерт слушать классическую музыку! Обсуждать произведение и делиться впечатлениями после концерта! Потрясающая романтическая перспектива. Я незамедлительно согласился и даже сказал, что всегда мечтал об этом.

— Что дают? — спросил я со знанием дела.

— Какую-то симфонию Гайдна, — ответила девочка. — Мы едем в Малый зал консерватории. Это самое уютное место в Москве. Лучшая акустика.

В симфониях Гайдна я не разбирался. У меня появлялся шанс расспросить Таню об этом виде музыки. Она охотно рассказывала мне обо всем, что знала.

На Большую Никитскую нас вез персональный шофер академика Сперанского — Алексей. Розовощекий детина в парусиновом костюме и плетеной шляпе на затылке. Ему было жарко в таком наряде, но он был при исполнении и не осмеливался снять пиджак. Со строгим гостеприимством он раскрыл заднюю дверь автомобиля «Победа», помог сесть девочке, потом пропустил меня.

— Жанр симфонии придумал сам Гайдн, — сообщила мне Таня заговорщицки. — По крайней мере, он был один из первых.

Я кивнул с серьезным видом и уставился в окно. Машина неслась по проселкам. Мелькали невзрачные деревеньки, украшенные цветением черемух и яблонь.

— «Лондонские симфонии» — это жизнеутверждающая музыка, — добавила Таня. — Только 95-я написана в миноре.

— Ты их уже слышала?

— Нет, — ответила она. — Читала по нотам. — Таня со значением обняла свой портфель с партитурами.

— А в этом концертном зале ты уже была?

Таня смерила меня взглядом.

— Многократно.

Мне очень нравилось ехать в автомобиле с персональным водителем по Москве. Машина была новой и еще пахла свежей обивкой салона. Я крутил ручку, открывая и закрывая окно. Таня рассказывала мне о музыке.

— Это правда, что твой отец отдал Сталинскую премию в Фонд обороны? — спросил я, сам не ожидая от себя такой наглости.

Таня прервала свою речь и, как мне показалось, удивилась.

— Да, это правда, — сказала она. — А что в этом такого?

— Какой у нас любопытный молодой человек, — процедил Алексей с водительского сиденья, и мое лицо залилось краской.

— Я хотел сказать, что это благородно, — пролепетал я, но меня уже никто не слушал.

В консерватории мы сели вместе на четвертом ряду. Алексей разместился на пятом у нас за головами. На сцену вышла крупная женщина в платье с шелковыми розами и рассказала о народных основах творчества Йозефа Гайдна. Также она сообщила, что «Лондонские симфонии» композитор написал в Лондоне. «Они обретают смысл обобщенной "картины мира"», — сказала она и удалилась под аплодисменты.

Поначалу я смотрел на музыкантов: как вздрагивает и дергается дирижер, как скрипачи и виолончелисты в свободное от музыки время чешут смычком за ухом, как раздуваются щеки у трубачей. Потом я закрыл глаза и отдал себя на волю симфонической стихии. Таня не могла себе этого позволить. Она внимательно следила за оркестром по нотам, старясь зафиксировать каждый извлеченный им звук.

В антракте мы пошли в консерваторский буфет, похожий на боярские палаты. Под оштукатуренными белыми сводами стояли ряды дубовых столов. Мы выстояли с Таней небольшую очередь, купили по два бутерброда с колбасой и сыром и по стакану газированной воды. Водитель Алексей нашел нас за пиршеством.

— Я доложил ситуацию Алексею Дмитриевичу, — сказал он серьезно. — Он принял решение отправить вас по домам.

Я опустил глаза, Таня недовольно вскрикнула:

— Почему?

— Танечка, ты не могла не заметить, что музыканты фальшивят. Я весь на нервах. Издергался. Такое слушать нельзя. Тем более, если ты хочешь стать профессиональным музыкантом.

Я подумал, что водитель академика тоже представитель «нервизма». Он взял партитуру у девочки и нашел места, где оркестр допустил ошибки. В первой части 104-й симфонии полностью завалена побочная партия во вступлении. В «Военной» — фагот дважды вступил на такт позже.

Таня прокрутила концерт в голове и была вынуждена согласиться. Я видел, что ей неловко передо мной, но своим видом показывал, что больше заинтересован в ее обществе, а не в музыке Гайдна.

Мы помчались на шикарной «Победе» назад в деревню. В Москве стемнело, и она зажглась множеством фонарей и окон. Я был абсолютно счастлив. Я напевал мелодии, услышанные в консерватории. Таня к моему удивлению делала то же самое.

До конца лета мы много встречались, говорили о прошедшей войне и музыке будущего. Иногда качались на качелях у них на участке, один раз ходили на пасеку пробовать мед по рекомендации моего отца. В конце августа семья Сперанских уехала в город. Я остался с отцом и школьными товарищами. Мне до сих пор жаль, что Таня не вышла за меня замуж, когда мы стали взрослыми.

Катерина Ремина

Ведя иную сказку странствий

* * *

Из ничего творятся мир и море.

Творится море, мир деля на пятна
Земли — то плодородной, то невнятной —
Один сухой песок, песок и норы

Неведомых зверей — следы омыты
Песком — следы невидимых людей
Омыты морем, точно контуры их тел,
Ещё сокрытых меж землёй и скитом

Небесных сил. И глиняный комок
В ладонях Бога. И задумчив Бог,
Творя себе детей у края моря.
И плоть растёт, черты её яснее,
И руку приложить — стучит, краснеет
Людское сердце —
Ком любви и горя.

* * *

Было утро, был вечер — день следующий, день новый,
День, ночью посаженный в самую чёрную почву,
Проросший и вызревший под непроглядным кровом,
Разлившийся тёплыми снами в ямке височной,

Пролившийся морем в ладони — и выше, за грани,
За контуры фото — плыви, моя лодочка, дальше,
Танцуй, босоногое сердце, о камни изранив
Всю плоть, но за это в подарок став настоящим:

Ремина Катерина Сергеевна — поэт, редактор, журналист. Родилась в 1987 г. в Муроме. Окончила филфак Владимирского государственного университета. Работает редактором в издательстве. Публиковалась в сетевых журналах «Новая Литература», «Сетевая Словесность», а также альманахах «Форма слова», «Междуречье». Живет во Владимире. В журнале «Дружба народов» печатается впервые.

Так вырастет крепче день первый — живой, цветной,
День, дышащий грозами, пылью, корой намокшей,

Был вечер, и было утро — и дождь стеной,
И день народившийся,
Точно птенец, непросохший.

* * *

С солнцем в горсти, с месяцем, в сердце воткнутым,
А под косой — ничего, и во лбу — ни звезды,
Трогаю огненные колеи, под утро
Выжженные светилами — не остыть
Этим следам ещё добрых три века кряду.
Дую на пальцы: Господи, как горячо
Здесь, посреди Твоего наречённого сада,
Где Ты вселенную вскинул легко на плечо —
Точно ребёнка, чтоб с отчего роста виднее —

Я же в ладошах его — на такой высоте —
Господи, выпусти, ибо в глазах мутнеет
От бесконечности звёзд и небесных тел.
Выпусти божьей коровкой по разнотравью
Танцы свои творить, вышивать строку,

Трогать украдкой неба лоскут шершавый,
Спать у Твоей вселенной на бережку.

Возвращение

по суше обходить пространство
воды, вытряхивать песок
из туфель, путь наискосок
ведя, иную сказку странствий

на стопах записав землёй,
камней узором, алфавитом
травы, замысловато свитом,
чтоб высохнуть — и стать золой

под солнцем — нежным и жестоким,
и суша суше сущей час
назад. и ветер водит нас
за нос — и за руку — к истокам

нас всех, к началу рек и вод,
к той точке, где очнешься снова
жив и един — единой крови
с планетой, что тебя несёт.

Фарангис Авазматова

Крыша

Рассказ

С этой девятиэтажки сбрасывалось самое большое количество самоубийц в городе. Власти знали, но ничего не могли сделать — как крышу ни закрывай, лазейки вечно кто-то да находит. Ничего не поделаешь — жить, видимо, не всем охота, не сносить же теперь целый дом, полный вполне счастливых и радостных жителей.

Вот и она сидела на крыше этой старой девятиэтажки и смотрела на свой город — с этой самой крыши открывался прекрасный вид на мерцающую разноцветными огнями телебашню, видно было домики, кажущиеся с высоты птичьего полета маленькими, игрушечными будто. Красивая, хорошо одетая (но не слишком, чтобы никто не подумал, что она специально наводила эту красоту перед смертью), сидела она на крыше — грустная и печальная. Она собиралась с минуты на минуту встать и спрыгнуть вниз. Сидела и думала о том, что она — не такая, как все, что ее трудно найти, легко потерять, ну и еще что-то в этом же духе, — в общем, все как положено, полный, так сказать, комплект. Рядом, на бетонном бортике, лежали пачка сигарет и бутылка водки — ни к тому, ни к другому она так и не прикоснулась. Хоть перед смертью, а все-таки боязно — никогда ведь до этого не пробовала.

Воздух здесь, на крыше, пах приятнее, чем внизу, самолеты было видно лучше. Она сидела возле края, не решаясь свесить ноги, сидела и думала о том, как сильно она обижена на весь этот мир, начиная с вредной продавщицы из магазина за углом и заканчивая, конечно же, родителями, которые, по иронии судьбы, обижали ее, не любили, — и вообще, ну их, злые они.

Но зато теперь все, все, все пожалеют, что когда-то сделали ей больно — и тот противный мальчишка с третьего курса, который так жестоко с ней обошелся, и мама с папой, и друзья, и все, все, все! Все, кто обижал ее, кто унижал, — они будут плакать, когда завтра ее имя проскользнет в бегущей строке новостей. Вот она — крыша, исписанная неприличными словами и странными рисунками неудавшихся художников, вот он, город внизу, и, наконец-то, долгожданная свобода...

Она сидела, смотрела на свой город и думала о том, как это романтично — смотреть на этот прекрасный мир в последний раз...

— Твою-ю-ю ж мать, еще одна!

Она дернулась от неожиданности и обернулась назад — из дверного проема, откуда и она попала на крышу, на нее смотрел растрепанный и сонный мужик в пижаме, тапках и с подносом в руках. Под мышкой он зажимал то ли полотенце, то

Авазматова Фарангис Хуршидовна родилась в 2001 г. в Ташкенте. Окончила школу № 60 с углубленным изучением немецкого языка. Студентка 3-го курса Республиканского Художественного колледжа им.П.П.Бенькова по специальности «Театрально-сценическая декорация». Рассказ «Крыша» был опубликован в журнале «Звезда Востока» (2017, № 1).

ли плед, а на подносе стояли чайник, чашка, коробка сока и чем-то наполненное блюдце.

— Что, очередная «я не такая, как все»? — фыркнул он, шагая ей навстречу, — или панк какой-нибудь? Нет, ну если ты рисовать пришла, рисуй себе, только краской сильно не воняй. Я тут чай вот пью, понимаешь ли, неприятно маленько.

Она смотрела на него с ужасом и искренним непониманием — какой чай, какие рисунки? Она тут вообще-то умирать собралась! Тьфу ты, вот некультурный тип!

— Да что вы себе позволяете! — неожиданно даже для самой себя воскликнула она. — Я вот-вот прыгну вниз, а вы мне такое!

Мужик будто и внимания не обратил — поставил поднос рядом с нею, расстелил плед, сел на него и, вытащив из блюдца рогалик, принялся за ночную трапезу. Даже в лице не переменился — сидит себе в пижаме с медвежатами, смотрит на город и жует рогалик, будто так все и должно быть.

— Угощайся, — как бы между прочим сказал мужик, — умирать собралась, а у самой живот урчит.

Она опешила — надулась вся, оскорбленная. Еще бы — ей ведь казалось, что умирать нужно в романтичной атмосфере, а не вот так вот!

Она взглянула на мужика еще раз — лет тридцать, волосы кудрявые в разные стороны торчат, как дискотечный шар. Пижама несуразная такая, тапки пушистые. Странный какой-то — может, местный сумасшедший?

— Простите, — медленно произнесла она, пытаясь говорить как можно четче, — вы, наверное, не поняли. Я сейчас умирать собираюсь.

Он посмотрел на нее в недоумении, выпучив глаза:

— Как это — не понял? Понял я все прекрасно. Да и было бы тут что понимать, гос-па-а-ди.

И отвернулся в сторону мерцающего разноцветными огоньками города. Она скорчила гримасу недоумения, почесала ухо, думая, что сказать, — и в конце-концов снова повторила:

— Умирать, — а потом, подумав, добавила:

— Суицид. Падать. Смерть.

Он улыбнулся — то ли ей, то ли самому себе.

— Да не дурак я, не дурак, понял, — и передразнил: — Рогалик. Кушать. Вкусно.

И протянул ей рогалик. Вот тут-то она, оскорбленная, злая и все еще романтичная, не выдержала.

— Да какие, к чертям, рогалики?! — завопила она. С крыши слетела пара птиц, что до этого мирно спали: — Я умирать собралась, у-ми-рать! Какие рогалики, вы мне скажите?! Какие, е-мае, рогалики?!

— Да не ори ты, бога ради, — мужик тяжело вздохнул, закатив глаза. — Вот женщины-то, а, буйный народ. И все вам неймется, только дай повод — сразу орать. Как жена моя, прям, чес слово! Меня аж передернуло. Ну умирать собралась, ну понял я. Перед смертью не надышишься, но рогалик-то можно съесть? Вот лишь бы поскандалить, а, вот лишь бы...

Она приложила к губам ладонь — и чего это она только сорвалась на крик? Сама себя не понимая, все же взяла рогалик.

Не ела она давно — с самого утра, как ушла из дома. Денег с собой взяла мало, да и те, что были, потратила на алкоголь и табак, у нее даже паспорт не спросили, а она, признаться, втайне от самой себя ждала, что спросят, отругают и не продадут.

Как бы там ни было, а желудок-то пустой, и рогалики очень даже ничего.

— Вкусно, — громко чмокая от наслаждения, заявила она — то ли мужику, то ли сама себе.

— Сам готовил, — похвастался мужик. — Пригорели чуток, но уж всяко лучше вот этой дряни.

И глазами он указал на водку и сигареты.

— Некрасиво это, когда девушка — и вот так, — покачал головой мужик. — Выглядишь вроде прилично, не скажешь, что таким балуешься.

— А я и не балуюсь, — гордо заявила она, задрав нос.

— А что тогда? Серьезно налегаешь?

Она как-то невесело улыбнулась — и, дожевав рогалик, сказала:

— Никогда не пробовала даже — ни сигарет, ни алкоголя.

Мужик удивился — вскинул руки и воскликнул смешным таким голосом:

— Ну ничо-си-и!

Она засмеялась — а он, налив себе чаю и отхлебнув из чашки, продолжил:

— Что, перед смертью захотелось экстрима?

— А то, — кивнула она. — Меня вот из дома выгнали, чего остается?

Он понимающе кивнул. Где-то внизу завопила сирена.

— Вот, «скорая помощь», — озвучил очевидное мужик. — Кстати, о здоровье. Чего на холодном сидишь? Сядь хоть вон на плед. Заболеешь.

— А разницы-то? — флегматично бросила она: — Я же вот-вот умру.

— Будешь лететь вниз и у каждого окна чихать? — и с этими словами он сделал то-о-ненький, как у нее, голос, и начал изображать:

— Апчхи! Ой, на девятом этаже ругаются. Апчхи! Ой, на восьмом уже мириться начали. У-у, вот это кино прям... Апчхи! Кот, не ешь цветы, тебе потом достанется от хозяйки!

— Ну не так уж я и медленно буду падать, — улыбаясь, сказала она. И все-таки села на плед. — С крыш умирают быстро. Я в книжках читала.

— Медленно, медленно, — уверенно заявил мужик. — Вон худая какая. Ветер подхватит — того и гляди, не упадешь, а полетишь.

Она погрустнела. Сирену уже слышно не было, зато начали друг другу сигналить две машины, которые пытались выехать из соседнего двора. Ей вдруг стало интересно, что они там делают в три часа ночи — но вместо этого она, опустив глаза, сказала:

— А мой парень говорит, что я толстая, и бросил меня.

Мужик посмотрел на нее взрослым снисходительным взглядом. Ей повезло, что она смотрела в пол, — иначе бы испугалась, вспомнив отцовский взгляд.

— Э, парень, — махнул рукой мужик. — Тебе лет-то сколько, девочка? Пятнадцать? Парень, видите ли. Парень!

— Вообще-то, — подняв на мужика обиженные глаза, произнесла она, — мне позавчера исполнилось девятнадцать!

— Упс, — мужик почесал голову, и, не дав повиснуть неловкому молчанию, добавил:

— Выглядишь молодо, чо!

— А мой парень сказал, что я выгляжу на тридцать, — всхлипнула она, — и бросил.

— Что-то он у тебя тупой какой-то, если честно, парень этот твой. Ну вот совсем тупой, есть же.

— Бывший.

— Ну, бывший. Подарила б очки, что ль, — видимо, с глазами у него не в порядке. Хех, парень... вот я в этом возрасте был, понимаю — парень... а это — э-э-э, пародия какая-то. Даму обижать, ну где это слыхано! Себе дороже ведь...

Мужик протянул ей сок — мол, пей из коробки прям. Она свинтила крышку и сделала глоток — апельсиновый, ее любимый.

— Это ты из-за него умирать собралась? — как бы между делом спросил мужик, принимаясь за очередной рогалик.

— Да если бы, — хмыкнула она, вытирая рот тыльной стороной ладони. — Меня родители из дома выгнали.

— Ну, вот прям выгнали?

Она замялась.

— Ну, не прям... ну, поссорились мы, в общем.

— И прям родители виноваты?

— Ну, наверное. Они постоянно ругают меня, говорят, что я непутевая у них. Говорят, незачем я им такая. Неблагодарная, говорят, глупая. Нет чтоб помочь с моими ошибками справиться — только усугубляют.

— Что уж, не любят прям?

— Прям да.

— Вот это плохо, конечно, — сочувственно сказал мужик. — Сам-то я тоже из дома ушел. Только меня взаправду выгнали.

— Ну, вот прям выгнали? — передразнила она его.

— Ну, вот прям да, — и, глотнув чаю, начал рассказ:

— Бестолочью я в детстве был еще той — а родители мои, надо сказать, были очень строгими. Всегда думал, что они злые, как черти, и что я — жертва несправедливой судьбы. Ну, собственно, как и любой подросток. Влип я тогда в дурную компанию — бунтари, бродяги, все против родителей и правительства. Идиоты, в общем. Били посуду, пили водку, дурь всякую ели. Учиться я совсем перестал, в институт не брали, своим на шею сел. Вот и грозились выгнать. Я всегда знал, что слово они сдержат, но думал, что про выгнать — это так, в шутку, чтобы припугнуть. Но, как оказалось, не шутили они. Пришлось уйти. Со скандалом, с криками — выгнали, и все тут. Сестра моя старшая за меня заступалась — да без толку: как решили, так и будет, такая вот семья. Говорят, мол, не нужен я им такой, не их я больше сын. Ну, было мне уже за восемнадцать, жил, где получится, кое-как на жилье накопил, стал снимать. Взялся за ум, в институт пошел. Сейчас работаю вот, человеком, можно сказать, стал — а с родителями так и не общаюсь. Привезу им продукты — они дверь не открывают, а как уеду, соседка говорит, все-таки заносят пакеты в квартиру. Сестра их просила меня простить — но нет, без толку. Ну что поделаешь — ничего, живем.

Мужик улыбнулся, кашлянул как-то неестественно.

— Все же счастье — оно есть. Главное его понять. Никому я не нужен — зато мне все нужны. И хорошо так от этого, и тепло. И вот уже меня все любят. Живу один, родители меня не прощают — а сестра приедет, и на душе тепло.

С этими словами он достал из кармана пижамы кошелек — и, вытряхнув из него припасенные конфеты, вытащил оттуда две фотографии.

— Вот, на этой мы с сестрой в детстве. А тут, глянь, племянница моя. Ну, копия меня, скажи? Сестра даже иногда спрашивает, не я ли ей свою дочь подкинул. Эх. Вот оно — счастье-то! Дергающее за уши, плачущее и смеющееся счастье.

Она смотрела на фотографии и молчала — ну не говорить же, ей-богу, что мама просто в который раз отругала ее за немытые полы, и лишь поэтому она ушла из дома. А может, не поэтому? Разное было, гадкое — обзывались, дрались, ругались, мама окно открывала перед ней со словами «шагай, устали мы от тебя». Многое было, да и не вспомнить уже. Может, и не такое оно гадкое было? Да нет, гадкое, это уж точно. А вот как это гадкое воспринимать — это другой вопрос, на который она не хотела знать ответ.

Мужик картинно вздохнул и, сделав удивительно серьезное и умное лицо, спросил:

— Учишься где?

Она помедлила — вспоминала будто, учится ли вообще или, как студентам положено, дурака валяет.

— В консерватории, — собравшись с собой, сказала она наконец.

— О как, — принимаясь грызть яблочный леденец, кивнул мужик. — Консерватория. Хорошо это. Культур-мультур, значит. Я ведь тоже в свое время музицировал. Даже

школу окончил музыкальную, специализированную. Носил подтяжки и серые штанишки, помнится. Ух, кошмарное время было, брр. Зато на гитаре бренчу вот.

— Да ну? — она выпучила глаза от удивления. — Не врете?

По мужику видно было, что он вообще никогда не врет — но спросить она все равно почему-то спросила.

— Ну так, да, — пожал плечами он, — бренчу. Правда, как от родителей съехал, денег не было долго. Жил в однушке на окраине города, о гитаре и речи идти не могло — а любил я ее всем сердцем, страсть как. Хотелось мне играть. Ну и вот, иду я, значит, из магазина однажды — в одной руке пакет с туалетной бумагой, в другой несу килограмм картошки. Девки еще на лавке у магазина сидели — в юбках коротких, в чулках, с ошейниками на тоненьких шейках, ну, все по моде, все неприлично, как у молодежи принято. Увидели, значит, что бумага из пакета просвечивает, и как давай угорать. Ну, я не обиделся. Период у них такой — из возраста «зачем я живу и в чем смысл жизни» перешли в возраст «ржать над парнем с туалетной бумагой». Все мы взрослеем — и все рано или поздно перестаем думать о смысле жизни, в бытовуху погружаемся... ну да не суть, не о том речь. Иду я такой весь замученный, представляю уже, как я эту бумагу на стопку журналов поставлю, — и вижу бомжа. Сидит себе возле мусорки на бортике, в рваной шапке, в тулупе — а на дворе лето, между прочим, — и гитару держит. А гитара-то, гитара — красавица! Новенькая, блестящая, аж поиграть захотелось! Ну, я, недолго думая, подошел да и говорю: отдай мне, дяденька, гитару, я тебе денег дам. А он мне в ответ говорит, мол, да иди ты на фиг, мальчик, я сам играть хочу. И как начал играть. Битлз играл и пел еще так душевно — лэтит би, лэтит би... ни в одну, знаешь, ноту не попал. Но как пел, как душевно пел! Я аж захлопал в конце, даже бумагу выронил. И сказал я ему тогда, не выдержал, что он просто самый талантливый бомж, каких я когда-либо видел. А он мне ответил, что не бомж он вовсе, а гений! Я подумал — одно другому не мешает, но промолчал, думаю, обидится еще. Оказалось в итоге, что он сосед мой нижний, музыкант, — говорит, таланта нет, вот и играет где попало, то на улицах, то в метро. Одевается странно, как душа велит, вещи не стирает — вот все и думают, что бомж он. И спросил потом — что, мальчик, тоже играешь? Я ему говорю, что играл раньше, пока из дома не выгнали — теперь только на батареях играть, а они ржавые, что на них играть-то? Он посмотрел на меня сочувственно — и протянул мне гитару. Зачем, говорю, это ж ваша. А он мне в ответ — да ладно, дома таких штук семь еще. Бери, ты хоть талант не пропил, а играть — это счастье, даже для меня. Ну, я и взял, принялся разглядывать прям на улице, а как опомнился — ни соседа, ни туалетной бумаги уже не было. Ну, думаю, и ладно, не за спасибо же мне гитару отдали. Эх, а все-таки как он пел! Бездарность, да, но такая, какую не всякий одаренный превзойти сумеет! И он был счастливый. Вот он умел играть — и был счастливый. И никаких мыслей лишних, ничего. Плевать ему было, что на бомжа похож.

Она улыбнулась. А потом посмотрела на восходящее солнце и вспомнила, зачем она вообще-то сюда пришла. И ей вдруг стало нестерпимо грустно и непонятно, что теперь дальше делать.

— Ты, в общем, не кисни, — между тем продолжал мужик. — Умирать — это не комильфо. Вот я тоже хотел, да не смог. И как я рад, знаешь, как я рад! Нет, ну, конечно, когда я в битком набитой маршрутке в семь утра на работу еду, потому что машину жена забрала, — я, конечно, сдохнуть очень даже хочу. Но зато как здорово жить, когда с жары попадаешь под вентилятор, ты бы знала! Или когда дома наконец отопление осенью включают — рай ведь! Много, в общем, депресняков всяких. Но и счастья не мало, знаешь. Все мы особенные — с татуировками, пирсингом и цветными волосами, анорексичные или толстые в пику мировым стандартам, больные, здоровые, свободные, шизанутые, да хоть какие — но все, поверь, одинаковые. И проблемы у всех

одинаково решаемые. А вот счастье, знаешь ли, — оно в мелочах. А мелочи у всех разные. Гитара, бумага, рогалики — сколько в мире может быть счастья, а?

Он встал на ноги. Поднял поднос, засунул в карман кошелек — и улыбнулся:

— Спускайся. Жена в пять утра встает, завтраки всегда обалденные готовит. Нет, не вру, правда обалденные! Ты думаешь, чего я живу с ней, если она орет постоянно? Все завтраки, знаешь, завтраки. Нет, ну и любовь, конечно, но без завтраков было бы не то. Поешь, а потом домой отвезем, мириться будешь с родителями.

Посмотрел вокруг и сказал:

— Офигительно, оху... ой, простите, здесь же ребенок.

И ушел в сторону лестницы, улыбаясь самому себе. «Вот чудак», — подумала она. А на душе было тепло.

Она осталась сидеть на его колючем полосатом пледе. Он спустился по лестнице на чердак, остановился и тяжело вздохнул. С лица исчезла улыбка. Что будет дальше, он не знал — хотя это был уже двадцать третий ребенок, поднявшийся на крышу только в этом году. Новый ребенок, новые воспоминания, новые истории из прошлого, какие вдруг вспомнились... он закинул в рот еще один леденец.

Таким, как она, он не называл своего имени до завтрака. И имени у таких, как она, не спрашивал. Оставлял эту привилегию жене. И был очень рад, когда в такие вот часы они с женой завтракали не вдвоем, а в компании человека, решившего... нет. Решившегося жить.

Она сидела на его пледе и кожей ловила запах солнечного света. Она сидела и смотрела на пачку сигарет и бутылку водки. Встала на ноги, чтобы потянуться, и задумалась — а ведь всего один шаг решит ее судьбу, шаг, который приведет ее к «обалденному завтраку» и примирению с родителями, или шаг, который навсегда оборвет ее жизнь.

Ей стало страшно и удивительно легко. Она стояла на волок от смерти. Или на волосок от жизни?

Подумать только. Все может решиться всего за пару секунд.

Один шаг — и тебя нет.

Один шаг — и ты можешь сделать еще хоть миллион шагов.

Она думала. Думала о том, что, конечно, не все плохое рассказала мужику. Жилось ей действительно несладко — надо сказать, паршиво. Да так, что и не расскажешь о таком — даже самой себе. И думала, что, может, все же стоило рассказать, — и стало бы куда веселее, чем есть. Думала, что все, конечно, решаемо — но проблем ведь от этого меньше не станет. Думала, что счастье, безусловно, в мелочах: и в браслете, подаренном лучшей подругой, и в пятне от мороженого, что осталось с прошлой прогулки с друзьями... а еще она думала, что, возможно, не нужны ей эти мелочи вовсе.

Мужик зашел в кухню, поставил на стол поднос. У плиты крутилась его любимая жена.

— Ну, как там? — спросила она.

— Решает. Ждем.

Жена понимающе кивнула. Дожарился омлет, как всегда, наперед сделанный на троих. В ногах у жены мяукал старый усатый кот, хвостом пытаясь согнать с ее длинного фартука надоедливую муху.

А она стояла на крыше и думала — шаг в воздух или шаг к лестнице?

Вперед или назад?

На плед, что лежал у ее ног, уселся голубь.

Шаг. Всего один...

И внезапно она поняла, какой.

Она сделала шаг.

Сергей Зельдин

Бегущие по волнам

Рассказы

Похождения капитана Гёза

Витя Колобков всерьез переживал за своего сына Сашку.

Да и любой отец на его месте переживал бы, видя, что с его дитем что-то не так.

Конечно, первая отцовская мысль в таких случаях: уж не голубан ли мой сынок?! Потом, по шкале убывания идут: нюханье клея в подвале, курение дури, планы суицида, онанизм, первая любовь.

Но у Витькиного Сани все было по-другому, мрачнее и безнадежнее: он читал, читал книги, с утра до ночи, как малоумный.

Еще недавно нормальный пацан, вечно ходивший с фуфелом под глазом и со сбитыми кулаками, бывший во дворе на самом лучшем счету у братвы, вдруг, к тринадцати годам, в одночасье, скурвился.

Сначала он перечитал те несколько книжек, что пылились в серванте с середины прошлого века.

Дальше — больше: толковый с виду парнишка ни с того ни с сего записался в библиотеку и стал похож на умного жидка.

Витёк растерялся.

Вначале он мягко подкалывал Саню, стараясь показать ему всю смехотворность его поведения. Потом пытался поговорить с сыном по-мужски и для этого напоил пивом. Под конец грозился дать ремня и, как говорится, «шумел-кричал, права качал», но все без толку.

На работе коллеги-шофера могли Витьку только посочувствовать — о таких отклонениях у детей за последние двадцать лет никто не слыхыл.

Жена тоже ничего не могла хрюкнуть, с виноватым видом разводя граблями, да и что было взять с этой тупой транды?

Единственный, кто был доволен, это училка по литературе. В дневнике, вечно красном от двояков и жалоб, появились размашистые пятерки и даже восторженные записи типа: «Молодец! Так держать!», вызывавшие у папы Колобкова самые противоречивые чувства.

После долгих и мучительных раздумий Колобков-папа решил пока не бить, пацана не ломать, а изучить врага изнутри. Он хотел понять, с чем едят эти книжки? И чего Саня вычитал в них? Может быть, они прибавляют мозгов и учат, как молотить бабки, и он напрасно начал кипеж?

Сергей Зельдин родился в 1962 году в станице Ярославская Краснодарского края. Закончил школу, служил в армии, работал стеклодувом, инкассатором, бизнесменом и даже немного политиком. Печатал рассказы в журналах «Волга», «Крещатик», «Новый берег» и др. Живет в Житомире. В «ДН» публикуется впервые.

Витёк зашел в Санину комнату, пока тот был в школе, и спер у него книжку, какую-то «Бегущую по волнам».

Саня натырил в библиотеке уже столько книг, что хищение было незаметно.

Витёк взял «Бегущую по волнам» в рейс и там, три дня стоя под загрузкой, прочитал ее в кабине фуры от и до.

Совершенно неожиданно выяснилось, что читать книгу не очень противно. Правда, половину этой «Бегущей...» Витёк не понял, как будто читал на иностранном языке, хотя все слова были русские, но из той половины, что он просек, на него вдруг пахнуло чем-то тревожным, соленым, морским.

Чем дальше он думал о прочитанном, тем больше оно его волновало.

Он вдруг вспомнил, как был в детстве на море, в Одессе, как убегал поступать в мореходку на пару с Мишкой Пынзарём, уже давно покойным, убитым на краковском рынке в разборках с цыганами, и так далее.

Всю дорогу домой он улыбался и мурлыкал под нос:

Как провожают пароходы –
Совсем не так, как поезда-а...

Короче, вел себя как поцоватый.

Сашке он ничего не сказал, положил книгу на место и тихонько взял «Голову профессора Доуэля».

В парково-хозяйственный день, после обеда, он рассказывал в курилке:

— Там так, короче: один фраер, Томас Гарвей, англичанин, попал в больничку в Лиссе — сняли с поезда...

— Шо за Лисс?

— Ну, типа, курорт, в Турции или, может, на Адриатике.

— А-а...

— Слушай сюда. Короче, этот чувак, Гарвей, поплыл на парусном корабле. Ну, море, ветер... брызги... А эти черти с парусника везли в трюме наркоту и выкинули его, по ходу, ночью в море — он там дал в рыло капитану Гёзу, за одну телку. Ну и, короче, подбирает его еще одна шхуна. Приплывает он в Гель-Гью...

— Куда?

— Ну, типа, тоже где-то там, на юге, порт.

— А-а...

— Ты слушай. А там, короче, в Гель-Гью, карнавал, то-се, тыры-пыры, шествия, гуляют, бухают, короче, карнавал. И встречает Гарвей одного черта с «Бегущей по волнам», ну, откуда его высадили, берет его за жопу и идет к капитану Гёзу...

Невольно увлекшаяся, недоверчиво улыбающаяся и забывшая курить, слушала шоферня чудовищную версию «Бегущей по волнам» в изложении Вити Колобкова. Перекур промчался незаметно.

— Да-а, гля, чего только на море не бывает! — задумчиво сказал старый слесарь Культя, отслуживший 4 года на флоте. — Слышь, Колобок, а чего книга называлась — «Бегущая по волнам»? Из-за парусника?

Колобков смущенно улыбнулся:

— Ты понимаешь, я одного не понимаю — кто там бегал по волнам?

Алые паруса

Егор Васильевич был в детстве очаровательным бутузом, не по годам развитым. Когда мама читала трехлетнему Гоге «Алые паруса», он переставал ковырять в носу и так внимательно слушал, как будто что-нибудь понимал. А когда в третьем классе он осилил «Бегущую по волнам», то навсегда влюбился в путешествия, приключения и фантастику.

— Мой ангельчик, пузенька моя! — говорила мама, лаская Гогу. — Глупенький наш крысеночек! — вторила ей тетя и тоже его ласкала.

И мама, и горбатенькая тетя Тома, и Гога — все бредили Александром Грином. Мама обожала «Корабли в Лиссе», тетушка боготворила «Фанданго», а Гога любил все подряд.

Тетя даже совершила паломничество в Старый Крым, на могилу Грина.

Вернувшись, она подарила Гоге набор цветных открыток с надписью: «Егор! Пусть всегда тебя не покидает ветер странствий!» На открытках были виды Крыма, вдохновлявшие великого романтика, и иллюстрации к его книгам. Открытки были так же святы, как кипарисовый крестик или пальмовая ветка из Палестины.

Над гогиной постелью висел портрет, аккуратно вырезанный из библиотечной книги. Бывало, Гога взглядывал на ужасное, обглоданное лицо Грина, взбрыкивал ногами, отчего одеяло улетало, вскакивал и, держась за стенку, задыхаясь от нежности к этому человеку, страстно говорил:

Южный Крест там сияет вдали,
С первым ветром проснется комп*а*с...

И так ему хорошо представлялись и этот комп*а*с, и Южный Крест вдали; так мучительно ясно слышались гуденье и скрип тугих парусов, что он плакал.

В пятнадцать лет Егор впервые увидел море. Море его неприятно поразило. Оно было не лазурное, а грязно-зеленое, без пальм на берегу, без парусников; и в городе, куда Гога приехал на поезде, не было ничего тропического.

Гога ехал к морю, чтобы остаться с ним навсегда, — он ехал поступать на штурмана.

— Начинается отделка щенка под капитана, — сказал Гога на прощание словами Артура Грэя из «Алых парусов».

Мама с тетей зарыдали — они заранее готовились годами ждать своего моряка.

Только когда перрон взрогнул и поплыл, Гога сморщился, шмыгнул носом и вытер непрошеные слезы...

Экзаменов он не боялся, но он опасался медкомиссии. Если честно, то он немножко подпортил себе зрение, читая под одеялом с фонариком. Читать было неудобно и жарко, но так было намного романтичнее. И теперь зрение было ноль-восемь на ноль-семь.

Впрочем, он проявил смекалку, достойную Сэнди Пруэля из «Золотой цепи» — выкрал из школьного медкабинета таблицу зрения и выучил ее наизусть.

Перед отъездом устроили экзамен: мама показывала указкой на неясные, расплывающиеся буквы, а Гога отвечал, звонко и бойко: «эн!.. ка!.. и!. бе!.. эм!.. ша!.. ы!.. бе!..» Или: «бе!.. ка!.. ша!.. эм!.. ы!.. и!.. эн!..»

Но он срезался не на зрении, а на диктанте.

Гога никак не ожидал удара с этой стороны. Диктант был простенький, для третьеклашек, такой, что Гога все время улыбался, строча его. У него по русскому и литературе были круглые пятерки, и он свысока поглядывал на своих соседей.

Но когда вывесили оценки, у Гоги стояла двойка...

Совершенно убитый, вышел Егор из ворот мореходного училища. Постоял на улице с чемоданчиком, поглядел на пушки и якоря и поплелся на вокзал. Не замечая того, он на каждом углу съедал по мороженому. Он съел его страшно много — херсонского пломбира за 19 копеек...

На вокзале Гога провел два дня, пока его не пожалели и не посадили на поезд до Житомира.

Он трясся на третьей полке, упирался руками в вагонный потолок, чтобы не слететь вниз, и сквозь слезы шептал: «Свет не клином сошелся на одном корабле, Дай, хозяин, расчёт!.. Кой-чему я учён в парусах и руле, Как в звезд*а*х — звездочёт!..»

Дома поплакали все вместе.
Надо было жить дальше.

А жизнь летела ужасно быстро.

После многих приключений Егор окончил школу милиции и стал участковым на Житнем рынке.

Там он узнал много такого, чему не учили в школе. Однажды он пожаловался майору Архангельскому, что мясники хотели дать ему взятку. «Сколько?» — спросил майор. — «Триста», — сказал Егор, краснея. — «Взял?» — спросил майор. — «Что вы!» — воскликнул Егор. — «Ну и дурной...» — сказал майор Архангельский.

Служба пошла дальше. Нет сомнения, что со временем Егор освоился бы, пообтерся, но тут советская власть закончилась, и он ушел из органов.

Егор захотел стать частным предпринимателем, чтобы побольше зарабатывать. Но оказалось, что это не так-то просто, и быть коммерсантом — это такой же дар Божий, как быть поэтом, ученым или штурманом. Егор прогорел и продал мамину дачу с будочкой летнего туалета и клубничными грядками.

Когда есть стало совсем нечего, знакомые менты пристроили его в круглосуточный гастроном «Визит» ночным администратором или, говоря другими словами, вышибалой. Сначала Гога был вышибалой не очень хорошим, но со временем наловчился и, чуть что, моментально звонил в милицию и вызывал «группу».

Незаметно пролетели двенадцать лет.

Вдруг Гога женился.

Это было очень странно. Он этого никак не ожидал и очень этому обрадовался. Он был уверен, что никогда не сможет жениться, и не только жениться, но даже не имеет морального права ухаживать за девушками.

А почему это было странно, и чему Гога обрадовался — это было страшной тайной, и Гога скорее умер бы, чем кому-то в ней признался. Достаточно сказать, что на его совести было много кое-чего. Он грешил часто и помногу и лет до шестнадцати ежеминутно ожидал, что его ладони покроются волосами...

Долго ли, коротко ли, но его тесть, отставной полковник, устроил Егора в «Кредитинвестбанк», в юротдел.

Первый раз в жизни Егор Васильевич был солидным человеком. Он ходил в костюме и при галстуке; он получал много денег; он купил маме новое платье, а тете полное собрание сочинений Грина и очки.

По утрам Егор Васильевич просыпался и бежал на кухню готовить Ингочке завтрак. Ингуля была хрупкой, болезненной и чуть-чуть полноватенькой, и поэтому ей надо было хорошенько кушать. Егор Васильевич так сильно любил жену, что она рыдала и даже дралась.

Так, в неге и довольстве, пролетели восемь лет.

Но вдруг, ни с того, ни с сего, Ингочка развелась с ним и выгнала Егора назад, к маме с тетей.

Тут же, как будто специально, разорился банк, «вси повтикалы», а Егор Васильевич, до конца остававшийся на своем посту, был назначен сторожем с зарплатой в одну тысячу гривен, что составляло очень малую часть от прежнего великолепного оклада.

Привыкший широко жить, Егор Васильевич приуныл.

Пробовал он вернуться в «Визит», но там все поменялось, гастронома уже не было, а был супермаркет с самообслуживанием, и в вышибалах он не нуждался.

Приходил он и к Ингочке, но там его вытолкали из подъезда взашей.

От такой жизни Егор Васильевич стал пить водку и курить бычки. И он был уже в возрасте — ему стукнуло сорок семь; он был очень седой, и иногда у него болело за грудиной.

Как-то Егор Васильевич сидел и выпивал на кухне, и вдруг им овладела странная причуда. Ему вдруг захотелось к лазурному морю, к пальмам, бригантинам и вообще

в тропики. Он вспомнил, как поступал в штурман*а*, вспомнил жаркие ночи над томиком Грина, под одеялом, с фонариком...

Романтика всколыхнулась в нем с такой силой, что этого было не передать.

Ему ужасно, ужасно захотелось снова увидеть море.

К несчастью, все гриновские места остались на вражеской территории, а в другие места его не тянуло. Ему мерещились Зурбаган и Гель-Гью, а не какие-то Железные Порты и Гнилые Лиманы.

Оставался древний седой Египет. Но это было очень дорогое удовольствие.

Мама уже умерла от рака и ничем не могла помочь своему Гошеньке. Слепую тетю забрали родственники в Лабинск. Бывшая жена ничем ему не собиралась помогать и даже получала с Егора Васильича алименты на двоих детей.

Никому не дано понять, что стоит бедному пьющему человеку накопить денег. Этого не смог бы понять даже старик Башмачкин. Все же, действуя по методу Акакия Акакиевича, Гога наоткладывал двести долларов. Неизвестно, что бы из этого вышло, но тут счастливый случай помог ему.

Как-то в конце осени он увидел на ступеньках банка кошелек и быстро спрятал его в карман. Прибежала старушка, стала искать свой кошелек с пенсией, вопить, рыдать и чуть ли не кататься по асфальту. Егор Васильевич видел это все через стеклянные двери банка, но не дрогнул и кошелька не отдал. И, как оказалось, не напрасно. Запершись в сортире и открыв кошелек, он нашел в нем не только пенсию, но и хитро спрятанные за дырявой подкладкой двести евро. Радости Егора Васильича не было границ. Пустой лопатник он обтер и сбросил на улице, а сам побежал за путевкой.

Нужно ли описывать прелести Шарм-эль-Шейха? Не нужно — все вы там бывали, и не только там, а и в турецкой Анталии и даже на острове Шри-Ланка, по горящей путевке.

Неделю эту Егор Васильевич провел в морском тумане.

Он был как ненормальный.

Он не обжирался за шведским столом, не хлестал с самого утра дармового виски и не плясал по вечерам вокруг арабского певца, певшего с грузинским акцентом:

— Ка-ай-фуем, ми с табой ка-ай-фуем!..

Вместо этого он сидел на берегу, по-мальчишески обхватив коленки руками, смотрел на зурбаганскую луну и шептал:

Волна бесконечна;
Всю землю обходит она,
Не зная беспечно
Ни неба, ни дна!..

В свое последнее утро он вошел в море по шею, потому что глубже не умел плавать, и запел на мотив «Землянки»:

Южный Крест там сият вдали,
С первым ветром проснётся комп*ас*,
Бог, храня корабли,
Да помилует нас!..

И песня его поплыла над водой в сторону израильского курорта Эйлат...

Приехав из аэропорта, он вошел в комнату, постоял у окна — внизу мчались машины, разбрызгивая снежную грязь; ему стало как-то нехорошо; он прилег на мамин диван, отвернулся к спинке и умер.

Евгений Бунимович

Потому что перпендикуляр

Записки на полях школьных тетрадей

* * *

— Смени тон. Ты не на уроке.

Нормальный вроде бы разговор. Не ссорились, ничего такого. И все же в упреке жены есть своя правда.

Да и года туда же клонят. Все-таки первый свой урок в школе дал... Когда же это было? Давно, полсотни лет назад. Студентом был, первокурсником. Бороду отпустил для солидности, чтоб хоть чем-то от старшеклассников отличаться.

И вот. Менторский тон, неизбежный отпечаток учительского ремесла. Звериная серьезность по отношению к самому себе, к своим словам и действиям. Стремление поучать. Благоразумие, благонравие и прочие благоглупости...

С тех пор как Ментор, завернувшись в древнегреческую простыню с геометрическим кантом и подняв назидательно указательный палец, поучал Телемаха (и всех вокруг), времени прошло немало. Однако мало что изменилось.

Лишь в самые последние годы острая педагогическая необходимость Ментора впервые оказалась под вопросом: Телемах теперь может воспользоваться собственным указательным пальцем, ткнуть им в смартфон и мгновенно обнаружить все то, о чем долго и нудно вещает Ментор.

И еще то, о чем он не вещает. А заодно и то, о чем бедный Ментор даже не подозревает...

* * *

— Вы учительница? — понимающе спрашивает продавщица, когда мама громовым голосом наводит жесткий порядок в очереди за иссиня-серыми мороженными цыплятами.

Да, мама моя была учительницей.

Я смущался. Она — нет.

И очередь безропотно подчинялась.

(*картинка из детства*)

* * *

— У нас сегодня съемка в Останкино, ток-шоу. Хотим вас пригласить. Тема ваша: реформа образования. Только уточните, вы за или против?

Ни на какое крикливое ток-шоу, естественно, не пойду, хотя луженая учительская глотка поможет переорать любого. Но зачем-то любопытствую:

— А что именно обсуждать будете? В чем по-вашему эта самая реформа образования состоит? К чему предлагаете отнестись?

The rest is silence. Дальше — тишина. Или как там в пастернаковском переводе? «Дальнейшее — молчанье...»

Никто не знает, в чем эта пресловутая реформа состоит, хотя обсуждают и осуждают ее так долго, что само слово «реформа» уже вызывает одновременно понос и золотуху. Изобрели эвфемизм: «модернизация образования», но смысла он никак не проясняет.

Есть формальные, суматошные, сомнительные изменения вроде укрупнения и объединения школ до размеров, при которых директор не имеет представления не только о большинстве своих учеников, но и о большинстве учителей, периодически меняются схемы финансирования, меняются названия (школа уже не школа, а ГБОУ СОШ), однако все эти фин- и орг- телодвижения не имеют отношения к ключевым, содержательным вопросам образования: чему учить этих оболтусов? как их учить?

В общем — дети, в школу собирайтесь... а зачем?

* * *

Может, пресловутая реформа в официальных бумагах прописана, просто мы об этом не подозреваем?

Взял подшивку официального журнала «Образование в документах». Сходу наткнулся на такой абзац:

«Кенгуру содержатся в клетках и вольерах из металлической сетки с ячеей не более 50х50 мм. Обязательно наличие теплой дополнительной секции или укрытия, особенно в холодное время года...»

Не просто абзац. Полный абзац. Инструктивное письмо Минобразования «Об условиях содержания животных в учреждениях дополнительного образования детей».

«*При содержании средних и крупных обезьян, а также любых взрослых половозрелых особей необходимо соорудить дополнительную секцию, в зависимости от характера и личностных особенностей обезьян...»*

Ничего не имею против представителей отряда приматов. Но вот соорудить бы еще и нечто такое, что хоть как-то зависело бы от личностных особенностей наших детей, наших отроков и отроковиц, обращало внимание на их характеры, зачастую не менее сложные, чем у половозрелых обезьян... Может, это и будет настоящая реформа образования?

* * *

Следите за руками: на наших глазах Минпрос становится Минобром, затем укрупняется, объединяется с наукой, теперь снова от науки и вузов отделяется и снова переименовывается в Минпрос, каждый раз заново пишутся проекты, программы, стандарты... и?

Все это может, конечно, помешать, притормозить естественный ход вещей. Не более того. Давнее и стойкое заблуждение, что от разных чиновников от образования, местных или даже министерских, много что зависит. На самом деле, не вязнут, не глохнут, а реально проходят только те изменения, те реформы, которые востребованы детьми, семьями, жизнью.

Как известно, в советской школе иностранный язык «проходили» целых пять (!) лет. При этом за глухим железным занавесом освоение английских герундиев и французских инфинитивов было в СССР занятием весьма экзотичным. С не меньшим

успехом можно было изучать язык древних шумеров или одного из исчезнувших племен американских индейцев.

Когда железный занавес рухнул, безо всяких ЕГЭ и ГИА выяснилось, что после всех многолетних школярских штудий дорогие наши соотечественники, выпускники советской школы (которая, как нам настойчиво твердят, была «лучшей в мире системой образования»), на границе не способны ответить ни на один простейший вопрос.

Лучше всего этот советский образовательный конфуз предстал в популярном перестроечном анекдоте про «ту ти ту туту» — как новый русский в отеле звонит портье и пытается заказать два чая в двадцать второй номер...

И хотя школа, как обычно, оказалась не готова к новым вызовам, вскоре юное поколение поголовно заговорило по-английски, который был освоен где и как угодно — на частных курсах, по самоучителю, по фильмам с субтитрами, по песням поп-звезд...

* * *

Нынешние школьники, поколение Z — первое поколение новой цифровой цивилизации, поколение, которому не требуется школярское освоение гаджетов, всемирных сетей и компьютерных технологий, потому что они в этом родились и ориентируются без труда. Они свободно, без комплексов и без акцента говорят на онлайн-языке, чем сильно отличаются от своих родителей и учителей, которые рождены оффлайн и которым пришлось осваивать новые языки и коммуникации в весьма немладенческом возрасте.

Нравится нам это или нет, они почти всегда онлайн, они там могут выполнять несколько задач одновременно, они уверены, что компьютерные технологии обеспечат им бесконечные возможности и именно там они найдут ответы на все вопросы, а также дружбу, любовь, будущую семью, работу и отдохновение...

С рождения их окружает многомерное информационное пространство, где важнейшей задачей становится не выуживание информации, а способность «фильтровать базар», отсекая все лишнее в бурном потоке. Отсюда и страсть к коротким текстам, визуальным месседжам, всяческим картинкам и видео — ибо за несколько секунд (исследователи утверждают, что за восемь) можно и должно понять: это нужно? это интересно? или это отстой, голимое фуфло, беспонтовая шняга, низачот... или как там еще стало модно выражаться в новом учебном году.

Дело даже не в том, что в школе впервые появился предмет, по которому едва ли не в каждом классе находятся ученики, знающие и умеющие больше учителя. Это, естественно, информатика.

Вхождение компьютерных технологий, интернета, социальных сетей в школу — это изменение всей парадигмы школьного образования. Вот она, реальная школьная реформа — не только у нас, но во всем мире. Ничего подобного по масштабу и последствиям не наблюдалось со времен появления книгопечатания и — следом — Яна-Амоса Коменского с его классно-урочной системой.

Все, к чему мы привыкли, что для нас ассоциируется со школой: классы, парты, доски, учебники, тетради, уроки, перемены — все сегодня под вопросом.

Почему дети должны собираться именно по 25-30 человек в одной комнате? Почему они должны все вместе и в одном темпе изучать новый материал, если все они разные и, может быть, кто-то запоминает медленнее, но надежнее, кому-то удобней один путь и темп постижения, кому-то — совсем другой?

И пока Минпрос талдычит свою старую бессмысленную песню о главном, едином, идеальном учебнике, педагогические издательства разрабатывают самые разнообразные учебные пособия на электронной основе. Это не просто учебники, а некая многомерная интерактивная компьютерная поддержка, пространство, в любой

точке которого можно остановиться, оглянуться, если тебя заинтересовала какая-то тема, погрузиться в нее поглубже, если не усвоил что-то, берешь дополнительные упражнения, пояснения, иллюстрации, которых нет и не может быть в привычном бумажном учебнике.

* * *

Школа — инерционная система, первая, самая естественная реакция — сопротивление. Учителя и родители встревожены, для них проще воспроизвести ту систему образования, в которой учились они сами. Вперившись в планшеты, они лихорадочно ищут в интернете ссылки на исследования, что больше 30, 20, 15 минут проводить с планшетом вредно, опасно, делятся с этим с френдами в социальных сетях, бьют в онлайновые колокола, собирают лайки и электронные подписи под письмами протеста.

Впрочем, к электронным пропускам школьников, питанию по электронным карточкам, электронным дневникам и журналам, кажется, они уже привыкли, оценив преимущества мгновенной связи и полной информации. Все привыкли, кроме самих школьников, их стоит пожалеть: не сэкономишь деньги на завтраках, чтоб сбегать с одноклассницей в кино (карта работает только в школьной столовой), не переправишь единицу на четверку в электронном дневнике, сам дневник не потеряешь, дома не оставишь («А голову свою ты дома не забыл?!»), страницу из него не вырвешь...

* * *

Стою на обочине в очередной раз перекапываемого, вывернутого кишками наружу Нового Арбата. Жара. Пыль. Грохот. Ловлю такси.

Эффектно притормаживает лимузин. Небось, такую цену заломит... Машу ладонью водителю — проезжайте.

Тормозит. Приоткрывается задняя дверца. Олег. Выпускник.

— Добрый день, Е.А., вас подбросить?

«Доживем до понедельника». Римейк. Римейк с апгрейдом: ненавязчивый климатконтроль, мониторы перед каждым креслом, прохладительные напитки в подлокотниках.

По дороге Олег, вполне довольный жизнью и карьерой, рассказывает, как ему служится, с кем ему дружится в топ-менеджменте крупнейшего европейского банка, как отслеживает он информацию сразу с четырех экранов мониторов, при этом не забывая про видеосвязь, смартфоны и прочие компьютерные радости всемирной сети, которыми переполнена и его служебная машина.

— Вот и учитель, — поучает он меня, — сегодня уже не столько должен непосредственно общаться с классом, с учениками, сколько сидеть за большим монитором и следить за тем, кто из его учеников чем занят, кто чего читает, решает, какие у кого ошибки, а еще должен писать им электронные письма, замечания, эсэмэски, завести страницу на школьном сайте, в фейсбуке, в контакте, в инстаграме, везде, где можно и нельзя. Ну и иногда появляться на экране, устраивать видеоконференции. С детьми. С родителями.

Фанат всеобщей и полной информатизации, Олег крупными мазками живописал радужную картину образования в век торжества новых технологий.

Была в его словах очевидная и почему-то невеселая правота. Решил сменить неприятную тему, поведал, что и я не с помойки — только что из Парижа, где в жюри международном заседал. Олег в ответ пошел с козырей, рассказал, что практически каждую неделю летает в командировки по всему миру, все на свете повидал за эти годы — не только Европу и Америку, но и экзотический Восток, и даже Австралию с

Океанией. До Антарктиды вот пока не добрался... — закончил он перечисление благодушной шуткой.

— Погоди, — говорю, — а зачем же столько летать, если такие компьютерные возможности, мониторы, видеоконференции и все то, о чем ты только что рассказывал?

— Нет, все это, конечно, очень полезно и нужно, — ответил Олег все так же солидно, но уже не столь уверенно, — но, понимаете, когда идут серьезные соглашения, крупные сделки, тогда ничто не может заменить личного общения, прямого контакта. Ведь тут важны мельчайшие нюансы!

Он посмотрел на меня с сомнением — могу ли я оценить масштабы сделок?

А мне как-то полегчало. В образовании, в развитии каждого ребенка настолько больше мельчайших нюансов, чем в самой крупной сделке. И, стало быть, ничто и никогда не сможет заменить здесь личного общения, прямого контакта, живого учителя...

* * *

Однако цифровой мир не позволяет учителю, как прежде, несокрушимо и легендарно возвышаться над классом, стоя за кафедрой с указкой в руке на фоне черной доски. И вещать, диктовать, учить-поучать в абсолютной тишине, только подчеркиваемой мерным скрипом ученических перьев. Некогда перья были гусиными, потом стальными (и с ними, кто помнит — чернильницы-непроливайки), затем появились авторучки, за ними шариковые ручки, потом гелиевые, капиллярные, еще какие-то, но суть от этого долго не менялась.

И вдруг шоу пошло не так: школьники перестали бояться, и не верят они учителю на слово, все сходу проверяют, тыча пальцем в экранчик смартфона.

Социологические службы провели соответствующие опросы. Ответ взрослого большинства очевиден: смартфоны в школах надо запретить! Конечно, надо их запретить, совсем страх потеряли, отнять, запретить, пусть сидят смирно и слушают. Так проще.

Однако школьники перестали бояться, но не перестали уважать.

Если есть за что...

* * *

Давно, но далеко не всем, известно, что воспитание и дрессура — это совсем не одно и то же. Дрессировщик, даже если он самый заслуженный и даже самый народный артист с огромным стажем, никогда не поворачивается к хищникам спиной. Чуть оплошаешь, отвернешься — сожрут с потрохами.

Задача воспитания не просто другая, а прямо противоположная. Она в том, чтобы дети наши вели себя по-человечески именно тогда, когда ты повернешься к ним спиной. И когда выйдешь из класса. И когда тебя вообще не будет рядом. И даже когда они сами станут взрослыми...

А это невозможно без формирования в них самоуважения и чувства собственного достоинства, про которые много написано в «Конвенции о правах ребенка», подписанной практически всеми странами мира, включаю Россию, но про которые ничего не сказано в отечественных стандартах образования.

* * *

Тут не случайная забывчивость. Наши стандарты — они про другое. Наши стандарты — это взгляд на мир взрослого, много раз поротого поколения.

На одной недавней пресс-конференции, отвечая на вопрос, я сказал, по-моему, вещь очевидную:

— Детей бить нельзя. Вот просто нельзя — и всё!

Журналист настаивал:

— Ну почему нельзя? Меня вот били — и ничего.

Я отшутился:

— А почему, собственно, вы решили, что ничего?

Все рассмеялись, но это правда — многие комплексы и проблемы нашей взрослой жизни – следствие детских физических и психологических обид и унижений. А для учителя унижение — это вообще профессиональная смерть.

* * *

Вообще-то совсем неплохо, что учителя вынуждены задумываться: кто я? что я? зачем я? если я не наставник, если я не единственный и даже не главный источник и носитель информации, то, может быть, я должен стать проводником, который умеет мотивировать детей на поиск знаний, научить, как различить важное и не очень, подлинное и фейк?

Кому-то нравится таинственное слово «сталкер», кто-то щеголяет новейшим термином «фасилитатор», кто-то напоминает, что «педагог» в его исходном значении, восходящем к античности, да и в прямом переводе с греческого означает «ведущий ребенка», но суть одна — помогать ребенку познавать мир вокруг и себя самого.

Впрочем, это все теории, а практика...

* * *

Встревоженные соседи встретили у лифта: сын, семиклассник Борька, жизнерадостный оболтус, заперся у себя в комнате и, похоже, плачет — что-то не получается по геометрии. Ничего, говорит, не понимаю...

Я удивился — сосед вроде бы парень адекватный, может, и не особенный интеллектуал, все больше на велике гоняет да за компьютерными играми сидит, но все же... Седьмой класс, первое полугодие, геометрия только-только началась, какие могут быть неразрешимые проблемы?

— Разберемся. Пусть заходит. Прямо сейчас.

Борька пришел не сразу. Наверное, успокаивался — весь красный, глаза тоже красные, тетрадку в кулаке сжимает так, что косточки пальцев побелели.

Открыли учебник. Элементарная задачка про серединный перпендикуляр. Решается на раз, на уровне здравого смысла. В чем же стопор?

— Ну, давай разбираться. Вот отрезок АВ. Нарисуй серединный перпендикуляр.

Не рисует. Смотрит в отчаянии.

Может, пропустил? проболел? просто прослушал, и теперь пугает само это страшное слово «перпендикуляр»?

Слово и впрямь — монстр. Ох уж эта научная латынь, перепираемая на язык родных осин! Может, лучше было использовать слово «нормаль» — как в других языках?

Впрочем, если детей учить: нормально то, что перпендикулярно, это далеко заведет...

— Не знаешь, что такое перпендикуляр? Смотри, это просто.

Беру листок, хочу нарисовать.

— Да знаю я...

Странно. В чем тогда проблема? Подбадриваю:

— Отлично, знаешь — молодец! Ну а что такое середина, середина отрезка — ты тем более знаешь. Вот точка С — середина отрезка АВ. Так что же и где же тогда «серединный перпендикуляр»? Нарисуй.

Молчит, краснеет, еле слезы сдерживает.

— Не знаю!

* * *

В конце концов разобрались, задачку решил, успокоился, ушел. Загрохотал у лифта своим великом.

Теперь уже я не мог успокоиться. До какого же догматического уровня восприятия/невосприятия математики парня к седьмому классу довели, если он полагает, что перпендикуляр — это одно, середина — другое, а серединный перпендикуляр — это что-то совсем уж третье, которое может не иметь никакого отношения ни к перпендикуляру, ни к середине, и постигать все это своим умом, разбираться — бесполезно.

Только заучивать назубок, не пытаясь понять, как стихи на неведомом языке.

Кстати, есть же интернет! Неужели и там не посмотрел? Залезаю в Википедию: *«Перпендикулярность — бинарное отношение между различными объектами (векторами, прямыми, подпространствами и т. д.)...»*

Только хуже. Да уж, никакой интернет учителя не заменит...

* * *

Ну конечно, это же чистый Вересаев! Рассказ, где мальчик всех изводил надоедливыми вопросами: «почему?», и знакомый профессор психологии посоветовал: «Когда надоест, отвечайте ему: "Потому что перпендикуляр!" Увидите, очень быстро отвыкнет».

Беспроигрышный метод. Только не надо удивляться, если на наши вопросы они однажды тоже нам ответят «Потому что перпендикуляр!».

* * *

«*При проектировании клеток и вольер для содержания моржей, морских львов, тюленей, слонов, бегемотов, носорогов, зебр, жирафов рекомендуется обращаться за консультациями в зоопарки и другие специализированные учреждения...*»

Вообще-то, даже если в безумном сне приснится, что директору какого-то образовательного учреждения действительно нужно будет решать вопрос, как содержать слона или бегемота, он, думаю, и без инструктивного письма сообразит обратиться за консультациями в соседний зоопарк.

Но нет — пишется подробная двенадцатистраничная инструкция, прямо хрестоматийный монолог из чеховской «Чайки»: *люди, львы орлы и куропатки, рогатые олени, гуси, пауки, молчаливые рыбы... морские звезды*... Кстати, все они в инструкции упомянуты. Не забыты также волки, рыси, гепарды, леопарды, пингвины мелкие и пингвины крупные (императорские и королевские), etc...

На всякий случай: может, кто соберется завести пингвина. Имейте в виду: *для всех пингвинов обязательны бассейны глуб. 1 м.* В отличие от бегемотов, которым необходим *водоем глубиной до 2 м...*

* * *

Известный французский писатель, академик из той самой «Академии бессмертных», однажды спросил меня, почему легендарный театр абсурда, пьесы Беккета и Ионеско, с которых сняли запрет и поставили во многих наших театрах в первые же годы перестройки, не вызвали в России никакого заметного резонанса.

Надо бы ему прочитать это инструктивное письмо. Кстати, Ионеско с его легендарными «Носорогами» тоже невредно было бы узнать, что носорогу *необходима клетка или вольер высотой до 3 м...*

Валерия Пустовая

Ода радости

Записки печальной дочери

В свете точки

Сегодня, когда моей бабушке в Киргизии исполнилось девяносто лет, а ее дочь шестидесяти шести лет похоронили на подмосковном кладбище, рядом с ее же сыном, нашедшим вечный покой девять лет назад, я думаю о времени. О том, что в романах-то я люблю такой поворот: время истекает, и пересыхает роман, и пуст исток событий. Это момент, когда в книге кончается ресурс действия. Герои еще трепыхаются, еще надеются вывернуться и подогреть интригу, перетоптаться и выскочить в новую главу жизни, но автор торопит кульминацию и развязку. Это пора, когда возможности перерождаются в рок, намерения — в судьбу, догадки — в знание, с которым маяться в эпилоге и далее везде. Это созревание невысказанных желаний, это разлитие вскрытой крови, это опадание плодов, вспревших от приливов надежд и печалей.

Наше последнее с мамой лето в Киргизии я торопилась перелистнуть. Со всеми его привычными радостями: базары-горы, кафешки-барашки, арыки-алычи — все это не менялось из года в год, и тем пленяло, но и держало в плену: ведь и в жизни моей ничего не менялось. И про последнее мое лето с мамой на отдыхе я не запомнила ничего особенно хорошего, потому что все хорошее было, как всегда. А вот моя тревога осела в памяти, как самый дурной поступок.

Я хотела оказаться с мамой в Москве, и на новых условиях. Взрослой дочерью, встречающей ее пирогом и внуком, приведшей в дом мужчину, на которого мы с ней можем наконец положиться. Маме домой был куплен кухонный диван, такой удобный, что режет, как вспомнишь о ее страданиях, когда с него уже почти не вставала.

Я уехала из Киргизии, а она осталась. На первый свой полный год у бабушки, в изнанке спелого лета, в Венеции зимой. Слышала я, есть в Киргизии такая долина смерти, куда не стоит соваться в морозы, иначе застрянешь и пропадешь. Я никогда не видела этого места, но сегодня, думая о маме в зимней Азии, я представляю себе этот заснеженный капкан за окнами уютной двухкомнатной квартиры в кирпичном доме, в хорошем районе у парка, с видом на набережную сухого арыка, с вечной новогодней елочкой в углу и гирляндами старых родственных открыток по стенам под

Валерия Пустовая родилась в 1982 году в Москве. Литературный критик, эссеист. Кандидат филологических наук. Лауреат ряда литературных премий, в том числе Новой Пушкинской премии (2008). Автор книг статей и эссе «Толстая критика. Российская проза в актуальных обобщениях» (2012) и «Великая лёгкость. Очерки культурного движения» (2015).

портретами дедушки и дедушки Ленина. Когда бабушка — впервые за много десятилетий — позвала маму остаться и позаботиться о ней, мама попала в ловушку. Она провела год в стране своего детства, где когда-то был союзный рай, а сегодня платят мукой и консервами за голоса на выборах, торгуют никому не нужными русскими книжками на барахолке вдоль заброшенной железной дороги и выстаивают первые маленькие очереди за фаст-фудом. В домах спилены батареи: за отопление запрошено столько, что проще сдать на металлолом. Бабушка боится ставить обогреватель: розетки изношены, чинить некому; при мне когда-то вызывали электрика — пришли три матерых пьяных киргиза и толком ничего не сделали. Холода стоят российские, и до апреля не прибывает тепла. По стране прокатывается волна бытовых пожаров. Мама кипятит воду на единственной плитке, переодевается дома в пальто и сапоги и занимается самолечением в холодной воде.

Я страшно боялась, что к ней там вернется старое заболевание бронхов — но обошлось. Мама очень не хотела бросать выгодную подработку няней — у знакомых, да в центре города, с неполной неделей. Ее подопечная уехала на родину папы, во Францию. Мы радовались такому удачному совпадению: теперь маму ничего в Москве не связывает, нет повода для метаний, Бог так славно все устроил.

Когда вышло так, как хотел, тебе это кажется преисполненным смысла: в мире появляется логика — твоя собственная, но ты приписываешь ее высшей силе. Когда все так, как хотел, ты хвалишь себя за то, что живешь в ладу с Провидением. Не вываливаешься и не торчишь, не вопиешь, не ропщешь.

Потом один из врачей, туманно обосновывая отказ в операции, скажет ей: «Вы слишком долго где-то ходили...» Ясно где: мама целый год ухаживала за бабушкой, не нуждавшейся в уходе, отвоевывала у нее право полистать интернет и поспать днем, когда сморит, помыть пол и выбросить старые тряпки, — бабушке, как и мне, хотелось пожить с мамой на своих условиях. Как бы то ни было, мама отдала дочернему долгу год, и разве это не достойно награды?

Потом я открою ее переписку со старым другом и прочту: «выбора у меня нет». И вспомню, как жаль ей было застрять в чужой уже стране, когда в Москве так много не досмотрено, не доделано. Ей не хотелось проживать еще сильные свои годы там, где даже в библиотеку не запишешься — требуют оставить в залог местную ID-карту, — а главное развлечение — базаровать. Весь год мы с мамой развлекались: обсуждали вытачки и оборки, длину и цвета, и она никогда не называла цвет правильно — так, как я бы его назвала, и было много смешной путаницы, и мешок в обратную дорогу рос, а мама, по привычке своей экономить, еще раздумывала, брать ли до аэропорта в соседнем городе такси, но я уговорила, и когда она переступила порог и я увидела, кто привез мне огромный тяжелый мешок замечательных, недорогих, теплых, нужных вещей, в которых я теперь что ни день, — ...

Мама должна быть мягкой, — всегда шутила я. И городилась, что мама моя кругла, и забывала юные ее фотографии, где высокая грудь и талия, какой у меня не будет вовек. Теперь я помню только на ее опавшем лице большие круглые глаза — доверчивые и удивленные, как у заблудившегося в ночи ежика.

Выбора нет, — считала мама, и я вслед за ней. Я люблю ситуации, когда выбора не остается, и не надо мучительно выбирать, потому что единственно правильное дано. И только теперь задумалась, откуда берется такая определенность решения. Если нет выбора — значит, есть глубокое и скорое внутренне согласие на то, что дано. Даже долг оставляет выбор: должен ли ты — сам ведь и решаешь. И мама решила, что должна.

Хотя никого из других моих знакомых женщин ее возраста нельзя было бы подписать на год жизни в таких условиях. Их внутренний компас стрельнул бы, отворачивая. Но мамина чуткость к себе сломалась давно.

Была цветущая женщина, а теперь посмотри, как из концлагеря, — сетовала она,

а я рада была узнать, что она все-таки считала себя цветущей, хотя отвергала маркие белые пуховики, жалела кожаное пальто, ленилась подкрашиваться, не терпела гладить. Больная, она вдруг стала на некоторое время стройно выглядеть и изящно одеваться, пила из чашечки с блюдцем, как, призналась, всю жизнь мечтала и не пила, покупать телепрограмму в журнале «7 дней» и удивляться себе, почему не брала его раньше.

И зачем я сетую на год в Киргизии, прошедший без диагностики и лечения, если знаю, что, будь даже мама в Москве, мне ох и не сразу удалось бы уговорить ее пойти к врачу.

Фантазии о том, как бы вы провели свои последние дни, утешают только молодых и здоровых. Мне тоже грезились Неаполь или Прага с мамой — но стало бы у нее сил до ванны дойти.

Не покупайте, говорит, больше такое здоровенное средство для посуды. Лежу, целыми днями только его и вижу.

Наше время начало пересыхать весной, когда я, выйдя немного из-под сени старого замкового парка в Шотландии, узнала от коллеги по скайпу о том, что журнал, где я проработала больше десяти лет, лишится дома и едва сводит концы с концами. В тот же день в Фейсбуке прочла, что умер долго боровшийся с болезнью муж Анны Старобинец.

Я хотела изменить себя, но чтобы мир вокруг ждал меня прежним, как брошенная в обед детская. Как будто время течет не для всех. И снова думала, как хорошо устроил Господь: вот ведь и отдых в Шотландии перед, пугали, материнской страдой. Я оплатила курс у психолога, чтобы никакие зацепки в прошлом не помешали мне всей полнотой сердца принять накатывающее счастье.

И я была счастлива, да. Все эти полгода с мамой в Москве, от 15 июля, когда ее встретил в Домодедове мой муж, до 25 января, когда я увидела последнее, рефлекторное движение ее рта, — я жила счастливо, как во сне о том, что сбылось заветное: в доме есть мужчина, чтобы опереться, и сын — радоваться, и мама — показывать мои достижения и видеть, как она ими довольна. Горю тесно в наших счастливых, до краев наполненных заботами днях: оно затаилось, замылилось сериалом Коломбо, заелось овсянкой и курочкой, сомлело в груде стиранных маленьких одежд, уснуло под свет улыбок. Эти полгода мы жили, как обычно — я прочитала в интернете, что это вернее всего. Мама сердилась на мужа, сидевшего в смартфоне во время еды, я возмущалась ею, откинувшей мои волосы от лица ребенка, муж терял терпение оттого, что ему не позволяют самому решить, когда мыть посуду. Она запрещала мне носить слинг и ехать с ребенком на вещевой рынок — я отбирала у нее копченую колбасу. Мы обсуждали литературные новости, посмеивались над сценаристами британского сериала, принимающими нас за дураков, удивлялись иным вопросам к батюшке на канале Спас. В наш самый последний вечер дома мы сплетничали про номинации НацБеста, хотя впору было схватить ее за мизинец и сидеть, лбом вжавшись и повторяя: мама, мамочка, — но так мы уже провели день до того.

Днями было сухо и тепло, и только во сне — два раза помню достоверно — я рыдала от горя, в голос, до встряски в груди.

Я просила у нее прощения, а она отвечала: да ну, сколько и я по молодости глупостей делала, вот, скажем, когда эту квартиру дали, не хотела в ванной ручку к стене прикручивать — зачем мне, думала, я и так, — а теперь без нее ни залезть, ни вылезти.

Я обозналась в кульминации. Весь этот год, пока мама жила у бабушки, я восходила, охотясь за шотландскими овцами и тенями в своем прошлом, не к материнскому свету, а к сиротской мгле. Кто-то свыше знал, для чего на самом деле скоплены были мои телесные и душевные силы. Кто-то свыше знал, зачем именно сейчас у меня родился сын.

Он был с нами с первых минут горя, когда я, с ним на руках, поднялась на второй этаж диагностического центра Инвитро и узнала, что отныне держу в руках две жизни, нуждающиеся во мне почти с равной интенсивностью. Я гуглила пестушки-потешки и проценты выживаемости. Мы волновались, как на гонках, оставляя его одного для безболезненных, но нудных процедур, которые маме приходится выполнять через день. Раз в автобусе мы с мамой заспорили о квотах на лечение и в нервах едва не упустили коляску на выходе. Мы прятали от него шотландский плед, редкостно яркой расцветки, которую я для мамы едва разыскала, — он любил общипывать его, и мы боялись, что наестся шерсти.

«Пойду посмотрю на Буличку и тогда усну спокойно», — бывало говаривала она, прозывая внука в честь слова «забульбулькал», тут же ею самой для него и придуманного. С тех пор имя Булка приходит мне на язык куда скорее, чем его настоящее.

Он показал себя большим другом. Работал переключателем: прогонял холодную враждебность диспансеров, развеивал страх перед новыми симптомами ухудшения, тянул на себя мысли. Широко улыбался ей и не замечал, как она изменилась, и у нее отлегало от сердца: что, ты меня не боишься? Хватал за руку, в которую она приучила его утыкаться, чтобы заснуть, — а теперь только и могла, что протянуть навстречу. Я до последнего подкладывала его к ней на диван — и она говорила слабо, но уверенно: не бойся, не упущу, — и держала хоть ногой.

На простыне с романтичным принтом в лодочках, выданной сестрой-хозяйкой, он провел с нами в хосписе полтора дня. На последних ее минутах крепко спал, а затем сразу проснулся и — привычно, но тут так вовремя — заныл.

«Я теперь надеюсь, что буду смотреть на вас оттуда. На Люличека, — пауза, — и на Люлечку», — сказала она, и я, отвернувшись, заплакала: она надеялась, что приедет на пару месяцев подлечиться и укатит обратно к бабушке, она надеялась, что не станет инвалидом, она надеялась, что вылечат, — в стольких своих надеждах она обманулась, так трудно поверить, что хоть этой суждено оправдаться.

Я не могу спокойно слушать детскую песню «Сюрприз». Каждый новый день приносит нам новую напасть, тело сбоит то там, то тут, круг возможностей сужается, скачущая кривая желаний вытягивается в лежанку. В декабре, когда окончательно решено, что новой химии ей не выдержать, мама впервые просит: «Господи, дай хоть пожить». Но уже подступает неделя, отнявшая у нас завтра. Все эти месяцы мы откладывали прощальные разговоры, перебивая печаль хлопотами о том, что под носом, и вот когда мама, велев перебрать две коробки своих лекарств, наконец готова: «завтра все позаписываем, поговорим...» — наутро оказывается, что грудь ей заложило одышкой. «Так много воздуха, а мне не хватает, Господи, дай хоть подышать». А когда я, накануне протоптавшись до вечера в палате и дома толком собравшись, чтоб засесть еще на день, примчалась в хоспис к врачебному обходу, мама уже была без сознания.

Никто не знает, как окончит жизнь, но потом кажется, что можно было и догадаться. Бог ревнив, говорят, и бьет туда, где теснее привязан к миру. Я смотрела, как у мамы отбирают ее последнее утешение — потрапезничать весело, понабрать вкусностей, поделиться лучшим на столе. Вот они, наши гастрономические вехи к прощанию.

Пирог с вишней, с которым я бегу к ней из лавки «Караваев» и плачу, потому что он не то, что может ей помочь, но то, что я могу для нее сделать. Креветки на гриле в новой районной кафешке, где мама успела напоследок посидеть в зеркалах и светском общении. Сервелат «татарский», купленный в мордовской лавке, которого она откусила колесико, поприветствовав: «я так соскучилась». Натуральные малиновые конфеты, которые принесла ей, чтоб хоть немного подсластить унылую диету, — она схватила радостно, но вскоре выпустила, пожалившись: косточка там, говорит, внутри, такая колючая. Четыре сырника, на которых маме пришлось дожидаться нас до самого вечера: мы ушли за покупками, думая, что она сама возьмет себе что-нибудь

из холодильника, — но сил встать и погреть не хватило, и вечером она сказала с обидой отлученного от груди малыша: «уйду от вас, вы меня не кормите!» Селедочный торт под Новый год, для которого она, собрав силы, встала и почистила вареные овощи и иваси, — а я от усталости и спешки выбросила банку с рассолом прямо в мусорное ведро, и пакет протек, и игровой мат ребенка забрызган, и в ванну он не помещается, и я выношу торбу с грязным бельем, и со зла толкаю дверь ногой — и попадаю в стеклянную вставку, и сижу под дверью, рыдая, что вот маме как будто сегодня лучше, что она хотела мне помочь, а я опять по своей глупости и нетерпению все испортила. Протеиновые бутылочки с ванилью для питания ослабленных, которые мама называла «моя мишка» и говорила: «Моя любимая пришла», — с такой нежностью, что я всякий раз обманывалась: про меня? Краб камчатский и лимонад, которых вдруг запросила в свой последний день дома, — лимонад едва пригубила и деликатес, едва клюнув, отодвинула: «Не хватало еще крабом блевать». В хосписе она скажет: «Как у вас вкусно готовят», — хотя речь пойдет о протертых макаронах и котлете, и предложит мне: «Попробуй!» — как всегда предлагает самое вкусное. Я кормлю ее с ложки, будто ребенка прикормом. Она спросит, что это, и скажет задумчиво: «Ну да, это по мне, а то я на лошадь уже пересела...» — я не сразу пойму, что в виду она имеет конскую колбасу, которая от тоски по обильной и острой еде ей даже приснилась.

Это была ее, видимо, последняя шутка. Впрочем, нет: последней придется признать тот факт, что ушла она в Татьянин день. Мы часто прикалывались над тем, что в жизни ее, что ни знакомство, всюду встречают Татьяны.

Это был и день 80-летнего юбилея Высоцкого, чьи песни в кустарном еще, слепом издании мой отец подарил маме и подписал: «Жене, которая, как и ее кумир, не ищет в жизни легких путей».

Я знаю, как важно мне полюбить легкие пути. Суметь понежиться, положиться, помедлить, отказать, оставить себе — все то, чему не считала нужным учиться она. Но на неделе, когда повторное КТ показало, что химия не подействовала, я впрягаюсь в коляску с малышом и продуктами, и в ответ на предложение мужа помочь кричу «не тяжело!», и тащу что есть силы, и чувствую сиротскую эту смелость: вот-вот мне просто не останется, для кого себя пожалеть.

Иногда мама отворачивалась от внука: где-то услышала, что пожилым и больным не надо смотреть на маленьких. Какая чушь, говорила я, тем более уверенно, что знала: такая, как она, точно от ребенка не заберет. Когда в московской больнице умирал ее брат, приехавший к нам попытать позднего нового счастья, мама держала его за руку и говорила: «хочешь — возьми все!» Брат был домашним экстрасенсом и, вероятно, понял, что она про энергию.

В Киргизии бабушка направила маму помогать двум таким же, как она, немолодым одиноким женщинам, подвязывать виноград, и там из жлобства ее едва не заставили тягать здоровенную садовую лестницу. А соседка подписала маму помыть покойника — мужа другой соседки. Вдове мыть в морге было дорого, а соседке мыть на дому — боязно. Мать мыла, а вокруг, говорит, стояли гости дома и смотрели. «Что, брезгуешь?» — кротко спросила вдова, когда мама отказалась принять после обмывания, по какому-то дикому обычаю, мыло и полотенце. И мама, купленная за грошовую слезу, приняла.

Это как колодец, из которого черпают и не вливают, — выскажет психолог свое мнение о заболевании моей мамы. Я тоже черпала, я пила из него при всякой возможности, я приникала к ней — а кто у меня еще был? Она огорчалась только, если отданное ею не шло в прок.

Крестный путь — я чувствую это как крестный путь. Она вернулась домой, чтобы пройти его до конца. Сквозь вопли: «сдохни меня», — обращенные к Богу, в чьей власти оборвать страшное до срока, через унижение немощью и нечистотой, через измену тела, шатнувшегося под тяжестью беды, и бичевание словом: «кто только мордой

меня не возил», — как скажет о медицинских работниках. А главное, через несправедливость — незаслуженность, невольность горя. «Не пожила ни там, ни здесь, никому не помогла... Так с хорошими людьми не поступают», — когда-то старуха-соседка, которой мы одно время помогали, ввиду необыкновенной занятости ее собственной племянницы, сдуру скажет маме, что Бог ее не любит. И как я ни убеждаю ее, что Божий суд свершается не в дачах и здоровых зубах, обильных потомках и заграничных выездах, она верит, что оставлена.

Вся история ее болезни уместилась для меня в один-единственный образ — когда-то я провожала ее к бабушке, и купленные для нее московские конфеты перевесили в багаже, и маме пришлось подхватить полные конфет, рвущиеся пакеты и, трепеща, что окрикнут и не пропустят, пройти на паспортный контроль. Она движется прочь от меня одиноким испуганным ежиком, она обременена тяжелой своей недальновидностью, она надеется, что проскочит, она боится, но тащит запасенное, она идет доверчиво и неприкрыто; ей просто некуда деваться.

Когда она ехала с консультации в диспансере, в метро у кого-то заиграла киргизская песня. И мама заплакала. То, что ожидало ее в родном доме, было так страшно и не нужно ей, что она готова была сей же час уехать на года к своевольной матери и неотапливаемой зиме, лишь бы уехать здоровой.

Но выбора у нее теперь точно не было.

Дальним знакомым в Москве мама велела сказать, что уехала в Киргизию. Дальним знакомым в Джалал-Абаде бабушка велела сказать, что мама осталась лечиться в Москве.

Обе эти версии я поддерживаю. Иначе с чего бы к моему сердцу прилило столько света, покоя и утешения, когда она отошла? «Ну умница, отмучилась!» — прошептала я ей, от души поздравляя и плача, потому что в расставании — как я читала где-то в детстве — большую долю печали принимает на себя остающийся.

В горе утешают только горькие книги. Одна история из книги Анны Старобинец «Посмотри на него» навела меня на светлейшую мысль. Речь шла об обреченном еще в утробе ребенке, рожденном, чтобы счастливо и полно прожить на руках у матери всего день. По сравнению с этим днем 66 лет — какая богатая, долгая, разнообразная жизнь! Моя мама родилась в Баку, выросла в Азии, училась в Сибири, работала в Москве. Она танцевала и плавала на байдарках. Она делала мостик до сорока. Она была одним из первых советских программистов и работала в Госплане, и я играла там, не подозревая, в пелевинского принца. Она одна вырастила дочь, но всю жизнь у нее отбою не было от поклонников. Она побывала в Италии и Париже. Она ходила со мной на «Дебют», Пушкинскую премию, новогодние вечера «Октября» и, однажды, на Русский Букер. Она любила персики и булочки, колбасу и пиво. Она шила себе платья и делала химическую завивку. Она работала честно и любила делить по справедливости. Она подавала на опохмел и никогда не била детей.

...Когда я впервые внесла сына в храм, я проговорила: «Смотри: тепло, красиво, Бог...» — и сама испугалась сорвавшейся глупости: кто же Бога на последнее место ставит? Но потом поняла: так сработал закон первого познания. Сначала грудь — потом мать, сначала купанье — потом дом, сначала игра — потом навык.

Сначала вместе — потом семья.

Бог начинается там, где тепло и красиво, иначе остается абстракцией.

Семья начинается там, где тепло и спокойно, иначе это толкучка случайных людей.

В слишком скоро — и это моя главная сейчас боль — минувшие полгода абстракция семьи наполнилась для меня новым смыслом.

Семья — это те, к кому возвращаешься, чтобы пережить свое одиночество.

Когда в один из самых тяжелых дней у меня ни минуты не было для ребенка и к вечеру он, устав быть золотым и незаметным, заголосил наконец, я склонилась над ним, обнимая и приговаривая: «Неужели ты думаешь, что мы тебя бросили? Ты ведь наш родной человек. В тебе ведь жива моя мама».

Нас двое уже, в ком ты, моя мама, жива.

Ода радости

Последний раз со мной это случилось так давно, что будто с кем другим: мультяшная вспышка, над которой впору поржать, а ты поливаешь слезами широкое кукурузное поле, по которому носится эта — не вспомнить, зачем затесалась в сюжет, но остался след образа, как имя синдрома: рыжая хрень. Синдром рыжей хрени — так как-то я обозначила потом для себя эту неуместную силовую реакцию бессознательного, прорвавшуюся в кинозале чувством непоправимого, заброшенного в кукурузу одиночества маленького сгустка жизни, по сценарию, кажется, забытого своими родителями-инопланетянами — такими же рыжими сгустками — и вынужденного теперь искать дорогу домой через мир мультяшных опасностей.

И вот сегодня, на «Головоломке», которой не один благодарный зритель уже прописал многозначность и место в мировом кинематографе, снова подпустило. «Головоломка», разбивающая сознание на пять чувств, десять островов и тысячи упакованных в стеллажи катышей-воспоминаний, учит психологической оптимизации. Предлагает принять линейку эмоционального набора: зовет пожалеть печаль. Наглядно показывая, как запрет на отрицательные эмоции приводит к перегоранию личности. Как круг игнора, куда выталкивают голубую печаль, засасывает в себя и спортивно неунывающую, солнечную радость.

Олицетворения эмоций, покрашенные в опознаваемые цвета: зеленый — тошнит, красный — бодаться, — должны в пяти образах, как на пяти пальцах, донести до нас мысль о нашей, по меньшей мере, пятигранности. Разнотонности личности, неделимой на допустимые и недопустимые спектры цвета. Апология печали — это апология полноты. И к финалу мультика — в диалогах желтого и голубого, которые все меньше смешат, — яснее становится односторонность, даже одиозность прыгающей радости, которая напрасно тянула команду на себя.

Дайте нам быть печальными, позвольте нам быть не устроенными, не тащите в счастье — мотив, укоренившийся в культуре в контру общественным утопиям прошедшего века, доказательство сложносочиненности персонажа, показатель эволюции. Апология печали — апология человечности. Радуются только простейшие, радуются дураки.

Сиреневенькие люди на стремительных тучках — точь-в-точь как голубая печаль из мульта — уносятся от желтого приободряющего мельтешения, чтобы спокойно с собой поноситься.

А мельтешащая желтая хрень, изрядно уже всклокоченная и подуставшая, продолжает натужно выдумывать слова ободрения.

И это надсадное мельтешение, порядком утомляющее толстеньких, на мягких носочках, от печали как раз ничуть не сбавляющих в весе и не устающих людей, напомнило мне одного человека — не черту, а целиком, всего.

«Ты можешь пойти дальше нее», — сказала мне как-то университетская подруга, когда я поделилась с ней, что наконец, после унылой подростковой поры, когда самые близкие сильнее всего теснят, наконец научилась ценить свою маму.

Не как ресурс, а как человека.

Перегорание радости, не умеющей допустить печаль, до последнего не верящей, что где-то не нарыла желтую свою, сияющую сторону, не запустила мячик вскачь, — такое в мультиках не показывают, но в жизни бывает. Видела я эту радость, сидящую в свитере недавно умершего брата, с которым они вместе жгли волка резинового и покоряли первое советское отделение программистов в Томском университете, с которым жили в разных углах империи, но вот довелось — через десятки лет встретились: у одной семья из двух человек, у другого недорассосавшаяся надежда переменить жизнь и подозрение на цирроз.

В «Головоломке» есть это упущение — сквозь ладную схему психологической гармонии просвечивает жизненная правда: такие вот, желтые и встрепанные, — всегда почему-то в единственном числе на пятерых. Один двигатель при четырех тормозах, один рывок на четыре предохранителя.

И мы с моим дядей, да, были в ту пору сиреневыми людьми печали, и, когда не ругались на почве женских (я в двадцать с гаком наконец пережила первую несчастную любовь) и мужских (он в возрасте деда развелся) комплексов, уживались молча и мирно, сопечалуясь каждый себе и не пытаясь растормошить, развеять печаль другого.

И только досадовали на гудок паровоза, прущего на всех парах к новой идее, выкатывающего желтые катыши нехитрых, простецких — дурацких радостей: мама накладывала шестнадцать пельменей, звала в пирожковую лавку в Абрамцево, ставила дядин любимый фильм, который дядя нежно прозвал «призрак, само, оперА».

Ты можешь, да, пойти дальше матери — ведь каждый из нас рождается, чтобы отработать, как материал, для следующего, кто потратит себя чуть более с умом.

Но я не могу пойти дальше, пока не дойду до нее — до радости этой смиренной, до готовности ее смести сиреневые пятна сложности с лица и рвануться к простецкому: вкусному, горячему, обильному — такому, чтобы хватило на пятерых.

Бодриться — мамино слово — такой есть дар. Не унывать. Не сиреневеть. Не трогать катыши золотых воспоминаний руками печали.

Свою печаль приняв как дар — умею вслушаться, вплакаться, вжиться, — я хочу сегодня пожалеть радость.

Раздающую себя на пять частей.

Радующуюся за всех, пока другие лелеют свой сложный непонятый цвет.

В конце концов — и тут мультик не врет против творения — все начиналось с радости.

Пока не раздробилось на цвета, не обросло кнопками на пульте — пока не забыло золотой чистоты, которой сияет сама сила жизни.

Земля кочками

На девять дней подарок, нарочно не придумаешь: звонит из поликлиники хирург, которого 8 января, почти месяц назад, вызывали на дом швы снять. «Выполнен, — говорит, — вызов на дом». Нет, говорю, не выполнен, вы так и не пришли. Я, говорит, не пришел, потому что до вас у меня вон сколько еще вызовов. Ну так, — говорю без ехидства, — помолитесь за нее. И он говорит без раскаяния: Царство Небесное.

Система, при которой надо месяц собирать анализы, чтобы лечь в больницу, занимать очередь на талон и брать направление на назначение, раздражает даже врачей. Но система объясняет не все и включает в себя не всех.

«Не вы первая, не вы последняя», — дословно говорит мне охранник — и это не в родильном отделении, где фолк и магия еще уместны ввиду чудопроизводства жизни, а в хирургии, и сказано не о жизни и смерти, а о клеенчатом кресле-каталке, на которой надо вывезти неходячего человека за территорию больницы и каталку вернуть. Ночь снежна, таксист на ломаном русском клянется, что подъехал. Это хорошая больница, каталок много, а в прошлой, плохой, мы с санитаром за кресло поспорили: «а мне что делать?» — «а мне??» — но в плохой пофигисты-охранники пустили машину прямо к выкату из отделения, поэтому я и теперь, как ездовая с выучкой, жму на пластмассовые ручки и мы, уверенные, что выйдем прямо к открытым дверцам такси, выкатываемся с мамой в степь.

Так кажется, что степь кругом, хотя это просто заснеженные задворки больницы, до бетонного горизонта белым-бело, приехали.

«Вы бы хоть спросили, если не знаете», — сердитый охранник разворачивает

меня на 180 градусов и тут-то сообщает, что такси подъедет дальше и вправо, но право слишком далеко, и я на полпути бросаю кресло, похожее на недосклеенную картонную коробку, в которой съехала набок, будто за своей съехавшей на снежных кочках косынкой, моя любимая кукла с тонкими руками, — бросаю и бегу назад, к серым воротам, успевшим опуститься за нашими спинами, в теплый просторный холл хорошей больницы, — чтобы переспросить, правильно ли поняла. Тут он и сказал свою некрасовскую фразу.

Направо оказывается КПП, где охранник уточняет для таксиста адрес, велит нам переждать в тепле и выражает уверенность, что машину бы пропустили. Возвращая каталку, я довожу до сведения охранника в больнице разночтения в адресе и правилах. Но в ответ слышу другую попевку: сама виновата. А зачем вы побежали, вот не побежали бы — и приехала бы машина.

Вывалянная в архаике, как в перьях, я вспоминаю, что и в плохой больнице охранник был тоже как из сказки, обиженный Емеля: я, говорил знакомой, не приглушая голос в чумазой гудящей проходной, почему здесь работаю — сослали! Да че, че, там опаздывал все время, вот и сослали.

Но эта жертва слишком строгого режима лично вышла из отделения, чтобы подогнать нашего таксиста поближе и подсказать нам, как пересесть в машину.

Зато врач, принявший нас по скорой в приемном отделении плохой больницы, был поначалу куда внимательнее к своим выпискам, выдернутым со злом из-под маминых ног на каталке, — так что и делиться ими не захотел. «На словах объясните», — благословил он нас обратиться к районному хирургу, чтоб сняли швы. Вызванная терапевт, в свою очередь уважая свои выписки, потребовала подтвердить необходимость хирурга документально. Бросив грудного ребенка на грустного мужа, я понеслась в плохую больницу, где мне выдали выписку без единого извинения, зато с примечанием: когда я пожаловалась, что хирург велел передать поликлинике результаты хирургического вмешательства на словах, оказавшаяся в приемной доктор с подчеркнутым снисхождением к моей отсталости предположила, что «может быть, он сказал вам зайти за выпиской завтра?» В ответ я тоже сделала смелое предположение о том, что в их приемном покое, видать, понабрали стажеров. «Все сотрудники больницы — квалифицированные врачи», — авторитетно заверила меня доктор, и я уже не стала рассказывать, что молодой хирург не знал, как подступиться к операции и мерял и рвал одну за другой перчатки, пока санитарка не заругалась и не явился лысый врач постарше и поопытнее, который и сделал, что нужно. Не стала, как не заставила себя зайти в кабинет хирурга с вопросом, почему он так с нами поступил, — удовольствие сомнительное, когда получаешь его только на словах и не можешь зафиксировать документально, со словом-печатью от мамы, которая метко прозвала молодого квалифицированного врача «Таракан».

«Вы, я вижу, не в себе», — сказал маме как-то на приеме врач, записавший в листе осмотра с ходу, не взглянув: «кожа розовая». И на просьбу выдать результаты анализа вскрикнул: «Зачем вам? Для коллекции??» Хирург, напротив, заглянула — и прямо в душу: «А вы что, думали, на вашу опухоль тут сразу набросятся?»

«Только не тяните», — говорили маме, выдавая лист назначений, исполнить которые в поликлинике реально было через полмесяца или месяц.

«Как схожу в поликлинику, — сокрушалась она, — прихожу с разбитым сердцем».

Наша поликлиника глушит жалобы, как ватное поле, в нашей поликлинике пять рабочих мест отыграно у терминала ЭМИАС, и на УЗИ записывают ручкой в тетрадочку, и велят прийти завтра пораньше, талонов нет. «Я была вторая, и передо мной к этому специалисту не брали», — возражает мама. Что ж, отвечают ей, талонов нет, приходите завтра пораньше. Наша терапевт за направление к специалисту удавится, а когда поднажали, готова положить маму в больницу общего профиля — первую, где попадется свободная койка. Но и талон, и направления маме удается

добыть при помощи заведующей терапевтическим отделением, молодой женщины, у которой от этого самого умер отец, а в кабинете у нее, говорит мама с верой в людей, иконы. Потом я напомню заведующей о ее помощи маме, как о долге, и она снова пособит, и скажет мне: «окружите маму теплом и заботой», — и я пойму, что это значит, но распереживаюсь от другого: меня вывел из равновесия ее редкий здесь понимающий тон.

Хирург по вызову не пришел, да, — зато невролог сама предложила заочно заполнить форму на инвалидность, и мимоходом сделала мне замечание, что я от волнения неловко держу ребенка.

Дежурная врач с разбавленными серебром красными ногтями жалуется, что потратила на нас больше положенных 10 минут — но ее сутулый сменщик лично поднимается к заведующей и без очереди уточняет для нас информацию о процедуре выписки лекарств.

«Вы без звонка больше не приходите», — сурово выговаривают маме в диспансере, куда она явилась, по назначению главного химика, через 21 день. Главный химик легко дает направление — но в канцелярии считают, что мест нет. И никогда не звонят, и не берут трубку. Видите, — вопрошают грозно, отворачиваясь от мамы к завалам медицинских карт, — у нас сколько работы, а вы нам работать мешаете. В следующий раз, наученная товарками, мама на консультации сует главному пятитысячную, и он помечает карту специальным листочком, и маму кладут без звонка — и без возражений.

Зато швы на дому нам снимает зашедший для профосмотра с папочкой для бумаг и без единого инструмента врач из хосписа.

У порога хосписа №5 в Царицыно я впервые понимаю слово «бороться», которое устойчиво сочетается у нас с самым пугающим недугом. Канун Нового года, у крылечка синий олень и снеговик в шляпе, внутри сад комнатных растений, кот под вазой с мандаринами и клетка с шиншиллой по имени Бенджамин. За окном розовая кормушка для птиц, на столе синяя скатерка. Посетителей пускают круглосуточно, сроки госпитализации не ограничивают. Высоченные врачи нянчат мне ребенка и доносят сумки до такси. Психолог лично приносит чай в чашке из ординаторской.

«Сердца ущип», — любила говорить мама, и в хосписе щиплет сердце от милоты и ласки. Этот элизиум кажется наградой за труды, компенсацией за пережитые унижения. Борьба осталась за порогом, борьба там, в диспансерах, для сильных — для живых. Здесь — приют для странников, пакующих вещи.

Это жизнь борется с нами, как вода с плакучей ветвью, прорывает нас, как травяной заслон. У жизни вечное лето, а мы прем на износ через снежное поле, пока не догадаемся сесть и поехать.

Не стоило маме так огорчаться, что не звонят из диспансера, — был праздник Покрова Богородицы, и я вытащила маму в храм, и там она дала волю слезам обиды, а не покаяния; это был последний день, когда она еще надеялась, что будет по-честному, так, как должно быть и никогда не бывает. Не стоило ей тогда идти на исповедь к самому молодому и неопытному священнику — мама сказала, что к старым были такие очереди, ей стало неудобно, но что мог сказать ей этот юноша, кроме: почаще ходите в храм, а то вы не чувствуете себя частью Церкви? Не стоило впоследствии, едва удерживаясь на ногах, дожидаться своей очереди в процедурную на кровь, хотя пациенты пободрее ломились, не спросясь. Не стоило чувствовать себя хуже всех, которой и в том, что всем положено, хотят отказать, когда на консилиуме смурной бестактный врач спросил ее, как девочку на экзамене: «Вы лечиться-то хотите?»

Не стоило, правду сказать, и мне тогда с упорством декабристки толкать каталку с мамой до КПП: следовало отвергнуть саму возможность так с нами обойтись — и заставить побегать охранника.

Очереди и обиды, снег кочками. И вот ее отпевает тот самый, молодой,

священник, не знающий, что невольно пополнил ряд несправедливостей, валившихся на маму хлопьями.

Но он отпевает ее — и это тоже подарок, какой нарочно не придумаешь, потому что это люди ошибаются и вредят — а жизнь справедлива и любит завершать гештальты.

Жизнь борется с нами, пока не примем ее сторону. Когда-то маме приснился мелочный тягостный сон — про очередь и обиду, про обсчет на кассе в какой-то смурной столовке, и она говорила кассирше из глубины сердца: «Вы знаете, я так не хочу жить, мне так надоело жить!» Просьбу «пожить» я наконец услышала от нее накануне Нового года, за месяц до ее ухода. А за неделю до — она лежала и слушала море.

Был у мамы «красненький» — планшет в обложке женской расцветки, она оставила его у бабушки, думая, что скоро вернется и продолжит скайпиться с дочерью. Теперь у нее «серенький» — кислородный концентратор, который она сначала, боясь довериться новшеству, запрещает арендовать, а после тихонько гладит: он баюкает ее, в булькающей дистиллированной воде растворяя будто бы говор людей и шум моря.

Снег кочками и снег пухом. Когда-то мама тоже перла меня через зиму. Тащила, да упала, поскользнувшись. Лежит, и небо над ней не Аустерлица, а московской окраины, и о прозрении ее роман не напишут, и так хорошо, что можно залежаться и не вставать.

С замерших санок пискнули. «Жива, жива», — отозвалась мама, будто проснувшись и вспомнив, что правда жива, что снега впереди еще поле непаханое, и поле предстоит перейти. На санках деликатно замолчали, дожидаясь, когда поднимется и попрет.

Не стоило мне отговаривать маму кататься на коньках в ее последнюю зиму, когда она под видом няни проникла с подопечной на малышовый каток в парке Горького и, уцепившись за пингвина не по росту, сначала упала, конечно, а потом –

Не стоило, да, но она и не слушала, и поехала, и от души накаталась.

Мы прем через снег — но жизнь не замерзает. Накануне девятого дня у меня пушистый четверг. Кого ни встретили, все на удачу: нарядный парень, попросивший подержать его ручную сумку, пока он дотолкал мне детскую коляску из перехода, любезный мигрант, шугнувший меня рупором из-под дома, где с крыши ссыпали снег, и сказавший спокойно: «не торопитесь», когда я все-таки попросилась срезать с угла дома обход, и случайная бабка, державшая моего ребенка, пока мимо проходивший дед, выкинув недокуренную сигарету, вправлял на место люльку, только что вылетевшую из коляски вместе с ребенком, когда я штурмовала снежную обочину, скрываясь от машин, тоже руливших по дворам. Ребенок всплакнул всего ничего и мы оба пошли посидеть в чайную для студентов, и к чаю с ситечком нам погрели сладкую вафлю, и я впервые чувствую, что отдыхаю, и раздумываю, кому же верить.

Как жаль, что люди, встреченные нами в тот день, не работают в медицине. Как хорошо, что теперь я знаю: и они рядом с нами живут.

Исповедь утенка

Главное — вовремя выйти из подъезда с коляской, инсайт ждет. Сегодня — в виде двух немолодых женщин, одна другую спрашивает: че, мол, не выходишь? — А я же с щенком сижу, — хвалится другая. — Мои купили мопса. Он один не остается. Вот я и сижу.

Как много материнского в этом «мои», и бабушка — закоренелая в материнстве: сколько бы их ни народилось и сколько бы им всем ни стукнуло, они все, от щенка до главы, хочется представить, семейства — не сами по себе, а «мои», и с ними ей, как

с щенком, сидеть и сидеть, глаз да глаз, а то отчудят, как обычно: вот, например, мопса купят.

С мамой до конца и чувствуешь себя как мопс. И в последние месяцы срываешься по первому зову, как щенок на прогулку, в сокровенной глубине души радуясь тому, что можешь ей воздать.

Университетская подруга приобщила меня к трудам психолога Берта Хеллингера, мастера семейных расстановок, который писал, в частности, что дети могут воздать родителям за многолетний труд воспитания — только посвятив себя своим детям. По месту отправления родительские дары — пресловутые бессонные ночи, якорное терпение, когда тебя штормит, принимающие объятия и поглаживающие разговоры, наряды и вкусности, подстроенные праздники и будние хлопоты — не возвращаются. Полученная энергия передается вперед, в будущее, она ведь и потрачена была, чтобы дать импульс новому, и в мехи ветхие не потечет.

Я хотела написать пост о чувстве вины, неизбежном перед ушедшими — говорят мне подруги сейчас, — да и пока мама жива, накрывавшем так, что его самого приходилось стыдиться — и дышалось трудно.

Я хотела запустить с самой собой флешмоб огрешек и грехов. От юности до последних дней.

От плетеной корзины, куда мы когда-то ссыпали репчатый лук и которую так удобно было подпнуть в сердцах, чтоб отлетело и отлегло, до асимметрично сплетенной косы, которую мама убрала от лица кормящегося внука, а я взвилась, будто мне волосы выдернули, — много дней спустя в автобусе чья-то незнакомая рука точно так же поправит мне косу, пока я неловко вожусь с раскричавшимся ребенком, и я вспомню мамин жест, как апостол Петр — предупреждение Учителя, что предаст.

От первого серьезного конфликта вокруг впервые назревшего ухода из дома — в юности, конечно, хотелось пожить отдельно, ну хоть попробовать и доказать себе и ей — ну, например, что смогу наготовить парню поднос замороженных голубцов — он после размолвки так и не доест, и выбросит — и только за тридцать пришло чувство теплоты от того, что вот рядом моя единственная родная на ближайшие тысячи километров душа, — до одной из последних нелепых ссор, когда она не пустит меня с ребенком на рынок, а я не смогу поехать без ее разрешения — так и не научилась делать то, что она не одобряет, и поздно было учиться, и когда она так же резко скажет про слинг: если в слинге — то я с вами не пойду, — я так же выйду из равновесия, но снова выберу ее, — и вот я вернулась и высказала ей — уж вернулась, так промолчала бы, — что надоели мне эти прогулки пенсионерские по одному и тому же маршруту, — а через некоторое время она перестала выходить из дому, и заданные маршруты кончились, и я вспоминала, как в тот навсегда памятный теперь день, едва сдерживая перезрелый свой подростковый гнев, говорила ребенку: смотри, бабушка кормит уток, — и оправдываю себя лишь тем, что пыталась сдержаться, и горюю, что воспоминание, как бабушка кормит уток, подсинено печалью, как в мультике «Головоломка», но тоном куда исчерней.

Священник скажет: это по-детски. Коллега и подруга скажет: это зарубка на память. Хорошее забывается — зато плохое врезается, как в камень. Я смутно помню первую неделю после объявления диагноза — она была полна нежности и невиданной бережности друг к другу, и как удачно, что муж уехал на рок-фестиваль и не мог разделить, убавив концентрацию, ни наше горе, ни наше единение. Надо ли говорить, что полгода мы не удержались на этой высоте и скоро опять зажили, как среднестатистические мать и дочь? Не помню даже, тогда ли мама впервые за жизнь сказала мне: ну что ж ты, детка, — когда я в суете и растерянности грохнула одну из баночек с только что купленным аптечным маслом. Я ждала справедливого попрека — а услышала только любовь. Не помню, да, зато отчетливо в памяти, что буквально за час-полтора до рокового известия, перевернувшего нас — да не

перепахавшего, а будто подбросившего на месте и кинувшего, где были, какими были, только смятенными, смятыми судьбой, — так вот, незадолго до этого момента я опять сердилась на нее в мыслях своих. Я не хотела заходить в диагностический центр, да и не думала, что пустят с коляской, — она похлопотала о разрешении и позвала внутрь. И да, хорошо помню, что я, пролезая с коляской в приемную, думала о том, что вот опять все не так, как решила я, — а надо было о том, что ей просто тяжело было выходить ко мне, и она позаботилась о нас обеих. Но это я поняла куда позже, когда ее болезнь стала явной для меня не только в заключении диагноста.

Однажды она подначила и улыбнулась — а я надела забрало суровости, не разобрав, что она шутит по-доброму, — а недавно подруга написала, что помнит ее деликатную улыбку, и я спросила себя, замечала ли раньше, что да, деликатна и беззащитна? Для меня это срыв шаблона — как ее вдруг девчоночьи прыжки по бетонным блокам в лопуховой глухомани района — помню, как резко одернула вдруг, перепугавшись за нее, как может бояться за мать только малолетка.

Был когда-то совсем смешной случай: в телефоне квакнуло, и мама сказала, услышав: «блям!» — так мог бы сказать задумчивый ежик в мультике, но мне показалось, она опять говорит: прямо, мол, сядь прямо. Сохранилась детская открытка, в которой я обещаю ей чистить нос и есть морковь с творогом. Это был семейный стеб, но жаль теперь, что открытка не отразила других ее свойств — потому что бдительная забота — не главное, почему я ценила мамино общество.

Читавшая Берта Хеллингера, я все равно мечтала воздать ей — упокоить почетно на диване, сделать приглашенной к чаю куклой в моем игрушечном домике, где я наконец азартно вожусь с румяным пупсом и высоким Кеном. И ее замечания, и попытку переустроить мой домик встречала в штыки — расстраивалась, что ей, против ожидания, неуютно. И только однажды, чувствуя, как подкатывает детское раздражение оттого, что ей опять виднее, что кому и как делать, вдруг вся перевстряхнулась внутренне и просветлела: это же к ней сейчас вернулись силы — это же ей лучше — вот она и принялась за обычное мамское, заботливое, доминантное. Она высказывала с дивана мне и зятю, она никогда не заискивала и никому не боялась говорить, и теперь говорила храбро, надеясь, что я поняла: «Правильно я вас поругала, да? А то бы вы...» — ну, вот да, именно, завели бы мопса.

Даже в хосписе она подскажет мне, как лучше поступить с единственной для питья соломинкой — и я признаю наконец: «друг мой, — скажу, мы так часто называли друг друга: друг мой, — ты страшно умен, — и добавлю: а я так глуп», — имея в виду не соломинку эту, а всю нашу общую жизнь, обрывающуюся, как доска в океан.

После очередного примирения и моего безутешного раскаяния мама скажет: «Ты думала, я конь. А я давно уже не конь». Она открыла мне глаза — но я все равно вижу другое: маму на коне, как на одной из точных иллюстраций в книге стихов Маши Рупасовой, где «мамин человечек» едет с мамой на красном коне.

Мама-рыцарь, мама-герой, мама может — и как же она не конь?

Она раньше меня пришкандыбала в детскую поликлинику, раньше меня с коляской — ребенок призахлебнулся, и она настояла, чтобы срочно его к дежурному врачу. Она подсунула загодя купленную в Ашане и сначала принципиально отвергнутую мною соску — я тогда тряслась за грудное вскармливание и читала, что подделка оригиналу конкурент, а мама смеялась: что же он, соску от груди не отличит? — подсунула в поликлинике, когда голосил, и спасла нас от бегства, а ребенка от срыва, и сказала: «Что, будешь мамочку слушать? Мамочка полезная?» Она так хорошо понимала малыша — говорила: «Что, ты кричал, а тебе ничего не дали?» — и поясняла, когда он впервые был замечен за хватанием и жеванием ноги: «Ножки мелькают, их так много — приходится ловить!» — и подсказывала: «Он сообщил тебе, что хочет на ручки». — «Как?» — «Ну, забульбулькал!» — и выгораживала передо мной, потрясающей отяжеленным подгузником: «Ну что ты, он чист, как голубь!» — и умилялась:

«О, щечку мнет улыбка», — и насмешничала, когда я сетовала, что он втянул мою грудь, как соломинку: «Он сделал из тебя соломинку — сделает и лапоть» — и велела приглушить свет, чтоб убаюкать, и убаюкивала, и тогда говорила с чувством выполненного долга: «Клиент готов».

Я так жадно стремилась доказать ей что-то — и сегодня сказанное ею мимоходом: «Мне нравится, как ты относишься к ребенку», — придает уверенности так, что понимаю: она теперь такой и останется для меня — последней инстанцией, где правда.

Мать невидимо говорит с каждым из нас — считают психологи: перемещается в осторожничающую, чуть что охающую и, когда страшно, прикрикивающую часть сознания. В своем внутреннем голосе, прислушавшись, можно легко различить ее заботливые покрякивания.

Мама не конь, конечно, а большая утка. Это мой психолог навела меня на этот образ, вдруг утоливший все мои терзания. Понимаете, сказала она, вы как в сказке про гадкого утенка. Утенку этому гадко самому от себя — вот в чем дело. Ему кажется, он такой неловкий, длинный, неприглаженный, все портит. А маме-утке что — это же ее утенок, ну да, длинноватый, ну да, пригладить бы его, но он — ее и потому ей безусловно нравится.

И тут я вдруг поняла что-то про маму-утку: понимаете, сказала я, мне надо было понять, что она слабеет, что она уходит, что не время топорщиться длинношее и унывать неприглаженно, — но я до конца не могла себе представить, что она не утка. Не моя большая утка.

Мама для меня до конца была конем и большой уткой, вот в чем дело. Я до последнего была уверена в ее, как говорит Людмила Петрановская, доминантной заботе.

И пусть я в том возрасте, когда забота тяготит, а доминантность не привязывает, а отторгает, — и пусть мы были смешны и печальны в наших тесных, из детства еще ролях — сейчас мне приятно вспомнить маму той, кому можно было дать отпор. Не послушаться ее твердой решимости. Или принять помощь и почувствовать, как вместе славно и скоро плывется в утином нашем пруду.

Мы твои, мама, да, мы твои утята и мопсы. Сидеть бы тебе с нами еще и сидеть.

Перед полуночью в храме гасят огни

Сейчас трудно представить, что когда-то я могла так выразиться: сейчас даже поставить рядом эти слова трудно. Черная. Пасха. А вспомнить, к чему пригодился такой сильный образ, и того тяжелей — для самолюбия: неужели это я могла так расстроиться от пустяка? Впрочем, не пустячное дело — ждать Праздника. В героях Романа Сенчина, помню, когда научилась наконец извлекать удовольствие из его прозы, зацепило это — они ждали праздника. Обделенные радостью, уповали на некий специально устроенный, по сусекам собранный день, когда жизнь выстрелит ими в их низкое серое небо. О чем еще была для меня эта проза, как не об осечке праздника?

Помню поздний субботний вечер в доме мальчика, который мог стать мужем и не стал, и смутный спор из-за парадной рубашки — которую мать просила его надеть, а он не хотел, и как я поддакнула женщине, которая могла стать свекровью и не стала, и как он рявкнул на меня, окончательно выйдя из себя, — хотя вообще-то был страшно добрым и, как я теперь понимаю, от душевной податливости упрямым человеком. Мы опаздывали в незнакомый, недавно построенный между прудами и автодорожным мостом храм с широким, будто восточный шатер, синим куполом. Новый храм, с иконами, оставившими впечатление больших распечатанных фотографий, и прихожанами, поразившими меня тем, что не поют. Почему-то сорвался крестный ход — который для меня, нуждавшейся в лично пережитом приключении для входа в

торжество, перевешивал по значимости и волнительности пасхальную литургию. Вышли и снова вошли только люди в облачении — все пришлые остались в закрытом храме немо стоять и дожидаться. Помню, что тут я окончательно обиделась и, прихватив разделявшего мою неудовлетворенность результатами ночной вылазки мальчика, пустилась в личный, самостоятельный ритуал вокруг храма. Внутри уже вовсю служили славу Христову Воскресению, а мы шли в ночной тьме над провалами в кустарник и яблоневый сад — храм стоит на небольшом возвышении, — и я пела за двоих таинственный и печальный еще запев ожидающих пасхальной полуночи — праздничный затакт, — думая, что, вращаясь одиноким светильником во тьме, возвращаю гармонию нарушившему мои обрядовые ожидания миру.

Главное, что я вынесла из того вечера: никогда в споре с мужиком не принимай сторону его матери. Но главным было не это. А темно запавшее в подкорку ощущение, что поперек хода не бывает радости. Что счастье — это полнота единения с миром, гармония, которую не нужно наверстывать одинокими упрямыми шагами.

Бабка мальчика, известная своей мистической прозорливостью, так и сказала потом: мол, я ведь и знала, что у них не получится. Потому что нельзя романы крутить в Великий Пост.

У Дмитрия Данилова есть стихотворение о пасхальной радости. О том, что же такое — эта пасхальная радость, и не в том же она, что вот наконец «можно некоторое время / Все жрать / И можно, в принципе, пить», — не в «Великом» же «Расслаблении»?

В эту субботу я, кажется, поймала волну — сначала волну «Детского радио», включенного случайно и от тоски, чтобы заполнить чужим шумом забрезжившую пустоту. Муж-атеист укатил на выступление Хэловина, намеченные на завтра пасхальные гости отменились — так уже бывало: когда слишком цепляешься за мир, чтобы выпрыгнуть в него, и закрутиться быстрей, и закатиться куда-нибудь подальше, тебя неизменно сталкивает обратно, внутрь, в одиночную лузу, где мысли вертятся на одном месте, пока не найдут точку покоя.

Во мне вертелось раздражение — Праздник надвигался, а раздражение накатывало. Приступало, как самое дорогое и притом немного стыдное воспоминание. Как заштопанные колготки, которые мама, будто деталь для какого-нибудь букеровского романа, в самом деле подарила мне на тридцатилетие.

Сколько нас с ней помню, эта суббота великого кануна всегда проходила в раздражении. В день, когда святят оптом закупленные или выпекаемые куличи и пускают вкруг широких блюд и мисок выводки крашеных яиц, мы прилагали усилия, чтобы влиться в общий праздничный ход. Но все, как нарочно, обманывало. Солнцем бледным мазнет по глазам, холодным ветром задувает свечи, но мы чиркаем запасливо прихваченными из дома спичками, обрывком бумажки прикрываем глазурь в распакованном на пять минут куличе, едва затеплившийся дымок мгновенно сносит, спички бросаем, просим через стол зажигалку. Утром почему-то обязательно не выспимся, и выйдем, когда день перевалит за обед, и очень торопимся — хотя знаем, что святят до восьми и еще не вся земля под выставленными во дворе длинными деревянными столами засыпана погасшими спичками, будто сухими еловыми иглами дерева, наконец выброшенного весной. И кажется, пока спешим сюда, что слишком много людей уже идут навстречу — с корзинками в пакетах и мисками в руках, словно тут и приобрели, — и еще кажется, будто идут они как-то слишком степенно, как нам бы хотелось: неспешно пустившимися в путь к храму всей семьей, аккуратно обвязанными выглаженными по углам платками, с блюдом, где яичко к яичку, и святым предчувствием в душе.

Кто это — мы? Мы с мамой, вечно находившие, из-за кого бы попрепираться за столом — который чем длиннее, тем скорее за ним разбирают места? Святят до вечера, но за столом что ни год — нервная толчея, и в эту субботу я сама едва не от калитки

подгоняю мужа к завиденному пустому пятну на столе, загороженном плотными рядами спин, за которыми быстро накипает вторая волна нетерпеливых хозяюшек.

Или мы — это уже я без мамы, но с мужем, который не верит, и сыном, который пока не понимает?

«Хозяюшка» — вот насмешка, и в иной день мне кажется, что уж я-то не унижусь до дрязги из-за оставленной в сушке вилки, не отжатой тряпки, не зачекиненной полоски пыли на двери — всего того, в чем меня когда-либо упрекали старшие женщины, от моей мамы до чужих матерей, которым, как я чувствовала, мелочи жизни были куда дороже моего человеческого достоинства.

И вот это я, что ли, теперь стою, радуясь, что дорвалась, и пререкаюсь с мужем, требуя от него непременно все-таки поджечь свечу, пусть даже погаснет, ну ради меня, тебе что, жаль исполнить мою просьбу? — и спинным, животным мозгом чувствую настойчивое присутствие женщины позади, чьи пакеты я уже мысленно взвесила и нашла слишком тяжелыми и объемными, чтобы поместиться рядом с нашими свободно расставленными коробочками, и подстегиваю себя воспоминанием, что мама учила меня не уступать нахалкам — на словах, и смущаюсь от воспоминания, что мама научила меня делиться всем, что есть, — на деле, и выглядываю через головы процессию с батюшкой и ведром святой воды, и волнуюсь, вдруг муж далеко отступит, и до него не дольют водой, и, расслышав просьбу, наконец отодвигаюсь и пускаю женщину к столу, и вот мы обе бестолково колупаем цеплючую картонную упаковку куличей и плотно завязанные дома пакеты, и мой ребенок в его первом, как у большого, раздельном комплекте из куртки и штанов на лямочках, скользит в моем неловком объятии, и курточка скручивается до подмышек, и на фотках едва видно его глаза из-под шапки навырост, съехавшей на лоб.

Я суечусь, как разумная дева, у которой достало масла в светильнике, и она не знает, как сделать так, чтобы это заметили все до самой дальней скамьи на брачном пиру. Час приближается — вот нас уже отгоняют от стола, и я волнуюсь, щедро ли покропит батюшка, и знаю, что вот-вот мои терзания кончатся: потому что мы с мамой мгновенно приходили в себя и притихали растроганно, едва нас разольет водой.

И вот сын мокрый всем лицом, куда не долезла сползшая шапка, и мужу попало, и хорошо попало мне — а я не могу остановиться: махнув мужу сворачиваться, я пускаюсь на поиски корзинки с подаяниями, и мечтаю, не встать ли снова под кропило, как делала раньше, при маме, и вдруг сдерживаю свою жадность до чуда, потому что чувствую: я выросла, не поможет, да и стремно, что батюшка узнает.

Муж ставит точку в моем внутреннем отчете о первом нашем семейном походе за святой радостью возбужденным рассказом о том, что я пропустила самое важное: его только что «покропило сторублевками» из поваленной ветром полевой лавки со свечками — на меня, говорит, снизошла благодать. Я сделала ему замечание, чтоб не смеялся над святым, потому что отец Евгений велел мне не бояться идти поперек мужа в подобных случаях. Но чувствовала, что сама не в том состоянии, чтобы заразить его священным трепетом.

Переключения не случилось, и, степенно выезжая с церковного двора, я заплакала горько, будто обманувшийся в себе апостол, да простит меня Бог, которому я так хотела быть верной в этот день, по старой памяти думая, что вот сделаем все, как надо, и в нас зажжется благодатный огонь радости.

Мне было стыдно, что все эти годы я думала, будто раздражение, отделяющее меня от праздничного предчувствия, — мамино, а оно так легко запустилось во мне самой. И было жаль, что теперь его не с кем разделить, как многие наши с ней памятные чувства и слова — нелепые, скрытые, домашние: вот уж кто не унизится до дрязги, так это мой муж, и я уважаю его за это, но и чувствую, сколько же всего мне никогда ему не объяснить.

В эту субботу я вернулась домой, будто в убежище, где придется пережидать,

когда Праздник прокатится по всей земле, не задев меня, спрятавшуюся в мыслях, которым не к кому из меня выйти.

И вдруг на «Детском радио» сказали: Пасха мертвых.

Я подумала, что ослышалась: как бы охотно ни глотала я современные практики воспитания, такое прямое и смелое поминание о том, что мне больше всего в эту минуту мешает быть и мамой, и христианкой, в детской передаче меня напугало.

Хорошо поставленным диалогом мне рассказали, как объяснить папе и маме, почему на Пасху не нужно ехать на кладбище. Для этого есть Радоница — Пасха мертвых. Я вспомнила, как мы с мамой, искренне не понимая, удивлялись людям, которым из 365 дней в году понадобился именно Праздник Воскресения, чтобы ломануться поминать.

И страшно удивилась, как легко запустилось во мне и это — нетерпеливая жажда поминать и оплакивать в день, когда это менее всего уместно.

Я улеглась спать с ребенком, чувствуя, что эту Пасху уже пропустила, не нагнать. И проснулась за пять минут до полуночи, и успела на крестный ход по телевизору.

Показывали ночь, шаги по пустой тихой площади, на мои пять минут еще запертые и вдруг отомкнувшиеся двери храма.

И я вдруг поняла.

Можно жрать. Можно пить. Но не потому, что наступило «Великое Расслабление».

А потому, что все это не важно.

Наступил тот день в году, когда мы, будто разлитые водой нервные весенние коты, расцепляемся с тем, что преследовали так истово и вопя.

Впервые меня так лично затронули читаемые слова Иоанна Златоуста о том, что да радуются Пасхе все, постившиеся и не постившиеся.

Нет ничего, что надо сделать правильно, чтобы пришел этот Праздник.

Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилие восхищают его, — говорится в Евангелии, и мы силимся в свою силу весь год.

И бабское наше с мамой, мещанское, в корзиночках и цукатной обсыпке, раздражение в Великую Субботу — оно о финальном рывке, когда хочется показать, что нахлопотал.

И вот то, что берется силою — дается даром. И вот ты гнался за радостью — а она опрокидывает тебя, как столы менял, и рассыпает сторублевками все, на что ты ее менял. И вот ты шел путем, который не с кем разделить, пока не понял, что это огородами плутал на задворках дома, где светятся окна, накрыты столы и тебя встречают в распахнувшейся двери шутками, что тебя только посылать за смертью, в которую здесь не верят.

Смерть разделяет и ранжирует, в смерти мы не равны и одиноки, и сколько же утрат принесла с собой первая половина этой трагической весны, и ни от одной своя не стала легче.

Пасха не утешает. Пасха разделяет. Преломляет, раздает себя.

Подойдешь, бывало, к иконе и взовьешься по привычке: Ты не знаешь, каково это... — и роняешь аргументы, как корзинку с яйцами.

Но это Бог, который знает, каково это. И не знает ничего, что нельзя было бы с тобой разделить.

...Охальник муж, нагнав на поздней дороге к дому старушку с лампадкой, рявкнул ей сорванным на метал-угаре голосом: Христос Воскрес! Старушка испугалась и ответила невнятно.

В воскресенье ни один из вообще-то открытых для нас домов нас не принял: хозяева недужили или уезжали, — и мы шикарно погуляли в Битцевском парке, по краю которого расселись семьи с детьми, жгущие шашлык чуть ли не прямо под деревянными лавочками, а в глубине разлились проталины. Мы волокли коляску через бурьян, обходя снежные топи. Ребенок впервые взял в руку «природный объект», как

выразился муж: упавшую веточку сосны. Ребенку строила глазки проезжавшая мамаша, а сам он смеялся над щенком-спаниелем, пившим из всех луж, как из моря.

Романтичный день должен был красиво завершиться в местном суши-кафе — но завершился в не менее продуманно обставленном приемном отделении НИИ детской травматологии на Полянке, куда нас с ребенком привезли на скорой, а муж доехал с пустой коляской.

Ребенок в скользком весеннем комбинезоне свалился вбок с лавочки, куда я его уверенно посадила и вроде как придержала коленями, встав над ним. Пол в кафе страшно твердый, ребенок страшно ревел, я страшно на себя ругалась. Обошлось. Повезло. Чудо. Так я и думала, и одновременно держала мысль о семье писателя Владимира Данихнова, на Страстной неделе узнавшего о рецидиве и вынужденного в Пасху начать свой крестный путь и новый сбор средств на лечение.

В ночь на понедельник Светлой седмицы я вспомнила, что за волнениями упустила самую счастливую подробность нашего праздничного дня.

Когда ребенок впервые взял в руки «природный объект», мы с мужем испытали общее беспокойство, и он высказал его, едва оно осуществилось.

— О, — сказал муж, указывая на хвойный объект, — он же сейчас его кусики сделает.

И сказал-то, как следовала ожидать, неловко: правильно говорить не «его», а «ему».

Я вздрогнула. Этого я не должна была услышать от мужа никогда — нашего с мамой словечка, вынесенного еще из моего младенчества и теперь переданного мною сыну, как старая советская погремушка.

Кусики-кусики, поскусики небольшие, а побольше обпоскусики, а еще побольше — это уже облопатик, извини! — лопотала я ребенку, притворно возмущаясь его жадностью до груди.

Передавала сыну — а муж послушал-послушал, да и взял себе.

И с ним невольно мое никем не запомненное детство, и мою ни с кем не разделенную память, и мое дочернее счастье, и мою выгороженную боль.

И наше с мамой тайное слово стало плотью.

Нашей с мужем единой плотью.

Утро утраты

В благодарственном акафисте «Слава Богу за все» есть слова, которые вдруг зацепили меня, как вообще теперь цепляет, удерживает, словно схватывает за колени и, снизу заглядывая в глаза, просит внимания все, что связано с образом ребенка. «Когда я в детстве первый раз сознательно призвал Тебя, Ты исполнил мою молитву, и душу осенил благоговейным покоем. Тогда я понял, что Ты благ и блаженны прибегающие к Тебе. Я стал призывать Тебя снова и снова и ныне зову», — прочитала я будто другими глазами и, не успев одернуть себя, подумала, что это ведь теория привязанности в действии.

Недаром пишут, что над неофитами часто разливается благодать, дармовая, как радуга над родным двором с мокрыми после дождя качелями. Человек впервые тянется к Богу чуйкой выживания: там — тепло, там — свет, там — ждут и примут. Мою маму страшно раздражали героические песни про маму — у нее были свои на это причины, но я теперь по-новому поняла, чем они смешат и смущают: любовь к маме переслащена святостью, слишком одухотворена, — а чувство это животное, простое. Постепенно человек учится отличать и призывать ту, которая с загадочным поначалу постоянством является, чтоб взять на себя всеобъемлющие его, не перевесившего пока самый мелкий арбуз, тревогу и боль. Призывать — этому слову научил меня муж,

и оно вполне выражает тягу ребенка к матери: в компьютерных играх, сказал, так говорят про телепортируемых по требованию магических персонажей. Человек впервые призывает мать, когда плохо, чтобы стало хорошо. И это вполне выражает его отношения с Богом.

Зимним утром этого года, когда я через силу вывалюсь с ребенком гулять и впервые после ухода мамы почувствую привкус мира и тепла в белом колючем воздухе, я вышлю Господу свою искреннюю благодарность. Скажу: слава Тебе, — порадуюсь миг, и миг еще полюбуюсь своей смиренной радостью, и вдруг взорвусь отчаянными ругательствами: обнаружу, как только что, в двух шагах от дома от меня с концами ушел не старый еще телефон с кучей не сохраненных фоток, хорошо, что хоть заметки муж накануне успел поставить на синхронизацию.

Я оплакиваю телефон истошней, чем родную мать, кому я еще при жизни, на кремовом с розовеньким диванчике, который был куплен для нее и вдруг осел с ней на дно, как корабль, и оброс, как ракушками, пачками обезболивающих, разжижающих кровь и травящих новообразования, — кому я возразила, что ни за что не надену черное, когда она пыталась отложить кусок немаркого гипюрчика на свои проводы. Я оплакиваю телефон, потому что он утрачен с концами, и факт его отсутствия особенно заметен на светлом пустом снегу вокруг дома, где, кажется, в этот солнечный день иголки не утаишь, не то что смартфон-лопату в обложке. Тогда как с утратой другой, поглавнее, все не так ясно.

Зачем черный гипюр, если человек ушел туда, куда шел? В день ее смерти меня накрывает светлым чувством удовлетворения и покоя: она добралась. В благодарственном акафисте «Слава Богу за все» главный мотив — представление мира земного как всего лишь предчувствия, слабой проекции, преддверия мира небесного. Акафист прославлял бы здешний мир с почти языческим упоением — если бы не давал понять, что видимый свет — только отблеск. Чувственная метафора высшей радости. Погремушечки в колыбели тому, кто еще только готовится начать учиться собирать настоящие сокровища.

Но зачем тогда они — эти «благоухающий воздух» и «золото лучей», «сладкие плоды и душистый мед», и «небо Твое, сияющее звездами», и «высота музыкальных красот», и, прости Господи, «огненные языки вдохновения», которые, как ни прочту эти слова, обдают меня жаром не благодарности, а самоупоения?

— Мне все испортили, — убито сказала мама, подводя итог отблескам своей жизни.

Говорят, что когда уходят родители, наконец взрослеешь. Моей маме не выпал шанс повзрослеть, и я одна теперь разбираюсь с тем, что было в нас самого детского. Нашей детской верой в Бога, которая, показал опыт, не более чем привязанность. В свете маминой смерти нарушенная привязанность и обида на Того, Кто не явился, когда Его призывали.

Мне все испортили — это значит, что жизнь ее не дотянула до сказки, в которой той, кто вел себя хорошо, был в целом добр и не совался, как ворчит садовник у Толкина, в дела мудрых, в конце посчастливится. Тут еще не очевидный акцент на том, что посчастливится именно в конце, так как основной прогон сказки — это полоса несправедливостей, испытаний и трудов, которые и должна уравновесить, увенчать итоговая награда, иначе в чем смысл? Бог в глазах мамы сыграл не по правилам, а это значит одно из двух: кто-то из них плохой.

Развилка вспугнутого до бешеной пены ума, которой не избежала не то что мама — а например, христианский писатель и проповедник Клайв Льюис, в книге которого «Боль утраты» я долго ищу шовчик примирения с Богом. Клайв Льюис ведет дневник после смерти своей горячо любимой жены от онкологического заболевания — и себя не узнавая, вдруг кажется куда знакомей, понятней и ближе мне, чем в его отвлеченных, светлых и приправленных мягким остроумием сказочника

богословских эссе. Мне все испортили, — вот-вот будто скажет и он, с горечью потрясая руками, не удержавшими прошлое счастье, которое он описывает так убедительно, что начинаешь вместе с ним негодовать, зачем было Богу разрушать этот союз, блистающий отблеском нездешней гармонии едва ли не сильнее, чем «золото лучей» и «небо Твое, сияющее звездами»?

Льюис переходит к принятию утраты бесшовно, так что я не успеваю заметить, куда соступить с развилки, чтобы последовать его примеру. Его книга начинается с альтернативы плохих: он ищет в своих отношениях с Богом ошибку, которая бы вполне объяснила его страшное разочарование, страшно сказать, в Нем самом. И вот я никак не уловлю, где именно, на каком ходе все еще сильной, приученной к трудной работе, мысли Клайв Льюис переходит от гипотезы, что он будто не знал Бога, к убеждению, что он не знал самого себя. В начале книги он называет Бога космическим садистом — а к финалу обращает риторическое оружие против себя, сравнивая свою веру в Него с карточным домиком, который Бог разрушил вместе с его брачным счастьем, стоявшем, как признает Льюис, на картонной любви — иначе откуда в его чувстве утраты было бы столько себялюбивых желаний и глупых подмен?

Меня не удивляет ни изящество этого логического выхода из отчаяния, ни, страницами ранее, несдержанный ужас перед одним парнем, по-обывательски собравшимся на могилку — маму навестить. Льюис, кажется, дрожит от отвращения — к тому, что можно здесь, на земле, принять за частичку присутствия ушедшего человека. Я хорошо понимаю его: и у меня к могилке — пустота в сердце, чувство, что пришла не туда, где она теперь. Не понимаю другого. Как мог даже такой искушенный в вопросах веры человек, как Клайв Льюис, забыться в своем счастье и решить, что оно в самом деле может быть целью Бога?

А все мы, все, пока живы, так думаем, и наши приемы по НЛПированию действительности — помни о хорошем, умей рисковать, говори уверенно, расставь приоритеты, иди за любовью, выбери лучшее, стремись к большему — в точности дом на песке, потому что когда, как обещает Евангелие, «пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот», — первое, что не устоит, это наша вера в счастье как цель бытия.

В утрате впервые по-настоящему настигает догадка, что Бог со мной не заодно. Похоже на кризис трех лет в трогательном описании психолога Петрановской: человек изумляется, как это — мама, и вдруг может хотеть чего-то другого, чем я?

Критик Анна Жучкова, с которой мы уютно выясняли наши разногласия по поводу травматичной книги Анны Старобинец о потере ожидаемого ребенка и вдруг разожгли параллельную дискуссию о реально пережитых нами утратах, сказала мне: не держи обиду за маму. Ведь и маме, предположила она мне в утешение, болезнь послали как путь сжигания обиды на жизнь.

Это оборотная сторона веры в заботливое устроение нашего счастья как цели Творения. Тот, кто несчастен, всегда немного виноват. Именно в нем ищут — причину, объяснение воли Бога, вдруг захотевшего другого, чем мы.

Психолог Маша Мошковская, которую регулярно читаю в Фейсбуке, благодарная за эти бесплатные консультации в блоге от человека, за час терапии которому платят уже тридцать тыщ, — написала недавно, что если бы она заболела раком, то пришлось бы признать, что все-таки жизнь она не любила.

Явное противоречие с Клайвом Льюисом, опротестовавшим приговор своей жене тем фактом, что она как никто умела наслаждаться всеми радостями жизни — материальными, интеллектуальными, духовными, — наслаждаться и никогда не заскучать.

Впрочем, выше Льюис обмолвился, что счастье пришло к его любимой слишком поздно, — и мы готовы ухватиться за эту наброшенную на счастье тень сожаления, чтобы наковырять под ней корень недуга.

С хорошими людьми так не поступают, — говорила и моя мама, видя в приговоре проклятье, прижизненное отлучение, и вспоминала, очевидно по прямой ассоциации с этой главной несправедливостью жизни, все причиненные ей обиды, включая четверки в школе от историка, ревновавшего к ее независимому нраву, и немки, отомстившей за раз только прогулянную мамой олимпиаду. С ребенком не надо бодаться, — наставляла меня мама, но в нее саму будто норовили упереться лбами все значимые взрослые ее жизни, от ее матери до моего отца, старше мамы на вот уже забыла, сколько лет, но помню, что вравшего ей про свой возраст.

И когда я пыталась подогнать ей неловкое утешение в стиле брошюр для прихожан, где практические советы по спасению смешаны с расхожей риторикой, — мол, испытания не проклятье, а наоборот, способ помочь стать лучше, — мама отвечала с искренним удивлением ребенка: а я от этого лучше не становлюсь.

Обиду обидой не лечат, — поддержит маму и Лена Лапшина, когда я признаюсь ей в своем изумлении перед тем, как жесток урок Божий, если поверить, что болезнью Он исцелял маму от обиды на жизнь. В моем понимании урок имеет смысл только в свете гарантированной практики. Уроки здесь — чтобы научиться жить здесь.

Вина мертвого — главный щит живых. Горе — стыд перед людьми, это чувствовала и мама, запрещая мне писать в Фейсбуке или говорить знакомым о нашей беде. Здешний мир — для выживших, для счастливых, а горе отъединяет от всего, чем держится у очага узкий человечий круг. В горе ты вытолкнут во тьму внешнюю.

Я помню, как, единственный раз за наш первый год, меня до злости задело хлопотливое внимание к моему ребенку посторонних женщин — санитарок в хосписе. Меня раздражали их воркования, советы прикрыть сквозящую дверь, и подложенные под малыша с игрушками чистые цветные простынки, и расспросы, и умиляшки — в то время как я прилагаю усилия к тому, чтобы маме срочно исправили кислородный аппарат, где кончилась вода, умыли пересохший рот и приподняли, как выразилась наша последняя «скорая», головной конец. Живые о живом — теперь я лучше понимаю их, неосознанно переключающих внимание с той, кому уже ничем не помочь, на того, в кого стоит реально вкладываться. Я и сама чувствую, как переключаюсь, и великий свет прощания, осенивший меня в день ее ухода — так что я чистосердечно призналась подруге, что вовсе не в отчаянии, и потом боялась, что она сочла меня бесчувственной, — сменился червивым страхом перед внезапной неизбежностью.

Елена Погорелая утешала меня тем, что матери нас учат умирать. Но я теперь боюсь быть как мама. Боюсь, когда чувствую в себе ее стремительное желание разделаться с очередным отрезком дня, и страстную концентрацию на том, что там, за ним, — помню, как сама же учила ее, поздно поумнев, не ждать нетерпеливо лета, потому что вместе с осенью, зимой и весной к новому лету минует новый год жизни. Боюсь, когда наваливаю на себя забот и злюсь на них, как на упорно наползающих муравьев, к кому сама забрела в муравейник, — помню ее повторяющиеся ночные проекции многозаботливых дней, когда снится, что надо вскарабкаться, отбиться, рассчитаться, вломить первой, от которых я спасала ее, подбегая будить, когда закричит, и мы шутили, что я всегда на дежурстве. Боюсь, когда, споткнувшись посреди самого рядового дня, я вдруг почувствую, как мелкое разочарование — ударилась, пролилось, рассыпалось, убежало — вдруг добивает каплей по макушке, и я восклицаю в сердцах: как меня все достало, — или: как я несчастна! — или, совсем по-маминому: сволочь я, — и тут же дергаю Бога за полу домашнего маминого халата, дергаю и прошу: нет-нет, не слушай меня, у меня все хорошо, я счастлива, я всем довольна, только не отбирай у меня, не отбирай еще и это, оставь мне их, родных, живых, я учусь, я уже почти умею быть благодарной за все.

«Как часто горькую обиду подавляет смертельный страх», — пишет Льюис, и я чувствую, что мою благодарность Богу я теперь предъявляю, как паспорт с отметкой

о регистрации: только отпусти! И со страхом жду, что он еще предъявит в ответ. «Нельзя ругаться, а то Боженька язычок отфигарит», — непечатно и мрачно высмеяла мама свое впечатление, как чересчур много того, за что ей могло вот так прилететь.

Воздаяние — пожалуй, самый далекий от Евангелия этический принцип. О людях, «уже», то есть здесь, при жизни, «получающих награду свою», там сказано с пробирающей до костей угрозой. А о жертвах, к примеру, массовых катастроф — что они не грешнее прочих. Евангелие мотивирует не на добро в десяти заповедях — а на любовь в двух направлениях: к Богу и ближнему, — а тот, кто любит, не нуждается в мотивации. «Слава Тебе, положившему великую награду в самоценности добра», — спотыкаюсь я в благодарственном акафисте о слова, которые на язык психологии переводятся как принцип полноты ответственности за любое решение: что делаешь, делай для себя. Однажды я сообщила подруге, что подала в храме, и она усмехнулась: большое одолжение Богу сделала. Добрые дела — наш амулет от встречи с Богом: мы стараемся доказать, как полезны на этом свете, чтобы избежать увольнения на тот. «Я бы многим помогла», — с нежной мечтой проговорила мама, словно от души протягивая Богу на льготных условиях составленный договор, — а потом, недели спустя, разрывая его в отчаянии: «Я никому не помогла», — потому что уходила, не проводив мать и не вырастив внука, в междуцарствие ее преклонных и его ранних лет, — вынужденно и впервые допустив мысль, что ни матери, ни внуку она в глазах Бога ничего не должна.

Последние годы она жила в страхе, что с матерью там, в Киргизии, за три тысячи километров от нас, случится непоправимое, окончательное, а ее не будет рядом для немедленных действий, и мать будет «валяться», и надо было видеть облегчение, с которым она крестилась в условные дни, отзвонив бабушке, — чтобы словить дзен от безразличия, с которым она махнула в хосписе на мою тревогу, что придется с младенцем ехать в Киргизию: да зачем, там же есть еще Джамиля.

Самый бесполезный год своей жизни мама проведет, считая, что выполняет свой долг: в Киргизии с матерью, которая не выходит из дома и все хуже видит, но выжила ведь без дочери, когда пришлось. Я помню, что отпустила маму по внутреннему договору, который и мне Бог не подписал: отпустила по-хорошему, чтобы не отнял силой, потому что не ругай постылого — отнимет Бог милого, говорится в еще одной не подтвержденной Евангелием бытовой мудрости, которой и мама верила, и в тот же год призналась мне, что специально решила меня теперь не слишком любить, дабы не перегружать карму ожиданиями.

Весь свой бесполезный год мама мерзла, изнывала от скуки и мучилась животом, подключаясь к миру, радости и смыслу через планшет, который я насилу уговорила ее взять с собой для связи. Весь год она гладила меня, беременную и счастливую, на экранчике и, пользуясь неограниченным ночным интернетом, смотрела на Ютубе ролики про любимую и только однажды вживую увиденную Италию.

Бог забрал ее, когда она могла быть всего полезней и счастливей не меньше, чем Льюисова жена, к которой счастье тоже пришло слишком поздно и ненадолго, как будто в примерочную перед закрытием магазина. Мама успела понянчиться с чужой внучкой, к которой нанялась на подработку, и впервые, насмотревшись на наши титановые обручальные кольца, которые я едва уговорила мужа купить и теперь, под стать ему, не ношу, пожелать чего-то для себя: хочу, говорила в планшете, какое-нибудь кольцо, в молодости, вспоминала, я не признавала серьги, а вот кольца носила. Я разволновалась так, будто она потребовала у меня определиться с квартирой для ипотеки, но к осеннему ее дню рождения случился отбой: нет, сказала мама, меня не порадует, без главного, чего бы я теперь хотела, меня ничего не порадует.

Многие утешали меня, указывая, как милостив Бог, допустивший, чтобы я вышла замуж и успела родить до того, как маму перестанет радовать. А я теперь думаю, не больше ли Его милости в том, что я тщетно пыталась выйти замуж и родить и тридцать пять лет прожила с мамой, несмотря на предупреждения подруг, что пора и квартиру снять, а то никакой личной жизни, — тридцать пять неразлучных лет перед полным обрывом контакта?

Тебя Бог не любит, — сказала вместо спасибо маме едва ходившая соседка, которой мы носили молоко и хлебные батоны, потому что ее единственной племяннице некогда. Но чем мы меряем Его любовь? Только что не батонами.

В наше последнее лето с мамой я будто репетировала утрату. Я была на пороге перемен и торопилась переступить, смутно чувствуя непонятно кому адресованное досадливое облегчение от надежды, что уж на будущий год я не в том буду положении, чтобы опять, как девочка, ехать на каникулы к бабушке. Я приехала отдыхать с полным колчаном нерастраченных сил, которые вдруг просыпались вхолостую: весь отпуск меня трясло от призраков прошлого и тревоги за будущее. Кульминацией того лета стала ниоткуда, как облако в окно, вплывшая после счастливого вечернего сна в маршрутке из дышащего горными ледниками селения мысль, у меня будет рак, — и животный хрип сознания, боровшегося с этим всплывшим ужасом до следующего лета, когда я родила малыша в зодиакальный месяц Рака и подумала, что вот так легко отшутилась от непонятных предчувствий. А завязалось в шашлычной с пивом, где я впервые столкнулась с утратой — тоже как будто всплывшей в пивной пене и ударившей маме в голову, обычно не отвлекающуюся от текущих забот: «Бедный, — сказала она ни с того ни с сего, — бедный Касатик».

Это еще один урок от мамы: что чувство вины, как и чувство долга, не дружит с чувством реальности. Мама не должна была мучиться в Киргизии год — как я не должна была подскочить, будто от пивной икоты, когда она размякла от радости встречи и еды и приоткрылась душой.

Знаменитая Гиппенрейтер учит родителей активному слушанию в диалоге с детьми, но даже взрослых, понятных и равных, признания колотятся в нас, как мяч, заскочивший в трубу, и застревают в уме резиновой падалицей. Прошло два года, прежде чем Гиппенрейтер в аудио, терапия и собственные неотступные размышления подсказали мне единственно верный ответ на мамину реплику, которая вытянула бы мяч обратно в веселую летнюю игру. «Бедный Касатик», — говорит мама, называя своего брата с домашней лаской их бабушки, — это прозвище мама закажет выгравировать на его кладбищенском памятнике, и я тщетно буду подбрасывать этот ориентир администратору Ракиток, с которой мы ищем место захоронения, куда через день подселим мою маму и где трава забрала и домашнее имя, и ФИО, и полтора года назад цепко вкопанные мамой в землю тряпичные на проволоке цветы.

И я отвечаю: «Скучаешь по дяде Вене», — без вопроса, как советует Гиппенрейтер, и называя чувство мамы тем словом, какое ко мне самой пришло только через полгода после ее смерти, когда я только и научилась понимать, что могла она чувствовать, когда ушел ее брат.

Вместо этого я, как часто в детстве, блокирую ее приоткрывшуюся ко мне дверь и напираю со своей стороны полным сумбуром чувств об ушедшем дяде, куда включено все, кроме собственно утраты, которую я и в отношении мамы расчувствовала не сразу. Мы вспоминаем самую детскую — а потому не подконтрольную взрослому человеку — боль: про то, как дядя Веня собрался с мужскими силами, и, будто заемный отец, отправился с мамой встречать меня из первого и единственного в моей жизни горного похода, оставившего мне большой рюкзак, с которым я моталась в Европу и на форумы молодых писателей в Липки, спальник с пенкой и долгие годы не заживавшую травму. В походе у меня не сложилось общение со спутниками и вообще все пошло против моих ожиданий от компанейской прогулки в лесах — пожалуй, сейчас я бы оценила возможности той поездки, и она прошла бы глаже, но если бы не обожглась тогда, многое бы не научилась ценить. И вот меня встречают два человека, которых мне не хватало призвать в походе, чтобы разрулить непонятные трения с насмешливыми спутницами и узнать, как действовать, когда на тебя вот только что, в аэропорту, наорала из-за неразберихи с чемоданами и каталками твоя бывшая одноклассница, с которой мы уютно просидели несколько лет математики и английского, да горный маршрут рассадил. Только став мамой и впервые раздражаясь на того, кто передо мной беззащитен, я глубоко пойму главное утешилово, которое подгоняют

психологи обиженным клиентам: люди срываются от бессилия, не бери на свой счет. Тогда же я вываливаюсь из аэропорта окончательно раздавленная, будто горная букашка, туристическим рюкзаком, с одним желанием — немедленно уткнуться в маму и поплакать, но при дяде приходится держаться и дергаться, а он тоже не знает, что люди срываются от бессилия, и берет на свой счет, и счет тот подлиннее моего, и вот торжественная встреча родных подмочена, медные трубы хрипят от залившей их грусти.

И надо же было, чтобы именно в это лето мне подвернулись фотографии моих давних спутниц из нового похода в дивной плюшево-зеленой траве алтайского плоскогорья, с подписью моей одноклассницы, на этот раз, видимо, набравшейся в дороге сил для радости. Она писала, что здесь, в зеленом раю коней, отчетливо внимает голосу, раздающемуся отовсюду: «Я тебя слышу. И я тебя люблю».

Психолог мне потом скажет, что зависть — лучший контролер уровня счастья, но плохой навигатор. Подсказывает, чего сейчас не хватает, но не говорит, куда за этим бежать. На плоскогорье раздавали глас Божий, над плоскогорьем разливалась безусловная Божья любовь — и я несколько дней отпуска посвящаю прениям с мамой, обиженной тем, что я рвусь от лучшего, что она и жизнь мне дают сейчас, к каким-то чужим людям, в какие-то чужие места. Я помню, что на будущее лето собираюсь быть уже не в том положении, чтобы ехать на лето в горы — ни за конями на Алтай, ни хорошо кушать к бабушке. И отчаиваюсь, что место встречи с Богом, который бы меня вот так, в голос, слышал и любил, откладывается на неопределенно долгий срок. И негодую, что все внимание Бога сейчас достается не мне, а людям, в связи с которыми я и мой дядя так глубоко захлебнулись грустью.

Когда через два года в те же дни я снова приеду к бабушке, я больше всего боюсь вернуться к своим сожалениям о том последнем лете с еще здоровой, а скорее всего неявно больной, мамой — и остаться один на один с моей детской виной, завистью и обидой. Но я провела в Киргизии месяц, и меня ни разу не накрыло, и два года спустя я без труда и срывов исполнила страстный завет моей матери, хлопотавшей о том, чтобы напитать меня летом, силами и здоровьем на рабочий год. Я ходила по узким, засыпанным щебнем улицам, утыкавшимся в самочинно застроенные владельцами частных домов тупики, и мне казалось, что прямо здесь, не отходя от шашлычной с пивом, я слышу голос, раздающий безусловную любовь. И что голос этот — мамин.

В этом году я приехала к бабушке счастливой — но без мамы. А тем летом была там с мамой — но несчастлива.

Мне нравится идея, что ада нет. Что Бог не отсылает душу — а это она сама, отсырев от печали, не может подняться к Нему и в бессрочном скитании в сферах, на разный накал прогретых Его любовью, сушит свои тяжелые и липкие ангельские ризы.

В счастье мне кажется, что я слышу Бога, потому что счастье похоже на Бога. Вездесущее, сияющее во всю широту мира, выбрасывающее протуберанцы силы, чтобы не разорвало от полноты горячего света и слепящего тепла. Почему же я думаю, что специально для меня зажмет любовь Тот, в Чьей природе — беспредельность?

От обиды на мой первый поход и от стыда за наше последнее лето я жалуюсь Богу на сбои связи. Но это Он хлопал в ладоши мне над ухом, чтобы вывести в зону лучшей слышимости. А я не слушаю — я ищу плюшевый рай с конями, потому что знаю только один образ любви: когда Бог, как мама, пожалеет и даст доспать, донежиться, и раздумает будить, тихонько прикроет за собою дверь и отрежет от утреннего холодного ветра, и забитого автобуса, и школы, где, не ровен час, высмеют и опять много зададут.

И вот я подбираюсь и, кажется, нащупываю едва заметный шовчик Клайва Льюиса, заделывающего прореху в картине веры. Льюис узнал цену своей вере, когда измерил правдивость и полноту своей любви. А я — своей утраты.

Это только кажется, что горю до нас достучаться быстрее, тогда как за счастьем придется лезть в плоскогорье. Десять встреч по часу мы с психологом разбираем мое чувство вины и стыда и так и не доберемся до того, что их вызвало. Виной и стыдом легко завалить любую прореху, и я уютно расчесываю на коленках корочки обид,

страхов и споров, вводя утрату в привычку, подселяя ее в однокомнатный наш интерьер, обихаживая место отсутствия цеплючими разлапистыми цветами.

Утрата затирается в быту, как изначальная любовь, баррикадируется пивасиком из холодильника, трусами мужскими, женскими и детскими, грудой посуды в раковине, пылесосом, который мешает, куда ни поставь, наконец, неизменно оживляющим утро, день, вечер и ночь ребенком — о, ребенок — безразмерная затычка на месте любого отсутствия, он заменяет общение и секс, утрату и вдохновение, амбиции и смысл жизни.

В книге Анны Старобинец о прерывании беременности на позднем сроке есть интервью с женщиной, образцово переживающей утрату. Она носит черное и заставляет плакать себя каждый день, пока длится отведенный ей для себя и семьи период траура, и я начинаю завидовать ее правильному погружению в медитацию горя, потому что я нарочно не носила черного и плакать ленюсь.

Разучилась плакать, — жаловалась мама, которая и хотела бы выплакать свое несчастье, да не могла. Теперь я ее понимаю. Плакать не можется, как не находится сил бессонной от муторной тяги в животе ночью встать и дойти до туалета, и влить в себя теплой соленой воды, и, заранее содрогаясь и давясь, расщекотать пальцами в горле смерч нутра, чтобы вымыло, вымазав лицо и руки, частички пищевого яда, нудящего тело к тревоге.

Так было со мной несколько лет назад в рабочем бараке под новогодней Москвой. Я подключилась ко второй в своей жизни смене православного молодежного сообщества, помогающего реставраторам церквей и монастырей, в надежде найти компанию по душе, и хотя в эту смену я впервые увидела, как принято у воцерковленных людей справлять Новый год, поработала шпателем в респираторе и увидела труднодоступные деревянные храмы Подмосковья, запомнилась она мне самой долгой, одинокой и никчемной ночью, когда со мной опять случился редкий приступ повторявшегося иногда внутреннего сбоя.

Моя утрата — это беспокойная ночь в теплом бараке, устланном спальниками, через которые так трудно пролезть незаметно, что даже не хочется начинать, но придется, потому что тело как будто взвилось против законов выживания и гонит меня прочь из людского тепла в промерзлый предбанник, где даже не туалеты, а ведра в бетонной нише, и я склоняюсь над поганым ведром, и мокрые пальцы липнут к стальной ручке, когда я несу его еще дальше в ночь и холод, к помойной яме за обледенелыми сугробами, а тело не унимается, и я, каждый раз пробираясь обратно в темное тепло спальника и устраиваясь, как до утра, хорошо знаю, что скоро встану опять, и буду вставать до последней капли желчи, от которой накануне меня вело и понуждало злиться на всякую мелочь, а теперь я будто вычищаю эту копоть злости целым полем хрустящего снега, через которое, когда совсем скрутило, я иду под круглой луной к деревянному туалету-сараю возле храма, к которому днем мы носили бревна, обходя сердито лающую собаку, и мне не вспомнить, что так выводило меня из себя накануне, мне лишь бы собака не тронула и внутри утихло. И вот наконец моя ночь крепостью за минус двадцать градусов подходит к утру, и я, не проспав и минуты, вхожу в барачную нашу кухню и не помню ни зла своего, ни мучений от радости, что вижу человека, одного из смены, и кажется, самого высокого. Он читает утреннее молитвенное правило, нам всем сегодня к Причастию, но я прошу его помочь мне, и он вызывается добыть активированного угля, а я успеваю спасти его и дежурных по кухне от синего санитарного света, который они по ошибке включили.

Плакать от утраты можно, только насилу вычистившись, выпустив из себя всю желчь. Горе — стыдно, болезнь — обидно, смерть — безобразна, вина — прогнила, жалость — тягомотна, и только утрата — чистое чувство, легкое, сильное, химически резко прочищающее контакты в голове. Стерильное чувство отсутствия, и чтобы добраться до нее, надо выполнить рвоту как работу, вытащив из нутра все то, что забивает пустоту и бродит, пустотой подтравленное. И не смыкать глаз, и шебуршиться, и лезть через весь барак, пока все мирно спят накануне Причастия.

И вся жизнь до утраты — это мирно, тепло и тесно спать накануне. А когда придет час, увидеть вещий сон, для которого к Иосифу Прекрасному не ходи, так он ясен и говорящ, яснее снов виночерпия и хлебодара: в самом начале нашей с мамой последней осени ко мне ночью пришли два грудных младенца, тучный и тощий. Да, один такой здоровый и милый, что не запомнился, а второй худой, болел и, помню, грудь не брал, как я ни старалась.

Две новости, хорошая и плохая, год чудесного прибавления и непоправимой утраты, — о чем тут еще говорить, но сейчас, мне кажется, я вижу в этом сне новый смысл.

И прибавление, и утрата, и возвышение, и казнь, и жизнь, и смерть — это дети, Его дети, равно и одновременно врученные моему попечению.

Нет, в Его любви к нам не видно жалости, в нее не уткнешься поплакать, как в мамино мягкое тепло, обернутое байкой зимнего халата. Он не оставит доспать.

Христос завершает исцеление словом «Иди». Утрата — это когда ничего не остается, кроме как встать и идти, и жить вперед и дальше, потому что все, что было, выплеснуто поганым ведром в ледяную яму вещей и отношений, которым от века положен предел меньше века.

Божья любовь не нежит, а нудит. Она не о том, чего бы мне хотелось, а о том, с чем я могу сейчас справиться.

За это трудно почувствовать настоящую, слезную благодарность. Но легче подтянуться, встать и пойти.

Исцеленным от прошлого, с нуля начавшим жить, до новизны вычищенным человеком.

Манго из Мьянмы

Хотела бы я первым припомнить случай попонятнее стороннему слушателю, а главное, не такой нелепый и не задействовавший авторитетных представителей литературы в анекдоте на манер Хармса. Но это факт, что я впервые рассмеялась, подумав о маме с тех пор, как она ушла, однажды вечером на пути от метро Каширская к остановке самого старого и когда-то единственного в нашем районе автобуса, которого, когда мы сюда переехали, было не дождаться, и пассажиры там, куда я иду, перекрывали шоссе в знак протеста, а потом долго ехали домой, вминаясь в створки дверей и не давая им схлопнуться внутрь, будто придерживая пытающегося упрыгать из-под них кузнечика. Рассмеялась, вспомнив именно эту историю, которую и историей-то не назовешь, потому что, на счастье мое и всех так и не задействованных в ней авторитетных лиц, она все же не случилась на презентации моей первой книги. История, которая не случилась, началась в просторном и теперь навсегда утраченном кабинете главного редактора журнала «Октябрь», принявшей живое участие в подготовке моей презентации — собственно, идея пригласить лиц, авторитетных в литературной критике, и устроить не просто вечер книги, а настоящую дискуссию о судьбах и трансформациях критики, которую в наше время проводят то и дело, чтобы узнать, как по-разному сейчас понимают и пишут критику, и разойтись, нисколько от этого знания не пострадав, — удачнейшая идея эта принадлежала главному редактору журнала «Октябрь».

И вот так совпало, что главный редактор тогда особенно следила за собой и на редколлегии, чувствовалось, отвлеклась на запрещенное. На редколлегии утверждался план презентации, как-то скоро приблизившийся к раскадровке стола. На котором, волей главного редактора, уже появились закуски — легкие и шуршащие от приятной хрусткости. «Можно, — давала себе все больше воли главный редактор, — можно немного купить, совсем немного купить можно и чипсов. С сыром, а лучше, — вдруг решилась, — лучше с беконом». Сказала — и поперебирала в воздухе пальцами. Бекона ей можно было только так, в легкой присыпке к воображаемым чипсам.

Но я запомнила. Я вообще внимательно запоминаю советы, и даже в одном гороскопе прочла, что такие, как я, всегда благодарны за совет — и больше не удивляюсь, что то и дело встречаю авторитетных лиц, которые планируют за меня ключевые моменты моей жизни. Я запомнила про чипсы и рассказала маме. А мама моя тоже человек авторитетный, но рисующий планы в условиях менее просторных, чем наш главный редактор. Чипсы с беконом у мамы немедленно приняли вид прозрачного бокса с лопаткой в районном Ашане, где можно накопать хоть с беконом, хоть с крабом, хоть мешок. На столе в просторном зале книжного магазина на Покровке, где предстояло провести презентацию, мама дорисовала мешок чипсов и выпивку.

Это потом главный редактор, возможно, свернув диету, а также услышав от директора книжного, что в текущем сезоне принято решение банкеты запретить, придет в ужас, услышав про вино или водку, и чипсы тоже отменит. А мы с мамой, сначала обескураженные, проиграем весь план заново и вдруг расхохочемся от нелепой сцены, которой должна была венчаться моя презентация, моя критическая дискуссия, мой торжественный вечер. К столам, на которых водка и силос — мама так и назвала рассыпанный по пластиковым тарелочкам мешок со съестными добавками, — устремляются авторитетные гости и участники дискуссии. Которым героиня вечера, помахивая «Толстой» своей «критикой», говорит: «Что же это вы, Николай Алексеевич, вперед Владимира Ивановича, встаньте-ка сюда, за Ириной Бенционовной, здесь уже очередь к бекону, а водочки Вам налить?» Надо учесть, что Николай Алексеевич не кто иной, как заведующий кафедрой литературной критики, профессор Богомолов, из лекции которого на первом курсе я не понимала ни слова и которому на банкете кафедры по случаю защиты моей кандидатской диссертации, млея от невероятного сближения, я предложила положить в тарелочку маринованный грибочек. И услышала то, что запомнила лучше и дороже лекций: «Без подобострастия, пожалуйста». А Владимир Иванович — не кто иной, как критик, прозаик и языковед Новиков, научный руководитель моей диссертации, запомнившийся тоже сказанным впромельк, но на всю жизнь: «Не могу же я беременной вечернице поставить "четыре". Поставлю — а она потом неправильно родит. Я ставлю "отлично". Я гуманист». Про своего учителя в критике Ирину Бенционовну Роднянскую я вообще молчу: то, что я видела ее однажды на Тверском бульваре в голубом летнем платье с рукавами-фонариками, не дает мне права удерживать ее в очереди к силосу, пусть даже в моем и мамы воображении.

И вот я вспоминаю всю эту невидимую миру чушь, и этих людей, о чьем особом месте в моем воображении знала только мама, и впервые чувствую, как смеюсь, заливаюсь в голос по дороге на остановку, толкая коляску и вдруг выталкивая себя в неизвестное науке измерение, где я и мама, расставшиеся как нельзя окончательнее, опять заодно и веселимся над только нам понятной, семейной нашей шуткой.

Как критик я никогда не справлюсь с одним, сколько бы книг, своих и чужих, ни презентовала: не разберусь, как передать особенный стиль моей мамы, который и мне-то стал виден, только когда она наконец научилась вбивать «толстым пальцем» (еще один семейный наш мем) сообщения в телефон, и я вместо нелепостей типа «газетку кых» (еще мем), то есть «газету Экслибрис купила», стала получать от нее послания, замечательные по краткости, резвости и ехидству. Ее сообщения — задокументированная материнская забота, но и — нетривиальность, неподражательная и ржательная странность, легкая головная бекрень, благодаря которой мама к моим двадцати пяти наконец смогла въехать в специфику моего профессионального и творческого мира и, переводя язык редколлегий на язык завсегдатая Ашана, метко разгадывать и запросто решать все мои критические и корпоративные затруднения.

Она была первой, с кем я убедилась, что для точного и глубокого понимания вовсе не требуется разделять профессию, опыт и увлечения собеседника.

Требуется другое: совпасть с ним в том, что он предпочитает прятать.

У меня ни с кем не получится больше похохотать, как с мамой, потому что не

с кем разделить наш стыд. Эту семейную жалливинку. Бабскую нашу нелепость. Висельный восторг.

Это юмор нелепо устроенных людей, которые верят, что, сколько ни глупи, повезет. Потому ли, что Богу весело с дураками, потому ли, что они верят в финальный отыгрыш добра, а себя считают, сколько ни ругаются, добрыми, потому ли, что они решили, будто судьба забудет про них, с их тыквенным домиком и бравым аппетитом, как большой мир забыл о веселых хоббитах.

Моя бабушка сказала о ловкой соседке: она умеет жить. Сказала с признанием — и пренебрежением. В нашей семье не модно уметь жить. Потому что с теми, кто умеет, никогда так глупо не похохочешь.

Те, кто умеет, звонили маме, когда она зависала у бабушки, и звали ее, словно молодую батрачку от госпожи. «Купи персиков, — просила одна бабка, дотащившая до двора слоновьи свои ноги, — купи, а то дочка вечно не то принесет». Пожилая хозяйка сада, который некому обирать, хватаясь за спину, просила маму подвинуть железную лестницу под виноградник. А ловкая соседка позвонила просить за вдову — помыть отошедшего мужа. Заказать омовение в морге, как выяснила моя мама позже, вдове показалось дорого.

И кто здесь выглядит смешней и нелепей — мама за шестьдесят, потащившаяся мыть покойника в кругу молча обступивших и ни шагу не помогающих мужчин, или соседка за семьдесят, которая все еще боится мертвых, зато, подкатив на похоронном автобусе до кладбища, сообразила пробежаться между делом до могилы и своего мужика, а после поминок звонила маме с вопросом, че не пришла угоститься? Ну и что, что не звали, — тут, в Азии, угощают всех.

Как это работает? Что за музыка запускается в маме, стоило вдове тренькнуть с просьбой забрать теперь мыло и полотенце от покойника, — и пружинку прижать: брезгуешь, да? Конечно, — сказала мама, — конечно, — сказала она мне, — я тут же сказала: давайте.

Маме следовало отказаться — но та, кто могла бы сказать «нет» вдове с ее ритуальным мылом, не поехала бы и к матери в стылую квартиру без отопления и обогревателя, без возможности остаться на старости в покое.

Спокойной жизни, — сказала я, — спокойной и размеренной жизни, — сказала я последнему из маминых ухажеров, благополучно женатому мужчине без материальных и жилищных проблем, изумительно готовившему салат с каракатицами, выровнявшему нам на кухне потолок и по сей день высылающему мне редкие поминальные сообщения в ватс апе, — спокойной и размеренной жизни — вот единственное, пожалуй, чего маме действительно не хватило. Сказала — и неожиданно получила утешение: а, спокойная и размеренная жизнь, ответил он, так надоедает.

От этого чужого нам мужчины я ждала меньше всего — но именно он рассказал мне, как чувствовал мамину боль в месяц перед ее уходом, — по датам, сказал, могу вспомнить, — и как она потом приходила к нему, и он не боялся, потому что так приходили к нему одна за другой покойные бездетные тетки, оставившие ему свои московские квартиры с котами и библиотеками. И поэтому только от него я готова была принять вообще-то пустой совет — отпустить маму, чтобы она могла спокойно и размеренно отбыть.

С ним, пожалуй, да, с человеком, которого, ввиду их с мамой закадровых отношений, я не могу зазвать на домашние поминальные посиделки, — с ним одним я сегодня повспоминала бы маму. С кем же еще? Когда она ушла, первое острое сожаление мое было — не успела, так и не успела записать ее голосом рассказанную историю о нашем семейном прошлом. История записана с ее слов, и есть тетрадка, где начисто перерисовано недолгое наше, но развесистое родовое древо, — но я хотела бы проиграть себе эту аудиокнигу, где мама рассказывает о драмах и разочарованиях такой давности, что не болит. Я хотела себе эту сказку о нас ее голосом — но мама, пока болела, хотела говорить о чем угодно, кроме семейного прошлого, и вспоминала просмотренные с утра сериалы, школьные обиды, студенческий угар, ее страх в моей

больнице, придурь бесчисленных в молодости ухажеров. Я жалела отчаянно — и только через полгода, съездив по стопам мамы к бабушке, успокоилась.

Хорошо, — сказала я, — хорошо, — сказала я себе, — хорошо, что мы с мамой успели поговорить о ней самой. Потому что за эти полгода выяснилось: больше о ней поговорить не с кем.

Лучшая подруга мамы, подменявшая маму мне, когда моя когда-то слегла в больницу с кровотечением и едва не истекла жизнью, пока врачи в уже постсоветской больнице оперировали блатных и дожимали взятку, — эта вторая мама моего детства прозвонится однажды с трудом и скажет, что ей чего-то не хватает. «Обычно, — сказала, — я звонила Жене, а тут не хватает — некому, оказалось, теперь позвонить».

Русская авантюристка, у которой мама работала в девяностые и наблюдала, как та дожимала покровителя из Эмиратов до второго и позднего брака, — и с которой они как-то раз вызывали рабочих, чтобы добыть мамин паспорт и ключи из свалки, куда их вместе с маминой сумкой выбросил не вовремя вернувшийся домой араб, ревновавший к русской дружбе и пьянке, — сказала мне в воркующей своей манере, непререкаемой ни для араба, не готового жениться, ни для мамы, не готовой столько пить, — сказала: «Ну уж ты так не убивайся», — стоило мне, почуяв общую почву воспоминаний, рассесться плакать.

Мамина одноклассница и подруга детства, с которой я долго обговариваю уютный прием у нее дома с пловом, самсой и молодыми воспоминаниями, зазовет на угощение незнакомую мне татарку Флюру, и мы, пригубив за маму, пустимся обсуждать дела внучек и правнучек, перспективы сыновей, пользу разжеванных виноградных косточек.

Мамина мама, с которой у меня раз только екнуло за месяц лета у нее — когда она припомнила, как маме однажды понравился директор совхоза имени Ленина. Я навострилась, готовясь услышать упущенную в маминых беспорядочных воспоминаниях историю, и бабушка подогрела мое внимание, поведав, что мама про директора действительно как-то сказала: вот за такого бы... — ах, думаю, неужели замуж? — за такого бы, — продолжила бабушка, — можно голосовать. Оказалось, мы обсуждаем тайную жизнь не мамы, а кандидата в президенты Грудинина.

Я привыкаю не нарываться, не вестись — ни с кем не говорить о маме, и сама вскоре прочно чувствую, что тут и говорить не о чем: мама уехала, бывает, уехала туда, откуда не позвонить, тут нечего обсуждать, ничего не случилось, и вспоминать нет повода.

И страшно бешусь, когда дочь ловкой соседки, которой бабушка, наоборот, сняв блокаду на горе через полгода, наконец рассказала о нашей утрате, — когда она взрывает мою спокойную и размеренную без мамы жизнь потоком соболезнований в чате.

Я не верю соболезнованиям, как не верю горю, которое они разблокируют, — кто просил? Во время десятидневной сессии по следам утраты психолог скажет, разом отпуская мне все мои виноватые, колкие, измызганные, но цепко и бережно удерживаемые сокрушения перед мамой: это чувство утраты, это к вам стучится чувство утраты, через ваше обычное чувство вины — потому что другие сигналы вы не привыкли слышать.

А когда не достукивается изнутри, звонят с городского — и я беру трубку в метро между поездами, и успеваю провести самый смешной и нелепый диалог в своей жизни, о котором я хотела бы рассказать маме, чтобы похохотать. Через полгода после маминой смерти мне дозвонилась патронажная сестра из поликлиники — с вопросом: Евгения Николаевна сама к нам ходит или под домашним наблюдением? Я издаю смешной и нелепый подхих, сообщая ей, что Евгения Николаевна погода назад умерла. И она, взбудораженная новостью, но не растроганная, успевает пролепетать на мой уточняющий вопрос, что она звонит, потому что им «пришли списки». Что за списки, я не успеваю узнать, потому что поезд приходит, трубку вешают и после не берут, а в

поликлинике ко мне выходит патронажная сестра другая, и она знать ничего не знает о списках, но предполагает, что могли позвонить, чтобы закрыть страховой полис.

И когда, выслушав от друзей в чате, что это возмутительно, а сама возмущаясь куда меньше тем, что позвонили, и куда больше тем, что — напомнили, я прихожу дорыдывать домой и принимаюсь разгружать душу и шкафчик с книгами по искусству, то неожиданно получаю напоминалку, о какой и не мечтала. Между буклетами из путешествий нахожу тонкую тетрадь, исписанную от руки и забытую здесь на годы. Это моя мама вела заметки в одном из двух своих заграничных выездов, во Франции. В Италии и Франции моя мама была счастлива. В Италии и Франции десять дней моя мама умела жить, и, пока все, сглупив, потащились в Версаль, она, к примеру, спокойно и размеренно обошла центр Парижа. Ее морской обед на Капри, куда ее едва уговорили ехать за дополнительную плату, она вспоминала как апокриф о пире в раю.

Пир на Капри и зима с ноющей утробой и душой. Везука и непруха. Все, что Бог ни делает, к лучшему — и: зачем допустил, Господи?

При татарке Флюре я поддержу застольный разговор о погоде и припомню эту мамину зиму. Какая холодная, скажу, была эта зима. И встречу недоумение: нет, теплая, и быстро прошла. Конечно, я перепутала: ведь эта зима была уже не мамина, эта теплая зима уже ее не ждала, а та, год назад, почему именно та зима в Киргизии, где когда-то, мама рассказывала, дети гурьбой наваливались на горстку снега и полоску льда во дворе, истаявших к вечеру, — именно год назад, именно для мамы, аккурат в ее единственный год у бабушки оказалась такой затяжной и холодной?

Сколько раз мы с ней глупили. Покупали испорченную рыбу, ненужную технику, забывали деньги, не защелкивали дверь, ехали без билета, возвращались по темноте, связывались с незнакомцем, а как-то раз приволокли громоздкое, армейски зеленое пальто с Черкизона, и уже выходя с добычей из домашней станции метро, обнаружили, что одна пуговица разломана, и горюя и стеная, поволоклись за полтора часа ходу обратно. И нам меняли пальто, и возвращали деньги, и мы сбегали, и выворачивались, и упрашивали, и выигрывали, и находили. Бог миловал, выручал, подфартивал. Жалел.

Доверчивым и спешным шагом человека, привыкшего охотно следовать, куда позовут, потому что раз позовут — не обидят, мама отправилась к бабушке, порадовавшись, что не потеряет в деньгах: девочка, с которой она подрабатывала няней после ухода на пенсию, как раз отбывала на ПМЖ во Францию с папой-французом.

Ни намека, что надо бы задержаться, остаться, свистать всех наверх, полундра, на баке швабра горит, — как шутил наш дедушка-моряк, — как ни намека, что у рачительной на работу садоводки, приставшей к маме с железной своей лестницей, были, оказывается, и в Джалал-Абаде знакомые онкологи.

Бог спрятал намеки, чтобы не отвлекать, не сбивать с пути. Катер на Капри уже завелся, и маме с пира в открытое море не соскочить.

Я начинаю понимать, почему мама любила заунывные, грустные песни. Ей было с кем похохотать — но не с кем поплакать. Чья-то рифмованная грусть на полевой мотивчик давала отмашку на запасный выход печали.

На диске старых, по годам разложенных фотографий я нашла видео, которое нельзя сейчас смотреть. Не потому что больно — просто, записывая это четыре года назад, за три с половиной года до ее смерти, я сглупила, не приняв во внимание шум в суши-кафе, куда мы отправились отмечать мамин день рождения.

За пятисотку мне немного вытянули звук, и я поняла с грустью, что в мамины признания в тот день я вслушалась не более чем в шум.

Мы умели праздновать, веселиться после бури, отмечать удачу после риска, мечтать о вкусном и перебирать нарядное. Мы умели посмеяться — и никогда не плакали.

Вместе — нет, не плакали, не умели вместе, слезы нас разлучали, и каждая злилась, если другой плохо, потому что каждой хотелось, чтобы другой было хорошо.

Когда маме было хорошо, она разрешала себе покушать, выпить, потянуться — и попечалиться.

Я вижу это только сейчас, на этом видео, где самые печальные слова не разобрать, зато хорошо слышен мой подкручивающий праздничное напряжение в маме задор. Я с детства не любила, когда она выпивала. Потому что боялась ее расслабленную. Вольную, печальную, равнодушную к тому, как нам накушаться и повеселиться.

На этом видео я так беспокоюсь, не мешаю ли маме веселиться, что не замечаю, как мешаю ей распечалиться.

До сих пор в воображении я подключаю ее к нашему с ребенком празднику. Тридцать пять лет совместной жизни — достаточный срок, чтобы еще столько же и больше проигрывать показательные диалоги, как из учебника по иностранному языку, зная наперед — вспоминая назад, — что мама сейчас ответит. Что ее точно рассмешит, возмутит, удивит, растрогает.

Наша попа рождена сверкать. Ты лучок или все-таки скорее чесночок? Мусор или мама — что мы вынесем, что оставим? Писа хищная, спрячем ее, а то обольет. Вырастет из сына свин, если мать свиненок. Как много детей, откуда тут столько детей развелось? Пришла хлебная палочка и сказала: кусь тебя! Я несу эту глупость с удовольствием, громко, на публику, уверенная, что поймает и поймет та, которая возражала мне, что зато кашка меня хочет, и стягивала одеяло за уголок, гудя побудно одеяльным, ватным таким тоном: «Прощай, девочка!» — и ложилась со мной спать, сетуя, что прогонят, когда захрапит, и безропотно уходила ночью с подушкой, когда прогоняли, и верила в сиреневую Поспатеньку, которая жила в детской скрипке, пока не продали на Авито, а теперь живет в моих рассказах малышу, и летит, летит сиреневая Поспатенька, и надо тише, а то спугнешь.

А есть ведь глупость непередаваемая, такая, что ни в сказке, ни в блоге не сказать, взять хоть мои домашние прозвища, одно из которых мелькает на видео, воскрешая в памяти второй эпизод, который пробил в моей утрате смеховую брешь: как мама случайно встретила меня, споро несущуюся к переходу на Земляном валу, и схватила, едва на скорости удержав. Крыс несся — и был пойман за хвост, — долго смеялись мы, потому что сам факт, что мама зовет дочку Крысой, давно вошел в обиход и перестал смешить.

Крысой, и свинкой, а в мою беременность мама и вовсе зарвалась и вскричала: ты, маленькая свинища! — когда я утекала из-под ее воли на какую-то тусовку. И добавляла часто: ах ты гадость!

Это трудно логически объяснить — зато легко понять, почему я, когда тоже не в силах сдержаться, хватаю ребенка и восклицаю в восторге: какая гадость!

«Я шла и пела песню о Пилецки», — часто говорила мама, торопливо заходя домой с темной холодной улицы после темного рабочего дня. Почему меня так назвала и когда начала звать, уже не разгадать. Зато понятно, почему она про это пела — на мотив советской эстрадной песни про светофор.

Она шла и пела песню обо мне — потому что я была ее свет в домашнем окне, потому что больше петь ей было не о ком, потому что мы одни друг у друга, потому что мы семья из двух человек и потому, как бы я ее ни огорчала, ни раздражала, ни печалила, ни утекала из-под ее воли, она шла и пела песню о Пилецки, чтобы согреться напоминанием о лучшем в своей жизни.

Так теперь пою и я песни про Самсона. Во всю глотку, не дожидаясь конца материнского рабочего дня, в полном свету домашней радости.

Однажды муж напомнит мне мамину песню, когда вернется после работы ко мне, беременной и хлопочущей на кухне, и скажет про меня с редкой нежностью в голосе: а я иду, смотрю в окне — ходит. Однажды он напомнит мне и нашу с мамой бесшабашную глупость, когда мы захохочем с ним над грудой годы не пригождающихся вещей на захламленной лоджии: а этот таз с котятами зачем? — спросит. — Варенье варить! — уверенно и по-хозяйски отвечу я. — Понятно, — ответит, уже срываясь на

редкую улыбку, — а по сути? — и мы оба хохочем от этой глупости: хранить таз для варенья, зная, что никогда не возьмемся варить.

Полную банку консервов из манго, «Манго из Мьянмы», с надписью на банке: люблю жизнь, — я увидела сейчас в магазине восточных товаров, недавно открывшемся в нашем ТЦ.

Увидела, перечла надпись на банке и содрогнулась. Такая точно банка из Мьянмы осталась несъеденной, потому что была куплена маме в ее последний день дома, за три дня до смерти.

Жизнь дурака — несъеденная банка варенья. И хохот от того, что зуб неймет.

Мы прожили вместе тридцать пять лет, и только напоследок я узнала главную, пожалуй, тайну наших отношений. «Ты не знаешь, — сказала мама, содрогаясь, — ты не знаешь, — сказала мне, изливающей какие-то свои неопытные тревоги о младенце, — ты не знаешь, как тяжело это — с больным ребенком».

Вот как, поняла вдруг я. Она всю жизнь помнила и считала меня больным ребенком. А я и забыла о своих больницах в детстве, с роддома до младшей школы.

Как трудно с больным ребенком — да, понимаю: не легче чем с веселой и сильной мамой.

Так трудно бесшабашным дуракам.

Так трудно им, да, выйти из раз и на всю жизнь взятой роли.

И услышать себя через шум.

Я и сейчас не все дослышала, и не уверена, что разобрала правильно.

«Мама: ...Я сижу, читаю "S.N.U.F.F"».

Я (*по сценарию дня*): А почему ты сидишь с шариками тут?

М. (*по сценарию дня*): Я с шариками, потому что у меня день рождения. Единственный (...) Ну сколько лет? Ну, правда, самое многое, что может быть, ну, не самое, середина. Но после этого только хуже и хуже, хуже и хуже...

Я (*недовольная отступлением от сценария*): Почему хуже-то? Лучше и лучше!

М. (*раскручивая свой сюжет*): ...а душа будет больше и больше, больше... (Внезапно.) И я улечу!

Я. (*не втыкая в сюжет*): Че у тебя будет больше и больше?

М. (*раскрывая глаза*): Душа.

Я: А, душа больше, да. (*Резко переключая регистр*.) А пуз?

М.: Пус?

Я: Пуз.

М. (*никак не переключаясь*): Что, пуз?

Я: Пуз!

М.: Как, пуз?

Я (*радуясь, что сработало*): Пуз!

М.: Ну извините, это матерьяльное, я вам говорю о духовном.

Я (*не меняя тона*): Ну. Так, расскажите.

М.: Потом я улечу. Так говорят.

Я (*продолжая веселиться*): А куда?

М.: А, в другое измерение... Это меня очень устраивает, потому что как-то объясняет (...) Хотя... Нет, я не хочу об этом разговаривать, не хочу... Все-таки в этом что-то есть, в этом есть утешение.

Я: Да.

М.: Но не более.

Я (вдруг всерьез): Это правда.

М. (*задумчиво*): И все! (*Вспоминая сценарий.*) Я еще, конечно, еще буду праздновать свой день рождения сегодня.

Я (*поспешно возвращаясь к сценарию*): Нет, ты еще много лет будешь праздновать! Много, много, много, много, много, много!

М. (*снова переключаясь*): Я буду идти, идти к своему дню рождения, идти, идти, вот так, хромая, косая, нет, не косая, но не знаю, идти, идти...

Я (*тормоша*): Не, ну подожди, ты должна же год жить, а не идти к дню рождения. Как бы ты же живешь!

М. (*показывая на пальцах*): Плоть должна уходить, а душа должна растить.

Я (*настойчиво переключая обратно*): А не наоборот? Не наоборот, да?

М.: Наоборот — в общем так вот... А потом, когда это (*помахивая*) дорастет, дорастет, дорастет, ты фьють — и куда-то улетишь. Что-то в этом есть. (*Беззаботно.*) Да, это правда, я верю. Мда, мда, мда. (*Переключаясь наконец.*) Ох. Уже нам несут ужин, хаха. Мы можем взять два шарика, потому что. Во-первых, день рождения.

Я (*радуясь, что опять сработало*): А во-вторых?

М. (*окончательно возвращаясь в роль*): А во-вторых, они халявные. Вот они, наши... Давай потом возьмем и убежим. Мы будем бежать или поедем?

Я (*без запинки подхватывая знакомую реплику*): Бежать, конечно, ха-ха. Не заплатив. Как мы любим, ха-ха!

М.: Ну не надо. Мы, все-таки, ну все-таки.. (...) (*Мечтательно.*) Когда мы придем домой... Я знаешь, почему задержалась, потому что я убирала дом. Теперь я хочу есть.

Я (*перехватывая реплику*): Я тоже хочу есть.

М. (*далее как по писаному*): Ну и что? Это у меня день рождения, мало ли.

Я: А я, а я приглашена в первых числах.

М.: А ты подалку подарила?

Я: Да. Я сдала деньги за подарок.

М. (*показывая*): Гы.

Я: Вот за вот этот. Агата укусит сумку, интересно, или нет?

М. (*припоминая свои беспокойства*): Ну, я ей не дам укусить.

Я (*дозволяя в меру расслабиться*): Нет, если Агата укусит сумку — значит, хорошая сумка.

М. (*прыская от нелепости*): Да, мы будем все так проверять.

Я (*припоминая свои беспокойства*): Ну, тебе хорошо? У тебя веселый день рождения?

М. (*без запинки подхватывая знакомую реплику*): Конечно, веселый день рождения.

Я (*дожимая сценический эффект*): Но без меня ведь не так весело было, правда?

М. (*как обычно, целиком в партнере*): Конечно, нет, конечно, нет, потому что мне сегодня утром друг испортил настроение юбками... (*начиная загибать пальцы для перечисления*) потом... Ну и все.

Я (*явно польщенная, что перечень кончился, не начавшись*): Хи-хи. Ну и все, главное. (*Кокетничая беспокойствами*): А крыс?

М. (*кокетничая беспокойствами*): А крыс, он тоже хотел испортить настроение, он знаете чем портит настроение, он (...) Это очень тяжело переносить.

Я (*доигрывая образ*): Но зато он же лоснится!

М. (*внося в образ красочку*): Да, но не зато, а он еще и лоснится!

Я (*признавая, что обыграна*): Хи-хи!

М.: ...совсем другой оборот, понимаете? Вот такая я несчастная. Мне кажется, нам вся Якитория собирает еду. Тогда шары это наши, это бесплатные тогда!

Я: Хи-хи, это главное, да? (*Удерживая мизансцену.*) С днем рождения, друг! (*Забывая, что уже говорила подобное.*) Я твой лучший друг, правда?

М.: Да. Пойдем в кабак, зальем желанье.

Я (*напоминая пароль*): Круп?

М.: Круп...

Я: Круп?

М. (*видя, что ничего другого не остается*): Круп, ха-ха, сматываемся.

(*Конец записи.*)»

С днем рождения, друг. Вот ты и улетела. Я надеюсь, тебе там немного слышно меня через шум. Шум моих мыслей о том, как слабо я, оказывается, расслышала тебя при жизни.

Ольга Балла

Антрополог спускается в ад

Анна КЛЕПИКОВА. Наверно я дурак: Антропологический роман. — СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2018. — 432 с.

Книга Анны Клепиковой об опыте волонтерства в двух учреждениях для инвалидов под Петербургом — в детском доме для детей с нарушениями умственного развития и затем в психоневрологическом интернате для взрослых -начиналась как кандидатская диссертация и писалась по полевым дневникам для этой работы. Свою первоначальную роль текст благополучно выполнил (автор защитила диссертацию на степень кандидата социологических наук и работает теперь заместителем декана факультета антропологии Европейского университета в Санкт-Петербурге), но вышел далеко за рамки задуманного. То, что начиналось как антропологическое исследование, обернулось свидетельством об экстремальном опыте: не только интеллектуальном, но и психологическом, эмоциональном, даже телесном. В самом начале автор рассказывает, как на семинаре, где она вместе с другими внештатными волонтерами готовилась к работе в детдоме, ведущая предложила участникам задания, позволяющие им «почувствовать себя на месте подопечных с нарушениями развития». «В ходе первого задания нужно было взять в левую руку фломастер и обвести карандашный рисунок, состоявший из горизонтальных и вертикальных линий, при этом руку и рисунок можно было видеть только в зеркальном отражении. Такое упражнение позволяет волонтеру разотождествить себя с собственным телом, как бы поставив себя на место человека с отличающейся телесностью» («ощущение, — запишет после этого автор, — как от тяжелой физической работы»). Затем ведущая семинара «покормила некоторых волонтеров быстро и грубо, тем самым продемонстрировав нам, как кормят подопечных санитары». «Будущим волонтерам завязывают глаза и катают в инвалидных колясках по неровной местности, наезжая при этом на все кочки и неровности, или перетаскивают с места на место в неудобной позе — взяв за руку и за ногу. Для внешнего наблюдателя это выглядит как довольно забавная игра. Но предполагается, что так волонтеры смогут представить себе, какие телесные и вестибулярные ощущения может переживать ребенок или взрослый с инвалидностью в повседневной жизни в интернате, и не станут перенимать некоторые способы обращения с подопечными, которые характерны для персонала учреждений. Кроме того, будущему волонтеру приходится преодолевать границы — личные и телесные, свои и чужие, что, как полагают, готовит его к каждодневной тесной работе с телом подопечного, к выходу за пределы собственного комфорта. А еще этот совместный опыт должен сблизить волонтеров и сплотить группу».

Получилось, собственно, тоже исследование, но в более глубоком смысле: о человеческой сущности, о том, что значит быть человеком.

И это при том, что обобщающих формулировок на этот счет автор старается не предлагать: ей важнее точно описывать факты; все, что нужно, она говорит самим материалом. Свой текст, переросший исследовательские задачи (зато врастивший в себя исследовательскую оптику, которая, пожалуй, сильно помогла автору справиться с увиденным) она предпочла назвать романом. По существу, это — аналитическая хроника путешествия в ад.

С исследовательской честностью, подробно и по видимости бесстрастно Клепикова показывает, как людям, работающим с обитателями интернатов (в том числе и ей самой — удобный случай рассмотреть и понять это изнутри!), приходится преодолевать не только усталость и раздражение, но и брезгливость, отвращение, стыд, страх. И далеко не всегда успешно.

Вот подопечная ПНИ просит у проходящих по палате во время тихого часа автора и волонтера воды, запить таблетки. («Наверное, медсестры или санитарки не приносят ей воды, потому что боятся, что она манипулирует их вниманием, думаю я», — комментирует автор.) «Когда женщина протягивает руку к стакану, я вздрагиваю — она выглядит как поросший плесенью пень». Это еще далеко не самое отталкивающее. Тут достаточно всего лишь соблюдать простейшие правила гигиены: «Помой, пожалуйста, потом руки», — говорит автор сопровождающему ее волонтеру.

Страх работников интернатов перед подопечными совсем не беспочвенный: общение с ними иной раз может стать реальной угрозой для жизни. В конце концов, именно страх за собственную жизнь — после того, как ее оцарапал мальчик, больной гепатитом С — вынудил автора оставить работу в детском интернате.

Себя в этой ситуации автор описывает точно так же, как и других участников ситуации: обитателей интернатов, работающих там сотрудников — врачей, воспитателей, санитаров и волонтеров благотворительной организации «Альтернатива», представлявших собою «отдельную экзотику».

Все это — разные типы позиций, каждая — со своей моделью поведения, с собственной этикой, идеологией, мифологией (и неминуемыми стереотипами), корпоративной солидарностью (тренировки волонтеров, как мы видели, имеют целью еще и сплочение группы), со своими защитными механизмами перед лицом адского опыта (чистое, искреннее сострадание подопечным и отождествление с ними оказываются тут губительными: выгорание неминуемо; а еще есть такая вещь, как манипулирование опекающими со стороны инвалидов, с которым тоже надо уметь справляться), с проблематичными отношениями друг с другом (сотрудники интернатов воспринимают волонтеров как конкурентов). К волонтерам автор, вошедшая в их среду на время и ставшая одним из них в исследовательских целях, тоже принадлежит не вполне, смотрит на них в некотором смысле извне. Она сама здесь — представитель отдельного типа, который проблематичен не менее остальных и также нуждается в анализе, причем даже в двух отношениях: как ученый-антрополог и как носитель массового сознания с унаследованным от своего окружения «набором стереотипов и культурных страхов, коллекцией представлений уровня повседневного здравого смысла», страхами и объяснительными схемами — которые предстояло вынести за скобки и «открыть дивный новый мир».

Взаимодействие между представителями этих типов более всего похоже на взаимодействие между людьми (вполне непреодолимо) разных субкультур — и описывается здесь именно в этом качестве.

В целом же речь в книге идет о существовании на границах человеческого — в той пограничной области, куда люди, считающие себя принадлежащими к так называемой норме, стараются лишний раз не заглядывать — и правильно стараются, таким образом норма, вещь чрезвычайно хрупкая, оберегает себя — это разрушительное

зрелище. Не выходя за рамки исследовательских (отстраненных) интонаций (у читателя будет много возможностей увидеть, насколько тяжело ей это далось), автор описывает область катастрофы, беды и безнадежности, где они — не экстремальное состояние, а норма и рутина. Где обыденно то, что обыденным быть, по идее, не может и не должно. Причем даже две такие области, одна страшнее другой: катастрофы предварительной — в детском доме-интернате, где еще есть разновидность будущего и подобие (так и хочется сказать — адское) надежды, и в интернате взрослом, «психоневрологическом» (куда по достижении совершеннолетия отправляют и вполне нормальных психически, «сохранных», как это говорится на профессиональном жаргоне, но телесно сильно ограниченных людей, например, инвалидов-колясочников), где надежд нет совсем. Оттуда, как правило, не выходят. Там нет воспитателей. Там уже никто не интересуется индивидуальными особенностями «проживающих» и не готовит их ни к какому будущему, потому что никакого будущего уже нет — и это способно убивать само по себе. (Один из героев книги, Виталик, с нетерпением ждал переезда во «взрослый» интернат, был счастлив, когда переселялся туда, — и умер вскоре после переселения: формально — от болезней, по существу — от заброшенности и отчаяния.)

Оказывается, между прочим, что область человеческого вообще и область нормы в частности существенно более широка, чем склонны себе представлять обитатели «срединных», далеких от пограничья областей культуры. Люди, запертые в своих больных телах, сильно ограничивающих их существование и самовыражение, внутренне нередко оказываются куда ближе к тому, в чем нам привычно видеть норму; гораздо больше понимают и видят, чем может показаться извне. (В этом смысле поражающе-показательна история девушки, которая молчала всю жизнь, считалась, как это называется в интернате, «неречевой», — и вдруг заговорила совершенно полноценной речью после того, как ей подобрали правильные противоспастические препараты, буквально расковавшие ей органы речи. То есть у нее во все эти молчаливые годы было, оказывается, нормальное сознание, которое проявилось, как только возникла такая возможность.)

Как воспринимают происходящее сами подопечные, известно менее всего: внутренний мир большинства из них недоступен (некоторые способны общаться только движениями глаз). Сюжеты, в которых к сознанию человека нет возможности проникнуть извне, и окружающие домысливают происходящее у него внутри кто во что горазд, в соответствии с собственными особенностями и душевными склонностями, — на страницах книги в изобилии. Во взрослом интернате автор видит сидящую на кровати «совсем молодую девушку». «Я пытаюсь вспомнить, на какую актрису она похожа. «Посмотри, какая она красивая, и, по-моему, она все понимает», — говорит Любава (волонтер. — *О.Б.*). Я беру девушку за руку. Она тихонько ощупывает мои пальцы, будто до нее никто раньше не дотрагивался. Сложно по взгляду и прикосновениям судить о том, сколько она «понимает», но она точно очень рада, что к ней кто-то подошел. <...> В палату заходит санитарка и говорит, что нам пора уходить и вообще нечего нам тут делать. И показывая на девушку, которую я держу за руку: «Эта вообще идиот, у нее изменение личности»».

В этой книге-свидетельстве важно не только то, что в ней есть, но не в меньшей степени и то, чего в ней принципиально нет. Клепикова удерживается от самых сильных соблазнов: гнева, осуждения, поучения — которые, пожалуй, помогли бы спастись от отчаяния — и от соблазна самого отчаяния.

Она не проповедует милосердия, не морализирует, не критикует недостатков отечественной системы здравоохранения (хотя, казалось бы, основания к этому встречались ей на каждом шагу) и / или особенностей русской культуры и свойственного ей мировосприятия (хотя, опять же казалось бы, оснований к этому тоже предостаточно, и многие из этих оснований в книге прекрасно видны) — этих предметов она не касается в принципе. Ее позиция — не социальная вообще (что крайне редко)

и не оценивающая, не судящая в частности (что чрезвычайно трудно даже читателю, который вовлекается в происходящее только на уровне сопереживания прочитанному). Ее тип взгляда даже не столько антропологический, сколько *антропографический*, антропопластический: она рассматривает взаимодействие человека и обстоятельств и то, как обстоятельства меняют человека.

Этот текст не только потрясает эмоционально, как, например, многократно цитируемая здесь автобиографическая повесть Рубена Гальего «Белое на черном». Он сильно расширяет культурную оптику, заставляя перепродумать само понятие «нормы» и принцип проведения тех границ, которые отсекают «норму» от всего остального. Помимо вопросов чисто профессиональных, типа «что и как возможно сделать, чтобы жизнь обитателей интернатов стала более выносимой», и социальных, вроде «почему все это устроено именно таким мучительным образом и кто в этом виноват», — и даже гораздо прежде вопросов этого рода — все рассказанное вызывает вопросы куда более коренные.

Как в этом жить? Можно ли жить без надежды и будущего? Жизнь ли это?

И если да, то что такое жизнь и что такое человек?

Ответы на первую группу вопросов как минимум неоднозначны — кроме разве последнего вопроса, на который приходится отвечать так: да, несомненно, жизнь, хотя очень трудная, часто — мучительная и, как правило, короткая (а мучительна она иной раз настолько, что смерть страдальца воспринимается оставшимися в живых как избавление).

Что касается второй группы вопросов, окончательные ответы на которые невозможны, кажется, в принципе, что автор — вообще избегая избыточных философствований — и не берется предлагать какие-либо ответы. Зато дает нам изобилие материала к тому, чтобы над этим задуматься.

Summary

Traditionally the cover theme of the November issue is «Friendship for Growth»

«Only children's books to read» (Mandelshtam)

64 authors from Russia and abroad (both «near» and «far») have already taken part in the distant «round table» under this heading. In this issue — favourite childhood books of Sana Valiulina, Sergej Dmitrenko, Vsevolod Emelin, Shamil Idiatullin, Ilya Kochergin, Anastasija Orlova, Valerija Pustovaja, Alexei Salnikov, Tamerlan Tadtaev, Aigerim Tagi, Sasha Philipenko.

Alexander GARROS. Freedom

A.Garros started this cinemanovel in the fall of 2015 when he had already known his fatal diagnosis. In the core of the plot — a teacher of History who has been fired blacklisted from a prestigious Moscow school and is teaching now in a tiny provincial town. He organized there a coterie of historical reconstructions but his pupils began to toy with the idea of revolution and finished badly: they were accused of preparing act of terror… All that Alexander Garros had time to write of the future novel is on our pages (magazine version).

Alexej IVANOV. Pischeblok (food galley). Part 1 of the new book

This time the author of historical bestsellers basing on the classic children's scary story develops it into absurdly serious thriller, both funny and nostalgic, about a band of pioneers-vampires who are running wild in a Soviet pioneer camp in the hot summer of Olympiad-80.

Poetry

The names of the young poets Evgenija BARANOVA, Anastasija KINASH, Konstantin KOMAROV, Katerina REMINA are hardly known to the most of readers but their poems make the poetical voice of the «perestroika's children» generation more close and clear to us.

Also in this issue:

Yourij SEREBRYANSKIJ's long short story «Altinshash» — the story of growing up of a Polish girl exiled to Kazakhstan with her family. Lyrics of everyday life by Stanislav LIVINSKIJ who chants the praises of his «native boonies» with appealing charm, warmth and love. «Prose.doc» by Valerija PUSTOVAJA is about how to live when your mother is hopelessly ill and you yourself are preparing to become mother. «Notes on the Margins of the Exercise Books» by Evgenij BUNIMOVICH are about the reform of the school education. And much more about the intersecting worlds of children and adults.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Журнал «Дружба народов»

можно выписывать с любого месяца во всех отделениях Почты России.

Подписной индекс в каталоге «ГАЗЕТЫ. ЖУРНАЛЫ» — **70250**

Подписной индекс в зеленом каталоге «ПРЕССА РОССИИ» — **91826**

Электронную версию «ДН» можно купить на **http://дружбанародов.com**

Мобильная версия «ДН» для устройств на iOS доступна в App Store и на **https://itunes.apple.com/ru/app/druzba-narodov/id893172883?mt=8**

Верстка: Елена ЖИРНОВА

Дизайн обложки: Степан ЛУКЬЯНОВ

ИЗДАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНО ПРИ ПОДДЕРЖКЕ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО ФОНДА ГУМАНИТАРНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СНГ И ФОНДА «РУССКИЙ МИР»

Цена свободная

Индекс 70250

12/2018

Читайте:

Галина Климова
Повесть «Пасташутта»:

«Когда Рита впервые пришла в Кремль? Да сразу же, как только Свердлов, всемогущий партийный кадровик, предложил сотоварищу по нарымской ссылке, ныне — новоиспеченному наркому Рыкову свою отапливаемую квартиру. И где? В Кремле. В Большом дворце. От этих щедрот и Рите перепало. Ведь женой Рыкова была ее старшая сестра Нина, теперь уже Нина Семеновна Рыкова. И пока Рита растапливала колонку и мылась, Нина Семеновна читала или строчила очередной отчет. Пожалуй, только в Кремле под охраной красногрардейцев можно было согреться, выспаться и почти досыта натрескаться в столовой. Уж красной, почти дармовой икры — ешь от пуза.»

Алексей Варламов
«Слишком много борьбы было в его собственной жизни...»:

«В 1967 году Солженицын пишет знаменитое письмо Четвертому Съезду советских писателей с требованием обсудить самые острые, с его точки зрения, вопросы цензуры, публикации запрещенных произведений писателей XX века, он обвиняет СП СССР в хроническом бездействии, трусости, безволии, в равнодушии к судьбам Платонова и Мандельштама, Замятина и Булгакова. Рассылает это письмо участникам съезда, и в итоге получает поддержку от ста с лишним литераторов (и ненависть начальства, апогеем которой можно считать требование Шолохова запретить Солженицыну писать). Но проходит еще несколько лет, и незадолго до высылки из СССР писатель дает интервью иностранным журналистам и называет самых интересных, с его точки зрения, современных русских авторов. Эти списки практически не пересекаются! Общественное и политическое расходится...»

И многое другое...

ISSN 0012-6756

Дружба народов • 2018 • №11 • 1—272